ISSN 0130 – 6545

5. 1987

Иностранная литература

«Автопортрет в Самарканде».

На 1-й и 4-й страницах обложки —
«Бригада».
«Вид с горы Цвельерхорн».

Цветные иллюстрации номера — работы Вернера Тюбке (ГДР)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5 май 1987

Содержание

ДУШАН МИТАНА — Конец игры *(Роман. Перевод со словацкого Н. Шульгиной)* 3

ВЕРКОР — Волчий капкан *(Повесть. Перевод с французского Л. Зониной. Вступление Т. Балашовой)* 68

МИРА АЛЕЧКОВИЧ — Стихи *(Перевод с сербскохорватского Натэллы Горской)* 99

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС — Панихида на дороге *(Вступление и перевод с греческого Н. Подземской)* 103

ФЕРНАНДО НАМОРА — Река печали *(Роман. Окончание. Перевод с португальского Лилианы Бреверн)* 113

Литературное наследие

Два перевода Владимира Набокова *(Послесловие С. Аверинцева)* 162

Публицистика

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР — Золотой треугольник *(Главы из книги. Окончание. Перевод с чешского Виктории Каменской)* 170

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету *(Сэнгийн Эрдэнэ, Джером Лоуренс, Роберт Ли, Марда Сабо, Айрис Мердок, Джеймс Рейган, Хоакин Гутьеррес)* 193

П. НИКОЛАЕВ — Во имя всечеловеческого содружества *(Взгляд на русскую и советскую литературу)* 200

Г. ЗЛОБИН — Полторы тысячи дней президентства Линкольна 206

Н. АНАСТАСЬЕВ — Феномен Владимира Набокова 210

Антирубрика

Китайские миниатюры

(Вступление и перевод с китайского Н. Спешнева) 224

Наша почта

Из писем в отдел публицистики *(Читателю отвечает К. Мялo)* 230

К нашим иллюстрациям

М. Соколов — Живопись Вернера Тюбке 235

Среди книг

Издано в СССР

М. Заславская — Горячих будней торжество... *(«Из современной поэзии ГДР. Вып. 2»)* ✦ И. Прохорова — «Бремя нестерпимых мук юности» *(Маргарет Этвуд. Постижение)* ✦ В. Седельник — Величие и трагизм художника *(Шарль-Фердинан Рамю. Если солнце не взойдет. Дерборанс. Савойский парень)* 236

Издано за рубежом

М. Ариас — Человек в союзе с зеленой травой *(Жан Кейроль. Человек в автозеркале. Авторское слово. Стихи-ключи)* ✦ А. Сорокин — В час испытаний — с Советским Союзом *(Янке К. Х. В едином строю)* ✦ Ю. Ковалев — Дочь об отце *(Сьюзен Чивер. Домой, пока не стемнело)* 241

Из месяца в месяц 247

© «Иностранная литература», 1987

ДУШАН МИТАНА

Конец игры

РОМАН

Перевод со словацкого Н. ШУЛЬГИНОЙ

Все герои и события этого романа вымышлены, и какое бы то ни было сходство с портретами наших современников — чисто случайное.

1

Петер Славик проснулся, по обыкновению, в полвосьмого, принял прохладный душ, гладко выбрился, а затем, освеженный и бодрый, с наслаждением стал массировать лицо тонким, приятно пощипывающим лосьоном. Почистив зубы, он накапал в стакан с нацеженной из водопровода жидкостью (кроме хлора она содержала и некое количество обычной воды) пятнадцать капель коричневатой камфорной микстуры GAFO, запрокинул голову и добросовестно прополоскал горло, опорожнив стакан с чувством истинного удовлетворения, основанном на убежденности (более или менее ошибочной), что такой профилактикой заметно улучшил состояние миндалин — с детства его преследовали гнойные ангины.

Славик открыл зеркальные дверцы туалетного шкафчика, где на полочках из черного пластика хранились дразнящие сокровища его жены Гелены. В данный момент она находилась — как принято говорить — в «стобашенном стольном городе» Праге, вернется только завтра вечером, и потому Славик скользил взором по полочкам, как страстный, нетерпеливый любовник, что в отсутствии любимой утешает себя хотя бы видом ее вещей. Со сладостной дрожью смотрел он на всевозможные флаконч ики, тюбики и баночки самых изысканных форм, стоявшие в зеркальном шкафчике, словно войско, готовое к церемониальному маршу.

Войско? Так твою курочку; если б все армии были вооружены только таким оружием! Ему на память пришел заголовок во вчерашней газете:

ПОЧЕМУ СМЕРТЬ ОЩЕРИЛА ЗУБЫ

И правда — почему? Любое повреждение счетчика — ну, допустим, вышла из строя электронная лампа... Минуту терпения, уважаемые, сейчас все станет ясно. Газета лежала на стиральной машине в ванной, под гоголевскими «Мертвыми душами». Он любил читать в

© Dušan Mitana, 1984

ДУШАН МИТАНА — DUŠAN MITANA (род. в 1946 г.)

Словацкий писатель. Учился на философском факультете Братиславского университета имени Каменского, затем в Институте музыкального и театрального искусства. Начал печататься в 70-е годы. Автор сборников рассказов «Собачьи дни» («Psie dni», 1970), «Ночные вести» («Nočné správy», 1976), повести «Патагония» («Patagónia», 1972), нескольких сценариев для кино и телевидения. Роман «Конец игры» вышел в Братиславе в 1984 году («Koniec hry», Bratislava, «Smena»). Печатается в журнальном варианте.

ванне. Голое тело, по самую шею погруженное в горячую воду, возвышающее ощущение легкости, когда кажется, что мысли и те текут (хвала закону Архимеда!) куда более раскованно, чем на суше, где все движения какие-то неловкие, неуклюжие; да, вот здесь:

ПОЧЕМУ СМЕРТЬ ОЩЕРИЛА ЗУБЫ, Вашингтон (ЧТК[1]) — По сообщению Пентагона, вследствие повреждения выключателя в командном пункте ПВО (NORAD[2]), в Колорадо недавно были объявлены две ложные тревоги по всей системе противовоздушной обороны США. Устранение повреждения, по мнению представителя Пентагона, потребует «примерно недели две». Повреждения в системе, стоившей пятнадцать миллиардов долларов, привели к объявлению тревоги, при которой на старт были выведены стратегические бомбардировщики Б-52 с ядерными ракетами на борту. Происшествие вызвало обоснованное беспокойство мировой общественности.

Разумеется, обоснованное! А как человеку не беспокоиться, если он понимает, что судьба человечества, судьба всей планеты и, уж конечно, его собственная — судьба этого живого, из мяса и костей тела, в котором течет теплая красная кровь,— зависит от одного треклятого выключателя. Судьба всего земного шара? Благодарю покорно, уважаемые, но я с этим в корне не согласен! Моя жизнь не может зависеть от показаний какого-то счетчика, я протестую, я не хочу в это верить!

Итак, поставим на этом точку, мы выразили свое возмущение, изъявили свою солидарность с мировой общественностью, и можем продолжать жить, ибо даже мировая общественность, несмотря на обоснованное беспокойство, не верит, что земной шар может действительно взлететь на воздух, подобно пороховой бочке; тревога уже вошла в наше сознание, *стала привычной*, а потому лучше не думать об этом, зачем портить себе настроение в такое прекрасное августовское утро, когда воздух напоен освежающим ароматом хвои... Славик недоверчиво повел ноздрями: запах хвои? Здесь, в самом центре Братиславы, зачумленном выхлопными газами машин, беспрестанно грохочущих прямо под окнами?

Тьфу ты черт — АВЕЛА!

Ванна с добавлением косметического препарата АВЕЛА доставит вам особое наслаждение. АВЕЛА, содержащая витамины А, Е, F, повышает сопротивляемость инфекциям, укрепляет нежную слизистую оболочку (о, эта нежная слизистая оболочка!), способствует питанию и обновлению кожи. АВЕЛА пахнет хвоей!!!

Гелена всегда принимала ванну с «Авелой», и даже теперь, две недели спустя, запах хвои не успел улетучиться.

Да, все решено, говорила Гелена, тщательно очищая шею и лицо тампоном, смоченным косметическим молочком. Ребенка я хочу не меньше, чем ты, но...

Он мгновенно насторожился: предчувствовал, что и тут не обойдется без какой-нибудь закавыки — она ведь никогда не делала ничего бескорыстно, из всего стремилась извлечь для себя выгоду; в лучшем случае это будет стоить ему новой шубы. Однако он сразу же понял, что она имеет в виду вовсе не пополнение своего гардероба.

Хочу побыть какое-то время одна,— понимаешь? — это для меня ужасно важно. Потом мы будем все время вместе, но сейчас мне бы хотелось поехать на две недели к Катке. Минутку, она вышла из ванной, приготовлю себе питательную маску.

Ему казалось, что большую часть времени и сил она тратит на деятельность, направленную к единой цели — нравиться. Он уже давно перестал попрекать ее этим. Впрочем, он попробовал сделать это один-единственный раз — спустя несколько месяцев после свадьбы. Думается, ты все-таки могла бы иногда хоть что-нибудь сварить или чуть прибрать здесь, нельзя же часами торчать перед зеркалом — и... он тут же прикусил язык. Ее лицо загорелось справедливым возмущени-

[1] Чехословацкое телеграфное агентство. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Объединенное командование ПВО северо-американского континента *(англ.)*.

ем самоуверенной, эмансипированной женщины, полные, сочно карминные губы раскрылись, и изо рта, как из кратера вулкана, выхлестнулось серное пламя, которое в мгновение ока испепелило Славиковы допотопные взгляды и представления о положении женщины в современной семье.

Камрад, если ты мечтал обзавестись какой-нибудь домашней курицей, которая целыми днями сновала бы по квартире с тряпкой, щеткой и пылесосом, мыла бы посуду, стирала бы твои носки, готовила любимые кушанья для своего петушка и вдобавок бы еще блаженно кудахтала от благодарности, что ей вообще дозволено это делать, нечего тебе было жениться на мне! Ей-богу, камрад, нечего было, тут ты дал маху... и так далее и тому подобное, кто это все упомнит.

Ее просветительская лекция длилась гораздо дольше, чем торжественное слово зампредседателя районного национального комитета, прозвучавшее семь лет назад, когда они, добровольно и в присутствии свидетелей, обещали друг другу мужественно, бок о бок, шагать дорогой жизни, и в радости и в беде, и свое обещание даже трижды подтвердили: словами ДА-ДА, подписями «Петер Славик» и «Гелена Барлова» и золотыми обручальными кольцами, взятыми для этой цели у супругов Плахих, участвовавших в этом спектакле в роли свидетелей.

Уже тогда прозорливое чувство подсказало ему, что брак с Геленой и вправду будет далеко не мед. Но чем черт не шутит, хоть изредка да полакомлюсь — он с удовольствием потирал руки. Ее косметические маски всегда были невероятно вкусными и полезными — вот и тогда она разбила яйцо, отделила желток от белка, растерла желток в стакане с медом и лукаво ему подмигнула — спускай штаны, нынче всласть полакомишься. После пятнадцати минут благодатного воздействия косметической маски не только нежно увлажнилась Геленина бронзовая от загара, солнцем высушенная кожа лица, но и — поскольку тем временем его петушок не дремал — сладостно разомлело все ее тело; когда потом она лежала на спине и, расслабившись, блаженно отдыхала, наступил черед снятия питательной маски. Он покрыл поцелуями ее лицо, ах, боже, желток и мед, самая восхитительная маска на свете. А каков результат! Поистине абсолютный. Ничего не пропало впустую — Гелена маской умастила свою кожу, а он, используя ее уже использованную маску, досыта полакомился.

И разве удивительно, что после такого роскошного десерта он внял ее доводам; взвесив все основательно, он счел их вполне р а з у м н ы м и. Она убедила его, что о таком серьезном шаге должна посоветоваться с сестрой, образцовой матерью двух очаровательных детишек и обладательницей множества бесценных сведений, которыми охотно и по-дружески с нею поделится... и так далее и тому подобное, кто все это упомнит. Она молола, словно одурманенная алкоголем — а это был безусловный признак того, что на сей раз во время косметического «сеанса» он исполнил свои обязанности на высоком уровне. С одной стороны, ее восторженное одобрение порадовало Славика, поскольку похвалами, сказать по правде, она особенно не баловала его, но с другой стороны (а как же иначе?),— и в этом деле была закавыка — ее милая болтовня была в той или иной мере следствием затухающей эйфории, а при таких обстоятельствах ему никогда т о ч н о не удавалось определить, что она думает в действительности и что ей лишь кажется, что она действительно думает, другими словами, выражаясь просто и понятно: любовное наслаждение и опьянение приводили ее в особое состояние, называемое pseudologia phantastica[1], при котором, как всем известно, субъект перестает отличать правду от вымысла и прибегает к обманам bona fide, то бишь — без злого умысла, как, например, ребенок, хвастающий тем, что дома у него полно разных разностей, что он был там-то и там, делал то-то и

[1] Патологическое фантазирование *(лат.)*.

то-то, сочиняет истории, которых вовсе не было, но при этом уснащает их весьма убедительными подробностями — вот почему при оценке таких излияний следует быть крайне осторожным (особенно если они касаются сексуальных отклонений), и в то же время (а как же иначе?) нельзя их совсем игнорировать.

Очевидно, Славик осознавал подстерегающие опасности, и если все же внял Гелениным доводам, то действовал в основном под нажимом объективных обстоятельств; поразмыслив, он заключил, что ее предложение сейчас наиболее приемлемое из всех возможных. Гленина сестра Катарина вела — в отличие от Гелены — нормальную семейную жизнь (такой же катастрофически моногамный тип, как и ты, камрад). Но что, пожалуй, в еще большей степени подвигло его согласиться — это уверенность, что Катарина наверняка не позволит Гелене никаких возлияний, которым он едва ли мог воспрепятствовать, если бы она, вопреки своему решению круто изменить привычный образ жизни, все-таки не устояла перед соблазном.

Кто знает, может, ребенок наконец принесет ей «успокоение души», подумал он, глядя на узкий цилиндрический предмет с белой крышкой, в котором содержался лак для волос. Возле него стоял IGORA ROYAL, который, по словам Гелены, при всех прочих качествах обладал еще и необыкновенными косметическими возможностями; но пошли дальше, уважаемые, осмотр продолжается: PALETTE COLOR SET, TAFT GRÜN, PALET VITAL — ах, да, это средство позволяет легко расчесывать волосы после мытья. Сколько раз он наблюдал, как она тщательно и упорно втирала его в волосы... а вот — ароматный VIONEL SPRAY для интимных потребностей женщины, который самым современным образом решает проблему повседневной гигиены и незаменим прежде всего в период месячных, при повышенной нервной возбудимости, в жаркую погоду и так далее... Тьфу, черт, звонит телефон, как раз когда мы дошли до граненого пластмассового флакончика, на основании которого мелкими буквами напечатаны слова на непонятном мне языке: ...zsíros és normál bőrre[1]... Это могла бы перевести наша уборщица Амалия Кедрова, да, уважаемые, вот такие мы фон-бароны, даже уборщицу можем позволить себе, хотя ныне принято говорить не уборщица, а помощница по хозяйству, к черту, пускай звонят, по крайней мере еще минуту побуду в ванной, я ведь еще не успел и позавтракать, в этом граненом флакончике наверняка что-то сногсшибательное, по цвету не отличишь от виски... так твою курочку, надеюсь, Гелена не начала заниматься такими фокусами, с нее станет, в последний раз по чистой случайности я обнаружил в бутылке, которая, судя по этикетке, должна была содержать уксус, триста граммов отечественного рома, черт подери, телефон, похоже, не собирается заткнуться...

Петер Славик прошел из ванной в гостиную, поднял телефонную трубку и с этого момента начался его день, который, как и обычно, обещал быть с самого утра полным нервного напряжения.

Как оказалось, на другом конце провода был его монтажер, который сообщил, что по приказу «высших инстанций», незамедлительно вступающему в силу, то есть с сегодняшнего дня, он не является членом съемочной группы Славика. К нему, по его словам, пришла этакая молодая герла — ни спереди, ни сзади — и о б ъ я с н и л а, что поступает на его место. Петрушка, очевидно более всего раздосадованный тем, что с ним ведутся переговоры на таком низком уровне («ну пришел бы, сказал мне это директор, ладно, я б еще поразмыслил»), перед девицей особо не расшаркивался. Когда она, бедняжка, не на шутку перепуганная, призналась, что вся ее предыдущая прак-

[1] Для жирной и нормальной кожи *(венг.)*.

тика сводилась к монтажу репортерских снимков, Петрушка, прежде чем — как он выразился — вежливо и пристойно выдворить ее из своей квартиры, посоветовал ей не без доли своего знаменитого юмора: «С вашей практикой, барышня, вы можете разве что резать материю на трусики». На его беду, оказалось, что упомянутая девица не какая-то там «герла», а племянница замдиректора Карола Регоры. Сгоряча она пошла и нажаловалась дядюшке на «хама» Петрушку, в результате чего возник серьезный дисциплинарный проступок, и взбешенный замдиректора теперь уже требовал не перевода Петрушки в другую съемочную группу, а настаивал на срочном, строгом и примерном взыскании, иными словами — закончил монтажер свое экспозе,— «как видите, пан режиссер, хреново все получилось».

— Пан Петрушка, выпейте рюмку водки и не паникуйте,— спокойно сказал Славик и невольно улыбнулся, когда тот выпалил:

— Я уж три хлопнул, черт бы все побрал!

— Тогда хлопните еще одну, но больше ни капли. К трем часам вы должны быть трезвы как стеклышко.

— Ну уж извините, я хоть раз приходил на съемку подвыпившим? — ударился в амбицию Петрушка, но тут же удовлетворенно засмеялся: — Значит, все в порядке, да? Будем продолжать всем чертям назло, так, что ли? Я знал, что вы все уладите, пан режиссер. Но все-таки намыльте ему холку, этому чинуше, он что, голливудский бог, чтоб ни в грош не ставить старого Петрушку. Мать его так, ведь я был монтажером уже тогда, когда он еще телевизор от аквариума не мог отличить...

Петрушка метал громы и молнии; он работал на телевидении двадцать лет, и его воспоминания могли бы затянуться еще на несколько часов кряду, поэтому Славик снова заверил его, что они будут работать точно по графику, и повесил трубку.

Сегодня в его распоряжении телестудия была от 15.00 до 18.00, да и потом, поскольку исполнитель главной роли не был занят в вечернем спектакле, они могли продолжить съемки до полуночи; это было на редкость удачным стечением обстоятельств, и потому неожиданно возникшие осложнения с Петрушкой весьма раздосадовали его. А ведь он должен сохранять видимость спокойствия и несокрушимой самоуверенности. Чем дольше занимался он своим ремеслом, постоянно улаживая множество непредвиденных конфликтов и псевдоконфликтов, тем больше убеждался, что самое легкое в его деле — собственно творческая работа; но чтобы вообще подступиться к ней, надо было заставить себя относиться терпимо ко всем этим неизбежным каверзам. Как человек, призванный сплотить группу людей и руководить ею, он вскоре понял, что для этого требуется энергия, настойчивость, целеустремленность, крепкие нервы, но и неизбежная доза твердости, понял и то, что подчас не обойтись ему и без блефа. Звонок Петрушки взбудоражил его, но уверенность, с которой тот надеялся, что ОН уладит дело, при всем том приятно пощекотала его самолюбие; ему льстила слава человека, на которого всегда можно положиться. И кроме того, как приятно было услышать о себе: это не какой-нибудь мозгляк, с каждым может по-людски поговорить, твердый, но симпатяга.

Нередко случалось, что даже люди, которых он почти совсем не знал, делились с ним самыми интимными переживаниями; его определенная отстраненность и холодная вежливость создавали впечатление, будто чужие проблемы его не только не занимают, но и нагоняют тоску. Но тем настоятельнее многие испытывали потребность преодолеть эту показную сдержанность Славика, словно им жизненно необходимо было убедить его, что их заботы отнюдь не мелочны и несомненно заслуживают внимания. В самом деле, иные буквально навязывали ему свои проблемы, не подозревая, что именно к этому он и стремится; всегда, когда ему удавалась такая уловка, он испытывал явное

удовлетворение; это походило на утоленную страсть энтомолога, заполучившего в коллекцию новый редкий экземпляр.

От каждого члена группы он требовал лишь безукоризненного исполнения предписанных обязанностей. К любой съемке готовился вдумчиво и досконально — в деталях разрабатывал композицию всех кадров, а главного оператора обязывал лишь четко руководить бригадой и следить за идеальным освещением сцены, чем, собственно, низводил его — как и прочих членов группы — до уровня механического исполнителя своих указаний. Многим это не нравилось, но со временем ему таки удалось создать сравнительно постоянный коллектив из превосходных ремесленников, давно утративших творческие помыслы.

Хотя он и снискал своей работой уважение и авторитет, положение его было не из самых завидных: он был подозрительно удачливым молодым человеком. Многим казалось, что все в этом мире удается ему слишком легко, что счастья у него куда больше, чем выпадает на долю других, что к нему плывут только хорошие карты, что вытягивает он одни только козыри — между нами, коллега, не кажется ли вам это несколько сомнительным? Кто знает, играет ли он честную игру, кто знает, не вытягивает ли он эти козыри из рукава, или, может, ему кто-то подыгрывает, шу-шу-шу, что ни говори, а в его-то годы человек не мог бы добиться такого положения, если бы за его спиной не стоял «всемизвестнокто», с таким дядюшкой, конечно, только и делать карьеру, нет-нет чего там — память у нас не отшибло, мы еще не забыли, как на него свалилась режиссура, хотя квалификации для этого ой-ой как маловато, в самом деле, мы тоже не дураки, нечего нам очки втирать, конечно, спору нет, в общем-то он парень способный, ловкий во всех отношениях, и жена у него ловкая, хи-хи-хи, без нее ему бы туго пришлось, эта штучка своего не упустит, умеет вертеться, хи-хи-хи, особенно в постели, нас не проведешь...

Вся эта история с Петрушкой гроша ломаного не стоит, думал Славик, листая записную книжку, и существует лишь единственный способ, как уладить ее — оружием самого крупного калибра; он улыбнулся, набирая номер замдиректора Регоры.

Когда на другом конце провода раздался знакомый голос, Славик сразу же взял строгий деловой тон:

— Я звоню по делу члена моей группы товарища Петрушки. Считаю, товарищ замдиректора, что вы превысили границы своих полномочий. Своими самочинными действиями вы нарушаете работу над инсценировкой, чем, по сути, срываете уже утвержденный производственный план. Думается, что ваши действия нельзя рассматривать иначе, как грубое злоупотребление должностным положением...

— Постойте! — У Регоры зашлось дыхание; официальный тон Славика, очевидно, огорошил его.— В чем, собственно, дело, товарищ режиссер? Я что-то не пойму...

— Мне кажется, я достаточно ясно и внятно вам объяснил, товарищ замдиректора. Видимо, мне не остается ничего другого, как ознакомить с делом товарища Петрушки вышестоящие лица.

— С делом? — переспросил Регора недоуменно.— С каким делом? Вероятно, произошло какое-то недоразумение.

— Боюсь, что я вас не вполне понимаю, товарищ замдиректора. Что же получается: травля людей для вас лишь недоразумение?

Чуть помедлив, превозмогая злость, Регора сказал:

— Я правда в толк не возьму, что́ вас так возмутило, товарищ режиссер... Это же сущая чепуха.

— По-вашему, чепуха? Ваша позиция меня удивляет, товарищ замдиректора. Сдается, вы забываете, что вы ответственный руководящий работник социалистической организации, а не...

— Давайте кончим, товарищ режиссер! — прервал его Регора.— Спешу на аэродром. Видимо, меня неправильно информировали. У ме-

ня создалось впечатление, что эта передвижка происходит с вашего согласия...— Он дипломатично замолчал.

Славик смекнул: он дает мне шанс, было бы ошибкой не пойти на предложенный компромисс...

— И мне весьма огорчительно, что дело приняло такой неприятный оборот,— сказал он примирительно. И добавил: — Короче говоря, товарищ Петрушка и впредь остается членом моей съемочной группы. Я вас правильно понял?

Славик мог, конечно, воздержаться от этого уточнения, но не устоял перед соблазном — пусть Регора выскажется без обиняков.

Через секунду-другую он услышал уклончивую фразу такого содержания:

— Неясности необходимо прояснить.

— Я придерживаюсь того же мнения,— согласился Славик, довольно ухмыляясь.— Приятного полета, товарищ замдиректора.

— Спасибо, товарищ режиссер... Кстати, не хотите ли что-нибудь передать вашей жене? Я мог бы ее навестить. Она же в Праге, не правда ли?

Ну ясно, Королко, тебе да не знать этого!

— Как всегда, вы потрясающе осведомлены. Благодарю за любезность, но завтра вечером она уже возвращается...

— Так скоро? — спросил Регора с деланной наивностью и тут же добавил, с наслаждением смакуя каждое слово: — А я-то думал, в наркологической лечебнице пекутся о своих пациентах значительно дольше.— И прежде чем Славик собрался с силами ответить, Регора с довольным смешком повесил трубку.

С минуту Славик растерянно держал трубку в руке, не зная, смеяться ли ему или рвать и метать. В конце концов, баш на баш, рассудил он. Мы оба добились своего. Каждый получил что хотел; я — Петрушку, а он проехался на мой счет.

В отношениях между Славиком и замдиректора Регорой чувствовалась напряженность, но, по общему мнению, это был всего лишь отвлекающий маневр, оговоренный прием, рассчитанный на наивных идиотов — кто же попадется им на удочку, мы-то все знаем, нас не поймаешь на фуфу, коллеги.

Петер Славик окончил сценарный факультет Института музыкального и театрального искусства более или менее по необходимости — его не приняли на факультет кино и телевидения пражской Академии художеств. Но коль скоро он хотел стать режиссером (а он хотел), то ему не оставалось ничего другого, как терпеливо работать, учиться и ждать случая. Учиться, набираться опыта, но где и как? Конечно же старым, опробованным способом — в съемочной группе. Он, естественно, с большей охотой работал бы на киностудии, но ему удалось зацепиться на телевидении: паруса да снасти не в нашей власти, высказалась по этому поводу Гелена, знаток цитат, пословиц и поговорок. Четыре года он работал ассистентом режиссера, набирался опыта и ждал случая — и случай представился. Конечно, он мог представиться и менее драматичным образом, но представиться-таки должен был. Режиссера, которому он ассистировал, незадолго до начала съемки хватил инфаркт — нет, упаси бог, режиссер не умер, нет, и все же самым счастливым этот старт не назовешь: карьеру свою Славик построил на несчастье другого — и такие слышались разговорчики. Что он мог возразить на это? Как защититься? Он послушался совета «пострадавшего» режиссера Светского — э, плюнь на все, с дураками не спорят, зряшная трата времени и сил. То был отличный режиссер и умный человек. Славик понимал свое счастье — не такое уж это избитое сочетание,— он многому научился у Светского и был ему за то благодарен; Светский дал ему возможность приобщиться к инсценировке уже на первых порах, и Славику показалось совершенно логичным, что после этого злополучного инфаркта и по жела-

нию самого Светского завершить работу обязали его. В том-то и дело! И хотя он отснял всю инсценировку сам, все равно считал, что это лишь завершение работы, и признание (они получили главный приз на большом международном фестивале) воспринимал как успех Светского. Ложная скромность? Скорей объективная констатация: в скромности его вряд ли можно было упрекнуть. Понятно, это вдохновило его, он убедился, что в какой-то степени овладел если не чем иным, то хотя бы основами ремесла, обрел в себе уверенность и даже почувствовал, что в будущем у него достанет способностей создавать и собственные вещи.

Кто был автором сплетни, ставшей причиной напряженных отношений Славика и замдиректора Регоры? Да так ли уж это важно? Сплетня, пожалуй, потому и есть сплетня, что автором ее является как бы не конкретное лицо, она рождается как бы коллективным подсознанием, благодаря чему и может стать всеобщим достоянием. Сплетни подобны стихийным бедствиям; можно ли кого-нибудь обвинить в землетрясении, кроме абстрактной Природы? Само собой, причины землетрясения существуют, наука знает о них,— не правда ли? — как существует и причина достоверной информации: Славик получил режиссуру потому, что ему покровительствовал Регора, а мы-то знаем, почему Регора покровительствует ему, дело ясное — ведь жена Славика и Регора... Как? И вы не знаете, что они путаются? Охо-хо, уже долгие годы...

Итак, причина существовала, неправдоподобная, бессмысленная, но тем более благодарная — чем невероятнее причина, тем упорнее сплетня цепляется за жизнь. Гелена действительно была знакома с Регорой уже давно, как была знакома и со многими другими так называемыми сильными мира сего, с Регорой они были даже на «ты»; разве этого мало?! Так почему ж в таком случае не допустить, что они спят вместе? Возможно ли? Конечно, на этом свете все возможно!

Гелена, узнав об этом, была приятно польщена; смеялась довольно, сладко, будто он почесывал ее по животику. А Регора? Тот молча с высоты своего величия улыбался, как-никак ниже его достоинства отрицать такую вопиющую бессмыслицу; особенно если она цветет пышным цветом и без его усилий. Лишь по истечении времени, когда сплетне уже грозило забвение, когда родились сплетни новые, что ж, пришла пора оживить ее, бедняжку, ведь она еще не совсем испустила дух — она просто затаилась. Ну а как оживить ее? Да хотя бы тем, что ее опровергнуть! Замдиректора Регора вдруг, ни с того ни с сего, по прошествии полутора лет опроверг на профсоюзном собрании ничем не оправданные пересуды, которые, к сожалению, все еще бытуют в определенных кругах и которые суть не что иное, как гнусные, каверзные сплетни, подрывающие основы социалистической морали... все мы хорошо знаем, что товарищ Славик был назначен на должность режиссера по общеизвестным причинам, и правомерность этого назначения он более чем убедительно доказал успешной самостоятельной работой и так далее и тому подобное, кто все это упомнит?

То было смелое, веское, принципиальное и честное выступление — сплетня аж визжала от радости; а Славик был уверен, что Регора снова мило потешается — на его счет. Но мог ли он в чем-либо упрекнуть его? Пожалуй, лишь в бестактной неуместности опровержения — пусть даже с самыми лучшими намерениями.

Что оставалось Славику делать? Набить морду всякому, кто говорил, что Гелена путается с Регорой? Он окончательно выставил бы себя на посмешище, признав тем самым, что допускает такую возможность. Делать вид, что ему все до лампочки? Он подозревает, что это правда, поэтому и молчит, будто воды в рот набрал, вы же знаете, пан коллега, без ветра и лист не шелохнется, нет дыма без огня, хи-хи-хи, возможно...

ВОЗМОЖНО — вот оно, то самое злополучное словечко. Никакой уверенности, но сколько же этих возможностей! Унизительное бессилие, не за что уцепиться, нет той колючки, которую он мог бы вытащить из пятки, хотя болезненно ощущает, что в пятку что-то вонзилось. Подозрение, да, мучит его подозрение, он подозревает ее с тех пор, как знает, хотя — смешной парадокс — Гелена убеждена в обратном. Ты холоден, как мороженая селедка, ты б, наверное, и бровью не повел, затащи я чужого мужика в нашу постель! Она упрекала его именно в равнодушии! Знала б она, как ошибается! Если б догадывалась, как пожирает его ревность! А может, догадывается? Может, нарочно возбуждает в нем неуверенность? Хотя нет, людям надо доверять, нельзя же думать, что она уж такая бестия. Нет! Ему удалось вполне обмануть ее этой тяжко вымученной способностью самообладания. А что за этим скрывается? Страх быть осмеянным. Нет, он никогда не даст понять, никогда, ни при каких обстоятельствах, что страдает или — еще того хуже — ревнует. Ревность, как, впрочем, и всякую страсть, он считал проявлением инфантильности, романтической трухой, недостойной взрослого человека. Со страстями то же, что с корью, говорил он. В детстве человеку трудно от нее уберечься, что ж, в конце концов, каждый возраст имеет право на свои болезни. Но корь у взрослого человека? Извините, это же просто смешно: ревность — пошлая штуковина, проявление жалкой слабости, он что, какой-нибудь Отелло?

Наконец он просто соблюдает договор; они же с самого начала договорились о независимости и взаимном доверии. Честный уговор, достойный; каждый должен уважать независимость другого, мы должны доверять друг другу. Так твою курочку, до чего бы он теперь докатился, если б не доверял? До психушки, ей-богу! Если б он не доверял Гелене, то непременно бы думал, что у нее любовники по всей республике. И какие любовники — одни тузы!

Гелена работала редактором культурной рубрики одного популярного иллюстрированного еженедельника. Писала об изобразительном искусстве, музыке, кино, театре, о литературе — обо всем; для этого она обладала наивысшей квалификацией — ни в чем, как положено, не разбиралась; кончила журфак. Фестивали, вернисажи, концерты, премьеры — специализировалась в основном на интервью. Гелена Барлова: гарантия остроумного, содержательного разговора. Она оставила свою девичью фамилию — общепринятая мода среди художников. Боже, со сколькими блистательными людьми из артистической братии она знакома! Со сколькими посидела за рюмочкой! Ограничивалась ли только этим? Полной уверенности у него не было, хотя Гелена с огромным удовольствием намекала на всякое; она мастерски владеет искусством возбуждающего намека. А Славик? Он неистовствал, ревновал, страдал, но, естественно, про себя; «улыбка на устах, но сердцем я устал»[1], так твою курочку. Тебя не интересует, чем мы занимались? — подкалывала она его. Наверное, ты интервьюировала, пожимал он плечами. Это твоя профессия. Мы же договорились, правда? Я верю тебе. Знаю, случись что-то бóльшее, ты бы мне сказала. А если б вы и переспали — вершина его мазохизма,— что из этого? Главное, мы любим друг друга. Ах ты, моська, говори, кто она, я ей глаза выцарапаю, и она ревновала лишь шутки ради, это стало уже неким ритуалом. Но иногда ему казалось, что она не шутит; словно его равнодушие вызывало в ней опасения: не потому ли он такой, что у него действительно кто-то есть? Он позволяет себе кое-какие вольности, поэтому так легко и мне бы позволил. Но он ничего себе не позволял, придерживаясь писания: и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними; по существу он был верен ей; скорее из удобства, нежели из принципа: зачем усложнять себе жизнь, когда все имеешь дома, да еще в превосходной упаковке — Гелена це-

[1] К. Г. Маха. «Май» *(перевод Д. Самойлова).*

ликом устраивала его, а ему таки немало приходилось потрудиться, чтобы устраивать ее.

И еще была одна мука — ее пьянство, ах, черт бы побрал это пьянство, вот что высасывало из него кровь. Он зачастую думал, что мог бы простить ей любую измену, да, пусть лучше неверность — лишь бы не пила. Его просто воротило от ее пьянства. В подпитии она устраивала дикие сцены, даже вспоминать гадко. Он ничего не мог с собой поделать — пьяная, она вызывала в нем отвращение, презрение, ненависть, это оскорбляло его, унижало, более всего доказывало, что его отрешенность от всех страстей, состояние, к которому он долго и упорно стремился, так и осталось всего лишь благим желанием. А это порождало тревогу; когда-то он даже вообразить не мог, что сможет полюбить женщину, которую не уважает, и вдруг такое непотребство — он терял к ней уважение, но продолжал любить, и что еще хуже, причин, которые должны были бы убивать его любовь, становилось все больше, так твою курочку, а любви не убавлялось. И уж самое скверное: этот явный признак духовного упадка не вызывал в нем горечи (тревожный сигнал!), а вовсе наоборот. Славик был — непостижимо глупая штука — просто счастлив. Любовь и мечта о потомстве по временам сообща, в едином ритме, ударяли в голову. Ему даже казалось, что подчас он прямо-таки физически ощущает движение плода в своей утробе. Ну и что? Если мать почти сразу после зачатия чувствует, что это чудо свершилось, почему же нечто подобное не может происходить и с отцом? Наверное, это какой-то атавизм, наверное, именно так природа и вознаграждает отцов, которые это заслуживают, думал он весело, испытывая невообразимую гордость, словно основатель королевской династии.

Славик повел ноздрями; почуял запах яичницы, и из кухни донеслось слабое шипение газовой плиты, к которому вскоре добавилось бульканье кипящей воды.

— Бьюсь об заклад, что вы ишшо не завтракали, пан режиссер,— прошепелявила старая, сгорбленная женщина с впалым, беззубым ртом и маленьким морщинистым лицом, на котором угрожающе торчал загнутый книзу острый нос; казалось, он торчал там только ради того, чтобы на нем могли держаться очки с невероятно толстыми стеклами. На старушке был закрытый передник, да еще бежевая шерстяная кофта, застегнутая на все пуговицы, хотя стояла такая жара, что Славику было тяжко даже в трусах. Наверняка обливается потом, бедняга; он припомнил, что Амалия Кедрова, не снимая, носит эту кофту с прошлого рождества, с тех пор, как Гелена подарила ее, и с удивлением подумал: она носит кофту не потому, что ей холодно, а скорей всего хочет показать, как ценит наше внимание. Впрочем, что касается Амалии Кедровой, ни в чем нельзя быть уверенным, может, вовсе наоборот, может, носит она кофту как «укор», потому что чувствует себя униженной и оскорбленной.

— Опять вы нагишом,— сказала старушка, укоризненно глядя на его голую грудь, покрытую редкими волосками, между которыми сверкали мелкие капли пота.— А мой старик был волосатый, чисто обезьяна,— она обнажила десны, визгливо засмеялась, а потом строго, как старый капрал, приказала: — Ступайте накиньте рубашку, не то, глядишь, чахотку подхватите!

Он было попробовал возразить, но, заметив ее хмурый взгляд, лишь робко пролепетал: «Жарища-то какая» — и раздраженно хлопнул дверью; уже по горло был сыт ее придирками. По договоренности она должна была «служить» у них три раза в неделю, но сейчас, когда Гелена была в отъезде, приходила едва ли не каждый день, хотя ему-то казалось это совершенно излишним. Всю ее уборку — пропылесосить ковры, протереть мебель, помыть кухонную посуду — он бы играючи сделал за двадцать минут, в то время как старушенция копо-

шилась с этим по меньшей мере два часа, а еще битый час варила и попивала кофе, причем своей болтовней только отнимала у него время. Впрочем, она и приходит сюда лишь бы поговорить, потому как скучает дома одна и жаждет общества, подумал он с неприязнью.

Когда однажды Гелена сказала ему, что наняла уборщицу, он вспыхнул от злобы. Не стыдно тебе перед этой измученной старухой? — орал он как сумасшедший. Если ты привыкла к таким барским замашкам, то на меня не рассчитывай! Отвратительно! Что и кому ты хочешь доказать? Типичные повадки нуворишей! Моя мать всю жизнь гнула спину, да, представь себе, одно время даже уборщицей работала! А теперь мне прикажешь нанять уборщицу?

Но Гелена все перевернула с ног на голову. В конце концов оказалось, что уборщицу она наняла вовсе не для своего удобства, а это был, в сущности, с ее стороны благотворительный жест. Та якобы сама предложила свои услуги, поскольку на пенсию, которую получает, нелегко прожить, и потому его денежки еще как ей пригодятся. Он пытался объяснить, что речь идет не о деньгах, но Гелена не дала ему договорить.

И кстати, да будет тебе известно, она убирается не только у нас, но и у всеми уважаемого товарища доцента Варади, и еще, кажется, в двух-трех домах. Так что будь любезен, заткнись, потому что в нормальной жизни ты ни черта не понимаешь. Жизнь — это нечто другое, чем когда ты расставляешь перед камерой размалеванных идиотов и приказываешь им пороть всякую чушь из своих кретинских сценариев, которые так успешно и на полном серьезе кропаешь. Иди ты знаешь куда, а если уж тебя мучит совесть, так лучше накинь ей сотню или перестань снимать эту хреновину и начни делать что-нибудь путное, полезное. Ну отправь же наконец этих словацких графинь, княгинь и герцогинь на какую-нибудь фабрику или в коровник... Ну ладно, камрад, извини, ты же знаешь, это я не то чтоб всерьез... знаю, что у тебя уже в печенках сидят эти салонные штучки-дрючки, что ты с радостью занялся бы современностью... А старуху Кедрову выбрось из головы! Если тебя мучит совесть, что эксплуатируешь ее, ради бога успокойся. Она прикидывается жалкой и несчастной, но даю голову на отсечение, что в матрасах у нее столько грошей, что тебе до гроба не выколотить. Ноет, ноет, а под сурдинку ржет над нами — раз они такие идиоты, пускай гонят монету. Вот такие дела, камрад...

Так твою курочку, когда продираешься сквозь Геленину логику... мысли его прервало настойчивое названивание телефона.

— Это звонят милоспани[1],— заглянула в дверь Кедрова.— По-быстрому оденьтеся, не разговаривать же вам с ними нагишом, они на это больно чувствительные.

Он натянул джинсы, несмотря на запреты старой Кедровой, для которой они были «срамной спецовкой, в какой ходют нешто побродяжки», и хотя телефон без передыху трезвонил, спокойно стал рыться в шкафу в поисках рубашки.

Завороженно уставился на Геленино вечернее платье; оно было из шелковой парчи грязно-розового цвета, сшитое в романтическом стиле с пышно собранными рукавами и сильно расклешенной юбкой. Купил он его из чистого озорства. Знал ее вкус и понимал, что она никогда это платье не наденет; просто хотел проверить, насколько серьезно она относится к своим принципам; самыми излюбленными ее словечками в ту пору были ПРИНЦИПИАЛЬНО и АБСОЛЮТНО.

Подарки, которыми мы хотим по-настоящему порадовать любимого человека, принципиально должны быть абсолютно бесполезными, утверждала она с обезоруживающей непосредственностью. Он до сих пор так и не разобрался, радовалась ли она этому платью или просто изображала радость, чтобы оставаться верной своему принци-

[1] Милостивая пани *(словацк. разг.)*.

ну абсолютной бесполезности истинных подарков. Во всяком случае точно одно — это платье она ни разу не надела.

Наконец он вытащил из шкафа легкую рубашку палево-красного цвета. Телефон продолжал упрямо названивать — это значило, что Кедрова была несомненно права: звонят «милоспани», как она называла его мать. Наверняка это мама, кто бы еще так долго торчал у телефона, если никто не отзывается. Ему сдавалось, что тут явно чувствуется материнская властная настойчивость, более того, возмущение: как это кто-то позволяет себе не поднимать трубки, когда звоню Я — Алжбета Славикова! Взглянув на часы, он утвердился в своем предположении: в это время мать отправлялась за покупками и никогда не забывала позвонить ему из телефонной будки рядом с магазином самообслуживания.

Он знал, что мать до сих пор не примирилась с его женитьбой, хотя в последнее время словно бы покорилась судьбе и как-то одеревенела; или ее уже утомила многолетняя враждебность?

С первой минуты знакомства отношения между нею и Геленой странным образом усложнились.

Барлова? — спросила мать настороженно и чуть попятилась; словно уже одно это слово[1] вызвало в ней недоверие.

Да, Барлова. Гелена Барлова, повторила Гелена, недоуменно глядя на мать.

Странная фамилия.

Вам не нравится? Какая уж есть, я не виновата, Гелена рассмеялась, смех был спонтанный, заразительный, Славик присоединился. Но, увидев выражение материнского лица, виновато умолк. У матери был такой вид, будто их смех больно ранил ее, будто даже он, сын, потешается над ней, постыдно предает ее.

Извините, пани Славикова, сказала Гелена, видите ли, это слово действует на некоторых удручающе. Поэтому я смеялась.

Не понимаю. Какое слово?

Барла. Барлова, ответила Гелена и снова коротко, нервозно засмеялась.

Положение ухудшалось, теперь мать и вправду обиделась. Гелена умолкла, опустила уголки губ, как-то горестно подернула плечами и закурила сигарету. Да, горестно, но почему-то получилось резко, злобно, будто мать действовала ей на нервы.

Много курите? — спросила мать, но это прозвучало скорее обвинением, нежели вопросом.

Достаточно, отрезала Гелена. Она покраснела и раздраженно добавила: А случается и выпиваю. Вызывающе поглядела на мать: Что вам еще угодно знать, товарищ следователь?

Мать резко дернулась всем телом, словно Гелена вонзила ей нож под ребра, у нее задрожали, посинели губы.

Черт побери, может, бросите дурака валять! Славик почувствовал, что пришло время вмешаться, дело принимало опасный оборот. Вы с ума посходили, что ли?

С минуту казалось, его слова подлили масла в огонь — похоже было, что ему удалось оскорбить обеих разом. Однако нет, слава богу, должно быть, каждая из них сказала себе: кто поумнее — уступит. Гелена что-то буркнула, но прозвучало это примирительно, и мать подхватила этот тон: Пожалуй, я имею право спросить, и сжала ладонью горло.

Непосредственный конфликт был предотвращен, и Славик надеялся, что наконец-то наступит прочный мир, но, как вскоре выяснилось, это было всего лишь короткое перемирие.

Вы, значит, решили пожениться? Мать честно пыталась преодолеть свою неприязнь, в подкраске вопроса звучало разве что укоризненное разочарование. Да он и не ожидал другого: нельзя же было

[1] По-словацки «barla» — костыль.

надеяться, что она будет прыгать от радости, когда ее известят о том, что уже решено и подписано.

Сейчас самое время познакомиться с вашими родителями, Гелена, не так ли? Мать даже улыбнулась; и правда, она шла им навстречу. Славик с благодарностью погладил ее по волосам и легонько чмокнул в лоб. Положение явно улучшалось. А у него в сбросе был еще главный козырь — их общая судьба. Он делал ставку на эту минуту, тщательно, с полной отдачей своего режиссерского таланта, подготавливая ее, — это должна была быть деликатная, умеренно трогательная, но не сентиментальная сценка, которая навсегда бы сблизила обеих женщин. Но он просчитался. Упустил удобный момент, Гелена опередила его, весьма неудачно проявив самостоятельность.

К сожалению, не получится. Их уже нет в живых, сказала она и легкомысленно добавила: Даже я их как следует не узнала.

Про себя Славик отчаянно выкрикнул: УЖАСНО! Хотя ее признание и соответствовало истине, но, боже, какая манера! Она оскорбила его эстетический вкус. Так же нельзя — слова прозвучали бесчувственно, почти грубо. Он укоризненно поглядел ей в глаза: ты все портишь, зачем уж так? Но тут же увидел: она с трудом сдерживала слезы, отсюда и эта грубость; он осознал — макияж, рисовка, маска, она сама страшно расстроена.

Мать избавила его от опасений, серьезность Геленииного признания подействовала на нее вопреки манере, в какой оно было сделано. Мать подошла к ней и с естественным пониманием, не нуждавшимся в словах, положила на плечо ей руку. Ее лицо выражало все: сострадание, участие и главное — что его удивило — какое-то огромное облегчение. Да, странно; будто ей стало легче от того, что родители Гелены умерли, будто она ждала чего-то гораздо худшего.

Ты сказал ей? — спросила мать.

Он кивнул.

Мать легко обняла Гелену за плечи; они сели на диван. Да, точно так он это себе представлял. они должны были сблизиться.

Родители матери, Мартин Вавровский и Мария Галова, были родом из Тренчина. Мартин Вавровский, дед Славика, служил в пограничных таможенных частях, жили они в Молдаве над Бодвой. Отец не был плохим человеком, только вот с мадьярами не умел поладить, говорила мать о Славиковом деде. А кроме нас там жили почти одни мадьяры. Но отец ко всему относился легко. Уж и того хватало, что словак-таможенник, так он еще вдобавок был мужчина хоть куда. Очень нравился мадьяркам. Мама часто плакала. А становилось там все хуже и хуже. Когда в Германии объявился Гитлер, мадьяры куда как расхрабрились. Мама хотела, чтоб мы вернулись домой, в Словакию, а отец знай смеялся, куда, мол, нам уезжать, мы и так в Словакии. Уезжать — говорил отец — нам негоже, ведь если уедем, мадьяры порушат республику. Отец ко всему относился легко, это была его самая большая ошибка. Однажды утром принесли его исколотого ножом. В аккурат шел от одной мадьярки. (Славик гордился своим дедом, мужественным словацким таможенником Мартином Вавровским, защищавшим единство республики на всех фронтах.) Мне было тогда десять лет. Потом мы с мамой вернулись в Гренчин, а год спустя мама умерла от чахотки. Мне было одиннадцать.

Да, судьба у них была общая, обе были сироты. И казалось, это их сближает; сидели они рядом, и мать спросила: Сколько вам было лет, Геленка? Мне было одиннадцать.

Вы уже об этом сказали.

Снова зазвучала дисгармония — говорили они об одном и том же, но Геленин подход к данной теме был слишком строгим и деловым, словно по натуре она была недостаточно чуткой. Мать сказала примирительно: Может, мне было тяжелей, чем вам.

Может.

А как они умерли?

Славик сидел как на иголках. Мать непроизвольно затронула щекотливый вопрос. Гелена не любила об этом говорить, он и то не знал никаких подробностей. Умерли, вот и весь сказ, осадила она его однажды раздраженно. Какая разница, как они умерли. Терпеть не могу такие дурацкие вопросы. Он понимал ее: раз не хочет говорить — значит, есть на то основания,— больше он ее и не спрашивал. Но с матерью дело обстояло иначе, он надеялся, что Гелена это поймет.

Не помню.

Мать с минуту удивленно на нее смотрела, все более и более тревожась.

Но вы все-таки должны знать, как они умерли? Вам никто об этом не рассказывал? Мать всю жизнь отличалась последовательностью.

Гелена дернула плечом, он знал: ничего хорошего этот жест не предвещает. И следом услыхал: Разве это важно?

Мать возмущенно приоткрыла рот: Как так?

Она не любит вспоминать об этом, попытался он спасти положение.

Похоже, его слова не убедили мать, но после короткого колебания она все-таки снисходительно кивнула: Понятно.

А чуть помедлив, сочувственно спросила: Это было так тяжко? Да, она умела быть до невозможности последовательной, вот уж правда.

Геленины губы кривились в легкой усмешке; Славик в мгновение ока выпалил: Это случилось в войну.

Гелена ведь только и сказала ему: Умерли во время войны. А дядя меня удочерил. Вот и все.

Однако разве это объяснение?

Мать хочет знать, как они умерли, а не когда умерли. Он сказал это лишь для того, чтобы Гелена умолкла. Он с удовольствием влепил бы ей оплеуху — что ж такое, не может с матерью нормально поговорить, разве не видит, как для нее это важно? А все эти ее идиотские «принципы». Кретинка!

Во время войны? — спросила мать с печальной задумчивостью, а потом резонно заметила: Так, значит, вы на несколько лет старше Петера?

Он опешил, разговор неожиданно пошел по другому руслу.

Правильно. На четыре года.

Он не мог взять в толк, какую цель Гелена преследует. Нарочито стремится к раздору?

Спустя время, когда все уже более или менее утряслось, он тщетно пытался добиться от нее объяснения. Не знаю, я ничего не делала нарочно, просто ужасно разнервничалась, меня до черта злили ее вопросы, может, ты и прав, может, это было нормальное любопытство, но я ничего не могла с собой поделать, мне это казалось до черта унизительным, у нее какая-то противная манера расспрашивать, неприятно, конечно, просто не знаю, почему я так разнервничалась...

У матери уже лопалось терпение: Думаете, это хорошо? Когда женщина на четыре года старше?

Увидим.

Что ж это, на пробу? А не получится... так прощай семья?

Каждый брак — мероприятие рисковое, не правда ли? Никогда нельзя знать заранее, что получится.

Я это знала. Когда выходила замуж, я знала, что всегда буду рядом с мужем. И в радости и в беде!

Она говорила правду. Но у него было такое ощущение, что обе они произносят верные слова, но каким-то неверным образом. Может, это из-за меня, пришло ему в голову. Может, я вношу какую-

то нервозность, потому что сам не могу расслабиться, может они лучше поймут друг друга, если оставлю их наедине.

Пойду приготовлю кофе, сказал он и пошел в кухню.

Ему так и не довелось узнать точно, что произошло между ними в его недолгое отсутствие. Каждая интерпретировала это по-своему, но результат оказался удручающим — началась война, и война не на жизнь, а на смерть. Как всякая гражданская война — ведь сражались друг против друга две бедные сироты.

Она убеждена, что я мало страдала, и не может мне этого простить. Ей кажется, что я незаслуженно была счастлива, что судьба несправедливо добра ко мне. По ее мнению, я не настоящая сирота, говорила Гелена с ядовитой иронией.

А мать: Она просто наглая, невоспитанная, заносчивая потаскуха! Поверь мне, она погубит тебя.

Спору нет, Гелена была далеко не ангел, но мать с такой непримиримостью раздувала все ее действительные и мнимые недостатки, что это не могло кончиться иначе, чем кончилось — ненавистью. Она не умеет готовить, она крикливо одевается, она кокетничает с любым мужиком, курит, пьет, старше тебя, а главное, не забывай про этого прохиндея!

Прохиндеем мать называла Геленииного дядьку, удочерившего ее. Гуго Барла, выдающийся хирург, большой искусник, главным образом по части желчных пузырей. Гуго Барла — «золотые руки». Судя по слухам, которые ходили о его гениальных способностях, можно было полагать, что при операции он пользуется не скальпелем, а магией — будто на животе вместо шрама оставляет меты красоты. Неудивительно, что такая репутация неодолимо влекла к нему обладателей желчных камней; человек, который мог сказать о себе: меня оперировал доцент Барла, автоматически причислялся к сливкам братиславского общества. Живот с автографом доцента Барлы был не обычно разрезанным и зашитым — это был живот стоимостью самое малое в пять тысяч крон; как если бы желчные пузыри, удаленные его «золотыми руками», содержали не желчные камни, а настоящие самоцветы. Особняк с бассейном, дача, рубленая изба, фешенебельные курорты за границей и так далее, и тому подобное, кто все это упомнит...

Но однажды доценту Барле так понравилось кататься на лыжах в швейцарских Альпах, что он решил остаться там н а в с е г д а. А уж чтобы не начинать карьеры на суровой чужбине без гроша в кармане, он ловко успел перевести в швейцарский банк так до конца и не подсчитанный капиталец; когда же на судебном процессе (естественно, в его отсутствие) вдруг выяснилось, что перед прощанием с родной стороной он успел распродать и всю недвижимость, решение о конфискации имущества оказалось чистейшей фикцией. За нанесенный ущерб валютному хозяйству и бегство из республики он, кажется, получил *(условно)* восемь лет.

В трогательно смешном противоречии с какой угодно логикой мать использовала это обстоятельство как свой главный козырь. Ты что, хочешь жениться на женщине, чей дядя продал родину за тридцать сребреников? — для вящей убедительности прибегла она к оригинальной метафоре. Если сделаешь это, твоей карьере — крышка! Вбив себе в голову, что женитьба на Гелене погубит сына, она решила спасти его, и эта возвышенная цель уже заранее освятила все средства. Она использовала любой довод, пусть самый бессмысленный. Не знаю, почему у меня должны быть неприятности из-за того, что ее дядька драпанул за границу, дразнил он мать, разве Гелена повинна в этом? Как раз напротив — Гелена яркий пример патриотизма, захоти, она уехала бы с ним, и если с такого конца взглянуть на вещи, ей вообще полагалось бы дать орден. Кстати сказать, многим людям — не исключая и его самого — приходила в голову

мысль: почему она осталась? Что греха таить, находились и такие, кто считал ее чокнутой. Объяснение Гелены содержало несколько положений:

Во-первых: Чтоб не соскучиться. Столько потехи, как здесь, нигде не найдешь.

Во-вторых: Потому что я чувствовала, что встречу тебя, камрад. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит» [1], клево сказано, правда?

В-третьих: Потому что Гуго я ненавидела. Можешь себе представить? Женился на герлухе, которая на два года была моложе меня. Видел бы ты, как она едва в обморок не хлопалась, когда я ей говорила: Мамочка, скажите, пожалуйста, можно мне пойти пописать?

В-четвертых: Потому что здесь умерли мои родители.

Ну, ты удовлетворен? С тебя хватит?

Историю доцента Барлы мать изучила досконально, до мельчайших подробностей — она ведь работала в системе здравоохранения и, кроме того, принадлежала к числу обладателей желчных камней, одним словом, была надежной поборницей магической операции. Иной раз он подшучивал: Должно быть, ты терпеть не можешь этого прохиндея в основном по той причине, что он смылся, прежде чем избавил тебя от твоих самоцветов. Обидно, правда? Одного не пойму — почему ты обвиняешь в этом Гелену? Знай она, что ты так жаждешь этой операции, она наверняка удержала бы его здесь. Видишь же, какая она великодушная, ни одна жертва, какую она могла бы принести на алтарь любимой свекрови, не показалась бы ей чрезмерной. Ты идиот, пожалела она его. Сокрушаюсь только о том, что моя драгоценная невестушка не исчезла вместе с этим прохиндеем. А потом еще подвела фундамент: И знаешь, почему она не улепетнула с ним? Потому что легкомысленная, безответственная особа — она даже не заметила, что этот прохиндей все распродал и оставил ее с голой задницей. И конечно, она вынуждена была найти наивного, неискушенного лопуха, который мог бы ее обеспечить. Ух, это хитрая и расчетливая стерва. Любопытно, где вы будете жить?!

Тогда он и сам этого не знал, но теперь, спустя семь лет, набрался ума. И уже многое знал. Слушая, как сейчас беспрерывно трезвонит телефон, он знал, например, даже то, что Амалия Кедрова не поднимет трубки не только по той причине, что была немного глуховата и довольно часто использовала этот порок во благо себе (она слышала исключительно то, что хотела услышать), но не поднимет ее, главным образом, потому, что в ней глубоко укоренилась мысль: без прямого указания «господ» она не вправе делать то, что не входит в обязанности помощницы по хозяйству (для нее это синоним слова «прислуга»).

Знаете, пан режиссер, я всю жись при всех режимах токмо служила, вспомнил он ее слова, глядя на верх шкафа, где под толстым слоем пыли покоилось восхитительное боа, рассыпáвшееся от ветхости уже тогда, когда Гелена получила его от старой Кедровой в обмен на электрические щипцы для завивки волос. Менялися токмо господа, пан режиссер, а я завсегда туточки.

Телефон наконец замолк; слава богу. Сейчас у него не было ни желания, ни настроения беседовать с матерью; он наперед знал, о чем пойдет разговор — почему, мол, ко мне вчера не зашел, есть ли у тебя дома какая-нибудь еда, не начал ли ты снова курить, я тебе уже совсем не нужна, ты что, думаешь, я не могла бы лучше приготовить и убрать, чем эта старая сова?

Ей нечем заняться, подумал он. Год назад она ушла на пенсию, и если до этого их отношения складывались не лучшим образом, то

[1] Евангелие от Матфея (16, 26).

сейчас они стали во сто крат тяжелее. Она часто бывала не в духе, постоянно выискивала, к чему бы придраться, без конца находила повод к каким-то ничтожным конфликтам, затевала ссоры; будто стремилась избавиться от избытка энергии — а для ее возраста энергии у нее было более чем достаточно. Мать работала ответственным референтом в секретариате дирекции одной медицинской организации (к точному обозначению своей должности она питала особую слабость), постоянно была на людях, вечно что-то устраивала, организовывала, а когда вдруг обнаружила, что вполне заменима, потеряла почву под ногами. Озлобилась. Почувствовала себя оскорбленной, покинутой и одинокой да попросту — локомотивом, загнанным в тупик. У нее сразу появилась уйма свободного времени — она не знала, куда девать себя. Стала приносить домой дипломные работы для перепечатки, купила даже какую-то вязальную машину и поступила на курсы машинной вязки, начала гораздо больше уделять внимания своей внешности, ходила чаще в кино, в театр, но все это было лишь слабым утешением в ее удручающем одиночестве и вовсе не заполняло жизни. Пожалуй, спасением для нее мог бы стать мужчина. Со смерти отца прошло уже восемь лет, и что поделаешь — кровь не вода. Но мысль, что мать действительно могла бы с кем-то сойтись, вызывала в нем брезгливость. Он понимал ее, искренне жалел, но в этой жалости и понимании не было места для чужого мужчины, которого — страшно подумать — еще пришлось бы называть ОТЦОМ. Когда Гелена наконец решила оставить ребенка, он воспрянул духом — это могло бы стать для матери выходом. Пожалуй, именно это ей и нужно, хотя из гордости и ложного представления о собственном достоинстве сама в этом никогда не признается. В первые минуты, когда он сообщил ей, что она станет бабушкой, ему показалось, что в своем расчете он не ошибся. Мать долго молча смотрела на него, бледная, дрожащая, словно пыталась преодолеть какое-то тяжелое душевное потрясение; глаза заволоклись слезами. Он горячо обнял ее, она приникла лицом к его плечу, всхлипывая, точно счастливый ребенок, получивший под рождественскую елочку желанную игрушку. Он успокаивающе гладил ее по волосам и, переполняясь радостью, говорил себе: Наконец, наконец лед разбит, наконец она сбросила с себя панцирь. У него не было сомнений, что уж теперь она примирится с Геленой и внук внесет в ее душу мир и покой.

Боже, как он был наивен!

Она перестала плакать и с перекошенным от боли лицом сказала: Это ужасно! Неужели я и вправду такая старая? Ужасно, ужасно, повторяла она, а потом распалилась: Нет! Нет! Нет! — выкрикивала она, словно этим отрицанием хотела противостоять неумолимо текущему времени: Господи, если б хоть ребенок был не от этой потаскухи.

— Ну я так и знала, что вы опять напялите эту спецовку, — вывела Славика из задумчивости Амалия Кедрова, презрительно оглядывая его джинсы. — Я на вас дивуюся, такой знатный господин, столькими людями заправляете, а одеваетеся хуже некуда. Как вас другие могут уважать, коль сами себя уважать не хотите. Что говорить, по одежке встречают, хоть какой был бы режим. Вот поешьте железа,— указала она на кухонный стол, где был приготовлен завтрак, — шпинатный соус и яичница из трех яиц. — Знаю, ничего в нем хорошего нету, но железо вам теперича пользительно.

— Спасибо, пани Кедрова,— сказал он торопливо и, пересилив себя, начал есть. Уже при одном виде шпината, который Кедрова называла не иначе как «железо», его затошнило. Но уж лучше съесть, а то от нее вообще не избавишься.

Амалия Кедрова, как и водится за старыми людьми, любила поговорить о том о сем пространно, обстоятельно, часто теряя нить разговора, перескакивая с предмета на предмет, но при этом была очень

обидчивой: если ей казалось, что человек, с которым она разговаривает, тяготится ею, надувалась и начинала брюзжать пуще прежнего. Славик не привык общаться с людьми в деликатной манере, разговор с Кедровой обычно очень быстро приедался ему, и потому сейчас, желая поскорее закончить его, он сказал:

— Представляете, что́ сегодня ночью мне снилось? Будто у меня зыпали все зубы.

Толкование снов было ее страстью, но для этого — как он знал — ей обычно нужен был сонник; память уже не служила ей настолько, чтобы она немедля могла вспомнить смысл всех снов, содержащих невероятное множество оттенков.

— И впрямь вам это снилось? — чуть погодя спросила она его недоверчиво.

— Правда, — подтвердил он с чистой совестью. Под утро он действительно пробудился от страшного сна, из которого запомнил одно: у него выпали все зубы.

— Гм. Зубы, зубы... — шамкала старуха, и на лице ее отражалась глубокая сосредоточенность. Немного помедлив, она вздохнула и покачала головой: — Надо глянуть в сонник. Пойду-ка шшас маленько приберусь, а то тута бог весть что... Когда Еленка приезжает из Праги?

— Завтра. Завтра вечером, — ответил. Если для Кедровой мать была «милоспани», Гелену она называла не иначе как Еленка. Он напрасно ломал себе голову, почему она называет их именно так, но в конце концов, если ей так нравится... слава богу, отвязалась... вот она уже с пылесосом тащится в гостиную. Он, кисло поморщившись, отодвинул тарелку с недоеденным завтраком. Захотелось пива, чтобы перебить неприятный вкус шпината.

— Пани Кедрова, — закричал он, но тут же сообразил, что старуха не слышит его: кроме глухоты ей мешал еще и гул пылесоса. Она обернулась, только когда он коснулся ее плеча. — Пани Кедрова,— повторил Славик, но старушка указала пальцем на ухо и покачала головой. Он нагнулся, выключил пылесос.

— Чего изволите, пан режиссер?

— Слетаю в «Смиховскую» пивка выпить. Если кто позвонит, скажите, буду... — поглядел на часы, — примерно в одиннадцать.

— Ага. Позвоните в одиннадцать, ладно.

— Нет, нет. Я не позвоню. Если позвонят, когда меня не будет, пусть перезвонят в одиннадцать. Понятно?

Кедрова призадумалась, потом кивнула:

— Ага. Воротитеся в одиннадцать. Будь сделано.

— Спасибо. — Он улыбнулся ее «будь сделано» и быстро ушел.

2

Стоило ему усесться в «Смиховской» пивной на свободное место, как к нему подкатил маленький толстый мужчина лет пятидесяти с носом картошкой и круглой лысиной на макушке, блестевшей, как увеличенная во много раз пятикроновая монета. То был его знакомый — доктор Бутор. Работал он в патологоанатомическом отделении, а проще сказать — в прозекторской, где занимался — как сам говорил — тем, что разымал на составные части покойников, отошедших в мир иной с помощью своих ближних. Иными словами, производил судебно-медицинские экспертизы. Сверх того, страстью всей его жизни было кино и телевидение. Поскольку ему не удалось осуществить голубую мечту молодости – пойти по стезе профессионального актера, — он компенсировал это хотя бы тем, что пристально следил за объявлениями о киноконкурсах. И терпение его в конце концов было вознаграждено: несколько раз он снимался в массов-

ках. Узнав однажды, что человек, которого встречает в «Смиховской» пивной, — известный режиссер с телевидения Петер Славик, он счел это поистине перстом провидения и с той минуты стал его восторженным поклонником. В скором времени доктор Бутор даже убедил Славика, что его внешность на девяносто процентов гарантирует успех телепостановки: ведь зрителям до чертиков надоели профессиональные актеры, которые своими наскучившими физиономиями разве что отравляют трудящимся вечера у голубых экранов. Славик — отчасти для того, чтобы отвязаться от Бутора, но и потому, что в какой-то мере был согласен с ним, — уже раз-другой занял его в мелких, незатейливых эпизодах. Доктор Бутор появлялся на экране на несколько минут, главным образом, в ролях извозчиков, кучеров фиакров, швейцаров, грузчиков или тюремных надзирателей.

Сегодня Бутор, по обыкновению, с места в карьер стал рассказывать о пикантном случае, с которым столкнулся в последний раз при исполнении своих профессиональных обязанностей.

— Анатомировали мы ребенка, так сказать, новорожденного, но, естественно, мертвого, — заржал он и отхлебнул пива. Отерев со рта пену, доверительно наклонился к Славику — тот неприязненно отодвинулся. — Одна бабенка, между нами, пан режиссер, чертова бестия... так, значит, чтоб не задерживать вас, все твердила, что у нее был самопроизвольный выкидыш. Работала уборщицей в ночном заведении, — он подмигнул левым глазом и ухмыльнулся как человек, которого на пушку не возьмешь, — не трудно себе представить, что жила она не на одну зарплату, — взмахом руки он заказал себе еще пива и продолжал: — И вот под утро, как только вертеп закрыли,— поднял указательный палец, — под утро, вообразите, чем это она там занималась всю ночь,— взял у официанта бокал пива, одним глотком опорожнил его до половины, — да-с, чем это она там занималась всю ночь? — Он снова заговорщически подмигнул, расстегнул рубашку до самого пупка, несвежим платком вытер пот со лба и могучей груди без единого волоска, и его обвислые соски затряслись, точно студень, в душившем его хохоте. От него так разило пóтом, что Славику вконец расхотелось пива. Он отодвинул бокал и поглядел на часы:

— Пожалуй, мне пора.

— Минуточку, пан режиссер, еще два слова, — вскинулся доктор Бутор и схватил его за локоть. — Короче, она утверждала, будто ребенок родился мертвым, вам понятно, понятно? — Славик с отвращением выдернул руку из жирных красных пальцев Бутора; кретин, тупица, скотина, честил он мысленно своего собеседника; с каким наслаждением он огрел бы его кружкой по башке. — Так вот, значит, вскрытием установлено, что ребенок родился живым, понимаете, он дышал, это мы определили по легким, понимаете, легкие были полны воздуха, они занимали всю грудную полость. — Славика от отвращения стало подташнивать, лицо побледнело, обильно покрылось потом. — Вы вроде как побледнели, пан режиссер, — доктор Бутор вперил в него удивленные, незабудково-голубые глазки, едва проглядывавшие на распухшем лице.

— Фу, тут страшная вонища, выйду на воздух, — сказал Славик и, опершись ладонью о доску стола, с трудом поднялся.

— Постойте, я помогу вам. — Бутор быстро прикончил пиво и неожиданно проворно и пружинисто для своего тучного тела вскочил со стула.

— Нет-нет, все уже в порядке, — воскликнул Славик. Одна мысль, что этот «мясник» может снова до него дотронуться, ужаснула его. Но Бутор все-таки не отступился, он подхватил Славика под руку и повел к выходу, а тот не только стерпел его прикосновение, но был даже благодарен ему: без помощи Бутора он едва ли дошел бы

до двери. Кружилась голова, тело взмокло от пота, и ему казалось, что слова доктора доносятся из какой-то бесконечной дали.

— Так вот, вскрытием установлено, что эта мерзавка...

— Заткнитесь наконец! — взревел Славик. Несколько раз он глубоко вздохнул — помогло. Он постепенно приходил в себя: — Извините, пан доктор... такого со мной еще не случалось, спасибо вам...

— Ну что вы, пожалуйста,— оборвал его Бутор.— Стоит ли об этом говорить. Мы же с вами люди, не так ли? Должны помогать друг другу. Знаете, как оно водится: ты мне, я тебе.— Он вдруг осекся, растерянно улыбнулся, словно бы понял, что своей добродушной беспечностью допустил бестактность.— Извините, пан режиссер, ведь это просто принято так говорить: ты мне, я тебе, я вовсе не собирался вас тыкать...

— Что? — спросил Славик недоумевающе.

— Ничего,— сказал Бутор и поспешно добавил: — Вам уже полегчало?

— Да, лучше. Право, вы помогли мне.— Посмотрел на часы: — Господи, я уже должен лететь.

— Да, работа не ждет. А что теперь снимаете, разрешите спросить?

— Рассказ Бальзака.

Лицо Бутора засветилось уважением и восторгом.

— Значит, французы. Что ж, буду с нетерпением ждать. Вот это народ, правда? Культура... Куда нам с ними тягаться? — Он презрительно махнул рукой.— Н-да, хотя лично я предпочитаю англичан. Господи помилуй, такая глыба Шекспир...— Бутор благоговейно помолчал, а потом признательно покивал головой: — Скольких людей он убивает за одно только представление...

Славик рассмеялся — восторг доктора перед Шекспиром показался ему невероятно забавным. Шекспир убивал, Бутор вскрывал убитых — определенным образом они были людьми одного цеха. Славик подметил, что его смех явно задел доктора, но сдержаться не смог. Вспомнил даже, что доктор в период своих гастролей на телевидении с наслаждением выступал в ролях тюремных надзирателей, отчего его почтение к Шекспиру возрастало еще больше: убивающий Шекспир не только поставлял ему жертвы на анатомический стол, но и убийц, необходимых для его перевоплощения в тюремного надзирателя.

— Вижу, вам действительно лучше,— подчеркнул Бутор угрюмо и погладил влажную лысину.— Я, ей-богу, рад, потому что...— теперь и он стал смеяться: — Знаете ли, минуту назад, не сердитесь, но минуту назад там, в помещении, вид у вас был абсолютно как у беременной женщины, когда ей становится дурно.— Брюхо, нависшее над затянутым ремешком, задрожало от гогота.

Да, Бутор отплатил мне с лихвой, подумал Славик, но без всякой неприязни. Он любил людей с чувством юмора, и хотя юмор доктора несколько отдавал патологией, отвращение, которое охватило его в пивной, прошло. В целом это вполне симпатичный и забавный малый, любящий свою работу; наверняка и в постели рассказывает жене, какой «пикантный случай» был у него нынче на анатомическом столе. Так всегда получается, когда человек становится рабом своей профессии. По сути, мы родственные души, я тоже в постели не говорю ни о чем, кроме съемок. Не раз Гелена из себя выходила: Тебе бы жениться на камере, а не на мне.

Расстались они, дружески пожав друг другу руки, причем Славик пообещал доктору Бутору, что при первом же подходящем случае займет его в каком-нибудь эпизодике. Жировые складки на лице доктора Бутора расползлись в благодарственной улыбке.

— Спасибо, пан режиссер, вы чрезвычайно любезны, право. А насчет гонорара не беспокойтесь. Я для вас и за спасибо сделаю

все что угодно.— И, чуть помедлив, чтоб уже вовсе облегчить Славику задачу, скромно добавил: — А не случится там роли надзирателя, я с удовольствием сыграю какого-нибудь английского лорда. Представьте себе, я вот недавно видел в газете фотографию того парня... ну как бишь его зовут... председателя олимпийского комитета, или что-то вроде того...

— Ясно,— Славик хлопнул себя по лбу,— лорд Килланин[1].

Доктор Бутор радостно закивал:

— Да, да, именно лорд Килланин! Представляете, пан режиссер, мало сказать — здорово на меня смахивает. Ни дать ни взять — двойники. И жена подтвердила, а уж ее слово кое-что значит. Стало быть... если понадобится, я со всей охотой! И не бойтесь, пан режиссер, вы не пожалеете, я в таких делах толк знаю.

— Кажется, я не вполне понимаю вас,— сказал Славик, с трудом подавляя смех. Тьфу, черт, от этого мужичка рехнуться можно. Не только отказывается от гонорара, но, похоже, не прочь даже заплатить мне. Правда, он тут же понял, что доктор Бутор меньше всего думал о денежном вознаграждении.

— Короче, пан режиссер, если бы вам или вашей супруге, кстати, передайте ей самый нижайший поклон, понимаете, если вам понадобятся мои услуги, я всегда в вашем распоряжении. До свидания, пан режиссер, очень было приятно.

Доктор Бутор правой рукой приподнял воображаемый цилиндр, довольно похлопал себя по большущему, налитому пивом животу и, семеня короткими, жирными ножками, с достоинством удалился.

Ну, клянусь богом, он и впрямь жаждет меня крупно отблагодарить. Его услуги! В своей благодарности он с удовольствием вскрыл бы меня живьем. Паршивец экий, опять ты мне нос натянул. Не без любопытства глядел он вслед удалявшейся фигуре — широкая спина с влажными, темными пятнами на пропотевшей рубахе. Походка доктора Бутора, как и изысканная манера, с какой он то и дело снисходительным кивком кланялся знакомым по пивной, воочию свидетельствовали о том, что он уже целиком перевоплотился в образ английского лорда, родившегося по чистому недоразумению в Словакии, на миявских выселках.

Искренне ценю ваше предложение, лорд Килланин, но надеюсь, что даже после смерти не буду нуждаться в ваших услугах.

3

В четверть первого пополуночи Петер Славик вышел из высотного здания телецентра в Млинской долине и направился к поджидавшей его машине в сопровождении главного оператора Франтишека Шалаги и пожилого, приятного на вид господина, исполнителя главной роли в телеспектакле, который он ставил. Пожилой господин, невзирая на то, что был недалек от шестидесяти, определенно выглядел на несколько месяцев моложе, о чем был несомненно осведомлен и чем гордился с явным самолюбованием, которое, как ни странно, не было лишено привлекательности.

— Настоящий ад, от такой жарищи нашему брату и офонареть недолго,— проворчал паренек с редким пушком на подбородке и небрежным движением головы откинул с лица длинные жирные волосы. Он был в потертых джинсах и батиковой майке, по которой расходились концентрические круги самых радужных цветов.— Знаете, как в том анекдоте...

— Заблуждаешься, мальчик. Сбрил бы ты свою щетину и ма-

[1] Майкл Морис Килланин (род. в 1914 г.) — лорд, деятель Международного спортивного движения, в 70-е годы — президент Международного олимпийского комитета (МОК).

ленько укоротил зачуханные патлы, тебе бы враз полегчало,— устало перебил его Шалага; с той поры, как полгода назад умерла его жена от воспаления мозга, он потерял не только волосы, но и всякое чувство юмора.

— И то правда, у вас серое вещество явно не сопреет,— резко отрубил парень, садясь за руль; он язвительно засмеялся и нагло посмотрел на голый череп главного оператора.

— Кончай треп и давай жми, чтоб хоть к утру добраться до постели,— прикрикнул на него Славик.

— Молодой человек, если бы вы попарились столько часов в этой сауне, что зовется телестудией, так вам бы показалось, что вы сейчас где-то на Аляске, а не в Братиславе,— высказался со снисходительной улыбкой исполнитель главной роли, которого все называли маэстро Антошка, и вытер надушенным платком вспотевшие лоб и шею.— Просто сверх человеческих сил работать в таких условиях. Как вы полагаете, пан режиссер? И вдобавок в парике. В самом деле, непонятно, каким образом у меня еще не выпали все волосы! — Он обратился к Шалаге: — Кстати, сколько люксов у этих рефлекторов?

Шалага вообще не откликнулся на его вопрос, а Славик был слишком утомлен, чтобы ответить: впрочем, он знал, что их молчание вовсе не обидит маэстро Антошку, поскольку никакого ответа он, по сути, не ждал и говорил лишь из врожденной привычки смягчать накаленную обстановку, но, главным образом, потому, что любил слушать свой сочный баритон.

— Эй, уважаемые, не найдется ли у вас места для одинокой женщины? — донесся до них писклявый голос, и к машине кинулась, неистово размахивая сумкой, ассистентка режиссера — маленькая плоскогрудая женщина в кудрявом парике.

— Господи, от этой чудилы спасу нет,— заворчал водитель и быстро включил мотор.

— Опомнись! — прикрикнул на него Славик. И добавил уже сдержанно: — Дружище, ты бы малость поумерил свой пыл.

— Прошу пардону,— торопливо сказал водитель и притормозил.— Я не знал, что нашему брату и пошутить не положено.

— Спасибо, я уж испугалась, что придется пешком топать,— с одышкой говорила женщина, усаживаясь на заднее сиденье.

— Ну что вы, для прекрасной дамы место всегда найдется,— добродушно улыбнулся маэстро Антошка.

Главный оператор с тихим вздохом притиснулся к углу, водитель недоуменно покачал головой, да и Славик с любопытством глянул на ведущего актера, словно хотел убедиться, действительно ли тот так думает. Назвать ассистентку прекрасной дамой показалось ему верхом ядовитой иронии. Но на округлом, чисто выбритом лице маэстро Антошки сияла, как всегда, спокойная, мягкая улыбка, и Славик невольно устыдился, что в нем хоть бы на миг вспыхнуло столь неуместное подозрение.

— Надеюсь, могу наконец отчалить,— пробурчал водитель и, не ожидая ответа, резко нажал на стартер.

— Молодой человек, помните: тише едешь, дальше будешь,— отозвался маэстро Антошка; в его голосе прозвучал легкий упрек. Затем он с достоинством положил руку на колени и умолк, словно высказав эту оригинальную сентенцию, выполнил гражданский долг и теперь может спокойно отдаться дреме.

Несмотря на опущенные стекла и приятный, освежающий сквознячок, всеми овладело усталое отупение — душная, клейкая жара придавила их окончательно. Славик вытащил из пачки «спартину», но в тот момент, когда хотел закурить, встретился с умоляющим взглядом маэстро Антошки и, извинившись, сунул сигарету за ле-

вое ухо, а спичку зажал между зубами. Маэстро Антошка благодарно улыбнулся ему и снова закрыл глаза.

— Кого выбросить первым? — спросил водитель.— Сперва едем к вам, пан режиссер?

— Нет, нет, давай по порядку, как тебе удобней,— ответил Славик; он очень дорожил репутацией режиссера, который только на съемках проявляет твердую волю, а в других случаях не пользуется своими привилегиями.

— Опять смотровой объезд Братиславы,— проворчал водитель.— Начнем с Дубравки или как, товарищ Шалага? — Он кинул вопросительный взгляд на главного оператора, но тот упрямо молчал: высказывание о голом черепе, по-видимому, задело его больше, чем он мог предположить. Водитель лишь пожал плечами и свернул к Дубравке.

— Вчера мне приснился дичайший сон,— неожиданно подал голос маэстро Антошка.— Красный свет, да-да, я все время видел красный свет, словно у меня началась мания преследования... камеры... они меня преследовали, точно налитые кровью глаза... мне чудилось, что я попал в засаду камер и микрофонов... чрезвычайно идиотское ощущение... жертва камер и микрофонов, черт знает, то ли просто жара несусветная, то ли взвинченные нервы... Неужто мания преследования? Чрезвычайно идиотское ощущение...— закончил он тираду, и снова послышалось его ровное дыхание.

Славик и Шалага, несколько оживившись, переглянулись; едва внятный монолог маэстро Антошки чуть разрядил напряжение.

В конце концов, сегодня все шло вполне прилично, подумал Славик. Он вспомнил, как звуковик выдергивал из сценария одну страницу за другой и отбрасывал их — безошибочный признак того, что работа у них идет как по маслу. Монтажер Петрушка, самый острый на язык среди членов группы, по-своему выражал ему благодарность за то, что сегодня утром он вытащил его «из этой лажи»: он почти не раскрывал рта, чтобы защититься от явно несправедливых упреков, которыми Славик непрерывно его преследовал, директор картины большую часть времени просидела, по обыкновению, за чашкой кофе и вязкой свитера, девица Лапшанская изливалась в комплиментах маэстро Антошке, который всякую минуту — когда не надо было торчать перед «кровавыми глазами камер», угрожавшими манией преследования,— использовал для недолгой дремы и с добродушной улыбкой объяснял свою слабость язвительному помощнику режиссера («мы здесь не в ясельках, маэстро Антошка») так: «Сон, дорогой пан Шпирко,— самая главная вещь на свете, попомните мои слова, когда «скорая» будет отвозить вас с безнадежным инфарктом миокарда»,— короче, все было как обычно, вполне нормально, им удалось выполнить график, и ничто, пожалуй, не могло нарушить его. Однако Славика — пусть он внешне и не выказывал этого — длительное время тяготила и беспокоила именно эта «нормальность», именно то, что все происходит «как обычно». Он сознавал, что постепенно, но неуклонно превращается в обыкновенного, опытного, удачливого ремесленника, и в душе опасался, что в недалеком будущем и он станет походить на членов своей группы: привыкнет к прилично оплачиваемому удобному положению и утратит все творческие амбиции. Да, начинает попахивать чудовищной стерильностью, пора на что-то решиться, чтобы вырваться из этого заколдованного круга.

Он снимал исключительно инсценировки литературных произведений, а пришел он к этому, как слепая курица к зерну. Вот ведь незадача: с режиссером Светским случился инфаркт как раз при съемке инсценировки. Таким образом, первая вещь, которую Славик сделал, случайно оказалась инсценировкой, она удалась ему (возможно, тоже по чистой случайности), и потому теперь он «воскре-

шает» мертвые буквы и исподволь, но бесспорно теряет связь с живой, конкретной реальностью, хотя именно эта возможность, возможность запечатлеть жизнь in flagranti [1], непосредственно, улучив минуту, схватить самую что ни на есть трепещущую современность и людей, живущих здесь и сейчас, прежде всего и привлекала его в кино. Он сравнивал себя с актером, которому удалось успешно выступить в определенной роли, а потом — хоть тресни — тщетно он станет уверять, что способен сыграть ту или иную роль, что по характеру он другой, что, собственно, произошла ошибка, что представление, которое о нем сложилось, совершенно ложное — его образ уже окончательно завершен, обрамлен, и любую попытку выйти за рамки привычного общественность покарает потерей симпатии, непониманием и отчужденностью. С какой стати он вздумал нас тревожить, нам же этот образ так нравится! Что делать? Приспособиться, отречься от самого себя и спокойно почивать на лаврах или остаться самим собой, выйти из привычных рамок и поставить все на карту? А ну как потерпит фиаско, а ну как выяснится, что правда на их стороне? Имеет ли он право на такой риск? Право? Да я просто должен это сделать!

Неужто я избавился от «круга» на фабрике лишь затем, чтобы вертеться в новом кругу? — усмехнулся Славик не без сарказма.

После окончания школы Славик не попал на режиссерский факультет пражской Академии и потому стал работать в Горном Лесковце, на небольшой обувной фабрике. Он обрезал подметки, а конвейер убивающе-монотонно двигался по кругу; спокон веку так все и называли его — «круг».

Будь они прокляты — этот конвейер, новая цивилизация, закат культуры! С такой страстной, наивной бранью он просыпался каждое утро под мучительный звон будильника, напоминавший ему об обязанностях. Это были минуты, когда он наиболее полно ощущал всю сладость сна, но знал, что продолжить его невозможно. Тут же следом раздавался пронзительный голос матери: Вставай, опять поесть не успеешь!

Хорошо, хорошо, лепетал он.

Солнце еще не выкатилось из-за холмов, которые вырисовывались в пепельно-сером, рассветном мареве сквозь ветви старого ореха, раскинувшегося у дома. На ковре, словно на бумаге в проявителе, обозначились очертания балконной двери и окон, их контуры становились все четче. Заскрипели деревянные ступени: это мать поднимается наверх, тяжело, медленно, осторожно держась за перила. Она входит в мансарду, срывает с него одеяло. Его обдает резким холодом, и он раздраженно перевертывается на другой бок, глотая ругательства. И так каждое утро.

Хоть раз мог бы и сам встать, опять поесть не успеешь.

Встаю.

Опять опоздаешь.

Скорей выгонят.

Следует обычная реакция матери — она молча поворачивается и злобно хлопает дверью; дребезжат стекла — звук лишь постепенно утихает. Он спускает ноги с кровати и по памяти тянется к ночному столику. Чирканье спичкой и первая затяжка дыма на голодный желудок. Кашель.

Опять куришь, злобный окрик матери снизу, из кухни. Лестница. Коридор. Из-за стеклянной матовой двери спальни доносится громкий храп. Отец еще спит. Пошел второй год, как он снова стал преподавать в школе. Прежде — с тех пор, как вышел из тюрьмы,— отец тоже

[1] В разгар преступления *(лат.)*.

работал на фабрике. Сейчас он может поспать на час дольше, ему не надо вставать к шести.

В кухне ударил в нос запах кофе. Он сморщился.

Доброе утро, сказал, будто сегодня они еще не виделись, и мать ответила: Доброе... Пододвинула ему чашку. Вот немного кофе, и пей побыстрее, скоро шесть.

Ты же знаешь, у меня все точно рассчитано, в шесть я в проходной.

Упаси бог прийти тебе хоть когда-нибудь на минуту раньше! Пойду возьму сала. А ты выпей кофе.

Ты же знаешь, утром не могу ничего горячего. Я попил воды.

Надо. Именно утром надо горячее. Язву желудка заработаешь. Сколько раз тебя просить, чтобы ты не курил натощак. Выпей кофе.

Нам что, прямо с утра пререкаться? Ты отлично знаешь, что я не стану пить.

Мать хлопнула дверью. Он ухмыльнулся и включил радио. Раздались сигналы точного времени: без десяти шесть.

Он второпях взял со стола хлеб, завернутый в газету. В дверях столкнулся с матерью — она несла банку сала.

Уже нет времени, поспешил он сказать.

Подожди. Хоть по дороге съешь кусок хлеба.

Быстро, уже без десяти.

Быстро, быстро. Все только — быстро. Не можешь пораньше встать? Она протянула ему намазанный ломоть хлеба.

Ну ладно, сказал успокаивающе и погладил мать по волосам.

При этом поразительном жесте нежности, казалось, на мгновенье все замерло, в воздухе застыла тишина, часы перестали стучать (или это была лишь доля секунды между тик-таками?). Мать растерянно улыбнулась. Ступай, хитрюга, она слегка похлопала его по щеке, опять не выпил кофе. Привет, сказал он уже за порогом.

Возле главного входа была затянутая сеткой дверь в проходную. Он по памяти нашел табличку со своим именем. Сунул ее в зазор контрольных часов; они отметили время мелкими циферками возле даты: приход 6.00. Низкорослый мужчина с чисто выбритым лошадиным лицом, в синей форме и фуражке, сдвинутой на затылок, раз-другой подбросил кобуру с револьвером и сказал: Опять последний. Круг уже пущен.

Черт его не возьмет, он кивнул, пробежал по зацементированному двору и вошел в здание. По пути в раздевалку стянул свитер и вытащил из брючного кармана ключ на колечке. Отомкнул шкаф, надел засаленный голубой халат.

Коротким коридором прошел в цех.

В уши ударил шум машин, смесь звуков различных оттенков, но их дисгармония создавала новое созвучие — монотонное гудение, в котором терялся всякий оттенок, всякая примета индивидуальности. Он шел по цеху, и с каждым шагом смягчалась напористость звука, его лицо, неприязненно скривившееся вначале, постепенно обретало выражение равнодушия — свидетельство его акклиматизации, примирения, свидетельство метаморфозы — гул обернулся тишиной.

Он встал к обрезающему фрезеру, нажал кнопку. Прибавился еще один звук, высокий, вибрирующий, и так начался его рабочий день: восемь часов он обрезал подошвы, тупо, без единой мысли, автоматически брал с тележки на конвейере кожу, натянутую на деревянное копыто в форме башмака, проделывал заданную операцию, опускал кожу обратно в тележку, брал следующую колодку и опятьиопятьиопятьиопять, тысяча двести пар, две тысячи четыреста кусков кожи, а круг беспрестанно и равномерно двигался, восемь часов кряду, с пятнадцатиминутным перерывом, черт побери такую работу! Он не был особенно хватким — прошло немало времени, пока он изловчился нарабатывать впрок, чтоб, отскочив на минуту-другую, сделать несколько затяжек...

— Стало быть, всей компании спокойной ночи,— прервал воспоминания Славика вечно хриплый голос главного оператора.

— Как, я уже дома? — продрал глаза маэстро Антошка и с ужасом поглядел на высокие коробки панельных домов, стоявших впритык друг к другу; они наступали со всех сторон, молчаливо и равнодушно, как ночной кошмар страдающего клаустрофобией.

— До скорого, Ферко,— сказал Славик, и, глядя на сгорбленную, изможденную фигуру Шалаги, на его потертый портфель, болтавшийся в правой руке, на его коричневый, на коленях и локтях вытянутый костюм (даже в самый невыносимый летний зной он не расставался с пиджаком), почувствовал острую жалость. Правда, тут же следом его захлестнула злость на архитекторов, спроектировавших эти жилые кварталы, более всего похожие на ловушки, в которые попали десять тысяч постыдно доверчивых его соотечественников. Главный оператор Франтишек Шалага работал как лошадь, без роздыху, снимал, снимал, брал все что ни попадя, гнал копейку и экономил — только бы уехать отсюда. Строил себе замечательный особняк под Славином, но вот полгода назад...

— Всего доброго, Петер,— ответил Шалага, направляясь походкой усталого, смирившегося с судьбой человека к одному из многочисленных одинаковых подъездов.

— Привет дочери! — крикнул Славик.

Шалага, не оглядываясь, тихо, почти неслышно сказал:

— Спасибо, обрадуется.

— Спокойной ночи, пан Шалага,— отозвался и водитель, и в голосе его уже не чувствовалось неприятной пижонской рисовки.— И простите,— добавил он, явно перемогая себя.— Я ничего такого не хотел, вы ж меня знаете...

— Да, знаю, что ты осел,— сказал Шалага, на мгновение обернулся, и на его лице, приобретшем в голубоватом свете неона какой-то мертвенный налет, промелькнуло подобие улыбки.— Покойной ночи, мадемуазель Лапшанская,— слегка кивнул он ассистентке.— Постарайтесь хорошенько выспаться, завтра нас опять ждет адова работенка. Слава богу, в последний раз.— Теперь он уже окончательно повернулся, вытащил из кармана связку ключей, открыл подъезд и вошел в свою «ночлежку», как он называл трехкомнатную квартиру на седьмом этаже, где проживал с дочерью.

— Покойной ночи, пан Шалага,— ответила Лапшанская, скорей для себя — он уже не мог ее услышать; неторопливо поднявшись по освещенной лестнице к лифту на промежуточном этаже, вошел в него, и двери медленно, но с автоматической безотказностью тут же закрылись.

— Ну, господа, обитание в таком лабиринте во сто крат страшнее моего кошмарного сна... И это зовется родным очагом,— изумленно покачал головой маэстро Антошка.

Родной очаг... Славик вспомнил, как Шалага после похорон своей жены произнес: Знаешь, Петер, родной очаг, думается,— просто состояние души, да, не что иное, как состояние души. Не будь я в этом убежден, я бы, верно, повесился.

— Милостивые господа, осмотр ночного Прешпорка[1] продолжается,— прервал водитель тягостную тишину.— Сейчас нас ждет удобная постелька в презентабельном районе маэстро Антошки.

— Мне кажется, вам полагалось бы выражаться о маэстро несколько учтивее,— попыталась выразить свое осуждение водителю тридцатипятилетняя старая дева Лапшанская: в сочный баритон маэст-

[1] Прешпорок (Пресбург) — немецкое название Братиславы (с XIII века).

ро уже долгие годы она была влюблена столь тайно, что кроме Антошки об этом знала вся телестудия.

Ответа она не удостоилась — у водителя и без того хватало забот: не так-то просто было вырулить из узких улочек, зажатых панельными башнями. Маэстро Антошка уже снова отключился от мира, а Славику, обливавшемуся потом до такой степени, что к спине мерзко липла рубашка, всякий разговор казался напрасной тратой энергии, которой у него после нынешнего дня на ринге осталось всего ничего.

— Завтра вернется ваша супруга, правда, пан режиссер? — подала голос Лапшанская.— Вы, должно быть, не дождетесь? Наверное, мужчина без женщины чувствует себя... не очень хорошо?

— Во всяком случае лучше, чем женщина без мужчины,— загоготал водитель и тут же с ходу, не снижая скорости, крутанул рулем, пытаясь не сбить парня, который нетвердым шагом перебирался на другую сторону дороги.

Девица Лапшанская отчаянно завизжала — внезапно пережитый страх за свою жизнь вызвал в ней, видимо, такой шок, что она даже не отреагировала на оскорбительную шутку водителя, намекнувшего на ее девичество.

— Мадемуазель Лапшанская, если не ошибаюсь, где-то в седьмом часу звонила моя мать. Вы говорили с ней или помреж?

В голосе ассистентки зазвучали оборонительные нотки:

— Я, пан режиссер, но вы сами меня послали к телефону, вы были заняты, а как раз...

— И что она хотела? — оборвал он ее.

Лапшанская глубоко вздохнула и затрещала как пулемет:

— Она была ужасно расстроена и обязательно велела мне...

— Вы не могли бы покороче?

— Извините,— сказала она обиженно. Притихла ненадолго, а когда сочла, что своим молчанием достаточно покарала его за грубость, упрямо продолжала: — Она сказала, чтобы вы сразу же после съемок зашли к ней. Сказала, что обязательно должны зайти, но я вам это сразу же передала, не знаю почему...

— Ах да, припоминаю... то есть должен зайти сначала к ней... ну, хорошо, спасибо.

— Мне показалось, что она очень сердится, в самом деле, пан режиссер, последний раз она вот так же нервничала в прошлом году, когда ваша жена у нас на вечере устроила с перепою стриптиз...

Девица Лапшанская жила в однокомнатной квартирке в Дольных Ганах — районе столь же безрадостном, как и тот, из которого они только что выбрались (разве лишь в противоположном конце Братиславы), и потому никогда не упускала возможности обстоятельно и пространно высказаться. Хотя Славик понимал эту ее социально и эротически мотивированную потребность самовыражения, на сей раз он не испытывал никакой охоты выслушивать ее щебетание. А посему резко оборвал ее:

— Все в порядке, понял. Короче, я должен зайти к матери.

— Вот именно, это я и хотела сказать, пан режиссер. У нее, наверное, снова поднялось кровяное давление, она, правда, была ужасно взволнована, а может, желчный пузырь беспокоит. Знали бы вы, как я ее понимаю, это ее одиночество, она ведь живет совсем одна, но надеюсь, что теперь, когда ваша супруга ждет маленького... верней, я хотела сказать, когда у нее будет внучек...— Девица Лапшанская, которая всегда все понимала и ни с кем не хотела портить отношения, все больше и больше сбивалась, а заметив, что Славик в отчаянии уперся взглядом в крышу машины, и вовсе опечаленно понизила голос — вот, мол, опять конфуз получился. Она смиренно умолкла и отвернулась к окну, словно бы вид высокого летнего неба, усыпанного яркими звездами, каким-то загадочным образом может ее защитить от ловушек, которые она сама себе расставляла.

Все-таки она безнадежная дура, подумал Славик и тут же вдруг почувствовал непреодолимое желание оказаться вне досягаемости своей ассистентки, он ни капли не сомневался, что минутой позже она снова начнет перемывать косточки его близким. Но до города было еще далеко, поэтому он лишь вытащил из-за уха сигарету и стал нервозно разминать ее липкими пальцами, пока наконец не сунул назад, едва подавляя раздражение против маэстро Антошки с его наигранной аллергией на сигаретный дым. И пусть он понимал, что к Лапшанской надо относиться с большой долей иронии, все-таки ее болтовня о Гелене раздражила его, а, услышав об «ужасно взволнованной» матери (хотя это и не было новостью), он и вовсе встревожился. При ее хилом здоровье в любую минуту может что угодно случиться, мелькнула мысль, конечно, я обязательно должен зайти к ней. А что это Лапшанская ляпнула? Что-то насчет ребенка. Откуда она знает? Если об этом знает она, наверняка знает вся студия, заключил он, поморщившись. Знала б Лапшанская, что это уже не первый наш ребенок...

Он вспомнил, как Гелена после двух лет замужества вдруг забеременела. И в нем родилась надежда, что это событие наконец благотворно скажется на отношении матери: ну пусть она не терпит Гелены в роли жены своего сына, но какой-то врожденный женский инстинкт должен ведь заставить ее уважать, ну хотя бы терпеть Гелену как будущую мать, которая носит под сердцем потомка рода Славиков.

Мать тогда жила одна — уже прошло три года после смерти отца — в трехкомнатной квартире, в центре города, между тем как они ютились в старом сыром домишке с длинным двором. На дворе была общая уборная для всех семи семейств, обогревались они вечно дымящей печью, о ванной могли только мечтать (правда, мать сделала единственный благородный жест — позволила им раз в неделю пользоваться своей ванной), короче, это было одно из тех временных обиталищ, которые уже лет десять были обречены на снос. Но жилищный кризис в Братиславе, несмотря на мощное строительство, не только не шел на убыль, но и возрастал — а потому даже на эти конурки в соответствующем районном национальном комитете существовала длинная очередь. Просто чудо из чудес, что Гелене удалось получить хотя бы такое жилье, кто знает, чего ей это стоило, лучше даже не думать...

Он понимал, что произвести на свет потомство в таких условиях — дело довольно безответственное, и хотя считал это зазорным и унизительным, решил — невзирая на возражения Гелены — попросить мать позволить им пожить два года, пока они получат обещанную кооперативную квартиру, в одной из трех комнат ее квартиры на Маркушевой улице.

Навсегда в нем осело унижение, когда мать отказала ему в просьбе и с торжествующим удовлетворением заявила: у сыночка проблемы, да? И теперь ему пригодилась даже собственная мать. Нет, нет, миленький, сам заварил кашу, сам ее и расхлебывай. Когда женился, тебе небось наплевать было, как я отношусь к этому, ты прекрасно знал, что поступаешь наперекор моему желанию и все-таки сделал по-своему, нет, миленький, я не хочу жить под одной крышей с твоей блистательной женушкой, пускай рожает своего отпрыска там, в этой вашей трущобе, произнеся последнее слово, она даже поморщилась от отвращения. Тело его забила бешеная, неудержимая дрожь, он крикнул: Какого своего отпрыска, что ты мелешь, это же и мой ребенок, слышишь, и мой, не только Гелены... Но мать с ядовитой усмешкой оборвала его: Это ты так думаешь, миленький, я бы на твоем месте не была столь уверена.

Что? — схватил он ее за плечи, часто, прерывисто дыша. Не знай я, что ты просто впала в какую-то идиотскую, злобную истерию, и не будь ты моей матерью... вот она, вся твоя поддержка, руки у него вяло опустились, лицо перекосило болью и ненавистью. Он отвернулся.

Конечно, он знал, что имеет законное право на часть квартиры матери, но Гелена и мать по крайней мере в одном вопросе полностью сходились: Гелена тоже отказывалась жить под одной крышей с его «невыносимой и достойной жалости мамочкой» — и потому проблема эта практически была неразрешимой.

С этого момента все пошло к черту. Гелена сделала аборт, несмотря на его протесты, а мать снова торжествовала, гордясь своей проницательностью. Я знала это, я с самого начала все понимала, разве не говорила я тебе, что это обыкновенная, пустая, безответственная шлюха, как же, где ей возиться с ребенком! Гелена начала пить как лошадь, а однажды ясно и безоговорочно заявила: Можешь выбирать. Или мать, или я!

Развод? Я с самого начала знала, что дело этим и кончится, таковы были первые слова матери, снова праздновавшей победу. Сбылось мое пророчество. Сварю тебе кофе.

И пока мать готовила в кухне кофе, он судорожно думал, как ей деликатно объяснить, что развода не будет («потому что я люблю Гелену и готов сделать все, чтобы удержать ее, и если не останется ничего другого, придется нам с тобой расстаться»). За те минуты, что мать была в кухне, а он придумывал слова, какими мог бы обрубить их отношения, за те недолгие минуты с матерью произошла перемена, которая, мягко выражаясь, оглоушила его.

Ну уж нет! — воскликнула она, подавая кофе. И думать нечего, никакого развода не будет!

От неожиданности он не мог и слова вымолвить, лишь недоуменно смотрел на ее искусно накрашенное лицо. Ты что, разве не понимаешь, что она хочет развестись с тобой лишь для того, чтобы испортить тебе карьеру? Ну и ловко же она все рассчитала, змея подколодная. Как раз теперь, когда у тебя налаживаются дела на телевидении, именно теперь она вздумала разводиться с тобой.

Его карьера — как высокопарно она выражалась! Он только что вернулся из армии и стал работать ассистентом режиссера — да, потрясающая карьера! Славик потихоньку отхлебывал горячий кофе и, ошарашенный, пытался постичь причуды материнской логики.

Ты что, не соображаешь? Стоит тебе сейчас развестись — все, тебе крышка. Ты что, не знаешь, как водится? Уйма людей тебе завидуют и только ждут случая, когда ты споткнешься, чтобы в тот же момент зацапать твое место.

Но какая тут связь с разводом? — недоумевающе спросил он.

Господи боже! — всплеснула она руками. Ты наивный идиот. Еще спрашивает: какая связь с разводом? Сейчас ты должен вести абсолютно примерную семейную жизнь, тебе ясно? Твой брак должен быть без сучка без задоринки...

Но это зависит не от меня одного, попытался он урезонить мать, но она вообще его не слушала: все ее существо каким-то внутренним напряжением было устремлено к мысли, которая как раз в эту минуту обрела форму бесповоротного решения: Раз мы с Геленой не можем жить под одной крышей, значит, поменяем квартиры! Понимаешь?

Нет, не понимаю.

Ты всегда туго соображал, фыркнула она презрительно и свое выступление заключила ошеломляющей идеей, из которой вытекало, что отныне он с Геленой будет жить в материнской трехкомнатной квартире первой категории, а мать переселится в эту «трущобу», где до сих пор ютились они. Сперва — правда, не очень настойчиво — он возражал, но мать, уже вжившись в мученическую роль беспредельно самоотверженной спасительницы любимого сына, отвергла его

возражения взмахом руки и впала в полный экстаз — суетливо металась по комнате, потирала от удовольствия руки и как-то отрешенно улыбалась.

— Хи-хи-хи! — смеялась высоким, пискливым голосом девица Лапшанская.— Это правда или вы придумали?

— Сущая правда, ей-богу. Хотите, завтра принесу почитать? Я эту статейку вырезал,— говорил водитель, повернувшись к Лапшанской.

— Послушай, друг, время от времени смотри и на дорогу, а то еще и впрямь кувыркнемся,— предупредил его Славик.

— Это правда, пан режиссер? — обратилась к нему Лапшанская.

— Что?

— Ну про этих соболей.

— Про соболей? Боюсь, некоторое время я вас не слушал.

— Янко мне сказал одну вещь...— Лапшанская опять захихикала и прикрыла рот ладонью.— Мне даже стыдно повторить.

Славик удивленно посмотрел на нее. Янко? Так доверительно она еще никогда не называла водителя. Ну и ну, эта женщина внезапно стала совсем другим человеком. Куда-то исчезла ужасная стародевичья скованность, словно она сбросила с себя тесный корсет.

— О чем речь? — поинтересовался он, и раскрасневшаяся Лапшанская возбужденно выпалила:

— Я спросила у Янко, кем бы он хотел быть, если б родился наново, и он мне сказал — соболем.

— Или выдрой,— добавил водитель, давясь от смеха.

— Не пойму, что здесь такого смешного...— пожал плечами Славик.

— Хи-хи-хи, вот именно. Я и то сразу не поняла. Но Янко говорит, что якобы научно доказано, что выдрам и соболям для полного удовлетворения нужно не менее восьми часов коитуса, то есть ровно столько, сколько и любовнице Янко. Жуткая мерзость, правда?

Лапшанская буквально заходилась, смакуя эту «мерзость». Она вцепилась в него глазами, а он почти не узнавал ее лица, преображенного вульгарной похотливостью. Сейчас она спросит меня, сколько времени нужно для этого моей жене, подумал он с мрачным ясновидением и торопливо постучал водителя по плечу:

— Янко, будь любезен, притормози здесь, ладно?

— Что так? Я подвезу вас к дому, до Маркушевой — рукой подать. Мы ведь уже на Шафке [1], чего там...

— Нет, не надо, заскочу к матери.

— Кой черт скакать, я же могу подвезти вас. Где она живет?

— Тут, недалеко, на Дунайской. Останови, хоть малость разомну кости.

— Ну что ж, вольному воля.— Водитель резко затормозил.— Бросаете меня в беде,— сказал он укоризненно.— Один храпит, точно целый день таскал в порту картошку, а другая порет чушь, будто шарахнула литр шнапса. Спокойной ночи.

— Спокойной...— сказал Славик и вышел из машины.

Хотя для столь позднего часа жара на улице стояла несусветная, но, по сравнению с духотой и неприятным запахом пота в машине, снаружи было все-таки намного свежее. Он глубоко вдохнул в себя чистого братиславского смога, концентрация которого — как недавно сообщали в «Вечернике»[2] — достигает здесь, на Шафариковой площади,

[1] Шафка (сокр., разг.) — Шафарикова площадь, находящаяся в центре Братиславы, названа по имени крупнейшего деятеля словацкого и чешского национального движения 30 — 40-х годов XIX века историка, филолога и поэта — Пала Йозефа Шафарика (1795 — 1861).

[2] Ежедневная вечерняя газета.

одной из наивысших отметок, затем вытащил из-за уха сигарету и с наслаждением закурил.

Он вздрогнул от пронзительного звука клаксона. По улице Штура[1] в направлении Дуная катила подметальная машина; водитель, явно засыпая от скуки, оглушительно загудел, но, похоже, его приветствие не вывело из апатии тех нескольких человек, что ожидали на остановке ночных автобусов. Машина остановилась у края тротуара и, будто призрачное гигантское насекомое, выставила щупальца, присосалась к мостовой и стала вбирать городскую грязь. Он наблюдал за машиной с неприятным чувством, словно его тело было соединено с организмом города невидимыми капиллярами, по которым нечистоты с улиц проникают в его нутро, въедаются во все поры, набиваются под ногти и нестерпимо свербят.

— Привет, старик,— раздался за его спиной низкий, усталый голос.— Славику незачем было даже оборачиваться, чтобы узнать этот голос: за годы, что прошли с момента знакомства, он куда как хорошо изучил Милана Плахого. Стоило ему услышать голос Милана, как он сразу же определил, в каком тот состоянии. Опять перебрал, подумал Славик и, поглядев на его лицо, полуприкрытое большими квадратными очками, длинными черными волосами и густой кудрявой бородой, понял, что не ошибся. Выражение лица Милана недвусмысленно говорило о том, что если его и можно чем-то удивить на этом свете, так лишь суждением, будто жизнь сулит не только катастрофы, но и нечто приятное.— Все хреново, пошли завернем на чашечку кофе, трезвенник,— сказал Плахий, словно подтверждая его предположение.

Если у большинства людей от алкоголя поднимается настроение, они веселеют и забывают о всех невзгодах и проблемах, то с Миланом происходило обратное. Чем больше он хмелел, тем становился печальнее и мрачнее; словно нес на своих плечах все тяготы мира. Трезвый, он был совершенно другой. Ничего не принимал близко к сердцу, резво и беспечно порхал, как мотылек, с цветка на цветок, опылит один и сразу на следующий — у него было пятеро детей от пяти женщин, и жил он при этом на вольных хлебах, без постоянного заработка; любое присутственное место было ему противопоказано. Служить и иметь семью — не по мне, однажды я попробовал, и мне этого хватило на всю оставшуюся жизнь; в самом деле, он был женат только раз, и это обстоятельство еще больше укрепило их дружбу: первая и единственная жена Милана Плахого Яна Гавьярова была до этого несколько лет любовницей Славика. Плахий легко и быстро писал рассказы, сценарии, стишки, книжки для детей и для взрослых и, надо сказать, поплевывал на мнение литературной критики, встретившей его первые книги громом фанфар,— он вмиг стал надеждой словацкой литературы, писателем с «бесспорным, своеобразным и недюжинным дарованием»; однако по прошествии восьми лет те же самые критики писали: «Жаль, свой талант он разменивает на мелочи, и, пожалуй, надежды, которые мы на него возлагали, так и останутся несбыточными».

Его упрекали в недостаточной ответственности за свой талант, ждали от него «настоящего художественного взлета», а Плахий разве что посмеивался и продолжал сыпать, как из рога изобилия, остроумные, блестящие стишки, книжки для детей и для взрослых; критики вертели носами: Это всего лишь игра, когда же наконец он напишет что-нибудь капитальное, но «для души» украдкой читали его с таким же увлечением, как и «рядовые» читатели,— а в тех недостатка не было. С критикой Плахий соглашался: И вправду это игра, которой я забавляюсь, а читатели вместе со мной, иначе я бы все послал к

[1] Людовит Штур (1815—1856) — филолог, поэт, публицист, идеолог и вождь словацкого национально-освободительного движения 40-х годов XIX века.

черту. Счастливый характер? Придурок? Беспечный лодырь? Мнения расходились. Сам он объяснял это треклятой потребностью в постоянной эйфории: человеку надо либо работать, либо пить, либо спать с бабой...

— Сидел в клубе[1] с одним охламоном, жуткая тоска,— Милан махнул рукой,— так что не темни, пойдем кофе выпьем, не сидеть же мне одному...

— Не могу, старик, надо к матери, звонила...

— Кончай трепаться, лучше скажи, куда тебе хочется? В «Киев»? Айда, я все равно должен тебе кое-что рассказать. Великие дела творятся,— продолжал Милан монотонным, сонливым голосом и, не ожидая ответа, двинулся в сторону гостиницы «Киев». Но Славик не испытывал никакого желания «идти на чашечку кофе». Он знал, чем это может кончиться,— раньше рассвета до постели ему не добраться. Милан выглядел опасно «посвященным», а это было безошибочной приметой того, что теперь-то уж он надерется до чертиков и вскоре превратится в земана[2] с бычьей кровью. Когда бывал навеселе, вел себя весьма деликатно, с изысканной вежливостью и чуть заметным «аристократическим» превосходством — с напускной снисходительностью и с мягкой, иронической улыбкой смотрел на людей, словно бы хотел им сказать: хотя это и ниже моего достоинства, но так и быть, посижу с вами, чтоб вы не думали, что я какой-нибудь надутый фофан. Единственная вещь, о которой он никогда и нигде не забывал деликатно упомянуть, была его голубая кровь. Да, он все-таки из другого теста, чем они. Я происхожу из старого земанского рода, скромно подчеркивал он, наша старинная усадьба еще и поныне стоит, кстати, теперь это охраняемый государством памятник. И никому даже в голову не приходило попрекать его этим, скорее напротив, среди присутствующих всегда оказывалось еще несколько земанов, что с распростертыми объятиями принимали его в свою компанию. А кто по каким-либо причинам не причислял себя к земанам, на его заявление о принадлежности к этому сословию откликался примерно так же, как один паренек из строительной бригады, с которым они однажды сидели до полудня в кабаке «У коня». Тот добродушно хлопнул его по спине и сказал: Корешок, хоть ты и земан, а я всего-навсего обыкновенный монтажник, иду на спор, что я на халтуре за один месячишко зашибу столько, что смогу купить тебя со всем твоим земанским добром. Твое здоровье, корешок, ты фартовый словак, по душе мне.

— Пишу сценарий, старик. Интересуешься?

— Еще спрашиваешь?

— Киноповесть мне уже утвердили.

— Это ты для кино делаешь?

— С телевидением я завязал. Сделали меня. Ну как, берешь?

— Чего спрашиваешь? Но прежде мне должны это предложить, не понимаешь разве?

— Не плюй в душу! — Плахий возмущенно развел руками.— А я что делаю, по-твоему?

— Спасибо, старик,— засмеялся Славик.— Ты настоящий друг, я знаю. К сожалению, это зависит не только от нас двоих.

— Ты балда, ей-богу, тебе обязательно нужно меня мордой об стол. Говорю тебе, все улажено. Я поставил именно такое условие. Либо будешь делать ты, либо никто.

— Ну ладно. Вижу, ты в форме. Но нечего мне тут наворачивать.

— Не веришь? Пойдем позвоним Ячко.

— Оставим до завтра, что ты на это скажешь? Уже ведь за полночь...

— Ну и что? Ни черта! Интересует тебя этот сценарий или нет?

---

[1] Имеется в виду клуб писателей.

[2] Мелкопоместный дворянин.

— Само собой, но...

— Никаких «но». Посидим, поговорим, ей-ей, они хотят подцепить тебя на крючок. Начинают омолаживать Колибу [1]. Каждый год на этом погорает кто-нибудь из молодых режиссеров. Теперь наметили тебя. Твой черед пришел, старик. Сам господь бог тебя не спасет. Раздавим бутылочку «Бычьей крови».

Энтузиазм Плахого весьма впечатлял. Конечно, к его словам не стоит относиться слишком серьезно, но что-то в этом есть. Иван Ячко заведовал сценарным отделом на киностудии, и слухи об омоложении Колибы носились в воздухе уже несколько лет. Но в конце концов должен же лед тронуться?! И почему не начать именно с него? В Словакии нет ничего невозможного. Славик едва не дал себя уломать. Несколько отрезвило его упоминание о «Бычьей крови». Он не сомневался, что Плахий готов позвонить Ячко, но черт знает чем это может кончиться. В таком состоянии Милан непредсказуем. А если хлопнет еще бутылочку «Бычьей крови» — спаси нас и помилуй!

— Уволь, старик. Не сердись, но я правда должен к матери.

— Твоя воля,— обиженно сказал Плахий.— Что ж, придется топать одному.

Да, черт возьми, хрен редьки не слаще. Если Милан и пойдет один, все равно от него не избавишься. Славик знал, что Плахий из бара непременно притопает к нему, так как он живет неподалеку от «Киева». Это была еще одна примечательная особенность Плахого. Когда он хмелел, в нем просыпалась удивительная общительность, и потому систематически на рассвете звонил в квартиры знакомых, проживающих ближе всего к тому ночному заведению, где он в данную ночь разбавлял свою голубую кровь красным вином марки «Egri bikavér» [2], и с этой своей снисходительной, слегка ироничной усмешкой как бы говорил заспанным хозяевам (обыкновенно он наносил визит в третьем часу ночи): Хотя и ниже моего достоинства, что я пришел почтить вас своим визитом, но раз уж я здесь, так и быть, посижу с вами до утра, чтоб вы не думали, что я какой-нибудь надутый фофан. И сидел-посиживал. Аж до бела дня. И Славик еще ни разу не слышал, чтобы нашелся хоть один человек, который бы захлопнул дверь перед его носом или допустил столь же неслыханное оскорбление, как-то: отворив дверь, пошел бы досыпать и оставил его в одиночестве. Это было напрочь исключено. Если уж ему открывали дверь, то для любого было совершенно очевидно: ни о каком сне до утра не может быть и речи. Имелся лишь один-единственный способ избежать этого — не оказаться дома.

И Славик опять повторил:

— Не могу, старик, не сердись. Правда, надо зайти к матери. В последнее время дела у нее неважнецкие. Всю ночь там пробуду.— Последнюю фразу он бросил как бы невзначай, сонно зевая, но Плахий тотчас засек его умысел:

— Надеюсь, ты говоришь это не потому, что боишься моего визита.

— Ей-богу, ты псих.— Славик даже сделал попытку к отступлению, но Плахий, наделенный повышенной чувствительностью алкашей, уже окончательно переметнулся на другой берег.

— Может, я и псих, но не такой, чтобы еще хоть раз переступить твой порог. Между нами все кончено.

Да, безнадежно. Разумеется, он мог бы ему сказать: Если ты и вправду думаешь, что я боюсь твоего ночного визита, тогда пошли прямо ко мне, но он знал, что такое примитивное решение только подлило бы масла в огонь. Выход был один — плюнуть на него, что Славик и сделал, посылая ко всем чертям этих треклятых идиотов, непостижимых невротиков, настырных алкашей, всех этих сверхчув-

[1] Киностудия в Братиславе.

[2] Бычья кровь *(венг.)*.

ствительных психов, которые загоняют нормального человека в угол, только и жди от них любой гадости... эти ничтожества, развинченные, беспечные, ненадежные ублюдки, которых надо бы пнуть в задницу за то, что они со своей душевной хилостью и слабоволием еще и носятся, потому что это якобы отличает их от плебса, их, ХУДОЖНИКОВ, земанов с бычьей кровью... он в сердцах сплюнул.

Он уж было хотел, минуя бистро «Казачок», пройти через ближний пассаж к дому матери, как вдруг вспомнил, что два дня назад в том доме случилась авария с водопроводом и жильцов снабжают водой машины-цистерны, а это значит, ее ванна в данный момент бездействует. У него так невыносимо зудело все тело, что он размечтался о хорошем холодном душе, и потому пошел домой.

Быстро приму душ и сразу же к ней, тут рукой подать.

4

Славик неторопливо брел по улице Штура (когда он переходил перекресток перед высоткой, куранты на фасаде «Приора» [1] как раз пробили час пополуночи), и с каждым шагом росло в нем чувство безотрадного одиночества и заброшенности. Те две недели, что Гелена была в Праге, казались ему бесконечными и пустыми. Радость, которая наполнила его при мысли, что она уже завтра вернется домой и будет с ним, была такой сильной, что он стыдливо усмехнулся: Я точно влюбленный мальчишка, ну нормально ли после стольких лет семейной жизни мечтать о собственной жене.

На улице Чехословацкой Армии, оглушительно воя, его перегнала «скорая» с вращающимся голубым маяком на крыше, и он вдруг снова вспомнил о матери: возможно, она действительно нуждается в моей помощи, подумал он с каким-то тяжелым предчувствием; он вновь осознал, какую жертву она принесла, обменяв квартиру, лишь бы спасти его семью, которую до тех пор всеми силами старалась разрушить. (Правда, теперь мать жила уже не в той «трущобе», что пошла на снос по плану санитарного благоустройства города; получив государственную квартиру в новом районе, она обменяла ее — путем сложных махинаций — на нынешнюю, в центре.) Злость и раздражение, часто испытываемые по отношению к матери, сменялись угрызениями совести и какой-то трогательной жалостью; и сейчас он чувствовал себя неблагодарной скотиной, предпочтя холодный душ незамедлительному визиту к матери, которая, возможно, именно сейчас переживает одну из самых тяжких минут в жизни; он убыстрил шаг.

У «Кристалл-бара» он свернул на Маркушеву улицу, уступив дорогу трем подгулявшим парням: обнявшись за плечи — тротуар был для них слишком узок,— они фальшивыми, жалобными голосами тянули: «Ей, убили, убили двух хлопцев безвинных, ей, один был Капустой, а другой Урсини. Ей, Капуста, Капуста, много ль вы украли, что вас на веревке вздернуть приказали, ей, вздернуть приказали. Ей, не украли ничего мы, казанок — не боле, ей, казанок — не боле, а ведут нас вешать на быстрицком поле, ей, на быстрицком поле...» [2]

Да, это тебе не шутка — быть вздернутым на веревке из-за одного паршивого казанка, усмехнулся он, входя в подъезд дома, типично словацкий ужас. Он мигом взбежал на третий этаж, отпер дверь и вошел в квартиру. Закрывая дверь, почувствовал какое-то беспокойство: принюхался, раздувая ноздри,— с тех пор, как Гелена была в Праге, воздух в квартире при его ночных возвращениях домой всегда был чистым, но сейчас на него сразу же пахнуло тяжелым сигаретным перегаром. Это было так неприятно, что все тело на

[1] Центральный универмаг в Братиславе.

[2] Словацкая народная разбойничья песня.

мгновение сжалось от мучительного страха: показалось, что кто-то стоит за спиной и наблюдает за ним; он медленно обернулся, стекавшие из-под мышек струйки пота едко щекотали кожу.

Лицо растянулось в удивленной, растерянной улыбке.

В дверях ванной стояла Гелена, в легком халате, накинутом на свежее, обнаженное тело, она расчесывала влажные волосы, а лицо ее казалось каким-то смазанным, словно снятым не наведенной на резкость камерой, оно как бы распадалось, и лишь отчетливо выступавшие скулы чуть сдерживали дряблые мышцы...

— Что, камрад, не нравлюсь тебе? — спросила она, пытаясь четко выговаривать слова, затем повернулась небрежно вокруг своей оси — точно манекенщица на демонстрации мод,— халат соскользнул с ее плеч, и длинные, ниспадающие до пояса волосы волнами обвили лицо. Нетвердой походкой прошла она к двери и, опершись о косяк левым плечом, так и застыла на пороге — голая, бронзовая от загара; улыбка на его лице погасла, и он с усилием нелепо заметил:

— Ты ведь должна была вернуться только завтра.

— Я хотела тебя удивить... понимаешь... приятно удивить, подумала... наверняка не ждет... вот и вернулась на день раньше,— сказала она, с трудом ворочая языком, потом махнула рукой, и лицо ее застыло в тупом, гротескно искаженном подобии улыбки.

— Ты опять пьяная.— Голос Славика дрожал от ярости, чуть надломленной жалостью и разочарованием.

— Ну, камрад, ты же не станешь поднимать шум из-за двух-трех рюмочек... Все равно — твоя вина.

— Что? Какая вина? Какая еще моя вина. Не я же тебя опоил.

— Тебя дома не было. Не было тебя дома. Как обычно... Тебя никогда нет дома, когда ты мне нужен...

— Когда меня не было дома?

— Никогда тебя нет! И даже сегодня. Если бы ты был... был... да, я немножко выпила. Но почему тебя не было дома, когда я тебе звонила?

— Ты мне звонила? Когда ты мне звонила? И уж во всяком случае это глупо... вот так... прямо в глаза... что ты все время выдумываешь?

— Сразу как прилетела. Я так мечтала, что будем вместе... но тебя не было дома... никогда...

— Постой! — оборвал он ее торопливо.— Ты мне сегодня звонила? Когда?

— Хотела... сразу с аэродрома... но тебя не было... я хотела, чтобы ты приехал за мной на машине, только тебя не было дома, вот я и выпила рюмку джина...

— На какой машине? Что ты несешь? Мы же полгода назад продали ее.

— Правда? — Она поглядела на него с таким искренним удивлением, что он даже не понял в эту минуту: разыгрывает она его или впрямь забыла, что они продали машину; такая роскошь была просто непозволительна — Гелена садилась за руль только тогда, когда порядком напивалась.

— Дело не в этом,— махнула она рукой.— Но тебя не было дома, когда я звонила.

— Во сколько? Ну пошевели мозгами! Во сколько ты мне звонила?

— С аэродрома... до обеда... но тебя не было дома... поэтому я выпила рюмку джина, а потом еще одну...

— Господи! — вздохнул он и опустил лицо в ладони.

— Всего три рюмки джина... а как меня развезло, вот умора, правда? Может потому, что уже отвыкла... в Праге даже не нюхала... тренировка... тренировки не было...

Он молча слушал ее бормотание и вспоминал долгий, настойчивый трезвон телефона, к которому так и не подошел,— думал, звонит мать.

— Я был дома,— сказал он тихо.

— Не был! Не было тебя дома! — резко, агрессивно напустилась на него Гелена.— Звонила я долго, и никто не подошел. Но понимаю тебя, камрад, дома тебе было грустно... одному... я не упрекаю...

— Замолчи наконец! — вскричал он, злобно ударив кулаком по стене.

— Ну, ну... каким ты стал грубым, пока меня не было,— сказала она, чуть помедлив, иронично глядя на него из-под приподнятых бровей.— Жаль, что ты не пришел раньше. Хотя бы увидел, что он настоящий мужик.

Он прошелся влажной ладонью по лицу — несмотря на то, что утром тщательно выбрился, уже появилась густая щетина.

— Я что-то не понимаю тебя.

— «Я что-то не понимаю тебя»,— насмешливо передразнила она и тут же взорвалась: — Не понимаешь, конечно, не понимаешь, ты никогда меня не понимал. А других понимаешь, да? Фу, глядеть на тебя не могу, просто кишки выворачивает.

— Верю,— усмехнулся он.— Еще бы не выворачивало, когда так нахлесталась водки.

Она злобно топнула ногой.

— От водки мне никогда не бывает тошно! Знаешь ведь хорошо, что могу выпить хоть целый океан..— Икнула.— От тебя воротит, понятно? От тебя, а не от водки.

— Может, отложим этот разговор до утра? Когда немного протрезвеешь. Так набралась, что сама не ведаешь, что несешь.

— Ты крыса! Хоть раз в жизни, хоть единственный раз перестань притворяться. Почему, спрашивается, ты на мне женился?

— Потому что любил тебя.

Она истерически засмеялась:

— Потому что любил тебя! Потрясающе! Ты и мертвого рассмешил бы. Комик, прирожденный комик! Тебе бы на эстраде выступать. Выигрывает самый остроумный. Запросто всех взял бы на пушку — они б только рты раскрыли. Потому что любил тебя... Ненавидел меня,— завизжала она.— Так же, как и твоя отвратная мамочка. Но та хоть не притворяется.

Он недоуменно пожал плечами:

— Почему я должен был тебя ненавидеть?

— Брось кривляться, ну! Ты... ты мерзкий лицемер. Вот тебе! — крикнула она, плюнув ему в лицо.— За то, что всю жизнь меня обманывал.

Он был так ошеломлен, что даже не обтер лица.

— Но не волнуйся! Еще найдется такой, кто поймет меня.

Он растерянно водил глазами по гостиной. В воздухе все еще перекатывались густые клубы сигаретного дыма; непереносимо несло алкоголем.

На низком сервировочном столике стояла пустая бутылка из-под водки, две рюмки и полная окурков пепельница.

— Надеюсь хотя бы... у тебя здесь в самом деле кто-то был?

Она презрительно засмеялась:

— Кто-то же должен быть дома. Дом без мужчины — все равно что... собака без хозяина.

Он стоял как вкопанный, нервозно гладил лицо, словно то обстоятельство, что он не был чисто выбрит, возмущало его гораздо больше, чем вид Гелениного белья, разбросанного по комнате. На спинке стула розового дерева висел лифчик. Под стулом лежали скомканные трусики.

Желудок затвердел, точно сжатый кулак.

Он круто повернулся и пошел в свой кабинет. Сидел там минут пять в плюшевом вольтеровском кресле, в бессилии тер ладонями виски, словно пытался принудить мозг к какой-то деятельности; но голова оставалась пустой, как полый кокосовый орех... Он встал и побрел в кухню — захотелось молока. Открыл холодильник, нашел там два пакета молока, но вдруг понял, что ему хочется пива. Он достал из холодильника бутылку «Золотого фазана» — в это время Гелена у кухонного стола намазывала на хлеб масло. Почувствовал освежающий запах хвои. Ясно, АВЕЛА; она успела уже и выкупаться.

— Есть не хочешь, камрад? Там осталась еще ветчина,— сказала она, открывая баночку сардин. Он не ответил, открыл пиво и напился прямо из бутылки. В минуту, когда он глотал ледяное пиво, его пронзила мысль: она сделала это умышленно, хотела, чтобы я застал ее здесь и поймал на месте преступления, как говорится in flagranti, потому что решилась на окончательный разрыв. Резкий спазм желудка скрутил все тело, он почувствовал дикий, нечеловеческий голод.

Захотел отрезать себе хлеба, но не нашел ножа. Вспомнил, что Гелена ушла с ножом в гостиную, и поплелся за ней; она накладывала на бутерброд сардины.

— Дай нож.

— Пожалуйста, камрад, но, наверное, надо бы его сполоснуть сначала, чтоб не было противно после меня,— из ее рта пахнуло запахом зубной пасты, к которому примешивался водочный перегар.

— Как ты могла, господи, ты же обещала...

— Не скули, камрад. Немножко выпила, там его... Уж очень Каролко уговаривал...

— Какой Каролко?

— Он летел в Прагу.

— Ты встретилась с Регорой?

Она как-то загадочно улыбнулась и в задумчивости добавила:

— Рассказывал такие занятные вещи... ужасно занятные, правда.

Этот скот, конечно, этот подонок нарочно ее споил. Он прекрасно знает, что Гелена бросила пить, но достаточно одной рюмки, и она уже снова пускается во все тяжкие.

Вот как он решил отомстить мне за утренний разговор по телефону. Убью его, клянусь богом, убью как бешеного пса. Но все равно, она же обязана держать себя в руках...

— Как ты только могла допустить такое? — твердил он в отчаянии.— Теперь, когда носишь нашего ребенка... это чудовищно!

— Это уж не твоя забота. Отрежь лучше хлеба,— сказала она и протянула ему нож.

В это мгновение в нем словно что-то умерло. Он пригладил волосы, сглотнул слюну и тягуче процедил сквозь сцепленные зубы:

— Не понимаю... Ты хочешь сказать, что это от кого-то другого?

— Боже сохрани,— рассмеялась она.— Такую свинью я б тебе все же не подложила.

Она повернулась к нему спиной, подошла к столику, вытащила из пачки «спартину».

— Это правда б ы л твой ребенок,— сказала она как бы мимоходом, будто случайно вспомнила о каком-то пустяке, и из ладони у нее выбился огненный язычок.

— Что? — Голос у него сорвался на крик, полный страха: — Б ы л? Ты что... в Праге... с н о в а его уничтожила?

— Именно так. Ты понятливый, как всегда.

Она выдохнула ему в лицо сигаретный дым и положила на стол изящную дамскую зажигалку.

— Нет, нет, постой! — Он схватил ее за плечи.

— Поосторожней с ножом, еще выколешь мне глаз,— сказала

она, посмеиваясь, и, чуть помедлив, добавила с мечтательной улыбкой: — Правда, надо было тебе прийти чуть-чуть раньше.

Он судорожно сжал челюсти, бледное лицо и вовсе помертвело.

— Вы могли встретиться.— Она погладила ладонью левую грудь; белизна груди, резко контрастировавшая с бархатно-коричневым цветом тела (кроме узкой, такой же белой полоски на бедрах и нижней части живота над темным курчавым треугольником), казалась необычайно нежной и беспомощной, но вместе с тем и невыносимо вызывающей — как четко различимая мишень с малиново-красной десяткой посередине.

Горло свело судорогой.

— Я не могла устоять перед ним...

Почувствовал, как его пронизала колющая мучительная боль.

— Ты даже не можешь представить себе, какой он был сладкий. И как долго.

Тело его словно было резонатором, который стал вибрировать от какого-то неведомого источника энергии, скрытого под пупком. По спинному мозгу поднялся жар; он сосредоточился где-то наверху, в темени.

Это было как удар молнии; в мозгу вспыхнуло ослепительное голубоватое пламя.

Рука, сжимавшая ручку ножа, рассекла воздух с невероятной естественностью, с каким-то ликующим торжеством, будто уже с незапамятных времен ждала этого мгновения. Из сдавленной глотки вырвался высокий, пронзительный крик облегчения.

Потом мускулы его внезапно ослабли... он тупо глядел на нож, который, вонзившись в ее горло, косо ушел вниз, куда-то глубоко под левую грудь.

Гелена застыла с поднятыми над головой руками, привстав на цыпочки, запрокинув голову; словно бы все ее тело в этой позе устремилось к какой-то точке над ней, словно она хотела оторваться от земли и взлететь. Но ужас в ее глазах тут же померк, они заволокло пеленой, и из уголка раскрытого безмолвного рта вытекло несколько капель крови.

Она падала.

На мгновение она запустила ему в волосы пальцы, будто искала какой-то опоры, что могла бы спасти ее от падения в безвозвратное, но все было тщетно.

Он подхватил ее, подставив руку, в которой все еще сжимал четвертушку хлеба, и затем осторожно, точно боясь навредить ей, опустил на толстый и мягкий сочно-зеленый ковер.

За окном раздавалось жалобное блеяние о бедолаге Капусте, которого повесили за то, что он украл казанок. У этих парней заряда надолго хватит, подумал он, глядя на Геленину сигарету, тлеющую на ковре; от нее взвивалась отвесная струйка голубого дыма.

Он поднял сигарету и затушил ее в переполненной пепельнице.

5

Я убил ее, нет, невозможно, это не правда, хоть бы не было так душно, как невыносимо зудит тело, душ, да, надо принять душ, вот именно, я же и пришел, чтоб только принять душ, мать... да, да, я ведь был у матери, спокойно, без паники, поскорей надо к ней, она найдет выход, она что-то придумает, она должна помочь; все равно это же ее вина, да, да, она во всем виновата, этот ее телефонный звонок, она и старуха Кедрова, провалиться бы ей,— наверняка звонят «милоспани»,— не скажи она этого, я бы поднял трубку и все было б нормально, конечно, дело известное, беда никогда не приходит одна, мать, старуха Кедрова и Каролко, вот именно, о нем тоже нель-

зя забывать, не напои он ее... но какое это теперь имеет значение, Гелена мертва, она уже мертвая, но она сама во всем виновата, почему не бросила пить, путаться с мужчинами, почему убила и нашего второго ребенка, нет, просто непостижимо, она ведь так хотела его, или... нет, неужели это возможно?.. неужели только притворялась? Конечно, теперь понимаю, почему она так рвалась в Прагу, надо посоветоваться с сестрой, и я попался на эту удочку... просто непостижимая извращенность, нет, этого не может быть, она поехала в Прагу, чтобы там избавиться от ребенка, НЕТ, НЕТ, НЕТ, невозможно в такое поверить, наверное, все было по-другому, да, она уже там на это решилась, конечно что-то произошло; что-то должно было произойти, но что? За что она хотела наказать меня, что я ей сделал, почему решилась на такой чудовищный шаг? Она ведь так мечтала о ребенке, стала готовить приданое, все эти трогательные вещички для карапузов, даже коляску подобрала... бросила пить, путаться с мужчинами, если вообще путалась с ними, ведь это были только домыслы, сплетни, ничего больше, обыкновенные, подлые сплетни, господи боже, я, кажется, начинаю сходить с ума, какие сплетни, это же было на самом деле, в том-то и весь ужас, все было в действительности, наяву, жили мы семь лет, а я ее совсем не знал...

Потное тело сотрясал озноб. По спине бегали мурашки, вверх, по шее, к самому затылку, словно съежилась вся кожа под волосами. Его вдруг передернуло, это помогло ему сбросить с себя оцепенение: он удивленно огляделся, точно человек, проснувшийся в незнакомой, чужой квартире, пытающийся с невероятным усилием вспомнить, где он и что ему привиделось. На низком сервировочном столике — пустая бутылка, две рюмки, из пепельницы, переполненной окурками, несло едким табачным перегаром. Он был дома. Геленино интимное белье дразняще било в глаза и привносило ощущение такой жажды жизни, что даже вид обнаженного неподвижного тела на ковре не производил удручающего впечатления: словно эта мертвая женщина лежала там лишь для контраста. Она лежала на сочно-зеленом ковре, под хрустальной люстрой, отсверкивавшей в ее каштановых волосах красноватыми огоньками, лежала, свернувшись в клубок, словно блаженно спящая кошка, но кровавая лужа и кухонный нож возле нее отчаянно вопияли о том, что эта кошка уже никогда не проснется.

Нож!

Отпечатки пальцев, надо их стереть.

Но при мысли, что снова придется коснуться «этой вещи», его охватило такое непреодолимое отвращение, что он вдруг безучастно подумал: Зачем? Разве теперь это важно? Разве не все равно, как они умерли, всплыли в его памяти Геленины слова, и предыдущее напряжение сменилось дряблым равнодушием. Он хотел лишь одного — уйти, только бы не видеть этого ужаса. Ухожу, решил он, ухожу, и дело с концом. Все равно я здесь случайно, по ошибке, я ведь зашел только для того, чтобы принять душ.

Он вдруг окаменел.

На лестнице вроде послышались шаги. Да, действительно кто-то поднимается. Два часа сорок минут. Плахий, ясно, этот остолоп идет в гости, как и следовало ожидать. Чертов алкаш! В наплыве бессильной злобы глаза налились слезами. Он не испугался, нет, это был не страх, лишь ярость и ощущение несправедливости. И горькое осознание бессмысленности всего случившегося. Это будоражило больше, чем страх; страх парализовал его, ярость же, напротив, повысив уровень адреналина в крови, подстегивала волю; в нем вновь ожило желание бороться. Да, бороться, защищаться до последнего, они меня не поймают с поличным, надо действовать!

Шаги приближались к двери.

Снова у него заработал мозг — ясно, холодно, с быстротой мол-

нии. Он вытащил платок — я пришел домой и нашел Гелену мертвой. Плахий не может мне не поверить; он мгновенно, осторожно и тщательно сделал то, что еще минуту назад вызывало у него непреодолимое отвращение — обтер ручку ножа. Положил его назад и, сидя на корточках с напряженными до дрожи икрами, стал в ужасе вслушиваться в шаги.

То были шаги женщины, короткий, звонкий перестук высоких каблуков. Шаги миновали его дверь и, постепенно стихая, удалялись, да, поворот лестницы и дальше, на этаж выше. Едва различимый звук открываемой двери — скорей всего, молодая пани Клингерова загуляла. Чувствует себя заброшенной, одинокой. Ей скучно. Муж — водитель на дальних рейсах — зачастую отсутствует, хочется же немного развеяться, ей всего лишь двадцать пять.

Только сейчас, когда исчезла непосредственная опасность, ему стало страшно. Он прижал ладонь к животу, словно пытался унять нервную дрожь, которая быстро расходилась по телу. Со лба градом лил пот, во рту — нестерпимая сухость. Несколькими большими глотками он опорожнил начатую бутылку пива.

Пришлось сесть; ноги дрожали, как если бы он взошел на высокую гору, хотя нет, преодолел спуск, да, спуск куда тяжелее, нужно все время притормаживать, и мускулы ног испытывают дикую нагрузку, вот так-то, камрад, убеждала его Гелена, страстная любительница туризма и татранских баров, когда два года назад прозрачным солнечным сентябрьским днем они пили чай с ромом в горном отеле под Рысями.

Гелена — страстная туристка, страстная лыжница, Гелена, страстная в любви, страстная в ненависти. Ему казалось, что в ее необузданной страстности, с какой она погружалась во все, что возбуждало ее (в том числе алкоголь и чужие мужчины), был какой-то святотатственный вызов жизни, будто с ней она сводила старые и тайные счеты. Она жила, словно пытаясь взять от жизни все, как человек, обреченный на смерть, и это в его глазах придавало ей очарование, граничившее с наваждением.

Конец наваждению, колдунья моя страстная!

Зачем ты это сделала?

Зачем вернулась сегодня, а не завтра?

Зачем вложила этот нож в мои руки?

Когда научишь меня кататься на лыжах? Как ты упорно добивалась этого, да, это было зимой, нет, в начале весны, март... ХВАТИТ! К черту сентиментальный скулеж, возьми себя в руки, идиот, дело пахнет жареным! Когда тебя сцапают, достанет времени для воспоминаний.

Он задумался, в самом деле, какое положено наказание за убийство?

Виселица?

Пожизненное заключение?

Кто знает, что присудят. Я же не хотел ее убивать! Она сама убила себя! Лучше признаться. Признание как-никак смягчающее обстоятельство.

Отец!

Иду по стопам отца. Просто чудовищно, такая верность отцовскому завету. Да, было это в марте, в живописных словацких горах, где человек, не владеющий немецким, едва мог объясниться. Возможно, именно здесь отец партизанил, возможно, как раз здесь его и с х в а т и л и. Схватили его, не повезло, бедолаге, впрочем, его всегда где-то кто-то хватал. Немцы послали его в концлагерь, потом — после освобождения — он недолго ходил в героях, а потом опять его схватили — разве что колючая проволока сменилась тюремной решеткой,— конечно, правда в конце концов восторжествовала, однако какой ценой! Честь, да, честь ему вернули, но можно ли вернуть погибшие годы и

мое искалеченное детство, убийца, сын убийцы, да, как часто я это слышал, господи, до чего я его ненавидел, а на поверку вышло, что он никакой не убийца, а порядочный, честный и мужественный человек, да, странно понимал он эту честь, почему он признался в преступлении, которого не совершил, «сверхличностный принцип» — примерно так он это называл, признался в убийстве человека, потому что чувствовал свою вину, хотя и не убил никого, высоконравственная ответственность, да, так он это называл, попрал собственную честь во имя высшего принципа, а что я, во имя чего, во имя какого принципа я должен признаться в том, что сделал, нет, нет, какое еще признание, ведь я Гелену не убивал, она сама убила себя, я пришел домой просто принять душ, меня тут вообще нет, я у матери, да, Гелена в Праге, а я у матери, у меня есть даже свидетели, да, конечно, водитель, Лапшанская и старик Антошка, они подтвердят, что я шел не домой, конечно, я же вышел на Шафариковой площади и пошел к матери, конечно, у меня трое свидетелей, ну пусть двое, Антошка всю дорогу дрыхнул и наверняка скажет, что ничего не помнит, ах да, Плахий, о нем я совсем забыл, всю ночь пробуду у матери, так, кажется, я сказал ему, господи какое счастье, что я встретил этого охламона, в общем, не так страшен черт... утром вернусь от матери, боже, дикий шок, когда найду мертвую Гелену, которая должна быть в Праге... почему она там не осталась, это только моя рука, будто она была не моя, доля секунды — и все полетело в тартарары, в мозгу произошло какое-то замыкание, что-то треснуло, точно вышибло пробки, и конец всему, зачем она мне, сирота несчастная, сунула этот нож.

Он решительно поднялся с кресла. Лекарства нет, и безнадежность гложет, и потому отчаяние не поможет. О господи, я вроде начинаю говорить стихами. Тьфу ты, ведь это, кажется, из Отелло, ей-ей, будто специально по заказу. Нет, к чертям Отелло, нынче в моде Яго.

Точка, он уходит!

Им овладело какое-то особое настроение. Ужас сменился странным любопытством. Если за минуту до этого он был затравленным зверем, сейчас вдруг почувствовал себя наблюдателем травли, зрителем, не сказать чтоб абсолютно безучастным, так как держал все-таки сторону гонимого, а не гонителя, но и не настолько причастным, чтобы каким-то образом выдать свое расположение к гонимому и тем самым поставить под угрозу неожиданно открывшиеся ему преимущества гонителя. Он сострадал гонимому, но не ощущал себя им. Эта перемена была настолько разительна, что даже время он стал воспринимать по-другому. И пусть эту затравленность он испытывал всего лишь минуту назад (в самом деле, прошло минут пять), то время показалось ему давним прошлым, и при мысли о нем автоматически всплыло словечко — тогда. Побуждение разорвать связь с тогдашним человеком было таким настойчивым, что его охватило непреодолимое желание немедля избавиться даже от носового платка, которым он вытирал ручку ножа,— спущу его в унитаз.

Но в минуту, когда он хотел потянуть цепочку сливного бачка, его остановил некий предупредительный сигнал, мозг сработал: ошибка! Прозрение — острое, как бритва: нужно сделать, что еще можно сделать. Он предельно сосредоточился. Не поддаваясь панике, спокойно, хладнокровно, будто искал ошибку, допущенную при решении математической задачи, он размышлял: о чем идет речь? Я должен идти к матери, это ясно. Желательно, чтобы меня никто не видел, ни один человек, который мог бы опознать меня. Но тут все решает удача, тут я бессилен, дело случая... Да! Исключить всякое возможное доказательство, что я был здесь, дома!

Вот о чем идет речь!

Как это можно установить?

Нож!

Да, нож я вытер.

Носовой платок. Нужно избавиться от него.

Что я еще делал?

Ел.

Нет, лишь хотел поесть. Гелена дала мне нож, я держал хлеб. Но так и не отрезал от него. Не успел.

Выпил бутылку пива. Но это несущественно!

Нет. Существенно! Пиво принесла мать где-то после обеда, когда меня не было дома.

Да, старуха Кедрова может вспомнить. Лучше всего взять бутылку с собой и где-нибудь выбросить.

Но тут же ему показалось смешным нести пустую бутылку — недостойно, именно это слово мелькнуло в голове.

И вдруг у него начисто пропал интерес ко всему. Понял, что немыслимо предвидеть все случайности, сочетания и переплетения. Он скептически усмехнулся: Как можно все предугадать? И впрямь, будто решаю математическую задачу, это же нереально. Уж не спятил ли я? Впрочем, как раз наоборот: не болезненное помрачение рассудка, а болезненное просветление.

Он торопливо обтер бутылку тем же платком, которым вытирал нож; прочь, немедля бежать! Скорей бы оказаться у матери. Он сунул платок в карман, не хотелось возиться с ним, спускать в унитаз. Да и вообще глупая идея — возможно, он держался бы на воде, несусветная глупость. Выброшу его в какой-нибудь контейнер.

Здесь ему уже нечего делать.

Со всем покончено.

Оставалось только бежать.

Кто хоть раз пустится бежать, тот уже всю жизнь не остановится, подумал он. Я здорово влип, ждет меня превосходное будущее, жизнь как перманентное бегство. Если повезет.

Услышав шаги у двери, он не ощутил никакого страха. Лишь какое-то горькое разочарование.

А когда в квартире раздался звонок, горло перехватило бесконечной печалью и тоской. Вот все и решилось, подумал он. Что поделаешь! Все-таки Плахий не изменил себе.

Поверит ли мне, что я нашел ее мертвой?

Увидим.

Могло повезти и больше.

Все.

Он открыл дверь.

На пороге стояла мать, испуганная, бледная.

— Почему ты не пришел, я же звонила тебе,— с укором сказала она.

— Я хотел принять душ,— ответил он устало.

6

Он заглянул в ванную и в отчаянье сжал голову ладонями, увидев, как основательно и неторопливо мать протирает нос и подбородок кусочком льда.

— Ты с ума сошла? Уже ведь семь.

— Только не суетись, миленький. А лучше побрейся и прими холодный душ. Тебе это очень кстати.

— Черт бы побрал все души на свете!

— Извини,— сказала она спокойно, продолжая наводить красоту.— Забыла, что это случилось лишь потому, что у меня в доме лопнули трубы. Совсем запамятовала.

Он побледнел — словно внезапно вся кровь отхлынула от лица и ударила в мозг; почувствовав небольшое головокружение, сел на край ванны, наполненной водой. Он таскал ее сюда, на четвертый этаж, двумя ведрами из цистерны; руки, спина, плечи, душа — все неистово болело. В ванне мокло материно белье; вместе с платком, которым он вытирал нож и пивную бутылку.

— Черт подери, оставь меня наконец в покое! Откуда мне было знать, что она вернется на день раньше?

— Надо было прийти ко мне, тебе же передали мою просьбу. Но для тебя, конечно, важнее холодный душ...

Он перестал слушать ее — безнадежно, она без умолку мелет одно и то же: если бы ты пришел раньше ко мне, ничего б не случилось, но для тебя всегда все на свете важнее, чем собственная мать, я с самого начала знала, что добром это не кончится, но что это кончится так ужасно — даже в самом страшном сне мне не могло привидеться...

Всю ночь они не сомкнули глаз: глушили черный кофе, прикуривали одну сигарету от другой — точно происходило тактическое совещание в штабе главнокомандующего перед началом решительного сражения. Заключительное коммюнике: положение катастрофическое, но не безнадежное, несмотря ни на что, нужно сохранять трезвый взгляд на вещи!

Славик взглянул на часы: со вчерашнего утра прошли сутки. Двадцать четыре часа — а столько всего пережито! Катастрофа, да, случилось непоправимое; но сейчас нужно справиться с этим. И справиться самому, поскольку это касается только его! Ситуация, в которой он теперь оказался, унижала его. Им владело одно желание — уйти, замести за собой все следы и сделать вид, что ничего не знает, да, в какую-то минуту он был твердо уверен, что поступит именно так,— впрочем, он так и поступил, именно так, только не совсем по своей воле; и это мучительно унижало его, да, он не выдержал, сломался! Конечно, произошла случайность: приди тогда не мать, а кто-то другой, он определенно отступился бы. «Пожалуй, лучше всего позвонить в милицию и все рассказать». Он выговорил это, но сам же почувствовал, что слова его прозвучали не очень искренне. Мать посмеялась над ним, и он после недолгого, неубедительного сопротивления, нерешительно, но с большей или меньшей готовностью внял ее доводам. В самом деле, почему он должен сдаться без боя, почему должен — как говорит мать — перечеркнуть свою жизнь, когда по сути он ни в чем не виноват.

Она сама во всем виновата, пойми же ты наконец, без устали твердила мать и вбивала ему в голову те самые мысли, которые терзали его, но которыми он и оправдывал себя в собственных глазах.

— Конечно, это кошмар! Никогда даже в самом страшном сне мне не могло привидеться, что окажусь в таком положении, но коль уж так случилось, да еще при таких обстоятельствах, нет, нет, я никогда не допущу, чтобы ты по доброй воле загубил свою жизнь из-за такой суки, да и обо мне подумай, неужели ради такого конца я мучилась и надрывалась всю жизнь, разве мало того, что твой отец безвинно просидел семь лет в тюрьме, нет, нет, я не допущу, чтобы сын мой оказался убийцей...

— Уже свершилось,— не удержался он от усмешки. Она не допустит, чтобы сын ее оказался убийцей. Он убил Гелену, но для матери он не был убийцей; словно он станет им только тогда, когда его уличат и осудят. И еще это сравнение с судьбой отца — да, конечно, отец попал в тюрьму, и мать не могла представить себе, что подобная судьба ждет теперь и сына, но какое тут может быть сравнение?! Отец сидел без вины, его же вина была ясна как день,— и все-таки в глазах матери он оставался таким же безвинным, как и

отец. Но, в самом деле, только ли моя это вина? Я ведь не хотел ее убивать — она сама убила себя, эта неотвязная мысль сверлила его. И слова матери: «...даже в самом страшном сне мне не могло привидеться, что я окажусь в таком положении...» — разве слова эти не означали, что в случившемся она винит и себя?

— Почему ты ее так ненавидела? — спросил он.

— Может, это был инстинкт матери.— Она горько улыбнулась.— С самого начала я чувствовала, что она погубит тебя.

— Не пори чушь.

— Чушь? По-твоему, я была неправа? Почему же мы тогда здесь и собираемся на поминки?

— Это и твоя вина! С самого начала ты относилась к ней хуже некуда!

— Она не давала мне особого повода для любовных проявлений,— съязвила мать.

Он понимал, что ее слова не так уж далеки от истины, и примирительно сказал:

— Ладно, оставим этот разговор. Теперь это не имеет значения.

— Стало быть, по-твоему, я во всем виновата? И в том, что она пила как лошадь, и в том, что путалась с мужиками, и в том, что сейчас снова убила ребенка? Спасибо тебе, миленький,— она силилась говорить равнодушным, бесцветным тоном, но в голосе послышался едва заметный предательский скрежет.

Он покоробил его, от этого звука — словно скрежет лопаты по сухому бетону — у него всегда бегали мурашки по телу, да и вообще, нужно ли сейчас напоминать ему об этом? Будто других, более важных забот у него не было.

— Чего ты натираешься льдом? — спросил он и язвительно продолжал: — Насколько помню, Гелена протирала льдом нос и подбородок, чтобы они не блестели. А у тебя лицо совсем не блестит, оно матовое, как... поблекшее зеркало. Лучше б тебе натереться сидолом [1], он бы придал тебе блеску.

Он будто грубо ударил ее по руке; кусочек льда упал на пол и разбился на мелкие, холодно сверкавшие хрусталики.

Ну не скотина ли я? Она сидит здесь ночь напролет... больное сердце, желчный пузырь, набитый камнями... добивает себя черным кофе и сигаретами — лишь бы помочь мне, а я... Он подошел к матери, погладил ее по волосам.

— Не сердись. Нервы совсем ни к черту.

Она молча, неприязненно дернула головой.

— Извини, живот схватило,— сказал он и припустился в туалет — едва добежал.

Когда вернулся, мать кисточкой наносила под глаза фиолетовые тени.

— Оставь наконец этот маскарад! Не в театр же собираешься!

— Именно в театр, миленький, только на сей раз буду сидеть не в зрительном зале. Ты — идиот! — выкрикнула она вдруг и повернула к нему лицо, искаженное внутренней мукой.— Ты в самом деле не понимаешь, что очень многое зависит от того, как мы будем выглядеть? Ты что, хочешь явиться туда в таком виде? Бледный, умученный, растерзанный, грязный, заросший, да ты только погляди в зеркало, на кого ты похож. Господи, и это говоришь ты, режиссер. Вживись наконец в роль, которую будешь играть...

Выговорившись, она снова повернулась к зеркалу. И продолжала хладнокровно подкрашивать лицо — она работала над своей маской, и вдруг только сейчас до него дошло: она РАБОТАЛА, да, вот именно, работала, чтобы не рухнуть совсем, чтобы не развинтились вконец нервы; она должна была что-то делать, ибо за ее

---

[1] Чистящий порошок.

наигранным хладнокровием скрывались страх и ужас, она работала и за него, пытаясь вывести его из апатии и пробудить в нем волю к предстоящей борьбе.

— До чего же она была хитрой бестией,— удивленно покачала головой мать.— Уезжает в Прагу, чтобы сделать аборт, а прикидывается, будто едет посоветоваться с сестрой, как воспитывать ребенка. Вот так она водила тебя за нос долгие годы, и ты ей верил, как какой-то...

— Перестань! Замолчи наконец, прошу тебя...— взорвался он.

Мать действительно умела ударить по самому уязвимому месту: эта боль была, пожалуй, самой мучительной. И тон, каким она говорила,— казалось, даже это доставляет ей удовлетворение. А ее притворство — он вспомнил, как мать восприняла новость, что станет бабушкой. Этот ее истерический взрыв: Господи, если б хоть ребенок был не от этой потаскухи! — а теперь ведет себя так, будто Гелена умышленно и вероломно лишила ее долгожданного внука. Может, напомнить? Зачем? И без того все выглядит более чем отвратительно. Если бы она хоть молчала! Но он слишком многого хотел от нее.

— Мне сразу показалось подозрительным, когда она вдруг вздумала ехать в Прагу,— сказала мать.

— Не знаю, почему это показалось тебе подозрительным,— обрезал он.— Все равно... я не верю, что она уехала с такой целью. Скорей всего, она уже там решилась на аборт.

Мать снисходительно улыбнулась его наивности.

Предположение, что Гелена действительно поехала в Прагу, чтобы сделать там аборт, казалось ему слишком чудовищным. В глубине души он не хотел, не мог допустить, что человек, с которым прожил семь лет, способен был на такую подлость. Гелена была способна на многое, но подлой и вероломной она не была, нет, такой не была. С ней, наверное, уже там, в Праге, что-то случилось, что-то такое, из-за чего она так смертельно возненавидела его и решила порвать с ним — окончательно, бесповоротно. Это ее невменяемое бешенство, когда она плюнула ему в лицо: За то, что ты всю жизнь меня обманывал. Замешана ли здесь другая женщина? Может, она узнала о какой-то его случайной интрижке? Конечно, порой, когда бывал в Праге, он позволял себе небольшие вольности, но это не могло заставить ее сделать то, что она сделала. Наконец, они вообще договорились: если у кого-то из них вдруг появится серьезная и продолжительная связь на стороне — они разойдутся спокойно, нормально, как два разумных взрослых человека. Они никогда не допустят, чтобы их жизнь превратилась лишь в формальное, ханжеское сожительство. Разумеется, он был не настолько простодушным, чтобы думать, что все Геленины флирты абсолютно невинны, и, хотя достаточно терзался по этому поводу, знал, что это всего лишь мимолетные увлечения. Да, он был уверен: найди она действительно кого-нибудь, с кем решилась бы соединиться на долгие годы, то непременно бы сказала об этом; он доверял ей — в таких делах она была искренна и последовательна. И знал, что ему она тоже доверяет.

Благими намерениями ад вымощен, усмехнулся он. Ошибался я? Было ли это только самовнушением? Неужели наше взаимное доверие было лишь обманом и иллюзией? Неужели я ее так мало знал?

Слова матери снова разбудили в нем подозрения и сомнения — в самом деле, было странно: почему вдруг, ни с того ни с сего, она собралась к Катке? Именно на две недели. В Братиславе она уже делала один аборт, может, поэтому решила ехать в Прагу? Это безопаснее, да и потом у нее там полно знакомых в медицинских кругах, которые охотно пошли бы ей навстречу,— возможно, для этого не понадобилось бы даже имени доцента Барлы.

Довольно! К чему без конца терзать себя бесполезными догадками. Она это сделала, и это главное! Побуждения теперь не играют никакой роли. Всякие домыслы и сомнения лишь изнуряют его, а это сейчас просто непозволительно. Надо поесть, мать права. Когда слабеет тело, нервы посылают ложные сигналы. Но при одной мысле об яичнице, сохнувшей в кухне на сковородке, его затошнило. Как и много лет назад, когда на завтрак мать варила ему кофе с молоком. Любой ценой он должен был подавить в себе воспоминания, рождаемые разгоряченным воображением.

— Когда ты перестанешь наводить этот марафет? — обратился он к матери.— Мне кажется, ты чересчур усердствуешь.

— У нас должен быть совершенно естественный вид, ты можешь это понять? Мы должны прийти туда в абсолютно нормальном состоянии. Свежие, отдохнувшие после спокойного сна...— Тебе вообще неизвестно, что Гелена дома. Она в Праге, понимаешь, в Праге, и сегодня должна вернуться. Вколоти себе это наконец в башку...

Он уже не слушал ее. Да, лезет из кожи вон, конечно, ей пятьдесят шесть, а хочет выглядеть тридцатилетней. Ее потуги казаться естественной попросту были смешны. Она теряет всякое чувство меры; и в тех средствах, какими пытается остановить неумолимо текущее время, и, главное, в убежденности, что ей это удается сделать благодаря искусственным косметическим ухищрениям, его раздражала ее наивность, но вместе с тем и трогало упорство этой наивности, да, ее действия были смешны и трогательны и по-своему достойны восхищения. Неумеренное стремление к естественности может превратиться в карикатуру на естественность, подумал он. Возникает ощущение подделки, а там и вопрос: зачем человеку понадобилось надеть маску естественности и что он пытается под нею скрыть? Естественности нельзя достичь маскировкой, хотел он сказать матери, но в момент, когда поглядел на нее, осекся, сбитый с толку тревожным ощущением,— ведь это уже было; ему вдруг показалось, что он дома, в своей ванной, и наблюдает за Геленой перед зеркалом. Тени для глаз лучше держатся, если наносить их влажной кисточкой, и кроме того... Гелена подняла указательный палец, точь-в-точь как доктор Бутор в «Смиховском» кабаке: Под утро, вообразите, под утро, чем это она занималась там всю ночь...

— Представь себе, вчера мне один тип рассказывал о женщине, которая убила собственного ребенка, не дикость ли? — сказал он матери, красившей теперь светлой помадой губы. И Гелена пользовалась такой помадой, вспомнил он, и его сжатый рот выразил обуявший его ужас, который он пытался подавить. (И кроме того... Гелена подняла указательный палец, точно хотела предупредить его, что ее последующие слова будут особенно важными: тени принципиально не должны быть одного цвета с глазами, потому что в таком случае естественный цвет глаз приглушается. Словом, при моих голубовато-дымчатых,— хотя ее глаза были банально голубыми, она всегда говорила о них как о голубовато-дымчатых,— при моих голубовато-дымчатых глазах нужно обязательно пользоваться фиолетовыми или золотисто-коричневыми тенями, понимаешь, по принципу контраста. Попусту расходуешь талант, засмеялся он. Ты могла бы стать отличной гримершей, я бы тотчас взял тебя в нашу группу. Фу, прихорашивать чужих баб, нет, камрад, меня на эту удочку не поймаешь.)

— Собственного ребенка? Какой ужас,— процедила мать сквозь зубы, обводя контур губ мягким карандашом более темного тона.

— Интересно, почему ты красишься точно, как Гелена?

Не отвечая на вопрос, мать спросила:

— Как зовут твою ассистентку?

Ее слова прорвали наваждение диковинно переплетенных ассо-

циаций, отвлекли его от завораживающе губительного образа Гелены перед зеркалом, вернули к реальности, но это возвращение не побудило его к более трезвым раздумьям: воспоминание о докторе Буторе представилось вдруг фантастическим, да, буквально роковым предвестием того, что обрушилось на него самого.

— Ты слышишь? — повышенным голосом окрикнула его мать и настойчиво повторила свой вопрос: — Как зовут твою ассистентку?

— Лапшанская,— ответил он с облегчением. Бегство из лабиринта воспоминаний и образов помогло ему наконец вернуться на землю.

— Надеюсь, она подтвердит, что ты вышел из машины возле моего дома?

— Разумеется.

— Поручиться нельзя. Знаешь, старые девы... она же старая дева, не правда ли?

— Там был и водитель.

— Этот шалыган? — обронила она, внимательно рассматривая свое отражение в зеркале.

По-видимому, она осталась довольна, ибо одобрительно кивнула и взяла в руки пинцет для выщипывания бровей. Он не мог удержаться от удивления — эффект, который она достигла косметикой, был поистине потрясающий. Признаки бессонной ночи — утомленное выражение болезненного, желтого лица и темные, припухшие круги под глазами почти полностью удалось устранить этой утонченной операцией.

— Ты видела Геленино страусовое боа? — спросил он, сам не зная почему.

— Эту заплесневелую рухлядь? Где она ее раскопала?

— У старой Кедровой. Поменяла на электрические щипцы для завивки.

— Шальная баба,— презрительно усмехнулась мать и начала пинцетом выщипывать брови.

— Вот потому-то я и любил ее.

— А что Антошка? Не наделает в штаны?

— Спал.

— Спал? Черта лысого,— озабоченно сморщила она лоб.

— Еще Плахий, я уж тебе говорил.

— Сомнительно. На алкашей нельзя полагаться.— Она угрюмо на него посмотрела и с раздражением добавила: — Сказала же я, побрейся.

Он прошелся ладонью по лицу — почувствовал густую, колючую щетину.

— А чем, скажи на милость?

— В спальне бритвенный прибор.

Он насторожился. Бритвенный прибор? Зачем он ей? Может, она бреет волосы на ногах? До сих пор он не замечал этого. Не говоря ни слова, побрел в спальню.

— На туалетном столике,— крикнула мать ему вслед.

Это была электрическая бритва. Так твою курочку... он тут же вспомнил, что в холодильнике видел две бутылки пива. Бред какой-то! Да нет, это пиво она купила для меня, звонила на студию, думала, приду. На миг устыдившись своих подозрений, он облегченно вздохнул, однако не мог оторвать взгляда от электробритвы на туалетном столике. Если и бреет ноги, то все же... Гелена пользовалась для этого обыкновенной бритвой. И пиво в холодильнике — он только сейчас осознал, что это было братиславское «Юбилейное», двенадцатиградусное, тогда как для него мать всегда припасала «Золотого фазана». Пиво предназначалось для кого-то другого.

— Что ты там застрял? — раздался ее нетерпеливый окрик из ванной.

Он сглотнул слюну и неестественно хриплым голосом ответил:

— Не могу найти.

— На туалетном столике. С зеркалом.

Быстрым взглядом он окинул спальню, хотя хорошо знал ее — это была старая, щемяще знакомая темно-коричневая мебель орехового дерева: два высоких шкафа, большой туалетный столик со стоящим посередине зеркалом, два маленьких ночных столика в головах широкой супружеской кровати; да, он очень хорошо знал и любил эту старомодную мебель, как и все, что напоминало ему теперь отца, годы детства. Она рождала в нем странное чувство ностальгии, что по прошествии долгих лет вызывают в нас воспоминания, в которых перемешаны боль и счастье, тоска и любовь, все хорошее и плохое, но время в конце концов закругляет острые грани воспоминаний и милосердно позволяет сохранить в памяти, главным образом, самое прекрасное, как бы мало его ни было. Эта мебель, сработанная руками искусного столяра Мартина Славика из Горного Лесковца, относилась к тем вещам, какими он особенно дорожил. Дед смастерил ее в честь возвращения отца из тюрьмы: потому-то она и была так доверительно близка ему, но сейчас вдруг показалась чужой, безликой, даже враждебной.

Он растерянно блуждал глазами по спальне, пока взгляд не споткнулся о супружескую кровать. Половина, на которой лежала сегодня ночью мать, до того как прийти к нему, была раскидана (он тщетно пытался вздремнуть хотя бы часок на диване в гостиной). Но другая половина была аккуратно застелена пуховым одеялом — и эти пуховики они привезли из Горного Лесковца, когда в начале семидесятых годов вернулись в Братиславу, где отец два года проработал в министерстве просвещения, да, под этими пуховиками она спала с отцом. И вот из-под отцовского — торчало что-то крикливо пестрое; не надо было даже подходить ближе, чтобы разглядеть, что́ это.

— Да что с тобой, уж не уснул ли ты там? — снова раздался настойчивый голос матери.

Он резко передернулся, стиснул челюсти, от злости и отчаяния выступили слезы. Схватил бритву, сжал ее в ладони так, что побелели костяшки пальцев. Казалось, он хочет грохнуть ее об стену, но минуту спустя плечи его вяло опустились, и он вышел из спальни с бритвой в руке.

— Что ты там так долго копался, скажи на милость? — спросила она раздраженно.— Нам скоро идти, а видик у тебя, словно спал на вокзале. Зарастаешь точь-в-точь, как отец. Ему приходилось бриться дважды на дню.

— Не мог найти бритву,— сказал он, не глядя ей в лицо. Упоминание об отце именно в эту минуту так возмутило его, что он едва сдержался, чтобы не ударить ее по этой размалеванной клоунской маске.

— Какую бритву? — спросила она машинально, неосознанно.

— Вот эту,— отрезал он грубо и, разжав пальцы, показал ее.

На мгновение мать оцепенела — даже сквозь слой краски заметно было, как она залилась горячим румянцем. Опустила глаза, повернулась к нему спиной. Левая бровь была уже выщипана, она принялась расправляться с правой.

Когда раздалось жужжание бритвы и сухое потрескивание щетины, напряжение в ванной ослабло; словно бы звуковой барьер, исключавший разговор, давал им время для обдумывания дальнейших действий. Славик с почти непреодолимым отвращением водил чужой бритвой по лицу, а перед глазами неотступно возникала мужская пижама, торчавшая из-под отцовского пуховика. Но пожалуй, больше всего возмущала ее крикливая пестрота. Внезапными приливами его сотрясал то яростный гнев, то трогательное сочувствие, ког-

да он вспоминал дешевые, в серую полоску пижамы отца, столь похожие на тюремную робу, будто отец так свыкся с ней, что она стала неотделимой частью его существования; как мать могла допустить, именно сейчас... он язвительно посмеялся над жалостью к самому себе; вспомнил — точно такие слова он уже произнес сегодня. Сегодня? Или это было вчера? Да и не все ли равно теперь?

Славик брился за спиной матери; в зеркале, возвышаясь над ней, видел, как она вместо выщипанных бровей начинает рисовать новые; подправляет природу, подумал он с насмешкой. Не удовлетворена исходной формой. Ее натуральные брови были густыми, широкими, сросшимися на переносице; сейчас она выводила над глазами тонкие, изящные, высоко изогнутые дуги.

Гелена тоже выщипывала брови. Но его всегда удивляло и забавляло, что новые брови она рисует на том же месте, где росли ее собственные, сохраняя со скрупулезной точностью их природную форму. Прежде он думал, что женщины выщипывают брови потому, что недовольны творением природы и стараются исправить ее — выщипывают свои брови, чтобы затем нарисовать их такими, какие нравятся. У Гелены же этот мотив отсутствовал полностью. Ее натуральные брови были совершенной формы, она была ими абсолютно довольна и все-таки совершала эту смешную, бессмысленную и бесполезную процедуру. Сперва уничтожала живую модель, затем создавала точно такую же — просто ей не нравилось, что она вообще была создана,— ей хотелось самой создавать себя. Это представлялось ему ужасным эгоцентризмом, безграничным самодовольством, спесью и зазнайством. Он долго жил в убеждении, что именно ее эгоцентризм — причина того, что она не хочет иметь ребенка. Когда однажды он прямо спросил ее об этом, ответ ошеломил его. Представь себе, что он мог бы пойти в меня. Я бы его возненавидела. Это было для него совершеннейшей неожиданностью, он не мог удержаться от смеха — она, которая любит себя, как никто другой, эта эгоистка... Я что-то до сих пор не замечал, что ты уж так ненавидишь себя, и затем в шутку добавил: Чего ты боишься, может, он будет в меня. Ну, это была бы полная катастрофа, рассмеялась она, а он, как обычно, так и не понял — шутит она или говорит серьезно. Пожалуй, не такие уж мы завалящие, возразил он, но она задумчиво покачала головой: Нет, это ужасный риск. Только представлю себе, что он и вправду был бы в меня... бедная малышка, нет, я не имею права. И все-таки наконец отважилась на этот «риск», но напоследок снова испугалась. Может, в последнюю минуту опять передумала и потому решилась в Праге на аборт? Трудно было понять ее, по существу, до конца жизни я так ее и не понял; страхом и тоской перехватило горло.

Он вытащил шнур из розетки, жужжание бритвы прекратилось. Тело матери напряглось, рука с карандашом для бровей застыла в воздухе.

— Где у тебя питралон [1]? — спросил он деловито и заметил, как она расслабилась после судорожного напряжения. Повернулась к нему — на ее лице можно было прочесть знак благодарности. Будто своими словами он дал ей понять, что знает, но не осуждает; лишь констатирует: у тебя мужчина; ладно, не будем говорить об этом, заключим перемирие, нас ждет совместная борьба.

Мать без слова открыла зеркальный шкафчик и подала ему флакон питралона. Он взял его в руки, но, открывая крышку, вдруг замер от неожиданности — узнал флакон с ободранной этикеткой, когда-то сам исцарапал ее ногтями. С отвращением подумал: так, значит, она еще и отцовский питралон сует этому бугаю! Как она могла подложить мне такую свинью? Подлое, коварное предатель-

[1] Вода после бритья.

ство, вот именно, предала память отца, как только она могла мне такое устроить!

— Наверное, уже выдохся. Стоит там много лет,— сказал он хмуро.

— Что? — Она поглядела на флакон и тут же выхватила его у него из рук. Пошарила в шкафчике и подала ему новый, свежий питралон, едва начатый.— Этот я спрятала после смерти отца,— сказала она и осторожно, словно невесть какую ценную реликвию, поставила отцовский питралон на место.

Ощущение невероятно сковывающего бессилия пронзило его. Словно два этих флакона с питралоном символизировали восемь лет, прошедших со смерти отца, словно здесь, внутри этого зеркального шкафа, встретились прошлое и настоящее, сентиментальная верность покойному супругу и непреодолимая тоска по другому мужчине. Сентиментальным и комическим — таким это представлялось ему,— смешным и лживым.

— Хочу надеяться, что пижама у этого человека своя собственная. Или ты и отцовскую пижаму дала ему?

У матери затрясся подбородок, глаза наполнились слезами, она часто-часто заморгала. И тут он с удивлением подумал: смешное и лживое? Почему? Почему, сохраняя память об отце, она не имеет права на собственную жизнь? Он вдруг осознал, что ее доля в этой жизни до сих пор его вообще не интересовала. Она уже восемь лет была вдовой и свой удел принимала безропотно и спокойно. И это казалось ему вполне естественным, он вообще всегда думал о ней только в связи с отцом и — теперь он это ясно осознал — с самим собой. Она была для него вдовой и матерью, он ни разу не подумал о ней просто как о женщине, одинокой и страдающей, испытывающей, возможно, такие же желания, как и другие женщины ее возраста. Нет, это я смешной и лживый со своими эгоистическими претензиями. По какому такому праву я требую от нее, чтобы до конца дней она несла свой безутешный вдовий крест? Да, а теперь и вовсе малодушно взвалил на ее плечи тяжесть своей вины, так как все еще не способен отвечать за себя.

По какому праву я стремлюсь сделать ее соучастницей моего преступления?

— Как раз сегодня у Яны выставка. Она прислала мне приглашение на вернисаж. Я так ждала этого дня, и вот...— Она махнула рукой.

Ну, ясно, Яна Гавьярова, теперь она еще ее начнет тыкать мне в нос, этого она не может мне простить.

— Ума не приложу, как ты мог предпочесть Гелену Янке...

— Смотри не прослезись,— перебил он ее злобно.— Размажешь краску. Я пойду туда один.

7

Значит, у Янки вернисаж, и она прислала матери приглашение, подумать только, в каких высших сферах мать вращается. И какие трогательные отношения наладились между ними и продолжаются уже долгие годы, в самом деле, сколько лет прошло с тех пор, как они встретились впервые? Двенадцать, тринадцать? Невероятно, как с тех пор все изменилось...

В нем всплыло воспоминание о том дне, когда он получил извещение, что принят в Институт музыкального и театрального искусства.

Ну и порадовал же ты меня, парень, сказал отец и по-товарищески похлопал его по плечу. Добился-таки своего. Поздравляю.

Спасибо, отец.

Отец был явно растроган; в глазах стояли слезы. Стараясь побо-

роть волнение, он деловито спросил: Как кончишь институт, станешь писать сценарии?

Может быть. Но мне больше по душе снимать по ним фильмы. Ты же помнишь, я подавал на режиссерский. Кто знает, удастся ли теперь. Трудно.

Не робей. Если есть тяга, если это крепко сидит в тебе, добьешься. Главное выдержать. Он задумчиво покачал головой. Воля и терпение Он улыбнулся и как бы предупреждающе (всерьез или в шутку) поднял указательный палец: И никакой выпивки! Это погибель для нашей семьи!

Почему ты ушел из министерства, спросил его тогда Петер, и на отцовском лице появилось то неприступное, непроницаемое, жесткое выражение, которое сын хорошо знал; это случалось не раз — всегда, когда он пытался завести разговор на эту тему, отец надевал холодную, неподвижную, *чужую* маску. Почему ты это сделал? — повторил он. И как вообще было дело с этим убийством и твоим признанием?

С каким убийством? — взорвался отец грубо, неприязненно. Ты же прекрасно знаешь, что я никого не убивал! Никто никого не убивал, подчеркнул он нервно, озлобленно. Гавулец сам себя порешил!

Он сунул в рот сигарету, тут же вытащил ее и добавил уже более мирно, но с твердой, непреклонной решительностью: Все разъяснилось, каждый знает, как было дело. И ты знаешь. Говорить не о чем!

Отец чиркнул спичкой и тем самым как бы окончательно что-то перечеркнул, будто вычеркнул из времени и памяти целый период своей жизни. А потом, когда прикурил сигарету и затянулся, Петер понял, что больше он уже ничего не узнает; будто прошлое развеялось с дымом.

Оба молча курили, и Петер воскрешал в памяти ту неясную, мрачную историю, о которой — как говорил отец — не стоило и говорить, так как все разъяснилось.

Отец уехал из Братиславы по собственному желанию, по доброй воле — так звучала официальная семейная версия. Я понял, что эта работа не по мне, объяснил он Петеру еще тогда, когда Петер спросил его об этом в первый раз, после окончания школы. И отец что-то еще говорил о складе ума, что, мол, у него характер не тот и способностей таких нету. Да, пожалуй, я не больно-то расторопный, честолюбия маловато, если хочешь, не очень решительный, согласись, что с такими качествами нельзя занимать высокую и ответственную должность, каждому надо знать свой потолок, а моих способностей хватает разве лишь на то, чтобы учительствовать или в лучшем случае быть председателем ГНК[1], это моя стихия, это мне по душе, здесь я крепко стою на ногах, кропотливая, повседневная работа с людьми, которых знаю с детства и понимаю, с которыми нахожу общий язык, потому как вышел из них и могу надеяться, что между нами полное понимание.

Казалось, эти доводы весьма убедительны, казалось, нет причин в них сомневаться. И все-таки случались минуты, когда Петер заставал отца в какой-то горькой задумчивости, и тогда в нем просыпалось чувство недоверия и подозрения; тогда он начинал сомневаться в отцовских словах, понимая, что за ними кроется что-то другое. И больше всего в сомнениях утверждало его отцовское бражничество...

Отец всегда пил, Петер знал это. Пил он и сейчас, хотя сын никогда не видел его пьяным. Отец держался твердого и простого принципа: ничего крепкого и ничего не мешать; он пил только вино, но и здесь был у него точно установленный предел: четырежды по двести, да, восемьсот граммов — и ни капли больше. Отец не хмелел, стороннему человеку и невдомек было бы, что он выпил, только домашние это подмечали — отец становился разговорчивее обычного, ничего больше. Я себя знаю, еще двести — и во мне произой-

[1] Городской национальный комитет.

дет мгновенный перелом, не то чтобы эти двести граммов уложили меня, от литра вина настоящий мужик не окосеет, но мой предел — восемьсот, когда его перейду, пью без удержу, это тот самый спусковой механизм, усмехался он, восемьсот граммов — и ни капли больше. Теперь научился собой владеть.

Да, теперь он научился собой владеть, умел сказать себе — хватит, но Петер знал: когда-то было с отцом по-другому, и именно в этом коренилось подозрение, что одной из причин отъезда отца из Братиславы в Горный Лесковец было и его пьянство — может, он уехал добровольно, но, может, *пришлось* уехать «добровольно».

«Дело» отца началось в день моего рождения. Да, я родился, и словно мое появление на свет стало причиной отцовского несчастья. Поначалу все шло естественно, нормально, как и положено по вековечному ритуалу. Когда мужчина становится отцом первородного сына, вся деревня имеет право на участие в празднике. Да, положено это обмыть, и где же еще, как не в корчме. Спокон веку заведено было делиться счастьем — с мужиками, товарищами, земляками. А уж если удачливый отец — председатель ГНК, так сказать, голова села, староста,— тем более. А то еще не дай бог подумают, что должность вскружила ему голову, не дай бог вообразят, что решил перед ними нос задирать. Вот так это началось. Отец попотчевал всех. За все плачу — сын родился! Сливянка рекой текла — в Горном Лесковце виноградная лоза не родится, да и на кой ляд нам виноградники? У нас слива есть, наша слива, она еще никогда нас не подводила, хотя и хлеба не было, а слива нас всегда из беды выручала, ого-го, рюмашечка сливяночки и из самого занюханного дохляка ой какого мужика сделает, грудному ребенку она и то не повредит, так выпьем... Вся корчма была как одна семья. Обнимались, целовались, пели, горланили; сметены были все барьеры, позабылись все споры и раздоры — мы ведь словаки, земляки, товарищи, *все!* По крайности, в данный момент. Зачем веселье портить? Ради чего? Неужто потому, что у нас взгляды разные? Ты коммунист, я демократ, но мы словаки, чего ж нам ненавидеть друг друга — аккурат сегодня, можно и до завтра потерпеть, когда будем трезвыми, стал выкрикивать Штефан Хадамович, бывший хозяин небольшой обувной фабрички. Нынче у власти вы, коммунисты, но я на вас зла не держу, хотя вы и оттяпали у меня фабрику, да ведь как оно бывает, знаешь, сколько веревку ни вить, а концу быть... небось, Владо, ты мужик фартовый, хотя и коммунист и председатель ГНК; небось, когда все сызнова переворотится, прикажу поставить тебе виселицу из самого крепкого дуба, раз ты такой грибник, по дубовики ходить любишь, чтобы случаем под тобой она не обломилась, выпьем за твое здоровье и за сына твоего! И давай пой! «Ей, убили, убили двух хлопцев безвинных, ей, двух хлопцев безвинных...» Не-е! — стукнул тут, как рассказывали, отец кулаком по столу, эту не стану, в нашем краю ее не поют, давайте нашенскую: «Яворинаа, у милашки круги сини, у милашки круги сини под глазами...» А Штефан Хадамович оборвал отцову песню и затянул: «Моей матери скажите, моей матери скажите, пусть не ждет меня вечор... пусть не ждет меня вечор...» Тут подключился к нему и Юрай Калишек, бывший хозяин портняжной мастерской, нанимать помощников или, как тогда говорилось, подмастерьев: «Ой, не вешайте вы меня...» А остальные мужики тем временем помаленьку выбирались из корчмы.

Старый друг отца, добрая душа Мишо Гавулец, попытался спасти положение и затянул песенку, которая могла бы их опять помирить и сплотить, песенку, что потрафит, казалось бы, всем: «Полюби меня, милашка, вороной мой конь давно бьет копытом под окном...» Но добрые помыслы Гавулеца не нашли ответа, даром он продолжал: «И она его любила, семь раз за ноченьку...» — корчма пустела, дело

начинало принимать опасный оборот, и впрямь лучше смыться, разве когда знаешь, как все обернется, зачем зря рисковать, зачем нажинать неприятности?..

Вот и получилось, что, несмотря на все старания Мишо Гавулеца, который в третий раз повторял: «...и она его любила, семь раз за ноченьку...а вино рекой текло...», почти все земляки неприметно рассеялись, и в корчме осталось лишь четыре мушкетера: Владо Славик, Штефан Хадамович, Юрай Калишек и корчмарь Михал Гавулец. Справляли мое рождение: пили сливянку, пели (каждый свою заветную), играли в «марьяж», обнимались, перебранивались и целовались. А потом подрались. Нормально, как и положено по вековечному ритуалу.

Было их четверо.

А стало трое.

Корчмарь Мишо остался лежать у железной печи, упал там и не поднялся. Остался лежать навсегда.

Было их четверо, а стало трое. И двое указали на третьего: он убил! И этим человеком был мой отец. И он признался в своей вине.

Вот как дело было. И все в это поверили. В конце концов, почему нет? Мы что, не знаем его? Разве не знаем, что он творит, когда налакается? Будто он еще ни разу не дрался? Небось, не впервой, и кулачищи у него твердые, когда подлая его заберет, глядишь, и вола бы прибил. А этот недужный Гавулец, этот хиляк с уполовиненным желудком и простреленными легкими, этот нешто выдержит, куда ему до вола, на этого стоит чихнуть, и он уж с копыт валится...

Правда, надо сказать, концы с концами тут не очень-то сходятся; почему он ударил в аккурат Мишо Гавулеца — оба все-таки в одной партии состояли, оба партизанили, скорей можно было бы ожидать, что он врежет Хадамовичу или Калишеку, но, с другой стороны, пьяному мужику без разницы, шарахнет и брата родного, если тот наступит ему на мозоль. Да и вообще, чего рассусоливать, как-никак сам признался. Отговорок он не искал, надо отдать ему должное, справный мужик Владо Славик, мужик что надо, порядочный, честный, головастый, хотя и подался в коммунисты. Да, конечно, что говорить, умный-то умный, да только пока не надерется. А уж как зайдет речь об этой ихней партии, так тут уж никого не пощадит, даже собственного батьку. Ну какой же умный человек наложит лапу на собственное имущество? Разве не он, а кто другой конфисковал у своего батьки корчму? На кой ляд ему это надо было? Что с того получил? Батьку обидел, а сам с носом остался. Хадамовичова фабрика — дело иное. И в конце концов, Хадамовича от этого не убыло. Таких-то башмачников, каким он был, таких в Горном Лесковце пруд пруди, да и потом, сказать по правде, он не из нашенских, притащился откуда-то из Турца[1], не то из Липтова, даже песенки и то пел по-другому, чем у нас поют, правильно сделали, что его национализировали. Так и так больше охотой интересовался, чем башмаками. А теперь ему вообще на башмаки плевать. Живет себе поживает где-то в Австралии, заместо зайцев кенгуру стреляет или чего там еще прыгает. А Владо Славика в тюрягу упек. Мы, небось, враз смекнули, что здесь дело нечисто, да что могли сделать, коли этот дурень сам признался.

Да, так было — отец признался в том, чего не совершил. А потом, когда из тюрьмы вернулся, на поверку вышло, что все было иначе. Штефан Хадамович, проживавший уже тогда в Австралии, написал письмо, в котором рассказал, как было дело в ту ночь, когда отдал концы Мишо Гавулец, и это его письмо положило начало отцовскому оправданию.

[1] Турец, Липтов — области в Средней Словакии.

— Почему ты взял на себя то, чего не совершил? — спросил Петер отца и в тот раз, когда приехал на свои первые студенческие каникулы; а почувствовав, что отец снова пытается отвертеться от ответа, снова надевает на лицо свою неприступную, чужую маску, без промедления продолжил свой инквизиторский допрос: — Почему ты не защищался, как ты мог согласиться с таким обвинением, как ты мог допустить такую подлость, как ты мог растоптать собственную честь?..

Петер вдруг осекся, испугавшись собственных слов. Пожалуй, я хватил через край, подумал он, у меня нет права для таких сильных обвинений, да, баста, теперь мне уже никогда не узнать, как было дело, ведь если хочешь получить толковый ответ, надо и вопрос ставить толково, а я не нашел нужных слов, я ударил его по самому больному месту, безжалостно, грубо, этого даже дед не позволял себе, а у меня и вовсе нет такого права. Он невольно отступил на шаг, отвернул голову, словно хотел избежать неминуемого удара, заслуженной оплеухи.

Вся кровь бросилась отцу в лицо; он сильно сжал челюсти, задержал дыхание, казалось, грудная клетка, точно переполненный паровой котел, вот-вот взорвется, но потом судорожно улыбнулся, медленно, сквозь сцепленные зубы выпустил пар из этого парового котла и стал говорить с невероятным усилием; стал говорить, пытаясь подавить ярость, проглотить оскорбление, говорил что-то о том, что не мог поступить иначе, так как речь тогда шла не о нем, о Владо Славике, тогда он уже не был частным лицом, захмелевшим мужичонкой, подравшимся в корчме за «марьяжем», тогда он уже отвечал не только за себя, а в ту минуту, когда Мишо Гавулец остался лежать с разбитым черепом, он, Владо Славик, ощущал себя прежде всего общественным деятелем и коммунистом и потому не имел права попадать в передрягу, подрывавшую доверие людей к тому, что́ он собой в данный момент представлял...

Он говорил и говорил, и Петер снова не мог освободиться от мысли, что отец остался верен себе; слишком много громких слов, чтобы не сказать самого главного, и потому нетерпеливо оборвал его:

— Брось все эти фразы!

— Фразы? — вскинулся отец злобно, и Петер, вновь осознав, что не нашел нужных слов, поспешно, извиняющимся тоном добавил:

— Ну, ты пойми меня. Я все равно не могу взять в толк, как ты мог сознаться в том, чего не совершил. Надо было защищаться, разве не так? Тем, что ты признался в убийстве человека, именно этим ты все и дискредитировал.

— Завидую тебе, парень. Как для тебя все просто. Черное — это черное, белое — белое, и дело с концом. Баста. Может, когда и поймешь, что жизнь малость сложнее.

— Выкручиваешься!

Отец горько усмехнулся:

— Хочешь сказать, что я принял на себя вину из трусости?

— Нет, этого я не сказал,— отозвался Петер минутой позже, но уже без прежней убежденности.

Отец усмехнулся:

— Может, я взял на себя вину, так как понял, что ничего другого мне не остается. Что толку было защищаться? Разве это помогло бы? Против меня были двое, накинули петлю мне на шею, что я мог сделать?

Заметив на лице своего бескомпромиссного девятнадцатилетнего сына отсвет презрительного разочарования, он, вероятно, понял, что его слова не удовлетворяют Петера, и решился на более подробное объяснение. Он погасил сигарету в пепельнице, стоявшей на

подоконнике, придавив ее крошки круговым движением, пока она не рассыпалась на мелкие кусочки обугленной бумаги и табака, и, чуть скривив губы в легкой (ироничной — уж не над самим ли собой?) усмешке, сказал:

— Тогда послушай! Наверное, я признался потому, что чувствовал себя виноватым, морально виноватым, понимаешь? Наверное, я чувствовал, что обязан нести ответственность за свой поступок, потому что...

— Но ведь ты же не ударял Гавулеца!

Казалось, отец уже теряет терпение.

— Черт возьми! — вскинулся он.— Дай хотя бы договорить, коль уж взялся меня допрашивать! — Он угрюмо глядел Петеру в глаза, а тот с мальчишеской дерзостью отвечал ему таким же взглядом.— Это вообще тогда не имело значения, раз Гавулец умер,— наконец заговорил отец более спокойным тоном.— Именно потому, что я был не просто частным лицом, понимаешь, именно потому мне нельзя было попадать в историю, которую могли бы использовать не только против меня, но и против всего того, что в данную минуту я представлял. Но коль уж это случилось, я не мог уклониться от ответственности, понимаешь? Что с того, если я его и не ударил,— развел он руками.— Как мне тебе это объяснить? — Отец почесал голую макушку, он уже совсем облысел, лишь на висках топорщились седые островки волос. Он покачал головой: — Да, в общем, ты рассуждаешь так же, как и они, те ведь тоже думали, что я из этого выкручусь, поскольку некоторым образом — по их разумению — принадлежал *к сильным мира сего.* Это было их пониманием морали, на моем месте они бы наверняка вышли сухими из воды — при их режиме,— подчеркнул он.— Но мы понимаем мораль иначе, для нас мораль — прежде всего справедливость, и поэтому я никак не мог из этого выкрутиться, тебе ясно?

Петер Славик молчал.

— Допустим,— продолжал отец после недолгого раздумья,— допустим чисто теоретически, что я из этого выкрутился бы. Что бы произошло? Как бы люди это восприняли? Сказали бы, само собой: так было и будет, ничего не изменилось, у кого власть, у того и правда, а справедливость может идти к чертям собачьим. Когда я взял на себя вину и пошел отсиживать положенное, люди поняли, что мы, коммунисты, не ищем для себя поблажек, каждому отвешиваем одинаковой меркой... но,— замолчал он вдруг и досадливо махнул рукой.— К чему я все это тебе объясняю, для тебя это все равно пустые фразы. Может, я просто хочу оправдать собственную слабость и этот срыв какими-то высшими интересами, может, мне льстит роль святотерпца, знаю, что ты думаешь, и, ей-богу, не упрекаю тебя.— И это было все, что Петер тогда узнал от отца.

8

Домой Петер Славик пришел в четверть девятого утра. В квартире уже были сотрудники уголовного розыска ОБ[1]; вызвала их по телефону Амалия Кедрова, которая намеревалась убрать «квартиру пана режиссера и приготовить ему фриштик». Она первая нашла Гелену мертвой и потому сразу же была подвергнута свидетельскому допросу. Показания старушка давала в довольно раздражительном тоне и полностью все отрицала. На вопрос, видела ли она кого-нибудь чужого, входившего в квартиру, она безоговорочно ответила: «Нет!» — но чуть погодя добавила: «По крайности, нынче ночью никого не видала!» Когда ее попросили уточнить ответ, она лишь показала на свои уши и объяснила, что она «глухая, как

[1] Общественная безопасность (органы охраны общественного порядка).

пень». Замечание молодого, стройного подпоручика она отразила тем, что на удивление спокойно, без тени возмущения сообщила: «Окромя того, что я глухая, как пень, я ишшо и слепая, как крот, почему и ношу очки с девятью диоптриями, я бы не услыхала, даже если б в пана режиссера стреляли из пушки». Ревностный поручик снова возразил ей: «Не понимаю, как вам, так сказать, допустимая слепота может помешать услышать выстрел из пушки». На сей раз Амалия Кедрова справедливо возмутилась и обрушилась на подпоручика; дескать, он оскорбил ее, так как словами «допустимая слепота» обвинил в обмане — ведь его слова берут под сомнение ее правдивое утверждение, что она слепая, как крот. Подпоручик залился симпатичным мальчишеским румянцем, в особенности когда заметил, что коллеги откровенно забавляются его разговором с Амалией Кедровой; но и это не остановило его; с юношеским задиристым упрямством он заявил Амалии Кедровой, что, вопреки ее утверждению насчет очков, он не видит на ее носу никаких очков, что в самом деле было неоспоримой истиной. Но старушка играючи отбила и этот удар исключительно простым способом — она вытащила очки из глубокого кармана своего закрытого передника, сунула их ему под нос и торжествующе прокаркала:

— А это что? Бинокль?

— Почему же в таком случае вы носите их не на глазах, а в кармане? — спросил подпоручик, который постепенно, но явно начинал терять терпение.

— Чтоб вам больше пондравиться, пан стражник,— ответила Амалия Кедрова под общий смех коллег подпоручика.

Своеобразная форма ее показаний внесла в мрачную обстановку фривольный привкус фарса.

Передвигала ли она что-нибудь?

— Не-е. Даже этого ножа не коснулася.

— Это еще посмотрим,— пробурчал подпоручик и бросил нетерпеливый взгляд на мужчину, сидевшего на корточках возле кухонного ножа, что лежал рядом с обнаженным телом Гелены Барловой.

— Сомневаюся, чтоб убийца был таким простофилей и не стер с ножа своих пальцев,— язвительно заметила зловредная старушечка и, как вскоре выяснилось, была права.

Ага, дактилоскоп, отпечатки пальцев, сообразил Славик. Он сидел в глубоком мягком кресле, обтянутом золотистым бархатом, и безучастно наблюдал за происходившим в гостиной. Если он до этого опасался, способен ли будет изобразить естественное изумление, когда вернется домой и обнаружит там мертвую Гелену, то, как оказалось, ему ничего не пришлось изображать — он действительно был поражен. Присутствие людей из уголовного розыска было для него полной неожиданностью, ибо он совершенно не учел вероятности, что кроме него Гелену может обнаружить кто-то иной; это так его потрясло, что он панически растерялся. И вправду, старухе Кедровой сегодня нечего было здесь делать, но все равно он должен был принимать во внимание и эту возможность. Такие просчеты в моем положении абсолютно непозволительны.

Когда он увидел Гелену, лежавшую на толстом сочно-зеленом ковре, и кухонный нож со следами запекшейся крови на лезвии, в памяти всплыли все подробности ночного ужаса с такой силой, что он зашатался — пришлось опереться о плечо худого, лет сорока пяти мужчины, в сером костюме, который как раз в эту минуту обратился к нему с вопросом, узнает ли он свою жену.

Нет, это было не так, мужчина говорил что-то об идентификации трупа, да, и я лишь кивнул, да, это моя жена, и меня вдруг потянуло на рвоту, я тотчас зажал рот ладонью. «Вам плохо?» — спросил этот человек и обменялся каким-то странным взглядом с

другим мужчиной, тоже в гражданском, но без пиджака, я проглотил свою рвоту и сказал «уже лучше», и ко мне сразу же подошел тот второй мужчина, без пиджака, в легкой летней рубашке с засученными рукавами, «я доктор Геловский», он подал мне руку, мягкую и теплую, как-то долго держал мою ладонь в своей, потом прижал палец к моей лихорадочно пульсирующей артерии на запястье, парень этот, должно быть, голубенький, подумал я и с отвращением вырвал ладонь из его мягкой, теплой руки, а он опять посмотрел на того человека в сером костюме, с веером морщин в уголках глаз и глубоким поперечным шрамом посередине лба, слегка покачал головой, точно хотел сказать: не симулирует, в самом деле его проняло. Покопавшись в своем портфеле, «дам вам успокоительное», он сунул мне какую-то белую таблетку и добавил: «просто легкий транквилизатор».

— Более собеседовать с вами не желаю, потому как я исполнила свой гражданский долг, когда сообщила в отделение, что в квартире пана режиссера прямо на чистом ковре лежит голая Еленка, которая уже наверняка испустила дух, потому как заколотая ножом и холодная, как мороженое филе,— прокричала старая Кедрова подпоручику, выходя из квартиры. Подпоручик беспомощно повернулся к мужчине в сером костюме, который тихо разговаривал с доктором Геловским.

— Товарищ капитан,— обратился он к нему, и Славик только сейчас понял, что этот неприметный человек и есть, собственно, самый опасный.— Товарищ капитан, что с ней?..

Капитан лишь махнул рукой и кивком головы указал на дверь.

— Тогда, значит, подпишите и можете идти,— раздраженно сказал подпоручик и подал Амалии Кедровой блокнот, куда заносил ее ответы.

— Чего мне подписывать, ничего не желаю подписывать, я никого не заколола,— завизжала Кедрова.

— Пани Кедрова, никто и не утверждает, что вы совершили, так сказать, нечто противозаконное,— подал в первый раз голос капитан (ага, Штевурка, вспомнил Славик, так он представился мне) и ободряюще улыбнулся: — Напротив, вы нам чрезвычайно помогли своими показаниями. Спасибо вам за сотрудничество.— Он подошел к старушке, подал ей руку, любезно открыл дверь и все с той же ободряющей улыбкой на узких губах выпроводил ее из квартиры; от возмущения она не успела даже воспротивиться.

— Однако...— проговорил подпоручик, но капитан резко перебил его:

— Достаточно, товарищ подпоручик, достаточно.— Он отвернулся от сконфуженного подпоручика и коротко приказал: — Уважаемые коллеги, комедия окончена! Приступаем к делу! Фотографии, отпечатки, не теряя ни секунды! Пан доктор, что скажете относительно времени?

Врач склонился к Гелене, с минуту обстоятельно ее осматривал, затем прижал пальцы к тому месту на коже, которое было густо усеяно фиолетовыми пятнами. Славик быстро отвел глаза — хотя таблетка уже начала действовать, он не в силах был вынести это зрелище. Реакция его была замедленной, ему казалось, будто он смотрит фильм, который сам когда-то отснял, но очень, очень давно — о нем осталась лишь смутная память. Сознание его непроизвольно отметило высокого полного мужчину в клетчатой рубашке, увешанного фотографическими приспособлениями; приземистого паренька с аккуратно подстриженной черной бородкой и усиками, свисающими по уголкам рта, который — как казалось Славику — хотел посыпать всю квартиру каким-то порошком; он с удивлением наблюдал за хилым, гладко выбритым молодым человеком, как тот прилепил на деревянный порог меж кухней и гостиной прозрачную

гуммированную бумажную ленту, а потом отлепил ее; Славика это настолько заинтересовало, что он не мог удержаться от вопроса: что, собственно, тот делает? И узнал, что это самый надежный способ снятия кровяных пятен. Нужно запомнить, оживился Славик, пригодится, когда буду снимать какой-нибудь детектив. Черт бы его подрал, этот транквилизатор действует весьма странно, я в полной эйфории.

В общем, мне повезло, подумал он. Теперь, когда чуть опомнился, все представилось ему в более выгодном свете — даже хорошо, что Гелену обнаружила старая Кедрова. И больше всего его утешало, что он пришел сюда без матери. Она ни в какую не хотела отпускать его одного, опасаясь, что без нее он не справится и наверняка все погубит, но в конце концов уступила его настояниям. Он, конечно, мог представить, каково ей сейчас: с беспредельным страхом цепенеет она в ожидании развязки и терзает себя, что отпустила его одного, не подозревая при этом, как тем самым облегчила его положение. Без нее он чувствовал себя гораздо уверенней, ее присутствие лишь давило бы на него. Теперь он ясно сознавал: это мое дело, это касается только меня, и я один на один должен противостоять опасности! Уже давно надо было понять, что единственный человек, на которого могу положиться, это я сам. Возможно, позже окажется, что я был слишком самонадеянным и отчаянным, но пока все в порядке. Так и должно быть!

Жизнь человека, словно разрушенный мост, вспомнил он Геленины слова; иногда ее тянуло пофилософствовать, и ей хотелось, чтобы кто-то слушал ее; он шел ей навстречу — временами ее убийственно серьезные рассуждения были довольно забавными. Мост разрушен, остались лишь две опоры — одна на левом берегу, другая на правом, единственные две истины: рождение и смерть. И человек должен пройти по этому НИЧЕМУ, которое соединяет оба берега. Он должен каждым мгновением своей жизни, миллиметр за миллиметром, строить дорогу, которая свяжет эти две опоры. И на сколько миллиметров он продвинется вперед, столько же миллиметров дороги, которую он выстроил, за его спиной опять рухнут в реку; вернуться нельзя — разве только памятью. И я уже не могу вернуться, мелькнуло в голове, но гнусавый голос доктора прервал его (или Геленины) бредовые раздумья и воспоминания.

— Итак, если судить по трупным пятнам, смерть наступила не ранее трех часов назад. Я бы даже сказал,— врач поковырял в носу,— тому примерно шесть часов. Пятна слишком отчетливы и под давлением...

Славик страдальчески посмотрел на капитана и укоризненно сказал:

— Я должен это слушать? Это же моя жена...

— Простите, товарищ режиссер,— извинился капитан.— Вы смогли бы ответить на несколько... так сказать... информативных вопросов?

— Думаю, смогу.

— Отлично. В таком случае мы можем пройти... если не ошибаюсь, это ваш кабинет? — Капитан приблизился к двери.

Когда он там побывал? — подумал Славик изумленно. Я этого даже не заметил. Черт бы побрал этот транквилизатор.

Они перешли в кабинет. Капитан без устали чему-то радовался; на сей раз радость у него вызвала пишущая машинка.

Все проходило неожиданно гладко. Славик без всякой нервозности повторил версию, которую они выработали вместе с матерью.

Телестудию он покинул в пятнадцать минут пополуночи. Пошел не домой, а к матери, поскольку она звонила ему около семи вечера и

просила зайти: дескать, ей нездоровится. Подтвердить это может его ассистентка, девица Лапшанская, которая говорила с матерью по телефону.

Имя. Адрес. В порядке.

Примерно в час ночи он вышел из машины на Шафариковой площади и пошел к матери. Подтвердить это может водитель и та же ассистентка. Кроме них в машине был заслуженный артист Карол Антошка, но тот, правда, спал и, вероятнее всего, ни о чем помнить не будет.

Имя и адрес водителя?

Ян Белик. Адреса он не знает.

В порядке. Они это легко выяснят. Адрес матери?

Дунайская улица, номер такой-то.

Почему его не подвезли к самому дому матери?

Он был крайне утомлен, хотел немного проветриться, и, кроме того, от Шафки до дома матери всего каких-нибудь сто метров. В самом деле. По дороге к матери он встретился на Шафариковой площади с писателем Миланом Плахим.

Имя. Адрес. В порядке. Как долго он пробыл у матери? В котором часу вернулся домой?

Домой он вообще не пошел. Остался у матери до утра.

До утра? То есть вообще не пошел к своей жене?

Нет, так как ее не было дома.

Откуда он знает, что ее не было дома, раз вообще не заходил сюда?

Потому что две недели назад она уехала к своей сестре в Прагу и, по договоренности, должна была вернуться лишь сегодня вечером. Подтвердить это может ее сестра. Знают об этом и другие люди.

Имя и адрес сестры жены? В порядке. А кто эти — «другие люди»?

Например, члены съемочной группы.

В порядке, проверить это им не составит труда.

— Неужели вы не знали, что ваша жена вернулась раньше и ночью была дома?

— Нет, не знал!

— Вы обнаружили это только сегодня утром, когда она уже была мертвая, так?

Именно так.

— Как вы объясняете себе ее преждевременное возвращение?

— Никак. Я никак не могу его объяснить. Думаю, об этом скорей должна знать ее сестра.

— В порядке. У вас в квартире есть какая-нибудь крупная сумма денег в наличии, какие-нибудь ценности, сберегательные книжки и так далее?

— Есть.

— Что?

— И то и другое.

— Вы могли бы мне это показать?

Славик встал и подошел к письменному столу.

Выдвинул нижний ящик и стал рыться в бумагах. Достал сберкнижку и конверт с десятью пятисотенными.

— Вот.

— Все?

— Все.

— И вы не боитесь держать открыто, вот так, в ящике письменного стола столько денег?

— Пять тысяч. Вам кажется это много? А сберегательная книжка с шифром, известным только мне.

— Ну что ж, как вам угодно. Хотя... знаете ли, не вводи вора в искушение. На такой случай даже статья предусмотрена!

— На какой?

— В порядке. Ваше дело. Иными словами, ограбление как мотив вы исключаете.

— Разумеется.

— А ваша жена?

— Что?

— Нет ли у нее кое-чего припрятанного в чулке?

— В чулке — нет. У нее все зарыто на Мартинском кладбище. Но официально в том гробу ее бабушка.

Капитан злобно наморщил лоб:

— Кажется, товарищ режиссер, вы довольно мило развлекаетесь.

Славик в упор поглядел на капитана:

— Товарищ капитан, если бы у вас убили жену, вы что, первым делом думали бы о деньгах?

— Возможно, вы правы,— сказал капитан, чуть помедлив, и встал. Оба замолчали.

Капитан, словно бы желая перекинуть мост через пропасть, вдруг разверзшуюся между ними, и снова наладить контакт, подошел к фотографии, высевшей на стене возле книжного шкафа. Это была фотография отца в коричневой деревянной рамке, старая, пожелтевшая фотография, которую Славик особенно любил: отец — в белой рубашке апаш, на голове берет — улыбался от уха до уха и с добродушным вызовом глядел на мир, словно хотел схватиться с ним из какого-то неистового озорства.

— Это ваш отец, не правда ли? Вы похожи,— заметил капитан благодушно.— Чем он занимается?

— Умер,— отрубил Славик.

Капитана, вероятно, удивило раздражение Славика. По-видимому, он намеревался завершить разговор этой определенно трогательной темой; в замешательстве он сказал:

— Я меньше всего хотел вас ранить... Так уж заведено. Нам не дано знать, когда пробьет наш час, как говорится...— Он натужно улыбнулся.

— Несомненно. Если человека посадят за решетку, а потом установят, что была ошибка...— Глаза у Славика потемнели от злости.

— Извините... но ваш отец...

— К чему такая предупредительность? — сердито оборвал его Славик.— Да, мой отец сидел. Но он никого не убил.— Ухмыльнулся: — В конце концов, он сам в этом виноват,— махнул рукой,— оставим это. Признался в том, чего не сделал.

Капитан с минуту колебался, потом сказал строгим тоном:

— Как вам угодно.

Он что-то записал в блокнот, испытующе поглядел на Славика и настоятельно пригласил его:

— Давайте с вами вернемся туда.— Открыл дверь в гостиную.

— Пожалуйста,— сказал Славик равнодушно и поднялся с глубокого плюшевого кресла.

Они вернулись в гостиную; капитан принес из кабинета пишущую машинку. Поставил ее на низкий столик светло-коричневого полированного дерева и подошел к врачу, который собирался пройти в кухню. О чем-то спросил его, и врач тотчас кивнул:

— Без сомненья! Именно этот нож!.. Один сильный колотый удар в горло, сверху наискось вниз... вероятно, задета большая артерия или даже сердце... Сразу, полагаю, почти мгновенно... Форма раны... голову даю на отсечение... тот самый нож. Вскрытие и лабораторный анализ бесспорно подтвердят... Что?.. Или же... Да вы приглядитесь. Определенно правша... стопроцентно. И если не ошибаюсь, она стояла здесь, вот на этом месте, ей и в голову не пришло защищаться. Капли крови на пороге. Их форма. Опыт мне подсказывает, что они упали отвесно — вниз на порог. Иными словами, жертва стояла. Ну, а потом падала. Фотографии определят точно.

— Совсем не защищалась? — сказал капитан раздумчиво.— Значит, они хорошо знали друг друга.— Он испытующе посмотрел на Слави-

ка, сидевшего на диване, обтянутом таким же золотистым бархатом, что и оба кресла; казалось, он вообще не прислушивается, скучающе покуривая. Врач пожал плечами и прошел в кухню. Капитан вернулся к Славику; они продолжили разговор.

— Ваша жена была левша или правша?

— Правша. А что?

Капитан не ответил.

— Во всяком случае, вам же не приходит в голову, что она сделала это сама? — спросил Славик язвительно.

— Если позволите, вопросы буду задавать я,— твердо сказал капитан.— Кстати, насколько я заметил, вы тоже правша.

— Капитан,— прервал их дактилоскопист.— Мне еще не доводилось слышать, чтобы кто-то сначала покончил с собой, а потом тщательно вытер ручку ножа, которым зарезал себя.

— Никаких отпечатков?

— Ни следа,— отрицательно покачал головой дактилоскопист.

— Странно,— заметил подпоручик.— Почему он стер отпечатки только с ручки ножа, а про водочную бутылку начисто забыл. И про рюмки.

— Как так?

— Забавно, правда? — рассмеялся дактилоскопист. Он облизал губы кончиком языка, большим и указательным пальцами пригладил моржовые усы и досадливо добавил: — Полнейшая бессмыслица. Из этой пивной бутылки, должно быть, пил сам святой дух. Выпита до дна, и, однако ж, никто не держал ее в руках. Абсолютная чистота.

— Зато пепельница переполнена,— заметил подпоручик.

— Я к ней еще не приступал.

— Псих. Или кто-то помешал ему,— предположил подпоручик.

— Может, он был настолько пьян, что вообще не ведал, что творит,— сказал капитан будто сам себе и следом спросил: — Ваша жена, товарищ режиссер... иногда выпивала, да?

— Иногда? Пила, как бочка.

— А вы?

— Кому-то ж надо быть в семье трезвым.

— Н-да,— промычал капитан неопределенно, а потом сказал: — Да, кстати, чтоб не забыть... С наибольшей вероятностью убийство было совершено там...— он дернул головой,— этим ножом. Вы узнаете его?

— Пожалуй, да.

— А поточнее?

— Он похож на наш кухонный нож, но, вероятно, их выпускают серийно, не так ли?

— То есть вы допускаете, что это может быть ваш нож.

— Допускаю.

— В порядке...

— Итак, я готов. Могу собрать пожитки,— объявил фотограф.

— Ничего не забыл?

— Черта лысого, за десять лет я уж на этом собаку съел.

— Тогда отваливай. И прямо в лабораторию.

— Кажется, и у меня дело на мази,— донесся из кухни спокойный голос врача. Он радостно потирал руки, кивая на открытую баночку сардин на кухонном столе.— Смекаете? По содержанию желудка время смерти можно будет определить достаточно точно. Если она ела сардины — превосходно! Желудок их переваривает обычно за семь часов. Это примерно должно совпадать и с трупными пятнами.

— Rigor mortis [1]?

— И это сходится. Почти полное окоченение. Все это подтверждает, что смерть наступила приблизительно... шесть-семь часов назад.

Капитан взглянул на часы:

[1] Трупное окоченение *(лат.)*.

— Четверть десятого. То есть минус семь... около двух ночи, так?

— Посмотрим, что покажут вскрытие и лабораторные исследования. Что до меня, закругляюсь. Пан режиссер, где можно вымыть руки?

Славик молча указал на дверь ванной.

Врач отправился в ванную.

— Постойте, доктор,— остановил его голос капитана.— Займитесь-ка еще ногтями товарища режиссера. Извините,— обратился он к Славику,— это... так сказать... неизбежная рутина.

— Не стоит извиняться, мои ногти в вашем распоряжении. Хотя не понимаю, какой в этом прок.

Врач недовольно поворчал, но ничего не оставалось делать — занялся ногтями Славика.

— Товарищ капитан,—окликнул его подпоручик.— Весьма любопытная вещь!

Капитан подошел к нему, наклонился над телом Гелены. С минуту они о чем-то невнятно перешептывались, но чувствовалось — что-то их неожиданно взволновало.

— Ничего,— объявил врач спустя какое-то время.— Под ногтями чисто. Точно пан режиссер явился сюда прямо из косметического салона. Тщательный маникюр.

— Привычка,— улыбнулся Славик.— Как правило, каждое утро чищу ногти. Надеюсь, это не противозаконно.

Капитан закурил сигарету.

— Вы говорите, всю ночь были у матери...

— Да!

— Но подтвердить это может только она, не так ли?

— Но я же сказал, что водитель, ассистентка и писатель Плахий...

— Да, конечно,— кивнул капитан,— они видели, как вы вышли на Шафариковой площади. Ночью, около часу... Ну, хорошо, оставим это!

— Постойте,— воскликнул Славик. Черт, как он мог забыть; вспомнил сегодняшнее утро, как он таскал вверх по лестнице воду из цистерны.— У матери меня видели и другие люди.

Капитан насторожился.

— И вы вспомнили об этом только сейчас?

Славик пожал плечами:

— Не думал, что мне понадобится... так сказать... алиби. — От этого надо было бы воздержаться, подумал он, нервно теребя пальцами влажные волосы. Похоже было, что ирония, с которой он употребил капитаново словечко «так сказать», излишне накалила обстановку.

— У вас, кажется, начинают выпадать волосы,— этим замечанием, никак не связанным с темой разговора, капитан, очевидно, хотел разрядить напряжение, но его слова, напротив, уязвили самолюбие Славика. Он непроизвольно прошелся ладонью по темени — там волосы действительно поредели — и злобно отрезал:

— Вероятно, наследственность. И отец полысел до времени.

— Забот много, не так ли? — обронил капитан, а затем, словно вовсе и не заметил этого нарочито язвительного «так сказать», сухо спросил: — Кто вас видел?

— Несколько человек из дома.

— Из дома, где живет ваша мать,— уточнил капитан.— Когда они вас видели?

— Утром, около половины шестого. Мы носили воду из цистерны. В доме лопнул водопровод. Это легко проверить, не правда ли?

— Не сомневайтесь,— отрубил капитан, прохаживаясь в раздумье по комнате.— В чем вы были одеты вчера ночью?

— Не понимаю.— Вопрос капитана озадачил его; в первое мгновение он не смог взять в толк: что у этого человека на уме, почему он

спрашивает именно об этом? — Вас интересует, в чем я спал? В пижаме или в одних трусах?

Подчеркнутым сарказмом он попытался отвлечь внимание от своей растерянности, хотя мысленно опять попенял себе — зачем я его подначиваю, тем самым только подливаю масла в огонь.

— Я спрашиваю: в чем вы были одеты вчера ночью, когда из студии отправились к матери?!

— В том же, в чем и сейчас. Те же брюки и рубашка.

— Значит, вы не переодевались.

— Нет. Я не держу у матери гардероба...

— А не могли бы вы это сделать сейчас?

— Переодеться? Зачем? Ага, понимаю. Вы мне совершенно не верите. Как вам угодно...

Раздражение капитана явно росло, но, несмотря на это, он говорил со Славиком тоном терпеливого учителя, который объясняет бестолковому ученику такие прописные истины, которые, казалось бы, понятны и дебилу.

— У меня создалось впечатление, товарищ режиссер, будто вы думаете, что мы... так сказать... пристрастны к вам. Но вы должны понять нас, мы действительно выполняем лишь свои обязанности. Проверяем все доступные факты. Почему вы нам не доверяете?

— Ошибаетесь. Прежде всего, в моих интересах, чтобы вы установили все факты. Возможно, я излишне погорячился, но вы тоже должны понять меня.— И внезапно, без каких бы то ни было предварительных размышлений, у него вырвалось: — Кто-то же убил мою жену, от которой я ждал ребенка.

Голос у Славика сломался от непритворного горя и отчаянья. Он уронил лицо в ладони и судорожно, громко разрыдался. Нет, в эту минуту он ничего не изображал. Когда позже он вспоминал об этом, ему казалось, что в ту минуту, как ни странно, он действительно верил: кто-то ведь убил мою жену, от которой я ждал ребенка!

В глубокой, давящей тишине постепенно замолкали его прерывистые всхлипы. Если до сих пор он держал себя независимо, даже вызывающе, стремясь не дать загнать себя в угол, не уйти в глухую защиту, то сейчас здесь сидел совершенно другой человек — сломленный, несчастный, раздавленный. Может, это было вполне закономерно после сильного нервного напряжения, может, перестал действовать транквилизатор, который дал ему врач; когда он поднял голову, криминалисты в растерянности отвели от него взгляд. На их лицах обозначилось — что же это было? — сострадание, сомнение, понимание, недоверие, любопытство?..

— Так вы ждали от нее ребенка? — произнес тихим, задумчивым голосом капитан Штевурка.

— Чудовищно,— проворчал доктор взволнованно, возмущенно.

— Понимаю, что вы сейчас испытываете...— продолжал капитан, немного помедлив,— это обстоятельство... так сказать... существенно меняет дело, но...— он пристально посмотрел на Славика:— Вы это точно знаете?

— Что? — спросил Славик с тупым недоумением.

— Вы точно знаете, что ваша жена ждала ребенка? — повторил капитан медленно и внятно свой вопрос.

Славик провел ладонью по лбу, по глазам и тихо, устало произнес:

— К сожалению, точно знаю. В том-то и весь ужас.

— Но откуда вы знаете? Она же могла просто... выдумать.

— Зачем ей было это делать? — спросил он; а в отупелом мозгу лихорадочно искал ответа на вопрос: что за вздор он несет, какую, собственно, цель преследует, почему так настойчиво возвращается к одному и тому же.

— Трудно объяснить, почему женщина подчас делает то, а не иное...— развел руками капитан. Дактилоскопист угодливо рассмеялся, как человек, способный оценить в рамках субординации остроумие своего начальника.

Раздражение, вызванное идиотским смехом дактилоскописта, тотчас заострило внимание Славика — ясно, если бы я не знал, что она была беременна, да, это бы могло быть мотивом, допустим, она сказала мне только вчера, что ждет ребенка от кого-то другого, и я... какой вздор!

Он злобно посмотрел на дактилоскописта и с апломбом, к которому его приучила профессия, выкрикнул:

— Прекратите гоготать! — Затем, повернувшись к капитану, сказал: — Я знаю точно, что она была беременна...

Прежде чем он успел закончить фразу, дактилоскопист, оскорбленный, вероятно, его окриком, язвительно заметил:

— Вы не только режиссер, но и гинеколог?

— Я не гинеколог, но у меня друг гинеколог,— сказал Славик капитану, подчеркнуто презрев замечание дактилоскописта.— Когда жена мне сказала, что она в положении... возможно, по отношению к ней я поступил не особенно деликатно, но, честно говоря, я не очень верил ей... Она часто выдумывала, просто так, шутки ради, лишь бы немного раззадорить меня. Короче, она пошла со мной к моему товарищу, анализы подтвердили, что это действительно так. Сейчас пошел бы третий месяц.

Капитан внимательно слушал его, потом задал вопрос по существу:

— Имя вашего товарища?

— У него не будет по этому поводу неприятностей?

— С какой стати! Он же не совершил ничего противозаконного!

Славик после короткого колебания ответил:

— Доктор Карский. Работает в клинике на Крамарах.

— Надеюсь он подтвердит,— сказал капитан без прежней сухости, едва ли не мягко и доброжелательно.

— Вне сомнения. Не знаю, правда, что это изменит. Ни Гелены, ни нашего ребенка уже ничто не воскресит,— проговорил Славик удрученно и про себя невесело усмехнулся: надеюсь, что на сегодня пронесло, пожалуй, все обстояло не худшим образом; но что будет завтра, если при вскрытии обнаружится, что Гелена сделала аборт,— лучше об этом не думать. Конечно, я мог этого и не знать, потому что с ней вообще не виделся, да, именно так. Главное, что сегодня все уже позади. Он получил хоть какую-то отсрочку — сейчас чувствовал себя предельно усталым. Слава богу, подумал с облегчением, они на самом деле закругляются: подчиненные капитана складывали все необходимое для экспертизы: нож, рюмки, пустую бутылку из-под водки, пепельницу с окурками сигарет, пивную бутылку...

— Знаете, что не умещается у меня в голове, товарищ режиссер,— неожиданно подал голос капитан.— Почему о ребенке вы сказали с таким опозданием.

У Славика едва хватило сил собраться с мыслями, чтобы противостоять новому натиску.

— Не понимаю,— сказал он, хотя прекрасно сознавал, куда метит капитан этим внешне невинным и немудрящим вопросом. Да, это была весьма существенная психологическая задача — он сам ночью, до прихода сюда, много думал над ней: если я решусь сказать о ребенке — а об этом нужно сказать,— очень важно, когда я это сделаю.

Капитан подтвердил его предположение:

— Да, довольно странно. Столько времени мы здесь беседуем, а вопроса, который должен быть для вас... так сказать... самым мучительным, мы почти совсем не коснулись.

Славик резко выпрямился в кресле и с возмущением обеими ладонями хлопнул себя по бедрам.

— Самый мучительный! Черт побери, надеюсь, вы не хотите сказать, что смерть моей жены была бы для меня менее чудовищна, если бы тот, кто был здесь, убил бы только ее одну? Разумеется, это так, как вы говорите — это еще мучительнее, но в чем вы, собственно, меня упрекаете?

Капитан сделал успокаивающий жест рукой и сказал:

— Вы неверно меня поняли... Или, возможно, я не так выразился. Я хотел знать, почему вы не сказали об этом раньше, только и всего.

— Вероятно, потому, что это слишком чудовищно для меня,— проговорил Славик устало. Н-да, это отнюдь не самое убедительное объяснение, подумал он, но, чувствуя, что силы его уже на исходе, мысленно махнул на все рукой — плевать, какая уж разница, по сути это форменная ерунда.

Однако, похоже было, капитана его объяснение — во всяком случае в эту минуту — вполне удовлетворило, ибо после недолгого размышления он согласно кивнул:

— Возможно, вы правы.— Капитан поднялся с кресла.— Давайте кончим, мы и так вам уже надоели.— Он подошел к подпоручику, который сидел за столиком пишущей машинки, но не печатал; делал какие-то записи в блокноте, где, очевидно, были и показания Амалии Кедровой.

Славик выпрямился, в пояснице сухо хрустнуло, он глубоко вздохнул — наконец все позади.

Но капитан, заглядывая в блокнот поверх плеча подпоручика, снова заговорил:

— У вашей жены, товарищ режиссер, часто бывали такие ночные визитеры?

Этот человек, видать, никогда не угомонится.

— Какие ночные визитеры?

— В эту ночь вас здесь не было, но все ж таки кто-то здесь был. Надеюсь, вы не можете с этим не согласиться.

— Изредка случалось. Она была журналистка, знаете, как в газете принято. Номер сдается к сроку, а времени обычно в обрез.— Он понимал, что производит смешное впечатление, и, хотя ни на кого не смотрел, чувствовал, как все ухмыляются, забавляясь его явно несуразной болтовней.— Может, брала интервью,— добавил он с насмешливой гримасой; если уж я вынужден строить из себя идиота, так хотя бы с пользой для дела.

— Посреди ночи? Это как-то не вяжется с работой.

— Тогда почему вы меня об этом спрашиваете? Сами все понимаете!

— Мне не хотелось бы вас травмировать, но приходится задать вам еще один вопрос. Навещал ли ее кто-нибудь регулярно? Может, нам это бы помогло.

— Нет! Во всяком случае, я не знаю!

На этом все кончилось. Правда, у Славика взяли еще отпечатки пальцев, а затем дошла очередь и до заключительного аккорда; капитан Штевурка обладал потрясающим чувством последовательности — Славика раздели почти догола, забрали всю его одежду и в утешение объявили, что они еще непременно встретятся, так как расследование только н а ч а л о с ь.

(Окончание следует)

ВЕРКОР

Волчий капкан

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Л. ЗОНИНОЙ

Сохранить в себе человека

Подвести читателя к повести, которая печатается в этом номере «Иностранной литературы», хотелось бы с неожиданной стороны, начав с произведений, как бы обрамляющих «Волчий капкан» (1979). Дело в том, что романом 1986 года «Анверский тигр» Веркор объединил и продолжил свои ранние романы «Оружие мрака» (1946) и «Могущество дня» (1951). Писатель возвратился к судьбе мужественного антифашиста, выжившего, но утратившего в фашистском застенке свою человеческую сущность. Возвратился, чтобы вместе с героем найти выход из нравственного тупика, куда загнали его муки совести, чтобы заставить Совесть, поглощенную прошлым, заговорить о настоящем.

Веркор-философ, размышляющий о людской природе, о границах человечности и бесчеловечности (эссе «Человек — больше или меньше», «Мятеж человека», повести «Люди или животные», «Сильва»), и Веркор, погруженный в воспоминания о второй мировой войне (сборники рассказов «Типография Верден», «Глаза и свет»; повесть «Клементина» из цикла «На этом берегу», публицистическая книга «Битва молчания»), постоянно вели спор на протяжении сорока пяти лет — знаменитая повесть 1942 года «Молчание моря» была первым словом в этом долгом диалоге. В «Анверском тигре» оба вопроса — о фашизме как социальном феномене и о человеке как биологической особи, отличающейся от иных живых организмов, включены в единую, экстремально-экспериментальную ситуацию.

Отважный подпольщик, стойко выдержавший допросы, решившийся даже выброситься из окна в надежде, что смерть принесет избавление от слабости, и с уст не сорвутся помимо воли имена товарищей,— мужественно проходит голгофу и тюремного лазарета, и бесконечной дороги в товарном вагоне, и самого концентрационного лагеря. Но вернулось домой, в свою родную Бретань, совсем другое существо — безвольное, настороженное, странным образом избегающее близких. Первый шаг на родное крыльцо — и сразу шаг в темноту передней, мимо замершей от радости молодой женщины, мимо протянувшей к сыну руки матери.

Долгие дни, истерзанные тайной. Родной человек, которого так долго ждали, выходит лишь ненадолго к столу, потом запирается в комнате — без книг, без пера и бумаги, один на один со своими мыслями. Такие же, как он, недавние узники довольно быстро приходят в себя, привыкают к нормальной жизни и нормальной для них борьбе: американизация Франции, симптомы «холодной войны» — это не может оставить их равнодушными. Новые организации, новые петиции, митинги. Резкий упрек, брошенный в лицо: «Лучшие из лучших погибли. Ты чудом выжил — и что же? Ты ко всему равнодушен... не замечаешь, что происходит в стране». В городе создана организация «Бретонцы из Бухенвальда», люди хотят, чтобы возглавил ее Пьер

© Editions Galilée, 1979.

ВЕРКОР — VERCORS (род. в 1902 г.; настоящее имя — Жан Брюллер)

Французский писатель, публицист. Автор многих романов — «Порывы гнева» («Colères», 1956), «Плот медузы» («Le radeau de la méduse»», 1962), «Струи за кормой» («Sillages», 1972), книги «Битва молчания» («La bataille du silence», 1967), сборника новелл «Семь тропинок пустыни» («Sept sentier du desert», 1972), пьес и др. произведений. На русский язык переведены романы «Сильва», «Квота, или Сторонники изобилия» (совместно с Коронелем), повести «Люди или животные», «Молчание моря», многие новеллы.

Повесть «Волчий капкан» вышла в 1979 году («Le piége à loup». Paris, Galilée).

Канж. И вопрос ребром: «Или принимаешь руководство, или расписываешься в собственной низости...» Робкая мольба-вопрос подруги: «Вы страдаете? Чем мне помочь вам? Вы ни разу даже не пожали мне руку, не коснулись и пальцем...» И ответ столь же решительный, сколь непонятный: «Вы, я знаю, любите лягушек. Но не трогаете их. Вам отвратительно к ним прикасаться...»

Другу героя удается пробиться к страшному секрету. Он слышит душераздирающую исповедь: последние недели пребывания в лагере Пьер Канж бросал в печь трупы. Минута, которая наконец сломила этого несгибаемого человека, нестерпимо жжет сознание. Эсэсовец у самой печи подтолкнул Пьера к тележке: «А ну, закати ее туда». С тележки глянули такие знакомые глаза соседа по бараку, товарища, с которым делили ложку баланды, ветхое тряпье на нарах...

Как подняться с той ступени? Как вернуть уважение к себе? Только действуя — уверена возлюбленная Канжа, только отдавшись такому же праведному делу, каким было сражение с фашизмом. Целый год воюет молодая женщина за душу любимого, воюет, не оберегая от тревог и воспоминаний — напротив, требуя опять решений, риска. Переход границы, подпольная работа во франкистской Испании и самоотверженная женская нежность — вот что приблизит Воскрешение.

Фашизм — не только то, что наваливается на нас беспощадной тяжестью снаружи, но и то, что разъедает изнутри: равнодушие к чужой жизни и смерти, презрение к другой расе, готовность оправдать себя необходимостью выполнить приказ. Вот почему война, заставляющая привыкать к тому, что в мирной жизни кажется диким, развязывающая инстинкты, которые убивают интеллект, не может быть отделена от наших дней ничейной полосой: там сконцентрировались вопросы, в смягченной форме встающие перед нами повседневно. «Невзгоды пробуждают в одних благородный героизм, но одновременно в других проступает омерзительная человеческая изнанка, люди идут на низость, предательство»,— читаем в «Волчьем капкане».

«Вот что они сделали с нами» — называлась статья Веркора 1944 года, и рассказывал писатель не о разрушенных городах, не о погубленных детях и раскиданных семьях, а об азарте ненависти, когда человеку весело... убивать. Это решительное отличие выстрела, к которому вынуждает тебя захватчик, ворвавшийся на твою землю, от вакханалии мести волнует Веркора давно. Он одинаково непримирим к тем, кто считал неоправданными действия французских партизан, пускавших под откос составы, и к тем, кто готов был накопившейся ненавистью к фашистам оправдать жестокий самосуд во французских городах и селах над коллаборационистами.

Сохранить в себе человека... Что это значит? Как зыбки порой бывают критерии между слабостью и подлостью...

Когда я набрасывала эти страницы о творчестве французского писателя, попалась мне на глаза рецензия на книгу писателя советского. Разве не о тех же критериях размышляет мой коллега, восстанавливая сюжет романа В. Дудинцева «Белые одежды», повестей Д. Гранина «Зубр» или Владимира Амлинского «Оправдан будет каждый час... Повесть об отце и его времени»: «Самое трудное было даже не выжить, а остаться самим собой. Сохранить порядочность и интеллигентность. Ссылки на время, на трагизм эпохи, которыми тайно и явно оправдывают себя активные участники тех постыдных акций... сами по себе есть историческая ложь, попытка задешево приобрести индульгенцию. Ведь мы знаем: были и другие, которые не поддались, не дрогнули, сохранили честь и доброе имя» («Литературная газета», 28 января 1987 г.).

Анверский тигр — это символ вселенского зла, принимающего разные формы. Сопротивление ему — долг человека.

Композиционно «Анверский тигр» построен наподобие матрешки: рассказчик читает случайному знакомому свои записи (а тем самым в известной степени текст «Оружия мрака»), хранящие рассказ другого человека, который в свою очередь поведал и то, что видел, и то, что слышал, и то, что прочел в письмах. «Я» принадлежит в романе этому случайному знакомому, которому к моменту действия сорок лет. Трагическую историю Пьера Канжа он слышит от друга Пьера, восьмидесятилетнего ветерана войны и Сопротивления. Авторскую точку зрения выражает поочередно то тот, то другой. Конечно, это сам Веркор говорит тем, кто не видел войны, о том, что История неделима, что прошлое длится сегодня. Конечно, это сам Веркор устами «случайного знакомого» (согласно сюжету он известный писатель) предостерегает от утомительных ветеранских рассказов. Находясь «между» ними, автор ведет к постепенному сближению позиций. Прислушиваясь к постоянно звучащему в романе голосу молодого поколения, понимаешь, насколько писателю важно быть услышанным именно теми, кому сегодня двадцать, тридцать, сорок.

Эта заинтересованность настроениями молодых французов, помню, поразила меня, когда мне посчастливилось встретиться с Веркором в мае 1985 года. С понятным волнением подходила я к дому, расположенному в самом сердце Парижа, на набережной Золотых Дел Мастеров. Подошла раньше назначенного времени, обогнула дом, посидела во дворике, куда выходят окна веркоровской квартиры, потом нажала кнопку возле прозаической выцветшей таблички с романтически легендарным именем «Веркор/Жан Брюллер». Дверь открыла приветливая мадам Рита, жена Веркора, навстречу шагнул высокий, необыкновенно красивый человек с застенчивой улыбкой. Предлог визита — интервью для журнала «Иностранная литература» в связи с сорокалетием победы над фашистской Германией[1]. Говорил Веркор заинтересованно, увлекаясь, сам начинал расспрашивать — о Москве и о... Париже, то есть моих впе-

[1] См. публикацию в «ИЛ», 1985, № 12.

чатлениях от встреч с молодыми писателями, критиками. Волнуясь, сверкая необыкновенно живыми, очень добрыми глазами, делился своим беспокойством: французский роман пытался уйти от человека, от важнейших проблем современности, а ведь это — абсурд, нелепица, литература обязана постоянно чувствовать своего читателя, прежде всего молодого читателя. Эта феноменальная озабоченность писателя — слышат ли его юные французы? — сразу возникла в моей памяти, когда я открыла первую страницу «Анверского тигра». Авторское обращение к читателю: «Когда писателю за восемьдесят, больше старых читателей потеряно, чем новых приобретено. Только первые знакомы с его ранними (порой неуклюжими), давно распроданными книгами. А ведь писатель сохранил привязанность к определенным темам; некоторые определили его жизнь. Ему хотелось бы, чтобы они остались жить и после его смерти. Вот почему в этом романе он решился спасти от небытия некоторые постоянные мотивы, воскресить их — на ином фоне, иными средствами».

Из таких «постоянных мотивов», к которым невозможно не обращаться, сплетается повесть «Волчий капкан». Свои тревоги и мысли автор отдал здесь совсем молодым людям, именно им доверено восстановить связь времен. Веркор придает «постоянным мотивам», темам, которые определяли его жизнь, широкий смысл. Испытание человека на прочность в ситуации войны или какой-либо другой не менее трудной — вот что тревожит писателя все сорок лет.

«Волчий капкан» — своеобразная реплика на книгу писателя Жана Ко «Чрево быка» (1971). И там и тут человек, пострадавший от «нового порядка», годами разыскивает военного преступника, убийцу, находит его, а потом удаляется, не выполнив плана мести. Но прочитывается эта ситуация контрастно. У Жана Ко, заигрывавшего одно время с левыми силами, но давно уже склонившегося к правым, расистским взглядам, мститель от первой до последней страницы выглядит не победителем, а побежденным — жалким, растерянным, раздавленным самоуверенностью бывшего эсэсовца. Автору явно по душе эта «сильная личность» из «расы сеньоров, из тех, кто никого никогда не любил» и равнодушен к чужим мукам. У Веркора нравственная сила — за двумя молодыми (девушке — восемнадцать, юноше — двадцать восемь) людьми, которые не способны по самой природе своей лгать, предавать, убивать. Сквозь конкретную канву сюжета пробивается луч основного для Веркора вопроса — что есть человек? Можно ли отнести к роду человеческому нацистов, хладнокровно отдававших или выполнявших чудовищные приказы? В эссеистской книге «Во что я верю» (1975) Веркор предлагает рассматривать фашизм как шаг назад в биологической эволюции человека. «Эта эволюция... происходила в направлении прямо противоположном эволюции животного мира. Человеческая эволюция вместо того, чтобы отдавать предпочтение наиболее сильным, неустанно нейтрализовала их силу, создавая все более и более благоприятные предпосылки для защиты слабых... Вот почему, стремясь прервать и повернуть вспять эту эволюцию... стремясь возродить между людьми и народами животную практику господства сильнейших над слабейшими, нацизм совершал воистине преступную ошибку: он предавал, толкал к гибели именно его — человека как такового, весь человеческий род...» («Литературная газета», 14 ноября 1984 г.).

В повести Веркора хозяин фермы, окруженной капканами,— воплощение такого биологического регресса. Вслушайтесь в его слова, когда он советует дочери быть поосмотрительнее с юным незнакомцем: «Он может вас очаровать. Будьте осторожны, держите его на расстоянии». Симпатия — чувство опасное, недопустимое. Законом должны быть недоверие, вражда, презумпция виновности. В психологии есть термин «образ врага». В международных, межклассовых, межнациональных отношениях многое, к сожалению, строится на основе априори заданного «образа врага». Непонятное, непривычное вписывается в понятие враждебного, становится дополнительным аргументом для ненависти. Порой такая же закономерность проявляет себя и в обычных — бытовых — человеческих отношениях. «Другое» — значит чужое, чуждое, вредное... Иногда для такой неприязни нет вообще никакой серьезной причины, только болезненная (приводящая в крайних формах к мании преследования) потребность обязательно иметь перед собой образ врага.

У хозяина одинокой фермы основания сояться «других» есть. Есть причины опасаться, как бы доверие и откровенность не нарушили холодный, настороженный покой его дома, затаившегося в лесах. Причина в том, что однажды уверенность, будто в борьбе с «врагом» все средства дозволены, завела его слишком далеко...

Нет, пересказывать сюжет «Волчьего капкана» не стоит. Писательское мастерство Веркора позволяет ему почти всегда вести действие путями неожиданными, включать в него таинственные обстоятельства, и хотя интрига не оттягивает на себя внимание, хотя она и здесь, в «Волчьем капкане», озвучена философскими вопросами, степень внимания к последним зависит во многом и от последовательности открытия тех или иных тайн.

Тайн нашей с вами читатель, Истории. Истории второй мировой войны. Истории фашизма и предательства. Истории мужества и непокорности.

Сопряжение всеобщего с частным несколько теряет свою силу в финальных сценах повести, которые кажутся слабее основного ее текста. Но, завершив их, автор вскоре принялся за работу над «Анверским тигром», снова выводя своих героев к проблемам, ждущим своего решения и сегодня. Проблемам, которые вечны, но не абстрактны. Горе и смерть конкретных людей — вот чем оборачивается равнодушие к голосу собственной совести.

Т. БАЛАШОВА

Он появлялся, кружил по окрестностям, исчезал, опять появлялся. «Необщителен»,— говорили лавочники. «Приветлив»,— возражали сторож, дорожный смотритель, лесник. «Умеет выспросить как бы между прочим все о любом владельце,— рассказывал учитель,— выведает и происхождение, и возраст, и все остальное, каждому дает выговориться — а кто этого не любит? — слушает вроде бы вполуха, но стоит какой-нибудь мелочи заинтересовать его, становится настойчивым, допытывается».

Задерживался он в деревне ненадолго. Отсутствовал дольше. А потом снова в один прекрасный день владелица табачной лавки видела его вылезающим из автобуса — того, что ходит в Оксер к парижскому поезду. Неизменно в одном и том же темно-синем габардиновом пальто хорошего покроя. С «дипломатом» в руке. Она сдавала ему комнату над своим магазином.

Почтальон, у которого была родня в соседнем кантоне, утверждал, будто встретил его и там — «болтал с моим коллегой»,— сказал он. Тот человек и сообщил, что чужак известен всей округе своими внезапными появлениями. Зачем он приезжает, никто не знал. Но поскольку выглядел он безобидным, языки на его счет чесали только тогда, когда он возникал. Потом о нем забывали.

Слух о нем в конце концов долетел и до нас, хотя мы жили на отшибе. Но сами мы так никогда его не видели, ни отец, ни тетя, ни я, поэтому я не обращала на эти разговоры особого внимания.

Я вообще не отличаюсь любопытством. И не отличалась никогда. Всю жизнь я склонна была принимать вещи как они есть, не задаваясь вопросами. Это отнюдь не значит, что меня ничто не волновало.

Тетя моя, напротив, не упускала случая разузнать новости, когда приходил почтальон или приезжал на своем грузовичке мясник или бакалейщик. Но поскольку жили мы от деревни далеко и обычно не вмешивались в дрязги и пересуды деревенских, я и не заинтересовалась их «летучим» гостем.

Миновало уже два года после того, как де Голль положил конец алжирской войне. Кое-кто высказывал предположение, что незнакомец, возможно, из тех демобилизованных молодых людей, которые ищут, где бы приземлиться.

Другие считали, что он собирает предварительные сведения для какого-то строительства. Были и такие, кто, отмечая его особое внимание к селениям, расположенным поблизости от леса, полагали, будто он представляет охотничье общество. Все эти домыслы нисколько меня не занимали.

А между тем в свои восемнадцать лет, живя в уединении с двумя немолодыми людьми, я находилась в том возрасте, когда девичье воображение легко воспламеняется. О незнакомце говорили, что он высок и красив, загадочен, немногословен. Обедает в гостинице, неизменно один. Не склонен завязывать знакомства. Эта холодность производила на людей впечатление. И если подобный портрет оставлял меня равнодушной, то причиной этому, без сомнения, был исключительно мой характер. Я люблю одиночество и вполне довольствуюсь собственным обществом. С детства я буквально глотаю книги и не менее страстно увлекаюсь музыкой, слушаю пластинки. Наше существование в стороне от деревни мне подходило как нельзя лучше. Я не хотела никаких перемен.

Мы жили тогда в районе Аиси-ле-Фран, неподалеку от Армансона, на одинокой мызе, на опушке Лошюйской дубравы, одной из тех обширных рощ, что тянутся вдоль Бургундского канала предвестниками Отейских лесов.

Это отшельничество было мне по сердцу. Я выросла нелюдимой — наверное, из-за своего детства: меня рано отдали кормилице, а потом, в шесть лет, поместили в монастырский пансион, в Бельгии — по причинам, которые я никогда не пыталась выяснить, будучи, как я уже сказала, не слишком любопытной. Возможно, я страшилась нарушить свой душевный покой. Когда одноклассницы спрашивали, почему отец никогда не навещает меня, я спешила ответить, чтобы пресечь разговор, что он — посол (на самом же деле он занимался торговлей лесом). Немногим лучше знала я и свою мать, и мне так и осталась неведома причина ее смерти: монахини долго скрывали ее кончину, оберегая меня от потрясения. Еще меньше было мне известно о жизни матери в девичестве, в молодости. Не следует так уж удивляться этому: подобное отсутствие любопытства нередко встречается у детей. Тут еще примешивается сдержанность, робость: я знала, например, мальчика, который никогда не расспрашивал

отца о его юности, а после того, как отец умер, засыпал вопросами старых друзей покойного.

Когда монахини вынуждены были в конце концов сообщить мне, тогда еще маленькой девочке, что моя мать умерла, принятые ими меры предосторожности оказались излишними: я ничего не почувствовала. Эта смерть показалась мне чем-то не вполне реальным — как не вполне реальной казалась мне всегда моя мать. Она навещала меня очень редко, поскольку они с отцом непрерывно переезжали с места на место, и память моя сохранила какой-то расплывчатый, почти мифический образ красивой, рассеянной, чуть печальной женщины, она мало говорила, слушала меня с улыбкой, мысли ее явно витали где-то далеко. Внезапно я замечала, как ее пронзает тайная мука, глаза ее вдруг широко раскрывались, чуть ли не в панике, точно перед ней представало чудовищное видение. Я совершенно терялась.

Так что даже эти ее посещения протекали словно в нереальности. Отныне им пришел конец. Она умерла, и я больше не увижу, как расширяются у нее глаза. Что ж, это означало, наверное, лишь еще более долгую, еще более постоянную нереальность — более непроницаемую, что ли, только и всего. Я, конечно, опечалилась; но в то же время — как бы это сказать? — ощутила своеобразный покой, почти облегчение оттого, что больше не будет этих свиданий, приносивших мне не радость, а душевное смятение.

А потом за мной приехали отец и незнакомая женщина. Это была тетя Жозефина, его сестра: она сама недавно овдовела и перебралась жить к брату-вдовцу. Мне исполнилось уже одиннадцать лет. За все предшествующие годы я видела отца всего два раза: когда он привез меня в монастырь и когда присутствовал при моем первом причастии. Рассеянный, высокомерный, неразговорчивый. Я до того робела перед ним, что не чувствовала ни печали, ни удивления. Ни любви.

Очутившись в отцовском доме среди лесов, я просто сменила жилье и окружение. Поскольку я никогда не знала иного домашнего очага, кроме мрачного монастырского пансиона, стоявшего на голой равнине, эта лесная мыза восхитила меня. В монастыре моей замкнутой натуре претила шумная, нередко замешенная на казенном лицемерии веселость соучениц, по большей части уже ханжей. Я так и не нашла среди них ни закадычной подруги, ни даже приятельницы, на которую можно было бы положиться. Здесь же деревья, окрестная тишина, оживляемая пением птиц, шепот ветра в листве, смешливое журчание ручья — все общалось со мной, все было полно неисчерпаемого очарования.

Утром, чтобы добраться до лицея в Анси-ле-Фран, я выходила через лес на дорогу и ждала автобуса, подбиравшего школьников. Часам к пяти он доставлял меня обратно; с первых теплых дней я до темноты оставалась на свежем воздухе. Потом отец усаживал меня за уроки, так что в семнадцать лет я без всяких затруднений получила свой аттестат о законченном среднем образоваиии с естественнонаучным уклоном. Потом я дала себе год на размышление, прежде чем окончательно выбрать профессию. Я склонялась к тому, чтобы стать ветеринаром.

Как раз в сентябре этого года и появился в наших краях загадочный, молчаливый незнакомец в габардиновом пальто.

Отцу нередко приходилось уезжать из дому по торговым делам. Эти отлучки на первых порах оказались благом для нас обоих — так, постепенно, нам легче было привыкать к друг другу. Отцовская манера держаться могла в то время помешать нашему сближению.

Иногда, неожиданно столкнувшись со мной в гостиной или в коридоре, он словно недоумевал. Так что порой я и сама готова была усомниться в собственном существовании. Самосознание ребенка во многом зависит от того, как на него смотрят взрослые. Первое время нескрываемое удивление в глазах отца просто-напросто отметало меня, обращало в тень: кто я такая? Впрочем, в остальном я не могла на него пожаловаться: он редко сердился, чаще — просто не помнил обо мне. Я думала: неужели опять не судьба? Неужели он будет так же далек от меня, как покойная мать?

Но мало-помалу я поняла, что рассеянность отца совсем иного рода. Отсутствующий взгляд матери приковывало нечто внутри нее самой. Отца же, напротив, отвлекало что-то во внешнем мире. Он был постоянно — как бы это сказать? — настороже. Вздрагивал по пустякам. Тщательно закрывал двери. Был нелюдим. Меня ие огорчало,

что он так же замкнут, как и я: это давало мне надежду завоевать его внимание. Добиться, чтобы он заметил меня, было моей главной заботой. Ибо, хотя он и свыкался все больше с моим присутствием, отцовская любовь вспыхивала в нем лишь эпизодически, затем бурные чувства вновь сменялись полным безразличием: он любил меня, когда ему случалось об этом задуматься, но тут уж почти до исступления. Помню поцелуи, порывистые объятия, дорогие игрушки, которые он привозил мне, возвращаясь домой. А потом опять наступал спад, когда, поглощенный заботами, он, казалось, вовсе забывал о моем существовании. На протяжении семи лет, прожитых с ним бок о бок, бóльшая часть времени уходила у меня на борьбу за его внимание. Быть может, моя привязанность к нему и родилась из этих усилий.

Отношения с тетей Жозефиной у меня сложились сердечные, но мать она мне не заменила. Девочкой, а потом — девушкой я была самостоятельна и оберегала свою независимость. Тетя — возможно к ее чести — не умела скрывать жесткий характер за приветливыми манерами. Когда она пыталась это сделать, получалось только хуже: вся ее физиономия обращалась в грубую слащавую гримасу. Но поскольку она тем не менее была преданна и заботлива, я к ней привязалась.

Иногда в ее отношениях с отцом проскальзывало нечто странное. Оба — и брат и сестра — отличались упрямством. Однако обычно она склоняла голову перед сильным полом и вставала на дыбы не часто. И все же, по причинам мне непонятным, достаточно было порою нескольких слов, сказанных ею почти неслышно, шепотом, чтобы он сдался. Я не любила такие минуты. Ребенку вообще неприятно видеть отца униженным, да и что-то оставшееся тайной тревожило меня. К счастью, такое случалось редко, и в остальное время я могла питать к нему уважение и доверие, а это было мне необходимо, дабы чувствовать себя под надежной защитой. Впрочем, к этому располагала и его фигура, высокая и стройная — позднее он погрузнел,— и борода под Генриха IV, черная с легкой проседью, и низкий, звучный голос.

Таков был мир, который мой нелюдимый отец изо всех сил старался свести к нам тронм. Лес, окружавший нас, способствовал уединенности и замкнутости нашей жизни.

Однажды вечером, когда мы только собирались сесть за стол, мы с удивлением услышали голоса, доносившиеся из лесу. Лес принадлежал нам, и никто через него не ходил. Поначалу почти неразличимые, голоса приближались. Гости? Это было целое событие. Отец взглянул на тетю, которая внесла суп, положил трубку и поднялся, чтобы посмотреть, кто это. Не успел он шагнуть к окну, как раздался настойчивый стук в дверь. Я поставила стопку тарелок. Пошла открывать.

Еще не совсем стемнело. Я увидела на крыльце три тени: двое старых охотников поддерживали какого-то мужчину. Тот, судя по всему, не мог идти. Его брюки были запачканы кровью.

Я, конечно, сразу подумала о несчастном случае на охоте. Пока мы с тетей помогали одному из охотников уложить пострадавшего на диван, отец расспрашивал другого. Тот, как это водится у крестьян, начал с Адама и погряз в мелких подробностях. Отец уже начинал терять терпение. Я прислушивалась. Охотники, блуждая по лесу, спускались с холма напрямик через заросли, когда до них донеслись стоны. Некоторое время они шарили по кустарникам и наконец обнаружили в папоротниках лежащего навзничь молодого человека. Одна нога у него была вытянута, другая согнута и схвачена у щиколотки волчьим капканом. Раненый был в обмороке, руки ободраны: видно, выбился из сил, безуспешно пытаясь разжать сомкнувшиеся тиски.

Я всегда ненавидела эти капканы и привычку отца расставлять их вокруг дома, защищаясь от лисиц. Несмотря на развешанные в лесу предупреждения, я все время боялась несчастного случая. Теперь мои опасения оправдались, но я, разумеется, не позволила себе никаких замечаний.

Раненый гихо стонал. Бледный, с закрытыми глазами, видимо без сознания. Цела ли кость? Он потерял немало крови, но ни тетя, ни я не решались промыть рану, так устрашающе она выглядела. Отец позвонил врачу.

Голова на подушке мотнулась в сторону. А лицо его было суровым и спокойным. Я никогда прежде не видела этого человека. Тетя и отец тоже. Несомненно, он был нездешний. У меня сразу мелькнула мысль, что это, вероятно, и есть пресловутый незнакомец, который то появляется, то исчезает.

Именно так его и описывали: высокий, молодой, в габардиновом пальто. Оттого, что я неожиданно увидела его у себя в доме, да еще при таких обстоятельствах, во

мне проснулся интерес к нему... Зачем он рыскал вокруг? Чем вообще занимается? Мужественная и печальная красота этого лица, искаженного болью, не могла не взволновать меня.

Выпив по рюмке, охотники ушли. Вскоре приехал врач и тотчас успокоил нас: кость в порядке, во всяком случае перелом не прощупывается. Из предосторожности нужно будет сделать потом снимок. Пока же достаточно шины и нескольких дней покоя. Он промыл рану, наложил швы, сделал противостолбнячный укол и уехал за всем необходимым, чтобы наложить шину.

Раненому стало легче, он приходил в себя. В лице его появилась краска. Отец хотел было перевезти молодого человека в больницу, но врач отговорил его: в больнице не хватает коек, и легкораненых отправляют домой. А жил он — как сам он сообщил нам — в Париже, на седьмом этаже без лифта, в деревне же обитал в комнате над табачной лавкой, где не было даже водопровода. Лучше бы, посоветовал доктор, оставить раненого у нас дня на два-три, если это возможно. Тетя согласилась — в доме достаточно места, чтобы его устроить. Я считала, что поскольку мы несем ответственность за все случившееся, уж это-то мы сделать обязаны. Отцу такое решение сначала пришлось как будто не по вкусу, но потом он смирился.

Мне понятна была его первая реакция: посторонний в доме — это ведь, согласитесь, шло вразрез с нашей общей привычкой избегать людей. И я вынуждена была себе признаться, не без тайной усмешки над собой, что, окажись незнакомец в более почтенных годах, я вряд ли проявила бы такую настойчивость. Меж тем он благодарил нас за гостеприимство. Местная анестезия сняла боль, и он даже развеселился. Отец пока не разделял его веселья. Он с трудом сдерживал нетерпение, и я догадывалась, что у него на уме: ему хотелось узнать, зачем незнакомец забрался в наш лес. Тетя, положив ладонь на рукав отца, удерживала его от расспросов — было бы бесчеловечно и крайне невежливо тотчас наброситься с вопросами на человека, пострадавшего по нашей вине. Хотя бы из деликатности следовало дождаться, пока будет наложена шина и самое тяжелое останется для него позади. Я тоже так считала.

Отец взял себя в руки. Доктор вернулся, наложил шину, уехал. Тетя поставила разогревать суп. Я страшно проголодалась. Наконец мы смогли сесть за стол. Я подала ужин раненому: удобно устроившись между диванными подушками, он признался, что несчастный случай разжег его аппетит. И действительно, он воздал должное ужину. Отец за столом почти не разговаривал. Я чувствовала, что он сдерживается изо всех сил. Когда за десертом раненый стал извиняться за причиненное нам беспокойство, отец воспользовался случаем.

— С чего это,— спросил он довольно резко,— вы вздумали забираться в частное владение? Вы разве не видели предупредительных табличек в лесу?

— Видел,— сказал спокойно молодой человек.

— Так в чем дело?

— Обычно все эти предупреждения развешаны так, для острастки.

— Это вас не оправдывает.

— Вы правы. Но я заблудился.

— Куда вы шли?

— Никуда. Местность изучал.

— Зачем это?

— Для Дорожного управления.

— А какое дело Дорожному управлению до нашего леса?

— Там решают вопрос о строительстве автострады.

— Откуда и куда?

— Из Оксера в Труа.

— Не собираетесь же вы прокладывать шоссе так близко отсюда!

— Вероятно, несколько выше.

— Так что же вы там делали?

— Где? Выше?

— Здесь! У нас!

— Я же сказал — я заблудился...

— Значит, вы инженер? — сказал отец ядовито.

— Только до известной степени, —ответил тот, ни на минуту не переставая любезно улыбаться.

— То есть? — спросил отец.

— У меня сложная работа: топография, геология, социология, выяснение кое-каких фактов — всего понемножку.

— Каких еще фактов?

— Разных... если вопрос о строительстве будет решен, придется же экспроприировать участки.

Мне было не по себе — теперь все выяснилось, но, хотя молодой человек и ответил на вопросы отца, того, казалось, это только разозлило. Почему? В чем он подозревал нашего гостя? Не ограбить же он нас хотел! Отец молчал, он спросил обо всем и получил вроде бы все разъяснения. Мы пили, как всегда на ночь травяной отвар. Молодой человек по-прежнему пребывал в благодушном настроении. Отец встал, чтобы взять сигары.

Внезапно он резко обернулся и спросил в упор:

— Как вас зовут?

При этом вопросе, вполне естественном, но столь запоздалом, что раненый уже и не ждал его, молодой человек на секунду смешался, точно его застигли врасплох. Он моргнул и поспешно ответил:

— Жюльен Дюран.

Я подумала, что это не настоящее имя. Чем было вызвано его мимолетное замешательство? Как будто от неожиданности он забыл приготовленный заранее ответ.

Тетя нахмурила брови. Отец пристально смотрел на молодого человека. У всех нас мелькнула одна и та же мысль, и теперь подозрительность, выказанная отцом, уже не выглядела так оскорбительно.

И все же поведение раненого казалось мне вполне извинительным. Разве человек, который занят негласным сбором сведений, не должен в первую очередь стремиться к анонимности? В остальном же все, что так подогревало любопытство людей — эта манера внезапно появляться и исчезать, расспрашивать то об одном, то о другом,— исчерпывающе объяснялось его профессией. Да и потерять дорогу в лесу, даже имея компас, дело нехитрое, не он первый, не он последний.

Думал ли отец так же? Он ни о чем больше не спрашивал и предложил молодому человеку сигару. Тот отказался: «Я не курю». Потом признался, что устал. Мы с тетей помогли ему доковылять на одной ноге до отведенной ему комнаты. Отец принес свою пижаму. Мы оставили «Жюльена» отдыхать и отсыпаться. Утром, убирая его комнату, я заметила, что пижамой он не воспользовался.

На следующий день отцу предстояло уехать на заре из дому, у него были дела в Вогезах, связанные с торговлей лесом. Он предупредил нас, что ему, вероятно, надо задержаться там дня на два — на три. Я чувствовала, что отец неспокоен и охотно отложил бы поездку, будь это возможно. Пока тетя укладывала ему наверху чемодан, он сказал мне, наливая себе кофе:

— Не по душе мне оставлять вас одних с этим субъектом.

— Да что он нам сделает? — успокаивала его я.— Он ведь ранен!

— Очарует,— сказал отец.— Будьте осторожны и держитесь от него на расстоянии.

Я почувствовала себя слегка оскорбленной. Не то чтоб я решила, будто он опасается за мою добродетель. «Очарует» — это слово выражало скорее страх, что тот может втереться к нам в доверие. С какой целью? Чтобы жениться на мне ради моего приданого? Надо было еще иметь его, это приданое.

Тут я заметила, что отец даже не смотрит на меня. Он задумчиво уставился на дно своей чашки — точно хотел прочесть судьбу по кофейной гуще. Я поняла, не без некоторого удивления, что его тревога не так уж связана со мной. Но за кого же он волнуется? За тетю? Маловероятно. Значит, за себя самого? Но он уезжает. За наш общий покой? Право же, я не видела, что и как может ему угрожать. Я недоумевала. С одной стороны, в пользу молодого человека говорила его скромность, его «очарование» серьезное и грустное глаза, оставшиеся печальными даже когда он улыбался. Все это внушало мне доверие, даже симпатию (может, и нечто большее, но я никогда не теряю головы). С другой — что? Только это мгновенное замешательство, прежде чем назвать свое имя — или утаить его? — замешательство объяснимое: вероятно, скрывать свое настоящее имя требовали от него инструкции. Не проще ли спросить у него прямо? Но я не знала, как это сделать, чтобы не обидеть его.

Тетя, пользуясь привилегией возраста, меньше заботилась об этикете.

— Что за небылицы вы нам рассказываете об автостраде? — сказала она шутливым тоном («Берет быка за рога»,— подумала я).

Бутерброд нашего собеседника замер на полпути ко рту. Отец уже уехал, и мы завтракали втроем. Раненого устроили в кресле, подставив под перевязанную ногу пуф.

— Странный вопрос! — возмутился он, подняв брови. Потом коротко рассмеялся и безмятежно прожевал кусок хлеба с маслом.

— Это не ответ,— сказала тетя.

— А вы ответили бы на такой вопрос? — сказал он, не рассердившись.— Будем считать, что я ничего не слышал. Что вас тревожит?

— Просто пытаюсь объяснить...— Она не договорила.

— Что? — сказал он.

— Ваше вторжение в наш дом.

— Я еще мог бы вас понять, если б перелез через забор. Откуда я знал, что это частное владение?

— Вы видели таблички.

— В государственных владениях вывешивают точно такие же, чтобы отпугнуть браконьеров.

— Да, но в государственных владениях...

— ...Не ставят капканов. Это противозаконно. И опасно. Доказательства налицо.

— Тут развелось слишком много лисиц, и они душат у нас кур,— горячо возразила тетя.

— И все?

— Что?

— Только поэтому расставлены капканы?

— А почему же еще?

— Об этом я вас и спрашиваю,— сказал он, отпивая какао из большой чашки и не спуская глаз с тети.

Хотя я должна была быть на стороне нашей семьи, меня не могло не восхитить то, как он ловко, словно не касаясь сути, поменялся с тетей ролями.

— Слишком велик риск,— продолжал он.— Если бы охотники не нашли меня... И смертельная опасность грозила не мне одному, в капкан мог попасть, например, ребенок. Десять тысяч цыплят не окупят такого несчастья.

Это было правдой, мне стало жутко. У меня капканы всегда вызывали отвращение. Я не протестовала только из почтения к отцу. Меня всегда удручала мысль, что его, должно быть, осуждают за них. Нога в шине, лежащая на пуфе, повергала меня в дрожь: а что, если бы никто не наткнулся на раненого в течение недели?

— И все же это странно,— настаивала тетя.

— Что именно?

— Да то, что до сих пор таблички действительно прекрасно отпугивали браконьеров, да и всех прочих. Обычно никто не отваживается забираться в наш лес, а если уж так нужно пройти через него, люди ходят по тропинке. У вас была какая-то определенная цель.

— А я как раз свернул с тропинки! Она тянется с востока на запад, а мне нужен был юг.

Внезапно он опустил свою ложечку в чашку. Сложил руки. Подался вперед.

— Ну, выкладывайте,— сказал он, смеясь.— К чему вы клоните?

— Да... ни к чему.

— Ладно, ладно. Вы подозреваете меня в излишнем любопытстве, так?

— Я вас за язык не тянула,— рассмеялась тетя Жозефина.

— Это еще не преступление.

— Но бестактность.

— ...И у меня есть к тому смягчающие обстоятельства — мне все уши прожужжали о красивой девушке,— уточнил он, глядя на меня, и я покраснела.

— Кто это, интересно, рассказывал?

— Люди. И они не обманули меня. Ваша племянница действительно прелестна.

Я покраснела бы еще больше, если б не подумала: «Значит, в конце концов, он признаётся? Значит, автострада там или не автострада, но он оказался в нашем лесу вовсе не случайно?» Я, разумеется, не могла поверить, будто причина во мне. Так в чем же? Какую цель он преследовал? Какое предчувствие встревожило отца? Какие

опасения может вызвать человек с таким лицом — таким... Оно дышало прямотой, больше даже, чем печалью. Он спокойно смотрел на меня. В этом взгляде не было ничего двусмысленного. Я невольно встретилась с ним глазами.

И тут что-то случилось со мной — какое-то наваждение, причина которого стала мне понятна лишь много позднее. Когда взгляды наши встретились, мне вдруг почудилось, будто я вижу в его зрачках себя — как в зеркале: вместо его лица мне на мгновение померещилось мое собственное — вытянутое, деформированное, но мое. Это странное видение длилось секунду, потом исчезло. Но оно смутило меня, встревожило. Что произошло со мной? Как могла я увидеть себя в нем? Уж не было ли это признаком зарождающегося чувства? Нужно было срочно взять себя в руки.

Странен был также и тон, каким тетя медленно, словно заинтригованная, спрашивала:

— Кто вы такой?..

Он развел руками:

— Разве я не представился?

Потом, шутливо пародируя поклон, повторил:

— Жюльен Дюран, инженер...

— Я имела в виду — из какой вы семьи? Откуда приехали?

— ...Из Парижа.

— Вы там родились?

— В Париже? Нет.— И после паузы:— Я родился в Рокруа, если это так уж вас волнует. Неподалеку от бельгийской границы. Мы раньше жили в департаменте Ионны.

Тетя нахмурила брови, шепотом повторяя: «Рокруа... Рокруа...», точно это название должно было пробудить в ней какие-то воспоминания. Мне оно ни о чем не говорило. Я понятия не имела, где находится этот город.

Я уже достаточно хорошо знала тетю и легко читала по ее лицу. Как ни мимолетна была тень, омрачившая его, она от меня не укрылась.

— Ваши родители тоже оттуда? — спросила она.

— Да, мой отец из Рокруа. Мать нет — она из Гавра.

— Когда вы родились?

— Перед самой войной.

— Ваш отец еще жив?

— Нет,— ответил он коротко, и я заметила, как он помрачнел.

— А ваша мать?

— Умерла.

Он произнес это еще тише, рассматривая скатерть. Было ли это горе недавним? Я не посмела спросить. Тетя тоже. Она поднялась, чтобы убрать со стола. Я помогала ей. Не сговариваясь, мы обе все больше склонялись к тому, что предчувствия отца были справедливы, хотя ничто в разговоре этого не подтверждало. Этот «Жюльен Дюран» вряд ли оказался на наших землях по ошибке.

Когда мы вернулись из кухни, он сидел на прежнем месте. Он улыбнулся мне так искренне, что я не могла не улыбнуться в ответ. Но тут же одернула себя: держаться на расстоянии! Тетя уселась напротив гостя и, подперев лицо руками, принялась его рассматривать.

— Рассказывайте,— произнесла она наконец.

— Но... о чем? — спросил он.

— Откуда мне знать? Обо всем,— сказала она.— Вы у нас в доме, а мы ничего о вас не знаем.

— Я к вам не напрашивался,— заметил он мягко.

— Опять все сначала!

— Нет. Но что вам рассказать? В моей жизни нет ничего интересного. Дорожное управление, только и всего.

— Предпочитаете молчать?

Это было сказано довольно холодным тоном. Он скорчил милую гримасу, в которой проглядывала ирония.

— Не вы ли только что обвиняли меня в чрезмерном любопытстве?

— Один-один,— сказала тетя, не смутившись.

Но и он не смутился. Он посмотрел на меня, точно приглашал в свидетели, и сказал:

— Ну ладно.— И продолжал в подчеркнуто пародийной манере:— Место рожде-

ния: Рокруа, Арденны, кантональный центр. Три тысячи сто жителей. Знаменитая битва. Фортификации, выстроенные Вобаном, 1691. Укрепления в форме звезды сохранились полностью, так же как и внутренний город. Дата рождения: 7 сентября 1936 года. В три года — энтерит. В четыре — краснуха. В пять — свинка. В шесть... Мне уже двадцать восемь. Продолжать?

— Сделайте милость,— сказала тетя бесстрастно.

— Боюсь наскучить вашей племяннице.

Он не сомневался, что я поддержу его.

— Не беспокойтесь,— пролепетала я.— Продолжайте.

— Что вы хотите узнать? — сказал он внезапно изменившимся голосом, глядя на тетю.— Как умер мой отец?

Это прозвучало как дерзость. Может быть, он хотел, чтобы Жозефина ощутила всю нескромность своих расспросов? Но она достаточно толстокожа, когда хочет добиться своего.

— Ну, хотя бы,— сказала она хладнокровно.

На этот раз он, казалось, несколько растерялся. Но ненадолго. Снова бросив взгляд на меня, он как в открытой книге прочел мое смущение: хоть я и не высказывала тете своего неодобрения, мне была не по душе ее настырность, ее стремление выведать семейные тайны. Ироническое — не без горечи — выражение тут же исчезло с его лица. И ответил он с глубокой серьезностью — мне. А не тете. Даже если бы он сказал вслух: «Я обращаюсь к вам, и только потому, что так сам хочу», это не было бы выражено яснее. Я почувствовала некоторую неловкость перед тетей. Но он уже рассказывал.

— Мой отец,— продолжал он,— умер, когда мне было семь лет. По профессии он был адвокат и мировой судья. Кантональный советник. Для меня, четырехлетнего, это был папа, вот и все. Высокий, полнеющий, иногда веселый, иногда сердитый. Я плохо помню свое детство. Мне отец вспоминается пожилым, хотя, без сомнения, был очень молод. Лет тридцати, должно быть. Мое детство, с четырех лет,— это война и оккупация. Не знаю, видел ли я, как отец уезжал в военной форме. Три нашивки — вот все, что я помню, золотые, новенькие, на кителе, разложенном на кровати. Капитан запаса. Потом еще одно воспоминание — товарный состав, чреда платформ, всегда заваленных огромными ящиками, совершенно пустыми. Поезд тянется, как змея, под беспощадным небом. Мы с мамой на платформе. Люди со своими пожитками теснятся между ящиками. Они начинают орать, когда появляется самолет. Меня ужасно забавляет, что нужно быстро скатиться вниз, а потом снова вскарабкаться наверх. Но такого рода картины уже ничего не говорят молодой девушке.

Он был прав. Я родилась после войны; все эти оккупанты, беженцы казались мне чем-то доисторическим. Вроде наполеоновских походов или первой мировой войны. Однако его замечание слегка задело меня. Я искала, что возразить.

— А для вас значат что-нибудь картины Вердена? Тоже ведь нет.

— Я просто боюсь вам наскучить,— оправдывался он с улыбкой.— Извините меня.

— Если вы нам наскучите, мы вам скажем,— пообещала тетя.

— Прекрасно. Остановите меня. Так вот,— продолжал он,— затем (коль скоро вы настаиваете) зазвучали нацистские песни; грузные солдаты в касках отбивают шаг по мостовой, грохочут их сапоги. Я глазею на городские укрепления, где они проходят строевую подготовку. Питаемся мы в основном репой. Кусочек мяса — уже праздник. Учительницы в начальной школе сменяются каждые три месяца. Однажды это оказывается учитель — худосочный горбатый старик. Я уже ничему не удивляюсь, мне все представляется естественным, поскольку ничего другого я и не знал; даже очереди и нужда, даже то, что в доме нет папы — ведь для маленького ребенка то, что существует сегодня,— существовало всегда, не правда ли? Всякое изменение меня занимает и чуть-чуть тревожит. Даже возвращение через два года отпущенного по болезни отца, которого я успел забыть. Я имею в виду — лицо, внешность. В этом возрасте два года — целая жизнь. Я не сразу снова привык к нему — он очень исхудал, вернулся седеющим, бородатым. Но потом, когда он снова стал для меня «папой», я не отставал от него ни на шаг. Тогда, когда он был дома. Но это случалось не часто. Тогда у нас вообще не часто кто-нибудь оставался.

— Почему это? — удивленно спросила тетя.

— Ну разве что моя старая няня, Жюли. Она занималась и домом и кухней. Я

очень любил ее. Оставаясь вдвоем, мы с ней играли. Это помогало мне терпеливо ждать. По крайней мере днем, по вечерам же, если дома не было ни матери, ни отца и некому было подоткнуть одеяло и поцеловать меня в постели, я совсем падал духом. В темноте меня охватывал страх. Я всхлипывал, Жюли приносила мне карамельку. Эрзац, на сахарине. Вкус был тошнотворный, но я все же сосал ее: как дети сосут палец. Заброшенный ребенок... Отец не виноват! — поспешно пояснил он.— Я не был на него в обиде за его отлучки. Он стал исчезать не сразу после возвращения, нет, но мало-помалу пропадал все чаще. Когда это началось, мне было лет шесть. Многого я не понимал, но воображение у меня уже начинало работать. Причины ускользали от меня, однако я догадывался, скажем, о риске и благородстве отцовской деятельности. Если она и казалась мне таинственной, то это была влекущая тайна. И его возвращения — всегда ночные, короткие, настороженные — наполняли меня тревожной радостью. Я смутно угадывал какую-то секретную, полную опасностей жизнь. И не только не осуждал его, но, напротив, любил его за это еще больше...

Внезапно веки его опустились, голова поникла. Голос сделался хриплым, задрожал.

— А моя мать... ее исчезновения...

Молодой человек помялся, закашлялся и умолк. Лицо его опять странно омрачилось. Сожалел ли он о своих последних словах? О том что не было сказано открыто, но легко угадывалось за этими словами? Еще более странными показались мне его расширенные, впившиеся в меня глаза, напомнившие мне мамины когда она смотрела словно сквозь меня. Дрожь пробежала по крыльям его носа, по скулам, по вискам. Он пробормотал:

— Простите. Я не могу без волнения вспоминать об этом. Даже двадцать лет спустя,— он покачал головой и отвернулся.

Тетя из вежливости, не желая его смущать, глядела в сторону. Я тоже отвела взгляд, испытывая волнение, смешанное с неловкостью. Он помолчал потом, опираясь рукой о стол, поднялся и попрощался с нами — сначала с тетей потом со мной. Я вдруг поняла, что все это время внимала ему, не сводя с него глаз. Нет, я не была ни пленена им, ни очарована. И все же что-то меня в нем притягивало — нет, не голос, при всей его теплоте, и не красота лица: нет, это было нечто необъяснимо трогательное, исходившее от всего его облика. Хрупкое. Ранимое. И решительное, при всей слабости.

— Вы позволите? — сказал он. И, том, взяв костыли, повернулся к нам спиной, пересек комнату и ушел к себе.

Мы молчали. Меня неотступно преследовал его голос и загадка, которую я почувствовала за первыми словами прерванного рассказа.

Он ушел, но я все еще ощущала на себе его ясный пронзительный взгляд, как бы подтверждавший мою странную уверенность: он отвечал именно мне именно ради меня — хотя расспрашивала его тетя Жозефина. Ведь она хотела узнать только его биографию в самых общих чертах, а он стал подробно рассказывать об определенных событиях своего детства — почему? Словно хотел меня к нему приобщить. Или приоткрыть мне какую-то трагедию. Мне, которая ни о чем не спрашивала и которой вообще не было даже на свете в ту пору.

Тетя, ничего не говоря, принялась за свое рукоделие (она вязала мне свитер). Я взяла книгу, но буквы плясали перед глазами. Временами, глядя на Жозефину, игравшую спицами, я замечала, как она задумчиво покусывает губу. Это часто случалось с ней за вязаньем.

Я нарушила молчание:

— Что вы думаете обо всем этом?

— О чем? — сказала она, не поднимая глаз.

— Об этом человеке?

— А что о нем думать? — Глаза ее по-прежнему не отрывались от вязанья.— Красивый мужчина. И все.

— Я не про то...

— Он тебе что нравится? — сказала она, хихикнув.

— Прошу вас! Я говорю серьезно.

— Так про что ты?

— Зачем он здесь?

Почудилось ли мне? Спицы замелькали быстрее.

— То есть как? — сказала она.— Мы заботимся о нем, это естественно. Он пострадал по нашей вине.

— Но что он делал в нашем лесу?

Она подобрала убежавшую петлю:

— Разве он не объяснил?

— Вы ведь ему не поверили!

— Почему? Поверила. Что это тебе взбрело в голову?

Ее смех мне не понравился.

— Послушайте, тетя,— начала я.

— Нет, кисонька,— сказала она.— Этот парень, возможно, и симпатичен. Мы проявляем заботу о нем, поскольку обязаны это сделать. Но ничего интересного я в нем не нахожу. Да он и сам нам сказал: Дорожное управление, только и всего. Через две недели мы о нем и думать забудем.

— Зачем тогда вы заставляете его обо всем рассказывать?

— Да чтобы время провести! И из вежливости.

Я замолчала, несколько обескураженная. Говорила ли она искренне? Я могла поклясться, что еще недавно она была смущена не меньше меня самой. Значит, ее смущение имело некие причины, которыми она не хочет со мной делиться? Тайная симпатия? В возрасте тети Жозефины об этом не приходилось думать всерьез. А он, рассказывавший — специально для меня — о своем далеком детстве, о поре, когда я еще не родилась... Голова у меня шла кругом.

А может, все было проще простого, подозрения не имели никакой почвы, и я как дурочка забивала себе голову чепухой. Или что-то все-таки беспокоило тетю, так же как и отца, но она не хотела меня в это впутывать? Между тем она спокойно продолжала вязать. Взглянув на часы, она заметила, что скоро полдень и пора кормить кур.

Я отправилась в курятник, но настороженно прислушивалась. Уж не хочет ли она возобновить допрос без меня?

Нет. Из дома не доносилось ни звука.

За обедом ни о чем таком разговора не было. Тетя только осведомилась у гостя, как его нога. Он сказал, что уже лучше, скоро все будет в порядке, и с завтрашнего дня он попробует передвигаться сам и надеется вскоре избавить нас от своего присутствия.

Они обсудили разные подробности, касающиеся анатомии. Может ли большая берцовая кость одна выдержать нагрузку при переломе малой? Какова опасность отека под шиной? Его медицинские познания поразили нас обеих. Он объяснил, что, прежде чем обратиться к прикладным наукам, учился некоторое время на медицинском. Она задала еще несколько вопросов о его образовании. Светская беседа, не более. Ни слова ни о его отце, ни о матери, ни об оккупации. Я сама себе казалась выдумщицей.

Мы привыкли отдыхать час-другой после обеда. Жозефина, так же как и отец, погружалась в сон и задавала такого «храпака», что ее рулады иногда вызывали у меня улыбку. Сама я обычно просто читала, лежа у себя в комнате.

В этот день я никак не могла сосредоточиться на чтении. Я перечитывала второй раз подряд страницу Сюпервьеля, ничего не понимая, и вдруг услышала, как кто-то тихонько стучит ко мне. Я поднялась и приоткрыла дверь. Передо мной стоял Жюльен на костылях.

— Что вам угодно? — выдохнула я в щелку.

— Я не сплю,— прошептал он, не делая ни малейшего движения.

Не думает же он все-таки, что я...

— Но зато отдыхаю я,— ответила я тоже шепотом, довольно нелюбезно.— Последуйте моему примеру, это полезно для вашей ноги.

— Мне скучно.

— Тогда ступайте в сад. Там есть шезлонги.

— Ладно,— сказал он и добавил:— Вы не составите мне компанию?

Это было сказано без всякой наглости, но и без робости. Только с некоторой настойчивостью в тоне, подкрепляемой взглядом. Он явно хотел поговорить со мной. Я колебалась: что ему нужно от меня? Пофлиртовать часок? Это не в моем стиле. Да

и не в его, тут я была уверена. Но если он звал меня, чтобы снова делиться своими воспоминаниями о детстве, войне, вечно отсутствовавших родителях, которые теперь уже умерли, с какой стати мне его слушать? Пусть рассказывает тете, все это интересно в ее возрасте, не в моем. Я хотела было отказаться, но вдруг неожиданно для самой себя услышала свои слова:

— Да... хорошо... если хотите. Спускайтесь. Я выйду через минуту.

Что со мной стряслось? Побоялась его обидеть? Или мною вопреки всему, что я думала, невольно овладело любопытство? В растерянности я задавала себе эти вопросы. Причесываясь, пудрясь, крася губы («Кокетка»,— ругала я себя), я слышала, как он медленно спускается, ступенька за ступенькой, стараясь по возможности не стучать костылями. Все еще глядясь в зеркало, я нахмурилась. Почему он говорит шепотом, вызывает меня тайком? И главное, почему я оказалась у него в сообщницах? Не предаю ли я таким образом тетю?

Но теперь — бог знает почему — к моему любопытству примешивалось если не беспокойство, то, во всяком случае, нетерпение. Из беглых впечатлений выстраивалась определенная мысль. Этому человеку необходимо было что-то мне сказать. Ради этого он и явился к нам. Нелепо? Фантазии? Что ж, сейчас все выяснится. Подкрашивая перед зеркалом ресницы, я вдруг вспомнила, как сегодня утром, заговорив о матери, Жюльен внезапно умолк. Возможно, от волнения? Но главное, теперь я в этом не сомневалась, он не хотел говорить в присутствии тети. Не хотел обвинять свою мать перед нею. Я, конечно, не сформулировала этого для себя с такой четкостью: мною владела какая-то расплывчатая, но неодолимая тревога. Спускаясь по лестнице, я ощутила легкую дрожь.

Сад наш состоял, в сущности, из одной лужайки, окаймленной ручьем, через который был перекинут мостик. По ту сторону ручья сразу же начинался лес.

Он ждал меня на мостике. В лесу был крытый соломой навес, служивший прежде, во времена псовой охоты, для привала. До сих пор на единственной его стене висели два медных рожка, зеленых от патины. Здесь же доживали свой век старые тростниковые кресла. Жюльен сел в одно из них, я — в другое. Они долго молчал, и сердце мое часто билось.

— С вашей стороны было очень любезно прийти сюда,— произнес он наконец ничего не значащую фразу.

Он увидел, что я встаю с кресла: и это все, что он может мне сказать? На его лице отразились смущение и ирония. Запустив руку в волосы, он со смехом взъерошил их. Потом наклонился в мою сторону, почти коснувшись меня:

— И вас не удивляют,— сказал он, понизив голос и кивком указывая на лес,— все эти волчьи капканы?

Такой поворот беседы устраивал меня больше: пусть лучше нападает, как утром за столом на тетю. Я постаралась придать своему голосу твердость:

— Отец вышел из терпения, мы каждое утро находили удушенных кур, по одной-то уж точно.

— А дверь? — сказал он.

— Какая дверь?

— Входная. Дубовая, массивная, как в тюрьме. И четыре замка, один над другим. И еще засов! Тоже против лисиц?

Эта дверь, сколько я ее помню, всегда была такой. Четыре замка? Их не запирали. Засов никогда не задвигался. Я ни разу не задумывалась над этим.

— Наверное, тут раньше шатались всякие бродяги,— предположила я, но мне стало как-то не по себе. Внезапно и эта дверь тоже стала внушать мне страх. Как всегда внушали страх волчьи капканы.

— Почему вы об этом спрашиваете? — добавила я.

— Вы родились после войны? — спросил он, не отвечая мне, и выпрямился.

— Два года спустя. В сорок шестом.

— Именно так,— прошептал он, точно отвечая себе самому.— А я ко времени Освобождения был уже сиротой.

— Сколько лет вам было?

— Восемь.

— Ваши родители умерли в одно время?

— Нет. Сначала отец. Но матери я тоже лишился, как если б она умерла.

— Она бросила вас? — спросила я не столько с участием, сколько с каким-то необъяснимым смущением, пожалуй даже со страхом.

— Если угодно. Я с тех пор не видел ее.

— Ни разу?

— Ни разу.

Он замолчал. Я ждала. Я не понимала, к чему он клонит. Сирота. Как грустно! Но с тех пор прошло двадцать лет. Ему сейчас двадцать восемь. Не расстраиваться же мне из-за такого далекого прошлого, к которому вдобавок, убеждала я себя, я не имею никакого отношения. Прочел ли он эту мысль в моих глазах? Снова наклонясь ко мне, он сжал мою руку, лежавшую на подлокотнике кресла. Я не посмела отнять ее. Из опасения показаться недотрогой? Главное, не желая прерывать его в ту минуту, когда он, возможно, собирался открыть мне то, что я должна была узнать.

— Я не хочу докучать вам,— повторил он.— Вы сами должны решить продолжать ли мне рассказ.

— Почему вы так откровенны со мной? — спросила я мягко.

— Дело в том, что...

— Почему вы хотите что-то сказать мне, а не тете?

Он негромко рассмеялся каким-то странным смехом. Но глаза не смеялись. Серьезный взгляд серых глаз пронзил меня. Серых или голубых? Снова уклоняясь от прямого ответа, он тихо проговорил:

— Моя мать была очень красивой. Во всяком случае, я помню ее очень красивой: у меня нет ни одной ее фотографии, ни одного портрета, ничего. Я так и не смог узнать, кто их уничтожил или потерял. Мне было восемь лет, я был слишком мал, чтобы понять, что происходило в доме и вне дома. Или разобрать, что ворчала себе под нос, возясь в кухне, Жюли, которая в течение полугода одна занималась мною. Она поминала «этого типа». Ее ворчание пугало меня, и я не слишком стремился проникнуть в его смысл. Я предпочитал играть с ней в карты: в дурачка или экарте. Она жульничала, мы смеялись. Когда у Жюли кончились деньги, ей пришлось — другого выхода не был — отдать меня чужим людям, старикам, почти мне незнакомым. Не понимаю, почему вы меня слушаете.

Что ему ответить? Я сама этого не понимала. Но слушала, затаив дыхание. Я махнула рукой как бы говоря: «Какая разница, продолжайте». Но заговорил он не сразу. Он снял свою руку с моей — собственные пальцы казались мне оледенелыми — и принялся задумчиво рассматривать свои ладони, будто гадалка.

— Я не сомневался, что мама меня любит — сказал он.— И что она любит отца. Ребенку трудно представить себе родителей разобщенными, он гонит от себя эту мысль. Поначалу я даже не понимал, что отец в плену. В четыре года я понятия не имел, что это такое. А мать успокаивала: «Он скоро вернется». Она ласкала меня, обнимала. Так нежно... Я был счастлив, спокоен. «Он скоро вернется». Время ожидания стирается в детской памяти, и если неделя кажется годом, то и прожитый год стирается по мере того, как уходит. Меня баловали, и жизнь текла безмятежно. А между тем, случалось, мать уже тогда покидала меня на два, на три дня, оставляя одного, с Жюли. Может, и на более долгое время, не знаю точно. Но и к этому я привык: ребенок приноравливается ко всему. Потом вернулся отец, и я его не узнал. Исхудалый, бородатый. Я сначала почти испугался его. Но потом опять безумно полюбил. Мать больше не исчезала. Это было безоблачное счастье. Отец взялся за прежнюю работу. Он приходил домой обедать в полдень, по вечерам ужинал вместе с нами, я не отходил от него ни на шаг. Заметил ли я, что мать часто казалась рассеянной, реже целовала меня? Впоследствии мысль моя возвращалась к этому, но любовь отца восполняла тогда невнимание матери. Однажды, помню, ни о чем не предупредив заранее, он повел меня к торговцу подержанными машинами и купил мне педальный автомобиль. Какую радость, какую гордость я испытал, пусть он и был слегка помятый! Я вернулся домой в этой машине, сидя за рулем,— в ту пору на улицах почти не было движения.

Потом как-то вечером пришли люди, в темноте, крадучись. И с тех пор начали приходить часто. Они запирались с отцом. В результате теперь стал исчезать и он, потихоньку. Сначала на день, потом на два в неделю, а потом на три-четыре дня подряд. Я и к этому привык, мне ведь было не впервой, я уже знал, что со взрослыми всегда так — время от времени они исчезают. Мать тоже возобновила свои отлучки. Обычно они совпадали с отсутствием отца. Так что я снова оказывался один

с няней. И опять же привык, несмотря на постоянное ворчание Жюли, которая вечно была не в духе. Она то ругала меня, то кидалась целовать. Вскоре отец вовсе перестал появляться дома днем. Приходил только по ночам. Потом и эти ночные посещения стали редкими. Поэтому каждый его приход был дня меня праздником. Он являлся без предупреждения, я слышал, как поскрипывают ступени под его ногами, он входил, целовал меня в кроватке, мне было дано право поговорить с ним независимо от времени — пусть даже и в три часа ночи. Сколько захочу, сколько смогу. Он выслушивал всякую ерунду, которую я ему рассказывал, и я снова засыпал, счастливый. И так до следующего раза.

А Жюли все вздыхала, я вам уже говорил. В особенности когда мы оставались с ней вдвоем, а мама уезжала неизвестно куда. Но Жюли ничего не объясняла, только больше баловала меня. Вероятно, так прошло несколько месяцев. Как-то вечером, после ужина, они с мамой поругались — до меня донеслись гневные голоса. Потом Жюли, вся красная — я не помнил ее такой,— увела меня к себе в мансарду и уложила на диванчике. Это было интересно, но в то же время как-то тревожно. Больше, конечно, тревожно, чем интересно. Оставшись в темноте, на непривычном месте, я никак не мог уснуть. Мать пришла посмотреть, сплю ли я. Я хорошо умел притворяться. Она снова спустилась вниз, а я...

На этих словах голос его пресекся, точно звук на пластинке, вращение которой замедляется и прекращается. Чего он ждал? Я находилась под сильным впечатлением от его рассказа. В плену у этого устремленного на меня взгляда. Его настойчивость невыносимо томила меня, я пыталась отвернуться, ускользнуть, но что-то притягивало меня словно магнит, и я невольно вновь встречалась с ним глазами. В его взгляде горел напряженный вопрос. Такой неотступный, что я в конце концов догадалась, поняла его: как я отнесусь к тому, что мне предстоит услышать? Ибо мне предстояло услышать — все свидетельствовало об этом — не банальное, заурядное признание, не какую-то «жалкую кучку секретов», если воспользоваться выражением Мальро, нет — меня ждал, без сомнения, настоящий секрет, то есть нечто лежащее камнем на сердце, удручающее, а может быть, и ужасное. Я догадалась обо всем этом. Значит, если мое внимание к его исповеди окажется всего лишь светской учтивостью или если ему следует опасаться, что я впоследствии не сохраню его тайны, он сейчас же прервет свой рассказ. Сочувствие, вот что ему было от меня нужно, вот чего он ждал,— либо я буду вместе с ним, либо он замолчит. Даже не сочувствие — соучастие. Полное и безоговорочное. Я прочла это в его молчании, в его глазах.

Между нами завязалось короткое немое противоборство: между последними остатками недоверия в его взгляде и обещанием полной поддержки, участия — в моем. Должно быть, я одержала верх, поскольку его губы прошептали почти неслышно: «Благодарю», потом я увидела, услышала глубокий вздох. Он отвернулся. И, уставясь в землю, словно ему легче было рассказывать не видя, как я слушаю, словно связь между нами должна была быть сведена к его голосу, он, не глядя на меня, тихо заговорил:

— Только не судите слишком поспешно. Я хочу сказать — по внешним деталям. И по воспоминаниям ребенка. Ребенка, который остался один, на чердаке, закутанный в одеяла на чужом диване. Который притворился спящим, когда мать зашла взглянуть на него. И потом услышал ее осторожные шаги вниз по лестнице. И вслушивался, вслушивался: не придет ли папа сегодня ночью? Если он придет, нужно будет его окликнуть, чтобы он нашел меня, я ведь не в своей постели. Я напрягал слух, стараясь уловить малейший шепот, скрип стула. А луна! Луна стояла в раме слухового окна, казалось, и она была на страже.

Внезапно непонятное движение внизу. Отец? Нет — крадущиеся шаги. Несколько человек. Какое-то негромкое металлическое позвякивание. Еле слышный шепот. Скрип закрываемых дверей. И все. Полная тишина. Должно быть, я все же ненадолго уснул.

Разбудили меня шаги отца на лестнице. Я узнал бы их из тысячи. Он не найдет меня. Я закричал: «Папа! Папа!» Но он вместо того, чтобы подняться, кинулся, перескакивая через ступеньки, вниз. Раздался выстрел. Другие шаги других людей, которые тоже бежали вниз, следом за ним, громко топая. Я вскочил с воплем: «Папа!» Тут вбежала мать, зажала мне рот рукой. Хлопнули входные двери. Быстро отъехали машины. Во тьме, за дверью, виднелась мужская фигура. Это не был мой отец.

— Замолчи,— шептала мать.— Все хорошо. Спи.

— А папа...— заплакал я.

— С ним все в порядке.

— Там стреляли!

— Это просто так, забавлялись. Если тебе здесь страшно, я уложу тебя в твою кроватку.

Она взяла меня на руки, отнесла в мою комнату, подоткнула одеяло, поцеловала. Когда мы спускались по лестнице, я видел впереди ту же мужскую фигуру — сейчас этот человек стоял на площадке, в темноте. «А теперь спи,— сказала мать.— Жюли посидит с тобой». Жюли стояла в углу, у стены, скрестив руки на груди. Я услышал, как она пробурчала: «Какой срам!», но мать встала перед ней: «Если когда-нибудь...» — пригрозила она сквозь зубы, и та опустила голову. Я плакал, я еще долго всхлипывал, но в конце концов заснул. Назавтра мы оказались одни — Жюли и я. Когда я спросил ее: «Где папа?» — она ответила: «Там, где все стоящие люди».— «А мама?» — «Она развлекается». Вот и все. Ничего больше мне из нее так и не удалось вытянуть.

Он умолк, а я, потрясенная, прошептала:

— И что же это было?

— Что мог знать семилетний ребенок? — сказал он с печальной улыбкой.— Уже несколько месяцев все для меня было загадочно, таинственно: исчезновения отца, исчезновения матери. А теперь еще этот выстрел, машины и мужчина в темноте, который ждал чего-то. Время, я вам уже говорил, не было для меня реальностью, оно шло, оно тянулось — исчезновение родителей на этот раз длилось дольше обычного, только это я и ощущал. К тому же, кто как не Жюли окружал меня заботами еще до этой ужасной ночи? Иногда никого, кроме нее, не бывало подле меня на протяжении пяти суток. Так что в привычном распорядке жизни произошли не качественные, а чисто количественные изменения. Ничего, что казалось бы невероятным. Хуже всего мне приходилось по ночам. Едва уснув, я внезапно просыпался, как мне казалось, от шагов отца. Тишина, которая обрушивалась на меня, была нестерпима. Мать...

— Почему вы рассказываете мне все это? — прошептала я, снова чувствуя, как замирает у меня сердце от мучительного напряжения, от ожидания.

Он сказал очень ласково:

— Потому что вы меня слушаете.

Странный ответ — если только он не был, в сущности, чистой правдой: разве он не знал с того момента, когда глаза наши встретились, что за моим вниманием стоял не просто праздный интерес, но, возможно, уже и согласие взять его сторону? Поэтому я не могла опомниться от изумления, когда он тут же добавил:

— А теперь нам пора вернуться в дом.

Я совершенно забыла про время, про тетю, про весь мир... Новое звено в цепи соучастия — позаботиться, чтобы нас не увидели вместе. Переходя мостик, я с беспокойством оглядела ставни. Уф! Они были закрыты, тетя еще спала, я приняла твердое решение действовать без ее ведома.

В дом я вошла одна. Жюльен сел на скамью под диким виноградом, поставив рядом костыли.

Поднявшись наверх, я не легла. Я ходила, взволнованная, взад и вперед по комнате, тщетно пытаясь найти объяснение своему состоянию. Что, собственно, я поняла из этого рассказа? Что там произошло? Одна из трагедий Сопротивления? Я была слишком невежественна, слишком нелюбопытна, слишком мало знала о событиях того далекого времени, чтобы с полуслова понять его загадки. Дело было явно нечисто, была совершена подлость; но почему я принимаю все так близко к сердцу? Я ведь не знаю ни самого Жюльена, ни тем более его отца — чем еще тот занимался во время своих отлучек из дому? Покушениями? Шпионажем? А мать? А фигура мужчины в темноте? Я совершенно запуталась во всей этой неразберихе. Но действительно ли меня волнуют несчастья, выпавшие на долю какого-то ребенка двадцать лет тому назад? Нет — на самом деле мое волнение вызвано страшным упорством молодого человека, его настойчивым желанием поведать мне, именно мне, эту мрачную историю. Мыслью, что он, быть может, и явился сюда только ради этого. Но если так — зачем же ему это нужно?

Я тщетно ломала голову. Рядом открылась и захлопнулась дверь — дверь комнаты, где отдыхала тетя. Потом я услышала, как Жозефина спускается по лестнице, но сама не двинулась с места. «Прячусь»,— мелькнуло у меня в голове, но угрызений совести я не почувствовала, у меня возникло ощущение, даже уверенность, что наши привыч-

ные отношения должны измениться, по крайней мере на время. По какой причине? Именно это и нужно было непременно узнать. Пока же — спокойствие. Я решилась, в свою очередь, спуститься вниз только тогда, когда услышала в саду тихие голоса Жозефины и Жюльена. Они прогуливались рядышком. Жозефина показывала ему свои цветы. Жюльен восхищался. Он задавал вопросы, и она, в восторге, пускалась в пространные объяснения. Значит, он ее в конце концов покорил? Что ж, это лучше, чем война.

Я не люблю лгать, пусть даже просто умалчивать о чем-то. Присоединяясь к Жозефине и Жюльену, я чувствовала себя соучастницей безмолвного обмана. Сообщничество неизбежно сближает людей, и уж не в этом ли немом сговоре, подумалось мне,— главная причина моего смятения. Если только... Но я не осмеливалась прямо задать себе вопрос: а не является ли это смятение — и этот сговор — признаком чувства более сильного... Любовь? Мне никогда еще не случалось любить. Не она ли это? Сумею ли я узнать ее? Потом, глядя на Жюльена, я быстро успокоилась: «Нет, нет, мне нисколько даже не хочется поцеловать его».

Предаваясь этим размышлениям, я услышала, что тетя предлагает прогулку на машине: она могла бы отвезти Жюльена (и меня) в Шатильон поглядеть на чашу Вика[1]. Жюльен никогда ее не видел, и размеры бронзового сосуда поразили его. Во время ужина мы долго обсуждали дорогу, по которой из Греции в Галлию приезжали торговцы. У Жюльена, в силу его профессии, были весьма убедительные соображения на этот счет. После ужина мы занялись лечебными процедурами: промыли рану, сменили повязку, наложили снова шину. Потом все разошлись по своим комнатам спать.

Прогулка, посещение музея, хорошее настроение, царившее всю вторую половину дня, слегка приглушили мою тревогу. Я вновь усомнилась — уж не понапрасну ли я взвинчиваю себя, воображая невесть что; может, молодого человека толкала на откровенность всего лишь потребность высказаться — передо мной, как перед любой другой, передо мной больше, чем перед другой, поскольку он решил, что я красивая?.. Приятное предположение, мне так хотелось бы в него поверить. Все же, опасаясь вопросов, которые задаешь себе ночью в темноте, я на всякий случай приняла снотворное — и уснула без особых волнений.

•

Назавтра, как всегда по четвергам, тетя должна была отправиться рано утром на рынок в Равьер. Я редко ее сопровождала. Но на этот раз она настойчиво потребовала, чтобы я поехала с ней, считая неприличным оставлять меня наедине с мужчиной. Я же напомнила ей, что именно сегодня должны доставить бочонок шабли и кто-то обязан остаться дома, к тому же надо было собрать последние стручки фасоли и вылущить их. Не говоря уже о том, что наш раненый, которому велено лежать всю первую половину дня, чтобы не перетрудить ногу, еще и не встанет к тому времени, когда она вернется.

Я говорила искренне, хотя и не совсем. Я честно полагала, что если нам и предстоит новая беседа, то она, как и накануне, состоится в час послеобеденного отдыха. Однако, отправившись и в самом деле собирать фасоль, я почти не удивилась, почувствовав, что за моей спиной кто-то стоит. Я обернулась и увидела его. На костылях. Очевидно, я ждала этого.

Он сказал:

— Могу я вам помочь?

Я возразила, что это будет ему трудно.

— Лучше полежите,— добавила я.

Он заверил меня, что нога в полном порядке, что он в состоянии даже обойтись без костылей, и тут же, смеясь, продемонстрировал это. Я тем не менее настаивала:

— Мне тут работы надолго, вы устанете.

Он сказал, что нет, я — что да, и предложила компромисс:

— Встретимся немного погодя, вы поможете мне лущить фасоль.

Он больше не настаивал и пошел к дому. Я улыбалась: зная нелюбовь мужчин к этому занятию, я рассчитывала — думала, будто рассчитываю,— что он не захочет возиться с фасолью. Но когда я с полной корзиной подошла к дверям кухни, он, разумеется, ждал меня на пороге.

---

[1] Чаша Вика, найденная в сокровищнице Вика (кантон Шатильон-сюр-Сен),— самый большой из известных бронзовых сосудов, приблизительно датируется VI веком. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Обидно, не правда ли,— сказал он,— в такую погоду сидеть в четырех стенах?

— Вы действительно хотите мне помочь?

— Ну конечно, мадемуазель.

— Тогда, ничего не поделаешь, придется провести часок на кухне, тут удобнее всего.

— Но куда менее приятно, чем под навесом. Ну... там, где мы вчера беседовали.

Я пыталась возразить и не смогла — ведь если он просто хочет помочь мне вылущить фасоль, какая разница, здесь мы этим займемся или там? А если ему надо поговорить со мной, то, будем мы в кухне или под навесом, значения не имеет.

— Возьмите эту корзину и таз,— сказала я.— Ступайте вперед. Я сейчас приду.

Я сходила за второй корзиной для пустых стручков и пришла под соломенный навес. Он уже лущил фасоль.

— А вы очень ловко справляетесь с этим,— весело сказала я.

— Почему бы нет? Я достаточно часто и могал Жюли.

— В детстве?

— Когда я жил с нею один. Фасоль была в годы оккупации редкостью, но у Жюли были друзья, имевшие огород. Она проявляла неистощимую изобретательность, чтобы как-то выкрутиться. В начале месяца она приходила с почты и, размахивая купюрами, сообщала мне: «А вот и деньги! Сегодня мы пируем!» Сахара не было и варенья тоже, поэтому она покупала свеклу и тушила ее так долго, что получалась полусладкая, полугорькая кашица. Сравнивать это блюдо мне было не с чем, и я только пальчики облизывал. Потом в один прекрасный день перевод не пришел. Месяц. Два месяца. Жюли держалась сколько могла. Но в конце концов ей пришлось решиться.

— На что?

— На что? «Пора нам расставаться»,— пропел он на грустный мотив песенки «Бить в барабан король велел», и я представила себе его, одиноко бредущего с узелком, разлученного с Жюли, с домом, с родным городом... И в свою очередь пропела:

Кати, кати, мой котелок,
Броди, броди, малютка Нье!

Я спела припев, потом первый куплет о злосчастьях, постигших бедняжку Нье, который, лишившись, как и Жюльен папы (в тюрьме), мамы (в больнице), выгнанный из дому, одиноко шагает по большой дороге... Монахини получали садистское удовольствие, напевая эту песенку самым малейким, которые плакали навзрыд... Жюльен рассмеялся, слушая мое пение,— не показались ли у меня на глазах слезы? — однако возразил:

— Нет, нет! Я не скитался по горам и долам. Жюли повела меня по городу к домику, стоявшему у самых укреплений. Отец, до того как он исчез, уже приводил меня сюда два-три раза, когда нужно было срочно пристроить меня куда-то переночевать. Старики, жившие в этом домике, приняли меня сразу так радушно и ласково, что я очень скоро полюбил их. Я называл их дедушка и бабушка. Они всегда укладывали меня спать в одной и той же комнате. Окно выходило в крохотный садик, где росли ирисы и штокрозы. Кровать-гондола в «стиле» Луи-Филиппа рассчитана была на взрослого человека, и это мне необыкновенно льстило. Я был счастлив, когда забирался туда. Чтобы вскарабкаться на нее, приходилось подставлять скамеечку. Когда при мысли об отце меня охватывал страх, я забивался под перину, и мне становилось легче. Думая о матери, я просто плакал. Если старики слышали, они приходили успокоить и отвлечь меня. «Не думай больше об этом,— говорил расстроенный дедушка.— Ты утешишься. Дети всегда утешаются»,— заверял он.

— И вы утешились Жюльен?

— Да. Впрочем, нет... в определенном смысле.

Он умел, как нарочно, замолкать на словах, которые заставляли невольно требовать продолжения.

— В каком смысле?

— Я стал меньше плакать и больше думать. Как думаешь в восемь лет, когда задаешь себе тысячу вопросов, не умея на них ответить. К тому же воспоминания мало-помалу теряли четкость. Сглаживались. Их вытесняли другие. Я уже ни в чем не был уверен. И потом, я ведь рос, не так ли? Был коллеж, уроки, школьные заботы. Мне было уже почти десять лет, когда на укреплениях появились американцы. Потом поя-

вилась опасность, что вернутся немцы со своим гестапо. Мои старики уже приготовились увезти меня на юг. Все это отвлекало меня от моих горестей.

Он зажал в руке огромный стручок и, вместо того чтобы расщепить его, разглядывал, точно какую-то диковинку.

— Можно перестать думать о пережитом горе, не излечившись от него,— сказал он задумчиво.— В сущности, горе просто меняется. Эволюционирует. Мое горе уже не вызывало у меня слез, оно приобрело характер неотступного вопроса: что произошло с моим отцом? По чьей вине? Куда уехала мать? Что делал, кем был этот безмолвный силуэт за ее спиной? Я мог бы спросить обо всем у стариков, но робел перед их сединами. Когда я наконец решился, то тотчас понял, что ничего из них не вытяну. Они утверждали, будто ничего не знают. Из всего делали тайну. Я попытался несколько раз застать кого-нибудь из них врасплох. Тщетно. Как будто они оба все время держались начеку. Или дали друг другу слово. Теперь они уже умерли. Да, возможно, они и в самом деле не много знали. Я вырос у них, и это были по-своему счастливые годы. Но с возрастом навязчивые вопросы не перестали меня мучить — даже сейчас, как видите, двадцать лет спустя. Я стал юношей. Меня влекла медицина, но и технические науки тоже. Дедушка, в прошлом преподаватель, занимался со мной математикой. Бабушка заботилась о моем здоровье. Вскоре они решили, что в Рокруа я не получу должной подготовки для поступления в высшую школу. Они колебались между Лиллем и Парижем, поскольку в том и другом городе у них были родственники, двоюродные братья, которые могли бы меня приютить. Наконец, остановились на Париже, на коллеже святой Варвары: бывший дедушкин ученик преподавал там естественные науки. Я не надоел вам?

Нет, он не надоел мне. Но он уловил мое нетерпение: к чему задерживаться на этих подробностях, вместо того чтобы прямо перейти к делу? По-прежнему не понимая, к чему он клонит, я томилась ожиданием, неопределенностью. Чего он все ходит вокруг да около? Я выложила ему это без обиняков, и реакция его оказалась совершенно неожиданной. Ничего не ответив, он перестал заниматься стручками и достал сигарету. Спокойно. Но руки у него дрожали. Я видела, как огонек вздрогнул, не коснувшись табака. Когда наконец ему удалось прикурить, он несколько раз медленно и глубоко затянулся, прежде чем заговорил снова:

— Это не так-то легко. Сразу перейти к делу, как вы выражаетесь. Строго говоря, дела и нет. Только поиски и предположения. Парижский родственник был закоренелым холостяком лет сорока. Служил он в судебной палате по трудовым конфликтам. Жил один в трехкомнатной квартире на улице Дез Эколь. Я спал на раскладушке в столовой. Относился он ко мне как опекун. Никаких нежностей — только неукоснительное наблюдение за моими занятиями. В остальном — скорее холоден. Если не считать того, что время от времени я ловил на себе непонятный взгляд, проникнутый глубоким состраданием. Я объяснял это своим положением сироты без средств. Мне ни разу не пришло в голову, что его холодность могла быть защитной стеной, своего рода крепостью. До того дня, когда он, очевидно забывшись и потеряв контроль над собой, не проронил взволнованно: «Твой отец...» — и тут же внезапно умолк. Эти невольно вырвавшиеся у него слова сразу мне все открыли: я понял, что он знал отца, что ему немало было известно о происшедшем, что он запрещал себе, и сейчас еще запрещает, говорить со мной об этом и что теперь я не отстану от него, пока он не выложит мне все начистоту.

Он пытался тем не менее сопротивляться. Напрасно я убеждал его: «Я уже не ребенок», он упорствовал: «Потом». Но вдруг, как это часто случается, в тот день, когда он, наверное, особенно устал или по какой-нибудь другой причине — может, наконец признал меня взрослым,— он открыл мне все разом, без утайки. Отец был его однокашником, сначала в лицее, потом в университете; в тридцатые годы они часто встречались, встречались сколько могли и во время «странной войны»; но в пору оккупации уже не виделись, поскольку оба попали в плен. То, что ему удалось выяснить по возвращении о смерти друга, сводилось к слухам; впоследствии, однако, он проверил все по самым надежным источникам. Кое-какие темные моменты все-таки оставались. Но то, что не подлежало сомнению, что было подтверждено свидетелями и поддавалось проверке, эти факты, видите ли, эти... ах, они для меня... они... они были... и всегда будут абсолютно, понимаете, абсолютно не-стер-пи-мы.

Ему пришлось откашляться, чтобы произнести это слово,— казалось, он выдирал его из груди слог за слогом — потом снова наклонился ко мне. Глаза его смотрели на

меня в упор с такого близкого расстояния, что я различала каждую золотую крапинку на голубоватой радужной оболочке зрачков. Меня била дрожь. Предчувствовала ли я, что сейчас последует? Мне уже заранее сводило живот — я совершенно теряю самообладание, когда при мне говорят о некоторых вещах: от упоминания о крови, муках, агонии, у меня все судорожно сжимается внутри, это не больно, но так же остро, так же нестерпимо, как скрежет ножа по тарелке. Я была готова умолять Жюльена, чтобы он замолчал, но после всего того, что я позволила ему мне рассказать, у меня не было на это сил. А он говорил:

— Я не знаю... в вашем возрасте... не знаю... по прошествии стольких лет... может ли такая молодая девушка... представить себе... до какой подлости, до какого позорного падения могут дойти нелюди в тяжкие для страны времена. Ведь невзгоды в одних пробуждают благородный героизм — таков пример моего отца, но одновременно в других проступает омерзительная человеческая изнанка, люди идут на низость, на предательство — вроде той гнусной ловушки, которую расставили отцу. Человек, знающий, на какие страдания он обрекает свою жертву,— предатель и палач в одном лице. Всю дьявольскую, ужасающую чудовищность этих страданий даже вообразить, думаю, теперь не может девушка, воспитанная, подобно вам, в полном, как мне представляется, неведении. Но они-то знали, на какие муки обрекали моего отца. Они-то знали, что его будут так долго терзать, так долго пытать...

Я хотела остановить его:

— Прошу вас...

— ...Вырывать ногти, вырывать зубы, прижигать руки и ноги, терзать в тисках, подвергать таким мукам, о которых я даже не смею говорить...

— Прошу вас! — взмолилась я.— Хватит...

— ...Он был весь до такой степени обожжен, искалечен, переломан, что, кажется, умер от страданий и потери сил,— продолжал он неумолимо, в то время как я закрывала лицо руками,— и не на кровати, нет, даже не на тюремном полу, не на куче сердобольно брошенных тряпок, нет — его швырнули умирать среди испражнений, в зловонном вагоне для перевозки скота, понимаете? Среди испражнений заключенных, которых, как и его, тоже пытали, и они, как и он, погибали, обезумев от холода, жажды, боли... Он скончался где-то в Германии, по пути в Дахау. Можете вы, можете вы представить себе все это? Его нашли мертвым на груде других мертвецов, измаранных грязью. И те, кто его предал, те, кто донес на него, знали, что он умрет именно так. Они это знали, знали, вы понимаете? Они это знали. Вот так.

Он разволновался. Его голос дрожал, когда он умолк и возбуждение спало, я увидела, как он ссутулился и обмяк в кресле. Он хранил молчание. А я... у меня точно бурав вгрызался в живот, тряслись руки и ноги. Я не была подготовлена к рассказу о таких безмерных страданиях, о такой неимоверной жестокости. Никогда, ни монахини, ни отец, ни тетка ничего не рассказывали мне о войне. Когда на телеэкране появлялись кадры, относящиеся к той поре, они выключали передачу. Я привыкла поступать так же. Участники Сопротивления, ветераны войны, знамена и флаги, памятники павшим — я валила все в одну кучу, как надоевший хлам. Навязчивая потребность стариков делиться воспоминаниями о подвигах давно минувших дней вызывала у меня насмешку и нетерпеливое желание поскорей от них отделаться — я ведь не имела ни малейшего представления об ужасах, которые стояли за этими подвигами. Чудовищные картины, описанные Жюльеном, вся эта кровь и истязания, хрипы умирающих в сукровице и нечистотах — ни о чем подобном я не знала, никогда не стремилась узнать. Этот мир апокалипсических кошмаров поразил меня, ударил как молния по совершенно незащищенному месту. Судороги в животе сделались в какую-то минуту настолько непереносимыми, что я вынуждена была согнуться пополам.

Он видел мое смятение. Меня бросало то в жар, то в холод. Золотые крапинки в его глазах кололи меня, точно иглы. Он снова положил свою руку на мою, пожал ее и прошептал: «Я знаю. Но это необходимо». Услышав эти слова, я рада была бы встать, убежать: о чем еще мне предстоит узнать? Но я была прикована к креслу, мой взгляд прикован к его взгляду. Птичка перед змеей. И к тому же я была тронута до слез. Красотой и печалью этого лица. Я ждала, мне было страшно. За него, за себя. В страхе перед тем, что сейчас последует, я храбро прошептала: «Давайте», а он стиснул мою руку еще сильнее и сказал, что его опекун — ну, в общем, этот человек, этот Самюэль (так его звали).— откровенно рассказав Жюльену о страшной гибели отца, не захотел пойти дальше. Точно укрылся за второй стеной укреплений. Точно ему пре-

тило пересказывать Жюльену неопределенные — и ужасные — слухи. Но только, говорил Жюльен, теперь уж это было невозможно. Он слишком многое сказал. Жюльен вырвал у него все остальное.

— Мне пришлось для этого рассказать ему о страшной ночи, когда я, лежа в чердачной каморке, слышал все — приход отца, выстрел, шум отъезжающих машин,— о матери, которая заставила меня замолчать, и об этой фигуре в темноте, безмолвно ожидавшей ее... «Кто донес на моего отца? — вскричал я. Кто устроил ему эту западню?» И должно быть, из глаз моих рвался такой ужас, что, протянув ко мне открытую ладонь, он закричал: «Нет! — И потом: — Никогда не верь этому.— И отдельно каждое слово: — Это — не была — твоя — мать!» Тогда я разрыдался. От облегчения, внезапного и сокрушительного. От внезапного и сокрушительного счастья после таких долгих, таких неотступных страхов. Навязчивой идеи, преследовавшей меня шесть лет. Вы ведь тоже подумали, правда, что это была моя мать?

— Не знаю...— сказала я, потрясенная до глубины души.

— В течение шести лет я думал так, отказываясь так думать. Отказываясь дойти до конца собственных сомнений, собственных мыслей. Шесть лет нестерпимых подозрений, пыток неопределенностью, и наконец, и вот — нет, это не была моя мать. Я задыхался от рыданий Самюэль гладил меня по затылку: «Успокойся, мальчик, успокойся...» Я пришел в себя, но вместе с хладнокровием на меня вновь обрушилась тяжесть сомнений. С еще большей силой. «Вы так говорите... Но откуда вы это знаете?» — закричал я. Он схватил меня за волосы и тряхнул мою голову: «Хватит! Это не она. В Рокруа доносчик известен всем».— «И кто это? Кто это был?» Глаза мои горели. «Ты не мог его знать...— Мне показалось, он был смущен.— К тому же он исчез. Незачем...» Я прервал его. «Это мужчина, которого я видел за маминой спиной, так? Его имя!» — резко спросил я. «Я сказал бы тебе, если бы знал,— заверил он меня.— Я его не знаю. Мне известно только...» Он поморщился и отвел глаза. «Что?» Я схватил его за запястье. «...Только то, что тогда было известно всем»,— закончил он. «Ну?» — «Что твоя мать и он...» Я не заставил его продолжать, потому что, увы, кто бы не понял? «В таком случае,— закричал я в ужасе,— она была по меньшей мере его сообщницей!» — «Да нет!» — с силой сказал он. И он попытался мне объяснить. То, что в Рокруа знали все. Из уст самой матери, которая в ужасе бежала от этого человека. Она сначала поверила, что все это будет просто разыграно — чтобы припугнуть отца. Чтобы он окончательно перебрался в маки и оставил их обоих в покое, надолго. «Тот» внушил ей это, она ему поверила. Но когда потом она узнала и поняла истину— что «тот» обманул ее самым гнусным образом, что мой отец в тюрьме, под пыткой, обречен на смерть,— она, обезумев, бежала из дому и спряталась у подруг (и позднее именно от них Самюэль все и узнал). А «тот» немного выждал и вернулся за ней. И когда...

— Как? — вскричала я.— Она последовала за ним?

— Я крикнул то же самое Самюэлю,— вздохнул Жюльен.— «Знаешь ли,— объяснил он мне,— приближались союзники. Он, должно быть, запугал ее: надо ждать народных судов, специальных трибуналов, станут сводить счеты... Они уехали в Германию, вместе с немцами. Он будто бы присоединился к Дорио [1] на юге Гессена. Дорио умер. Они перебрались в Гамбург, туда вошли американцы. Больше о них ничего не слышали. Вот, мой мальчик»,— заключил Самюэль с некоторым облегчением, подобно царю Мидасу [2], которому уже не надо хранить свою постыдную тайну. Но мне казалось, что сердце мое вот-вот разорвется. Убийство стояло у меня перед глазами. «Вы не знаете, живы ли они?» — «Никто больше ничего не знает»,— сказал он, и в эту минуту я принял твердое решение: я пойду по их следу, я найду этого человека.

— И вы нашли его?

— Нет. Прежде всего, я не сразу смог начать свою охоту: я должен был закончить образование. Но все свои каникулы я проводил в Рокруа или в его окрестностях. Расспрашивал людей. Большинство еще помнило моих родителей. «Тот» был не из Рокруа, он служил секретарем префектуры в Мезьере, неподалеку оттуда. Никто не

[1] Дорио Жак (1898 — 1945) — французский политический деятель, рабочий-металлург, коммунист, был исключен из партии и перешел на сторону фашизма, выступал против Народного фронта.

[2] Мидас — в греческой мифологии сын Гордия, царь Фригии. На музыкальном состязании между Аполлоном и Паном признал Аполлона побежденным и был наделен за это ослиными ушами, которые ему приходилось прятать под фригийской шапочкой.

знал его имени, точнее, многие наверняка знали, но не хотели признаваться в этом: он ведь мог вернуться — не правда ли? — а по моей настойчивости они догадывались о том, какие у меня намерения, насколько решительно я настроен. Никому неохота оказаться втянутым в дела такого рода, пусть даже это и касается предателя. Ибо то, что он сотрудничал с оккупантами,— факт общеизвестный, он был военным преступником: доносил, принимал участие в пытках. Убийца! Мерзавец! В моей матери все видели только жертву своей собственной слабости и преследований «того». Она слишком рано вышла замуж. Когда отец попал в плен, одна, без средств, лишенная поддержки и тепла, она и совершила эту свою ошибку, первую в жизни. Из потребности в защите, это так понятно. А потом этот человек ее уже не отпускал. Вот и все, что мне удалось вытянуть в Рокруа. В Мезьере у меня не было знакомых. Месяцы ушли на то, чтобы ухватить кончик нити, точнее даже — годы: начинающий инженер, я мог заниматься своим расследованием только во время недолгого отпуска — сначала двенадцать дней в году, потом две недели, потом три. Если сложить все вместе — всего несколько месяцев. Когда наконец мне показалось, что я нащупал тропку, она ни к чему меня не привела. После бегства в Германию палач на родине больше не появлялся. Ни в Мезьере, ни в Рокруа. Говорили, что он вместе с моей матерью в Южной Америке. Это было слишком далеко. Ни кошелек, ни время мне этого не позволяли. Я уже готов был все бросить, когда случилось самое страшное.

Он сказал эти последние слова таким тоном, что я подумала: ну вот, час настал, час, когда и передо мной предстанет самое страшное. Весь рассказ был только подступом к этому. О чем еще мне предстоит узнать? Мне казалось, что я схожу с ума, я утратила способность мыслить связно. Способность дойти до конца в своих сомнениях, подозрениях. Мозг мой пылал и в то же время был словно заторможен. Я могла слушать, больше ничего. И, оледенев до кончиков пальцев, ждать.

— Однажды,— продолжал он,— лет семь тому назад я получил повестку. Из Монбарской жандармерии. Вы знаете Монбар, это недалеко отсюда. Предчувствуя несчастье, я кинулся на вокзал. Матросы с баржи подняли из Бургундского канала вместе с якорем осклизлую, бесформенную массу переплетшихся трав и водорослей. В них оказался труп женщины, утонувшей уже давно. В разорванном, не по росту огромном пальто с полными камней карманами. Установить ее личность не удалось. Но между складками того, что оставалось от шейного платочка, была брошь с секретом. К счастью, вода почти не проникла в нее. На обороте вправленной в крышку маленькой детской фотографии были имя и адрес: наш адрес в Рокруа. В нашем доме давно уже размещались только конторы, и все же полиция без особого труда отыскала мой след. Ни жив ни мертв я спустился в больничный морг...— Голос его снизился на октаву, стал хриплым, прерывающимся, когда он произнес: — Им пришлось дать мне что-то сердечное, я терял сознание от ужаса и горя. Я и сейчас, говоря с вами, чувствую то же самое. Лицо было разложившееся, неузнаваемое. Я узнал брови и нос. Остальное...

Его прервало шуршание шагов по палой листве решительных и быстрых. Это оказалась тетя Жозефина. Она была вне себя.

— Я ищу тебя повсюду!

Я думала, она сейчас отвесит мне оплеуху. И готова была дать отпор, но она обратилась, весьма враждебно, к молодому человеку:

— Чем вы тут занимаетесь с моей племянницей? Вы прячетесь? Ничего себе замашки!

Что она рассердилась на меня — ладно, но с какой стати на Жюльена? Разве она не видела, что мы лущим фасоль? Я уже открыла рот, чтобы выступить в его защиту, когда коротким движением руки он остановил меня. Неторопливо поднявшись, он взглянул тете прямо в лицо:

— Прошу вас, мадам,— сказал он спокойно,— не переходите границы.

— Не вам учить меня! — закричала она.— Вы ведете себя, как...

— Достаточно,— оборвал он сдержанно, но не допускающим возражения тоном.— У меня нет никаких оснований выслушивать нотации. В особенности здесь. Или мое пребывание в вашем доме нежелательно? Я беспокою вас? В таком случае будьте откровенны. И скажите, чего именно вы опасаетесь. Я вас слушаю.

— Не говорите глупостей. Вы отлично знаете...

— Я похож на соблазнителя? С тазом фасоли? Если вам угодно знать, о чем я рассказывал вашей племяннице...

— Она сама мне это скажет после вашего отъезда.

— Хорошо. Теперь все ясно. Не беспокойтесь, я уезжаю. Я прекрасно могу ходить без костылей,— сказал он, протягивая ей их. Я испугалась, что он сейчас упадет.

— Оставьте себе,— сказала тетя, отстраняя их жестом, но это означало, что его самого она больше не удерживает. Она была бледна и явно хотела поскорее от него избавиться. Меня это поразило и ужаснуло. Какими опасениями была она движима? Каких разоблачений боялась?

— Вы очень любезны,— продолжал он.— В котором часу ближайший поезд?

Но Жозефина уже взяла себя в руки, у нее не было теперь сомнений в его отъезде. Она улыбнулась — сама предупредительность — своей слащавой улыбкой.

— Полно,— сказала она,— куда спешить? Вы поедете завтра, как мы договорились. Я все равно должна быть в Оксере. Подвезу вас, и вы сядете на скорый.

— Зачем? У меня еще есть дела здесь.

— А?.. Хорошо,— пробормотала тетя, застигнутая врасплох этим неожиданным заявлением, и мне показалось — я внезапно ощутила укол в сердце,— что она опять побледнела.

Прищуренные глаза молодого человека сверкнули. Выскажись он вслух, его мысль не прозвучала бы яснее: «Вам так уж не терпится, чтобы я провалился ко все чертям?» Ей явно не терпелось. Я похолодела. И еще подумала: «...только бы отец не застал его здесь». Дальше моя мысль не шла, точно скованная параличом.

— Я пошутил,— сказал он.— К чему ждать? Отвезите меня сейчас, я успею к двенадцатичасовому поезду.

Он предложил это смягчившимся голосом. Но смотрел теперь на меня и, казалось, говорил: «Все равно нам больше не удастся побеседовать наедине».

— Нет-нет,— вяло возразила тетя,— мне было бы неприятно, если бы вы могли подумать ..

— Лучше расстаться добрыми друзьями,— сказал он с искренней улыбкой, и мне показалось, что атмосфера разрядилась.— Я никогда не забуду вашего щедрого гостеприимства. Самоотверженной заботы и трогательного радушия. Я бесконечно вам признателен.

— Ну что ж...— начала тетя как бы в сомнении.

— Давайте расстанемся друзьями, отвезите меня сейчас,— сказал он,— так будет лучше.

Улыбка его отвердела, любезная, но повелительная.

— Теперь? Сию минуту? — сказала тетя, несколько сбитая с толку.

— А почему бы нет? — ответил он.— Воспользуемся минутой хорошего настроения. Мы не будем знать, о чем разговаривать друг с другом, если мое пребывание здесь затянется. Вы словно чего-то опасаетесь. Поехали, выводите машину.

Тетя не верила в столь быстрый, столь легкий успех. Она сделала любезный и смущенный жест рукой, а я, сама не понимая, чего хочу, чувствовала себя несчастной, но как-то смутно. Вмешаться я не посмела.

— Если вы так хотите...— сказала она наконец с некоторой неловкостью (но и не с облегчением ли?).— Я не смею настаивать. Вы действительно желаете уехать сейчас же?

— Разумеется,— сказал он.

— Ладно. Схожу за джипом.

Она удалилась быстрым шагом. Следом за ней и мы с Жюльеном перешли мостик: он прихрамывая, я — с двумя полными корзинами. Он отстал и догнал меня на лужайке. Я почувствовала, что он сунул мне в руку картонку — как мне показалось, визитную карточку. Он шепнул: «Если вам когда-нибудь захочется узнать больше обо всем этом» — и обогнал меня, чтобы присоединиться к тете. Я засунула визитную карточку за пояс.

Жюльен попрощался, рассыпаясь в любезностях и выражениях благодарности. Минуту спустя джип выехал за ворота. На картонке был нацарапан адрес — в Марэ, неподалеку от церкви Сен-Поль. С уточнением: седьмой этаж, левая дверь. И ничего другого, даже имени. Значит, его и в самом деле звали Жюльен Дюран? Или, напротив, он не хотел рисковать... Я запомнила адрес и сожгла картонку.

Потом я стала караулить тетю. С внутренней дрожью, которую мне не удавалось унять. Я ждала, что мне будет устроен допрос по всем правилам. И твердо решила ничего не говорить. Ни слова. Во всяком случае, пока... пока что? Я сама не знала. Возникла ли у меня решимость, напротив, контратаковать — допросить тетю, прижать

ее к стенке, как это сделал Жюльен с Самюэлем? Что она знала? И что хотела узнать я? Мне, скорее, хотелось убежать прочь.

Она вернулась через два часа.

— Что он тебе наговорил? — набросилась она на меня, как я и предполагала, едва поставив машину в гараж. Глаза ее горели гневом.

Я сумела разыграть оскорбленную невинность:

— Ну... ничего неприличного.

Она раздраженно поморщилась:

— Я имею в виду не это...

— Почему же в таком случае вы так грубо выставили его?

— Мне не по душе разговоры по углам, и ложь тоже. Я позвонила в мэрию. Ни о какой автостраде и речи никогда не было.

— Я знаю,— спокойно заметила я, мысль моя сработала мгновенно.

— Как!

— Речь шла только об ответвлении. Просто он хотел придать себе весу. Думаю, главным образом в моих глазах,— сказала я со смешком.

— Ах так?.. Я проверю. О чем вы разговаривали?

— О его детстве.

— Очень интересно...

— Мы оба молоды. Наверное, ему было приятно с кем-то поделиться воспоминаниями.

— О детстве?

— Он многое пережил.

— Он рассказал тебе, как умер его отец?

— Его убили немцы. Жюльену было тогда четыре года.

— А мать?

— Он только собирался рассказать о ней, когда появились вы.

Несмотря на неунимавшуюся дрожь, я восхищалась тем, как, оказывается, могу лгать, не говоря ни слова неправды. Тетя больше не допытывалась. Мне показалось, что она успокоилась. По крайней мере немного.

Стала бы я ее расспрашивать, если бы не фасоль? Фасоль, от которой шел на столе пар, фасоль, наполовину вылущенная Жюльеном Жюльеном с его тайной. С его подло преданным отцом. С его матерью-утопленницей. Отныне и навсегда вкус фасоли будет связан для меня с этими смертями, с этой загадкой. Когда моя тарелка опустела, я вдруг услышала собственный голос:

— А вы? Где вы оба были во время войны?

— Кто — оба?

— Папа и ты.

Тетя подняла голову, недоуменно взметнув брови:

— Ты забываешь, что я была тогда замужем. И жила с покойным мужем в Шатору.

— А папа?

Я дрожала как лист на ветру. Неужели она ответит — в Рокруа, в Мезьере?

— В Шарлевиле,— сказала она, убирая со стола.

Я почувствовала такое глубокое облегчение, что невольно представила себе, в каком состоянии находился Жюльен, когда Самюэль успокоил его относительно матери. Шарлевиль. Родина Рембо, моего любимого поэта: я до сих пор помню наизусть все его стихи.

Мне никогда не приходило в голову справиться, где именно находится Шарлевиль. На этот раз, оставшись одна, я посмотрела в энциклопедии.

И узнала, что Шарлевиль уже давно слился с Мезьером, это теперь один город.

— Ну что? Он уехал?

Нескрываемое удовлетворение отца причинило мне боль. Накануне я долго пребывала в полной прострации, сидя с энциклопедией на коленях. Я ни о чем не хотела думать — ни о чем, ни о чем. Сопротивление, коллаборационизм, да пропади они пропадом, когда только от нас отвяжутся с этим каменным веком! Увы, тщетные старания — мало-помалу мной овладевал чудовищный страх. Страх обнаружить разгадку — разгадку трагедии — здесь, в этом доме. Каменный век был рядом, за этими волчьими капканами и забаррикадированной дверью.

Осмелюсь ли я расспросить отца? Боже! Возможно, ему достаточно одного слова, чтобы рассеять мои сомнения! Я не могла уснуть в ожидании его возвращения. Во мраке я задавала вопросы и сама отвечала на них. Смогу ли я завтра утром взглянуть ему в глаза? Овладеть своим лицом? Скрыть от него свой страх, чтобы потом застать отца врасплох: «Кто ты?»

Теперь он был здесь. Расспрашивал тетю. Тетя улыбалась. И вовсе не с победным видом, просто как мать улыбается успокоившемуся ребенку. И меня точно озарило. Я поняла, что ошибалась на ее счет. Во всяком случае, наполовину. Да, она, несомненно, многое знала о брате: о позиции, которую он занимал во время войны, возможно, о его роли, о его деятельности. Вполне вероятно также, что она опасалась его причастности к насилию, пусть и под конец оккупации. Но что она была в курсе всего, что она одобрила самое страшное, если только это действительно было,— нет, говорила я себе, нет, это немыслимо. В ней была своего рода прямота, которую до сих пор ничто не позволяло мне поставить под сомнение. Выдворяя Жюльена, она действовала чисто инстинктивно: коль скоро брат уехал встревоженным, а раненый солгал, должна существовать какая-то загадочная угроза, не касающаяся ни ее, ни меня, но которую необходимо предотвратить.

Права была я или нет, но меня охватил прилив любви к тете. И это, думаю, укрепило мое мужество. Я решила: пусть она ни о чем не узнает. Пусть она останется в стороне: зачем ранить в ней сестринскую привязанность? Я должна страдать одна. Я одна должна терзаться подозрениями: я должна предпринять все, чтобы узнать, являются ли они, на горе, обоснованными или, на радость, неоправданными.

Но как взяться за это? Я ждала случая. И чтобы не выдать себя, силилась быть веселой. Когда на сердце так тяжело и смутно, это настоящая пытка. Я старалась уловить на отцовском лице выражение, которое изобличило бы его душу. И семь лет усилий, потраченных на то, чтобы заставить отца полюбить меня, семь лет хрупкого доверия и надежности тускнели, отступали в тень... Украдкой я изучала его, как в те первые дни, после того как он забрал меня из монастырского пансиона, точно пробудившись от одиннадцатилетнего безразличия ко мне. В его пользу говорил этот высокий полысевший лоб, величественная осанка, но не скрывала ли борода безвольного, скошенного подбородка?.. Было что-то властное в тонком, орлином носе, но глаза под припухшими веками, казалось, не могли остановиться, посмотреть прямо в лицо. Мои чувства метались, проходя, если можно так выразиться, все оттенки спектра: то я готова была поклясться, что он невиновен,— и сдерживала себя, чтобы не прижаться к его груди в порыве дочерней нежности; то видела в нем тот силуэт во мраке, человека, который совершил предательство (а потом и пытал до смерти?),— и комок подкатывал к горлу, мне приходилось отворачиваться, чтобы скрыть свою бледность.

Он, наверное, все же ее заметил: порой мне казалось, что я читаю в его взгляде, скользящем по мне, внезапную тревогу. Его бегающие глаза не раз на мгновение встречались с моими. Какой вопрос задавал он себе? Так прошел весь день — в настороженной слежке за его лицом, в колебаниях от одной крайности к другой; то я была уверена в его порядочности, то в его гнусности, пока вдруг новая мысль не сразила меня: моя мать... Ее расширенные глаза, искаженное ужасом лицо...

Как умерла мама?

Монахини не говорили мне об этом. Отец и тетя тоже. Откуда такая сдержанность? Что таится за ней? Или у меня разыгралось воображение? В сущности, я ведь сама ни о чем не спрашивала. Но теперь... Что, если теперь окажется, что в моих безумных домыслах есть правда?..

Мною овладело беспокойство. Тетя вязала мне свитер, покачиваясь в старой качалке. Отец подбивал счета или занимался чем-то еще за своим письменным столом. Я смотрела на его широкую спину, на шею, уже начинавшую морщиниться от возраста, на затылок с поредевшими волосами. Меня поразили его уши. Я никогда не замечала, что они такие бледные и такие длинные. Мясистая мочка отвисала точно под собственной тяжестью. Я встала. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы, проходя через комнату, не припуститься бегом. Когда в дверях я обернулась, четыре глаза были устремлены на меня. Удивленные, вопрошающие — куда я и зачем? Взгляд тети был спокойный, материнский. Взгляд отца из-под кустистых бровей горел тревожным огнем, точно у волка, схваченного живьем.

Я закрыла дверь и, перескакивая через ступеньки, кинулась наверх. Вошла в свою комнату. Упала на постель.

По воскресеньям мы ходили к обедне в небольшую часовню святой Коломбы, где почти никого не бывает и куда приезжает викарий из Анси-ле-Фран на велосипеде, чтобы отслужить в одиннадцать часов единственную мессу. Немногочисленные прихожане собираются к этому времени.

Ни тетя, ни я не были по-настоящему религиозны. Мы сопровождали отца только из уважения к его глубокой набожности. В то воскресенье я смотрела на него, погруженного в молитву в момент возношения даров. И думала о том, что же происходит в его душе. Невольно я спрашивала себя: «Неужели это был он?» — и если это так, если он нес на своих плечах бремя стольких преступлений, то как мог он примирить такие преступления и такую веру? Голова у меня шла кругом.

После службы мы обычно заходили выпить бокал вина в придорожный ресторанчик по соседству, который посещали лесники и где останавливались передохнуть водители грузовиков с дальних рейсов. Мы ни с кем не общались, но я любила прислушиваться к разговорам, которые вели между собой лесорубы,— есть в профессиональном лексиконе особая поэзия, и я пыталась запомнить слова: делянка, поленница, лесосека... Потом тетя, как правило, шла домой готовить обед, а мы с отцом еще ненадолго задерживались и не спеша возвращались лесными тропинками. Это был — господи, «был»! — один из самых счастливых часов недели.

Но на этот раз, в это воскресенье, я была совершенно не способна слушать беседы лесорубов. Внутренний голос, с которым я не могла совладать, заглушал все. Не могла я прогнать и картину, стоявшую у меня перед глазами: этот человек, мой отец, погруженный в молитву... Когда тетя ушла, я сказала — странный, вероятно, был у меня голос: «Пойдем и мы». Он явно удивился, но промолчал. Ничего не спросил. Я предпочла бы услышать возражения.

В лесу не было слышно ничего, кроме звука наших шагов, треска сухих веток и шороха палой листвы. Мы шли к дому. Не говоря ни слова. Догадался ли он, что во мне происходит? Опасался ли разговора? Но если б он действительно этого опасался, разве не попытался бы он опередить меня? Не заговорил бы о чем угодно, лишь бы нарушить молчание? Мне так хотелось успокоить себя, однако... эта тяжесть, повисшая в воздухе... и метроном наших шагов... и разлетающиеся в разные стороны сухие листья.. и хриплое дыхание, которое в тишине вырывалось из его груди, когда тропинка слишком круто брала вверх. Одышка дряхлеющего сердца или спазмы тревоги? Мы шли вперед. Иногда я чувствовала, как его рука касается моей,— и я инстинктивно, сама того не желая, ее отдергивала.. Молчание становилось невыносимым, а мы все шли, шли, отбрасывая невесомые листья. И тогда, заметив в стороне толстый ствол поваленного дерева, я наконец сказала:

— Присядем.

— Ты устала?

— Нет.

Он уже открыл рот, чтобы спросить: «Зачем же в таком случае?» — но тут же закрыл его, так ничего и не сказав. У меня вдруг возникло чувство, скорее даже предчувствие, что он из тех людей, которые надеются, надеются самим своим молчанием уклониться от неотвратимого — может, и другой откажется от разговора,— и эта попытка избежать испытания подогрела мою решимость:

— Мне необходимо с вами поговорить.

Я не узнала собственного голоса. Да и отец, наверное, тоже. Он смотрел на меня — я сидела, он стоял — с плохо разыгранным удивлением. Мне пришлось настоятельно похлопать ладонью по стволу дерева, чтобы он, подчинившись, наконец сел рядом со мной. Я хотела заговорить, но у меня снова перехватило горло. Тогда, стиснув кулаки, я бросилась вперед, не глядя, словно в холодную воду:

— Как умерла мама? — спросила я.

Он вздрогнул, привстал, потом снова медленно сел. Для меня самой эти слова, хотя и сказанные глухим голосом, прогремели, точно эхом отдаваясь в высоких сводах собора, настолько я боялась страшного ответа.

Я четко расслышала, как он дважды сглотнул слюну.

— Коль скоро я никогда не говорил с тобой об этом,— прошептал он чуть дрожа-

щими губами,— ты не могла не догадываться, что мне не хотелось бы ворошить эти воспоминания.

— Простите меня. Только скажите мне как, и все.

— Но почему сегодня?

— Потому что я хочу знать.

Я ощутила, как дергается его колено рядом с моим: так бывало с отцом всегда, когда он раздражался или выходил из себя от чьей-то назойливости.

— Почему,— настаивал он,— именно сегодня?

Если я заговорю о Жюльене, подумала я, он обозлится и я ничего не узнаю.

— Потому,— сказала я мягко,— что я видела, как страстно вы молились.

А вдруг он ответит: «Уж не наш ли незваный гость раздразнил твое любопытство?» Но нет. Возможно, такая мысль и мелькнула у него, но произнес он все тем же хриплым голосом только два слова:

— Ты жестока.

— Знаю.

— Я безумно любил твою мать.

— Я рада этому.

— Я не могу ее забыть, эта рана все еще кровоточит.

— Но как она умерла?

Он ничего не ответил: воспоминание ли причиной тому, волнение или страх? А я, моя настойчивость, что это — жестокость или прозорливость? Даже не глядя ему в глаза, я мысленно видела, как они бегают в поисках выхода.

— Ты не считаешься с моим горем,— пожаловался он.

Каждое его слово, уходя от прямого ответа, звучало мне укором. Нет, я не позволю взять себя на жалость.

— Отец,— сказала я ему с намеренной мягкостью,— простите меня, но мама умерла восемь лет назад... По прошествии такого долгого времени не может быть горя, которое мешало бы сказать правду. Ответьте мне.

— Уж не обвиняешь ли ты меня? — сказал он, сменив тон.

— В чем? — резко откликнулась я, на этот раз глядя ему прямо в лицо.

— Откуда мне знать? — повысил он голос.— Можно подумать, ты меня в чем-то подозреваешь?

— В чем? — повторила я громче.

— Не знаю.

— Я вас не подозреваю. Как она умерла?

— Я не позволю тебе...

— Она умерла в своей постели? — закричала я.— От болезни?

— Хватит! — завопил он. —Этот допрос выходит за рамки всех приличий! — И, распрямившись, как пружина, он удалился широким шагом.

— Нет! Вернитесь! — снова закричала я.— Если вы отказываетесь отвечать...

Но он только махнул рукой, не оборачиваясь, и исчез за деревьями.

Я долго сидела на стволе, совершенно подавленная. Лес, который я так любила, казался мне теперь гнетущим и мрачным. Коварным, уклончивым, темным. Страх снова овладел мною, я чувствовала ту же дрожь, которая охватила меня при виде раненого незнакомца и его ноги, раздавленной капканом... Господи боже! Все эти волчьи капканы, забаррикадированная дверь — я никогда даже не задумывалась об этом, не делала никаких выводов... моя мать, если все правда, если это она и есть покойница, утонувшая в Бургундском канале, здесь, рядом почти у наших ног,— утопленница, утопленница, моя мать, но, значит, боже, в таком случае... Жюльен и я?

И вдруг мне снова представилось мягкое печальное лицо в то странное мгновение, в тот краткий миг, когда мне померещилось, будто я вижу в зеркале свои собственные черты, вытянутые, деформированные... Я вскочила и бросилась бежать.

Но не к дому. Я заметила, что почти бессознательно повернулась к нему спиной. Я убегала? Куда? Сама не знала. Убегала из дому, где жил мой отец, убегала из каземата, где этот человек прятался за своими волчьими капканами, за своей толстенной дверью и крепостными стенами...

Я бежала. Мне было страшно. И становилось все страшнее. Этот страх пронизывал все мое существо, меня пугали все люди, дома, все вокруг. Ведь если мой собственный отец, если этот набожный и почтенный человек мог так улыбаться, улыбаться и быть злодеем — кому, о господи, можно тогда довериться? На кого, на что мне поло-

житься? И что это за цивилизация, если она способна порождать такие ужасы? Мне негде было искать защиты. Я жила до сих пор в идиотском покое и безразличии. Я, как страус, прятала голову, чтобы ничего не видеть, ничего не знать о чудовищном прошлом — а ведь оно могло вернуться, если не быть начеку. Раз такого рода злодеи все еще существуют. И может, этот господин, проходящий мимо, той же породы?

Я бежала. Наконец, я поняла, что прибежала к дорожному ресторанчику. Грузовики на шоссе ждали, пока их водители пропустят стаканчик. Я вошла и с порога спросила, нет ли кого, кто едет через Оксер, или Ларош, или Жуаньи. На меня смотрели с удивлением. Я, должно быть, странно выглядела.

Какой-то мужчина рассмеялся. Другой встал. Немолодой уже.

Он сказал:

— Ларош, если вас устраивает.

Через два часа мы были там.

Солнце заходило над Парижем, когда экспресс медленно въехал под своды Лионского вокзала.

Это, очевидно, были когда-то комнаты для прислуги, теперь перестроенные и соединенные в квартиры. Седьмой этаж, левая дверь — на двери никакого имени. Я робко постучала. Он, казалось, ничуть не поразился, увидев меня на пороге. Однако брови его удивленно поднялись, когда он заметил, что я с пустыми руками, даже без маленького чемоданчика. Но тут же, видимо, догадался, как все произошло. «У тебя есть деньги?»—спросил он и, не ожидая ответа, полез в ящик. Это обращение на «ты» сразу определило характер наших отношений. «Я могу устроить тебя здесь, сестренка, если хочешь». Что я хочу? Здесь или в гостинице... Я еще об этом даже не думала.

Он понял и это. Подвинул мне удобное кресло.

— Садись. Отдыхай.

Я рухнула в кресло. И сейчас же выложила Жюльену все — все, что сдерживала в себе на протяжении трех дней, у меня хлынули слезы.

— Вот и хорошо. Поплачь как следует. Тебе станет легче.

Он сел напротив, глядя на меня своими грустными глазами, чуть повеселевшими от радости, что я здесь, у него. Взгляд был такой ласковый, полный такой братской теплоты, что меня охватило сладкое томление: я поняла, как нуждаюсь в его ровной нежности. Я чувствовала себя совсем маленькой девочкой, у которой большое горе, и мне хотелось, чтобы он обнял меня, укачал, утешил. Но ничего похожего он не сделал, держась на почтительной дистанции от меня. Я высморкалась и немного пришла в себя.

— Простите, прости меня,— пробормотала я.— Я поссорилась с отцом. С этим все. Я туда не вернусь.

И снова слезы полились у меня из глаз, я не могла их сдержать. Я увидела, что он слегка помрачнел. Он спросил:

— Ты сердишься на меня за это? — И поскольку я не поняла его вопроса: — За то, что я поссорил тебя с отцом...

Я закричала:

— Нет!

Но он покачал головой.

— Ты была бы вправе,— сказал он,— сердиться на меня, я сам долго колебался, знаешь.

— Колебался?

— Не мог решить, говорить тебе или нет. До меня не сразу дошло, что ты моя сестра. Я почему-то решил, наслушавшись разговоров, будто он живет с сестрой и ее дочкой, совершенно чужой для меня. Впрочем, это ничего потом не изменило: просто, увидев тебя и даже еще не зная, кто ты, я почувствовал, как моя решимость слабеет: причинить страдания невинной... А когда позже я понял... Я чуть не удрал так же, как появился. Может, я и обязан был так поступить. Может, ты любишь отца, по-настоящему любишь. А я все разрушу. Я ночь не спал из-за этого.

— Послушай,— сказала я ему, подыскивая слова.— Да, думаю, я его любила. На определенный лад. Но разве это причина, чтобы... Нет, знаешь, бывают люди... когда у них, к примеру, рак... они не хотят этого знать. Они страшатся страха. А есть другие, которые чувствуют себя униженными, неполноценными, если от них скрывают истину. Понимаешь?

— Да...— сказал он неуверенно.

— Я не такая уж сильная. Но я не хотела бы, чтоб от меня скрывали правду. Потому что правда, даже самая жестокая, важнее в жизни, чем... своего рода счастье, чем счастье, которое мало-помалу подгнивает от сознательного неведения. Все это, сам видишь, не мешает мне плакать — прости меня, не так-то легко... Конечно, мне тяжело. Но это правильно. Да, правильно. И я не сержусь на тебя. Нет, напротив: спасибо. Спасибо, ты поступил правильно.

А слезы все текли, текли, я протянула ему руку, он взял ее и удержал в своих руках, ожидая, когда я перестану плакать. Увидев, что я наконец улыбнулась, он спросил, обедала ли я, ужинала ли. Я отрицательно покачала головой — ничего, с самого утра, ни маковой росинки.

— Ладно,— сказал он.— Для начала я отведу тебя в ресторан.

Я уже достаточно пришла в себя, чтобы спросить, где я могу умыться и привести в порядок свою физиономию. Молодой человек, сопровождающий девицу с распухшими глазами, не слишком-то хорошо ее рекомендует.

Когда мы спускались по лестнице, я сказала:

— Я ведь даже не знаю твоего имени. Как тебя зовут?

— Жюльен,— сказал он и рассмеялся.

— Да, но...

— Жюльен Давид,— закончил он серьезно.

Я не решилась его спросить, не еврейская ли это фамилия. Если так, то донос и пытка, которой мой отец, быть может, подверг его отца, погибшего такой чудовищной смертью, показались бы мне еще гнуснее и повергли в еще большее отчаяние. Я подумала: а моя — а наша — мать? Она тоже еврейка? Это объяснило бы многое — «тот» ведь мог ее шантажировать, держать при себе против воли, угрожая выдать ребенка...

Мы сели за столик в дальнем углу небольшого ресторана у Вогезской площади. Я предоставила Жюльену заняться меню. Я была голодна, но в то же время мне казалось, что я не смогу проглотить ни куска. Когда официант отошел, я наконец решилась задать вопрос, который терзал меня.

— Мама покончила с собой,— прошептала я,— или?..— Я не решалась закончить фразу.

Он был готов к этому вопросу. Уставившись в стол, покрытый красно-белой клетчатой скатертью, перекладывая с места на место нож и вилку, он сказал:

— По заключению следствия — самоубийство. Но как знать? Пальто и тело под ним, затылок, плечи оказались раскромсаны,— очевидно, она попала под винт самоходной баржи. Если признаки насильственной смерти и были, эти увечья не позволили их обнаружить.

Я снова вся дрожала.

— А ты не... — Я колебалась.

— Что?

— ...Не направил... полицию... по следам...

— Нет,— оборвал он жестко,— это дело касалось меня, только меня одного.— Потом спросил совершенно невпопад: — Где ты родилась?

— В Бургосе, в Испании.

— Ах вот как... убежала ли мама от него, чтобы вернуться во Францию? Или они перебрались вместе? Может, он боялся, что она его выдаст? Избил ее насмерть? Или сделал ее жизнь такой невыносимой, что она сама наложила на себя руки? Или же ее замучили угрызения совести? Как знать? — Я вспомнила ее глаза, полные ужаса, ужаса перед чем?..— Жизнь,— продолжал он,— полна таких загадок, тайн. Они остаются неразгаданными. Но, на мой взгляд, умерла она от побоев или от мук совести — разница невелика.

На его печальном лице появилось жесткое выражение.

— Что ты делал у нас? — спросила я, вздрогнув.— Ты пришел рассчитаться с ним?

— Да, убить, как собаку. Отомстить за двоих, погубленных им, и, как знать, за скольких еще. Ему повезло, что я встретил тебя.

— Но теперь? — Я похолодела до мозга костей.— Не возвращайся туда,— лихорадочно умоляла я.— Он понял. Он предупрежден. Он запрет дверь на четыре замка, на засов и будет сидеть на страже у слухового окна. У него ружье с оптическим прицелом, которое всегда заряжено.

— Ну,— сказал он, улыбаясь,— если б я все еще хотел этого, я сумел бы до него

добраться. Но...— Вместо того чтобы закончить свою мысль, он спросил: — Твой отец ведь любит тебя, правда?

— По-своему да, конечно; то вовсе не замечая, то страстно, день на день не приходился. Но в общем, да, думаю, он меня любит.

— А ты?

У меня такой тяжелый камень лежал на сердце, что дышать было трудно:

— Я тебе уже сказала, да, я тоже.

— Ну вот...

— До сегодняшнего утра,— уточнила я угрюмо.— Пока не увидела, как он молится. Теперь с этим покончено.

— Ты больше его не любишь?

— Нет,— я покачала головой.— Нет,— повторила я громче.— О, я не испытываю к нему ненависти, это гораздо хуже. Я его...— Я искала и не находила слов, чтобы выразить это новое для меня чувство. Презрение — казалось мне слишком слабым. Отвращение? Ужас? Пожалуй. Я не посмела произнести этого вслух.

— Послушай,— начал он.

— Я знаю, что ты собираешься сказать.

— Ты не... сожалеешь? — допытывался он встревоженно.— Правда, не сожалеешь?

— Правда. Я не вернусь туда. Никогда.

Лицо его озарилось. Оно выглядело почти счастливым, несмотря на печаль.

— Вот этого я и хотел, вот на это я и надеялся,— сказал он почти шепотом.— Есть для человека кара более суровая, чем смерть,— когда собственный ребенок убегает от него и выносит ему приговор.

Возможно, подумала я. Возможно. Я представила себе отца, там, в доме, его новую жизнь наедине с сестрой. О, он утешится, наверное. Впрочем, была ли я действительно его дочерью? Покинутая на одиннадцать лет... Потом он взял меня к себе. А почему? Какими поисками алиби или угрызениями совести был он движим? Тяжкая смута овладела моей душой. Может, я, так же как Жюльен, должна была стремиться к мести за смерть матери, а то и за смерть неведомого отца? Кровь за кровь?

Я смотрела на своего брата, рядом с которым мне предстояло прожить некоторое время. Взгляд его был ясен. Я уже не видела в глазах Жюльена ни мрачного, мстительного огня, ни даже ледяного блеска вершителя справедливости. Они излучали на меня какую-то умиротворяющую нежность. И мне показалось, что будущее мне улыбается. И ему тоже. Быть может, я сумею стереть остатки печали с этого красивого серьезного лица.

Нам принесли закуску, и мы с аппетитом набросились на еду.

■

ЗОНИНА ЛЕНИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1922—1985)

Советский литературовед, критик, переводчик. Автор книги «Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60—70-е годы)» (1984), многих работ, посвященных творчеству Роже Мартен дю Гара, Антуана де Сент-Экзюпери, Жан-Поля Сартра, Андре Мальро и др. В ее переводе выходили произведения Л. Арагона, Ф. Мориака, Р. Мерля, С. де Бовуар, П. Ленэ, Н. Саррот и др.

МИРА АЛЕЧКОВИЧ

■

Перевод с сербскохорватского НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Отец

Остановился человек среди сожженного села
и в чей-то дом вошел, далекий от родного дома.

Глядит: пустая колыбель и детский чепчик в колыбели.
И на полу обугленном пятно, похожее на кровь.
Сумели беженцы спасти дитя иль не сумели?..
И чепчик неизвестного младенца взял солдат
и побаюкал в заскорузлой пятерне,
а после в изголовье положил
комочек тонких кружев.
Проснулась память, душу обожгла,
и стал отец беззвучно плакать
над чьей-то опустевшей колыбелью.

Над колыбелью смерти сонм теней —
кто слезы горькие прольет над ней?..

Зрелость

Мгновенно, минуя цветенье, мы становились плодами,
и ненасытная смерть пожирала эти плоды.
Зрелость мерялась первым рыданьем, а не годами,
и впечатлением первым был образ беды.
Из колыбели мы видели смрадное пекло,
зверства и казни, чередованье потерь и побед,
и колыбель тяжелела под слоем горячего пепла,
и задыхался ребенок, едва появившись на свет.

МИРА АЛЕЧКОВИЧ — MIRA ALEČKOVIĆ (род. в 1924 г.)

Югославская писательница — поэт, прозаик и общественный деятель. Участник народно-освободительной борьбы против фашизма. Автор многих поэтических сборников: «Три весны» («Tri proleća», 1949), «Поляна» («Poljana», 1956), «Эта последняя ночь» («Noć ova poslednja», 1960), «Сонник» («Сањалица», 1975), «Застигнутая в любви» («Затечена у љубави», 1981). Перу М. Алечкович принадлежат также романы, рассказы, очерки, книги для детей. В 1980 году вышло «Избранное» в трех томах.

На русский язык переведены роман «Утро», книги стихов «Серебряный поезд», «После четверга — среда», книга «Солнечный дом», подборки стихов широко публиковались в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

А если счастливец, шагнув за младенческий возраст,
ступал на тропинку просторной ребячьей мечты,
он долго вдыхал отравленный горечью воздух
и шел по каменьям, обугленным до черноты.
Мы смерть ненавидели, выросши с ней по соседству,
печальные, мудрые дети, лишенные детства,
осенние всходы, не знавшие нежности и доброты.

Лицо, которое горело

Глаза до сих пор не угасли,
они полыхают, как два костра.
Лицо —
безобразная маска,
скукожившаяся кора.

Смерть это тело вспахала
плугом огня.
Ходячим пожарищем женщина стала.
Сегодня на ярмарке шумной,
средь конского ржанья и смеха
в толпе пестроцветной
она —
словно черная головня.

Обуглилась, коркой покрылась,
спасая односельчан.
Детей сохранила для жизни.
Живые не помнят ее сейчас.

Под темной корой, покрытой рубцами,
суровая повесть военных дней.
А люди боятся уродливой маски,
красоты настоящей
не видя под ней.

О женщина из Будимира!
В глазах негасимый огонь мечты...

Спасибо, что выжила ты.

Черный камень

За красотой в погоню помчалась речка,
да встал на пути черный камень.
Помутнела вода, потемнела, назад побежала,
меж двух берегов заметалась.
Плачет, забыв изначальный говорок родниковый,
и кружит на месте,
и бьется о черный камень.

Чистое небо

Чаша в руке — здравица перед разлукой.
Кавказ над нами в небо возносит вершины.
Ваше сердце, как ваше небо, да будет чистым.
Да будет чистой заря над землей, родившей надежду.
Да будут чистыми горы Кавказа и даль,
сокрытая пеленой тумана,
да будет прозрачной.

И путь ваш к морю, большому, как счастье,
и к счастью, большому, как море, да будет чистым.
Да будут чистыми тропы,
по которым дети шагают в зрелость.
И любовь, как снега Кавказа, да будет чистой вовеки.

Враги

Приняв за истину одну лишь явь,
оставь надежду и мечту оставь.
Не лучше ли за истину принять мечту
и — дерзостно оспорив непреложность яви —
увидеть будущего красоту...

Удары укрепляют силу духа.
В холодный день надежда дышит зноем.
Цветок прекрасный вскормлен перегноем.
Из пропасти на волю тянется росток,
и брызжет искрами упавшая звезда,
и зажигает мысли огонек.

Враждуют жизнь и человек от века.
Одна дорога, а согласья нет.
Пытаться их мирить — напрасный труд.
Грызутся, как собака с волком,
но солнце из одной криницы пьют.

Глаз птенца

Когда дочурка спит глубоким сном,
мне наяву кошмар один и тот же снится:
могила свежая, омытая дождем,
и катафалков черных вереница;
скользит одна повозка за другой
по замкнутому кругу,
перепоясав шар земной...

Боюсь, когда на сомкнутые веки
сиреневая тень ложится.
Глаза открой и черно-золотой сверкни зарницей,
позволь поверить мне, что жизни нет конца.

Пусть дремлет песня в радужном глазу птенца.

И осталось небо лазоревым

Любовь — неподъемный груз.
Необозримая даль.
В саду твоем для моих ступней
всегда зеленела трава.
В дому твоем для ладоней моих
всегда полыхал очаг.
В глубине твоих глаз для моих
всегда находился приют.
Но сердце мое не держал ты в плену,
не ставил ловушек ему
ни в глубинах глаз,
ни в саду, ни в дому.

Было небо. Полет. Простор.
И осталось небо — любимым глазам под стать —
лазоревым до сих пор.

Заблуждения

Куда ты?— спросит дорога, если свернешь
с дороги.
Согрешишь неправедным словом,
и спросит душа тревожно:
чего ты хочешь, убогий?
Что ты замыслил, гоняясь за счастьем ложным?
Цель выбираешь плохо и бьешь мимо цели,
и вся-то добыча — снулая рыба,
чучело птицы
или останки зверя.

Ах, молодость-птица,
ее не обманешь —
умчится, роняя перья.

Ее не удержат руки, не остановит выстрел,
может она задержаться лишь в сердце чистом.
А впрочем, где ты отыщешь птицу,
если леса поредели,
где ты ладью причалишь,
если моря обмелели...

Не смейте

Меня ищите на лугу, где белый конь резвится.
Меня ищите в долах дальних, где красота гнездится.
А если вам случится на небо посмотреть,
я звезды лживые задую,
я покажу вам зорьку молодую,
я вешнее тепло вам наколдую,
чтоб вы прекрасны стали вдруг,
чтоб приняли любовь как истину святую.

Извечная, не сочиненная никем,
искристая, как водопад, как пламя,
бушует солнечная песня в темных недрах будней.
Не смейте в трепетное сердце,
в живую, трепетную песню
швырять камнями.

■

ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА

Советский переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. В ее переводах публиковались стихи Антонио Мачадо, Х. Р. Хименеса, Р. Альберти, Х. Л. Пачеко («ИЛ», 1972, № 4), Х. А. Гойтисоло («ИЛ», 1975, № 11), Р. Богранда («ИЛ», 1980, № 3) и др. Н. Горская переводит также из венгерской и чешской поэзии (И. Шимон, Л. Беньямин, В. Незвал, А. Гидаш, Маргит Сечи—«ИЛ», 1980, № 10).

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС

Панихида на дороге

ГЛАВА ИЗ РОМАНА
«МАЛЫЙ ОРГАНОН ДЛЯ РЕПАТРИАНТОВ»

Вступление и перевод с греческого Н. ПОДЗЕМСКОЙ

От переводчика

Греция, где в годы второй мировой войны возникло сильное антифашистское движение, прошла трудный, трагический путь послевоенного развития. Жесточайший правый террор, развязанный силами реакции вскоре после Освобождения, привел страну к гражданской войне 1946—1949 годов. Вчерашние бойцы Сопротивления оказались в тюрьмах и концлагерях (многие из них были расстреляны и замучены) или ушли в горы, вступив в ряды Демократической армии, а после ее поражения вынуждены были покинуть родину и более четверти века прожить в эмиграции.

Одним из них был Мицос Александропулос. Дороги эмиграции привели его в Москву. Здесь он издал свой первый роман-дилогию о греческом Сопротивлении «Ночи и рассветы», сборники рассказов «К звездам» и «Чудеса происходят вовремя», роман «Сцены из жизни Максима Грека». Отдавая дань уважения и любви к русской культуре, он написал трехтомную «Историю русской литературы», подготовил сборник эссе «Пять русских классиков», издал книгу путевых заметок о приволжских городах России «От Москвы до Москвы», перевел на греческий шедевры древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», «Житие протопопа Аввакума» и «Повесть о взятии Царьграда турками».

Падение военной диктатуры в 1974 году открыло путь в Грецию и писателю, и его книгам. Серия его работ, посвященных русской культуре, пополняется романами о Горьком («Хлеб и книга»), о Чехове («Больше свободы»), о Достоевском («Великий грешник»). Поездка в Армению рождает книгу «Путешествие в Армению». В 1979 году за заслуги в популяризации русской культуры в Греции М. Александропулос удостаивается международной премии им. М. Горького Союза писателей СССР. В 1981 году его роман о Горьком «Хлеб и книга» отмечен Государственной литературной премией Греции.

Возвращение на родину, встреча после продолжительной разлуки с родными и друзьями, соприкосновение с новой греческой действительностью — столь далекой от той, которую он знал совсем еще юношей,— наталкивают писателя на замысел романа «Малый органон для репатриантов». В этом двуплановом произведении по мере развития сюжета проблема репатриации политэмигрантов открывает глубинное содержание романа — исследование социальных и психологических процессов в послевоенной Греции.

Композиция «Малого органона для репатриантов» строится на развитии двух параллельных сюжетных линий — Андониса и Ламброса. Двоюродные братья и друзья детства, они избрали разные жизненные дороги. Андонис принял участие в Сопротивлении и оказался в эмиграции в СССР, где стал видным искусствоведом и реставратором. Ламброс, никогда не разделявший идеи Андониса, всецело посвятил себя коммерции. Туристское путешествие в Советский Союз, а потом поездка в родной городок к престарелым родителям Андониса, побуждают Ламброса сделать все возможное, чтобы брат вернулся на родину. Скитания Ламброса по официальным учреждениям и организациям в Греции, занимающимся вопросами репатриации, выливаются в одиссею разоблачений и прозрения, побуждают переосмыслить прожитое и сделанное. К такому самопознанию, как индивидуальному, так и общенациональному, исподволь побуждает автор своих соотечественников.

Публикуемая глава «Панихида на дороге» описывает встречу Ламброса с родителями Андониса и воскрешает отдельные эпизоды трагических событий гражданской войны, когда погибли двое братьев Андониса и был брошен в концлагерь его отец. Вставная новелла «Смерть на рассвете», рассказ о гибели младшего брата, воспроизводит свидетельства очевидцев и завершается сценой паломничества — тридцать лет спустя — на место расстрела, паломничества, которое совершает Ламброс, переосмысляя прошлое и вглядываясь в будущее глазами Андониса.

© Мицос Александропулос, 1980

Всю ночь он просидел в гостиной, писал что-то, весь во власти нахлынувших воспоминаний. Не прекращалась мышиная возня над потолком и под полом. Ламброса обступали старые вещи, висевшие на стенах и прислоненные к ним (да и сами стены кренились, стремясь к чему-нибудь прислониться) — диван, стулья, тетушкин буфет, шкаф и этот стол. Вещи, безнадежно замкнутые в своем молчании, со следами пыли и бесконечной ночной печали. Увидел ли он здесь что-нибудь новое для себя? Только портрет дядиных сыновей. Старшнй и Младший, Афины, 1952 год; фотограф увеличил старые карточки. Рядом висел портрет короля Константина в походной военной форме (1913 год). Свадебная фотография тетушки Александры и дядюшки Павлоса. Дядя Василис, торговец в Эгионе. Фотокарточка незнакомой супружеской пары. А вот и сам Ламброс с Верой, снятые во время свадьбы. Дальше среднй сын, Андонис, перед древней русской церквушкой. Епископ. Монахиня. Как эти-то сюда попали? Еще одно духовное лицо — о нем или об епископе говорил вчера вечером дядюшка? Отрываясь иногда от бумаг, Ламброс подходил то к одному, то к другому портрету, рассматривал их, беседовал с ними и, зарядившись бодростью, снова садился за стол, продолжал писать.

Они подсказали ему план действий. До этого он не знал, что предпринять. Его очень огорчил вид стариков. К тому же сбил с толку дядюшка своими словами. Потом Ламброс понял, что все в этом доме, да и сами старики уже отжили свой век. Время и люди надоели друг другу. Годы идут, обгоняя стариков, ничего не давая им и не получая от них взамен. И старики не считаются с годами, не замечают их течения, живут вне времени.

— Андонис приедет через две недели,— уверенно заявил вчера дядя Павлос.

И Ламброс сначала ему поверил. Немного погодя дядюшка повторил это. И тут же принялся путанно рассказывать какие-то старые истории. На третий вопрос Ламброса об Андонисе он ответил совсем иначе. У старика, как заметил Ламброс, установились своеобразные отношения со временем. Настоящее от него ускользает, на нем старик не задерживает внимания. Его больше интересует прошлое — неизменное и постоянное. Оно в его власти. А вот тетушка Александра, как и прежде, занята повседневными заботами, до сих пор хлопочет по дому. Она прекрасно знает, что надо ей делать сейчас, что погодя — и так с утра до ночи. Но что было вчера? А что позавчера? И кто человек, пришедший сегодня к ней в дом?

Туман, сплошной туман...

Это потрясло Ламброса.

Когда он постучал в дом, дверь открыл дядюшка Павлос. Ламброс стоял на предпоследней ступеньке и смотрел прямо перед собой. Дверь отворялась медленно-медленно, точно ее тянула слабая детская ручонка. И самое поразительное: за дверью словно никого и не было. Ламброс опустнл взгляд: на пороге, съежившись, стоял дядюшка.

Тетушка Александра как будто мало изменилась, лишь похудела и сгорбилась. Впрочем, она молодчина, тоненькая, легкая, передвигается по комнатам, словно не касаясь пола.

Например, когда она встала со стула, чтобы подать коньяк, то скользнула к буфету, едва касаясь пола своими малюсенькими ножками. Буфет был довольно высокий, и Ламброс уже поднялся с места, чтобы помочь ей.

— Не надо,— остановил его дядя.— Твоя тетушка сама справится. Она все делает сама.

И правда, тетя помедлила минутку. Она приподнялась, достала бутылку, рюмки, поставила их на поднос, покрытый вышитой салфеткой, и все это вместе с ней бесшумно снизилось. Невероятно! Когда Ламброс увидел это впервые, он, пораженный, не мог отвести от нее взгляда. В тот вечер эта процедура неоднократно повторялась, и он каждый раз с удивлением следил за тетушкой. Дядя, более плотный и тяжелый, двигался по дому тоже легко. Он то и дело поднимался со стула н быстро шел, чуть ли не летел, прихватив с собой палку, на которую он опирался. Страшно, но вполне естественно — ведь в столь преклонном возрасте можно двигаться только так или никак. Полная, неограниченная свобода или уже небытие — а оно разве не означает уничтожение всех преград? Эти мысли промелькнули у Ламброса при попытке осмыслить то, что он наблюдал здесь, в доме, и он догадался: так решался не толь-

ко вопрос передвижения в пространстве — тем же способом уничтожались и другие препятствия, общие для всех людей, вплоть до границ времени и барьера взаимонепонимания. Здесь были сброшены все оковы. Вот несколько примеров.

Тетя упорхнула, чтобы подать кофе, а дядя говорит:

— Как хорошо, Ламброс, что ты приехал. Вчера у нас дело чуть было не дошло до похорон: твоя тетушка упала и ушиблась вот тут.— Он указывает на затылок и продолжает:— Это опасное место. Ударься она сильней, у нас были бы похороны, и не одни... Как раз сюда бельевым вальком ударила одного негодяя жена, и он приказал долго жить.

История эта могла произойти два месяца назад, а возможно, и двести лет назад. Так же легко, как отворилась дверь и бесшумно впорхнула в комнату тетушка с подносом, дядя перешел к другому подобному случаю, связанному с битвой при Дзумайе, первой битвой, в которой довелось ему участвовать. Там погиб его друг, тот, который вместе с ним вернулся из Америки, как только в Колорадо, в Денвер, пришло известие о начале войны Греции с Турцией. Другу его в затылок попал малюсенький осколок турецкого снаряда, такой маленький, что даже кровь не выступила. Не сразу поняли, отчего умер бедняга. В конце концов, докторишка нашел смертельную микроскопическую ранку. «Вот так-то...» Часто повторялось имя командира второй роты двенадцатого пехотного полка македонца Георгиоса Влахояннноса. И тут словно бы отыскался ключ ко всем событиям той пятнадцатилетней войны — вместе с этим командиром дядя прошел всю войну. Рассказывая об одном военном эпизоде, происходившем в той же Дзумайе и связанном с Влахояннисом, он перехватил взгляд Ламброса, который то и дело поглядывал на письмо, заключенное в рамку. И Дзумайя, как и то письмо, казалось, были совсем рядом.

— Это благодарственное послание епископа,— сказал дядя.— Я получил его за пожертвование на возведение храма. Если хочешь, сними со стены и прочти.

Ламброс встал и пробежал глазами епископское послание. Пока он читал, старик не спускал с него взгляда, словно читал вместе с ним. Потом вдруг сказал:

— Благодарственные послания духовных лиц были в ходу у византийцев.

Рассматривая подпись епископа, Ламброс внезапно вообразил себе такую сценку: завтра утром он войдет в кабинет этого доброго пастыря, который в своем послании пожелал дяде и его семейству все, что желают в подобных случаях, и передаст прошение, где дядюшка обращается ко всем, начиная с церковных деятелей, с просьбой содействовать возвращению Андониса на родину. И тут Ламброса словно озарило; прошение, над которым он промучился всю ночь, должно начинаться с фразы: «Немощный и престарелый, перешагнувшнй за девятый десяток...» И под прошением одной из первых будет стоять подпись доброго пастыря. Блестящая мысль!..

Ламброс спросил дядю, где теперь этот епископ.

— Жив, должно быть,— сказал тот.— Он был тогда еще не старым.

— Он здесь?

— Нет. Его перевели отсюда. Произошел какой-то скандал, и его перевели.

Тетушка сидела с ними и пила кофе. Она потупилась, избегая взгляда племянника. А раньше один ее глаз — другой ничего не видел — непрерывно изучал гостя, стараясь понять, кто он. Ламброс чувствовал: она его не узнает, хотя дядя повторил ей несколько раз, что приехал Ламброс, сын Магдало и Кицоса.

А беды и гонения, пережитые дядей? Странное дело! Насколько понял сегодня Ламброс, дядя воспринимал их не так, как прежде. Он терпеливо расспрашивал дядю, проверял то, что слышал от него раньше. Дядя повторил свой прежний рассказ: разоренный дом, погоня за ним и тетей по полю, тюрьма, палатка в концлагере, военный трибунал сорок девятого года, выстрелы в него и жену, прятавшихся во рву. Ничего не изменилось, но все как-то причудливо переплелось с другими событиями, более отдаленными, пережитыми в молодости, после войн с Турцией 1912 и 1922 годов и в перерывах между ними — Ламброс не мог точно определить время событий,— когда в тех же самых краях дядю преследовали или сам он кого-то преследовал и тоже были аресты, ссылки и массовые судебные процессы. Говоря о военном трибунале сорок девятого года, старик упомянул свидетелей, которые готовы были встать на его защиту. Но насколько было известно Ламбросу, люди эти умерли еще до войны. Ламброс все больше убеждался, что события разных лет перемешались в голове у

дяди. Яркие впечатления молодости затмили более поздние, волновавшие его меньше, так как в этих, других войнах дядюшка не участвовал. Но и поздние впечатления жили в нем своей жизнью.

— Был террор, сынок,— вдруг сказал он. — Ты и не представляешь, что творилось. Повсюду кишмя кишели предатели. Раньше у нас такого не было. Мы, тридцать — сорок человек, хранили верность друг другу. А теперь те, с кем делишь свой хлеб, идут и на тебя доносят.

Это было сказано в разговоре о Младшем, словно в свое оправдание — так понял Ламброс.

— О Старшем что говорить! — продолжал старик, будто обращаясь к себе самому.— Он воевал. А на войне чего не случается! Ты же знаешь, там погибли все настоящие парни. Кто уцелел? Считанные люди, трусы. Те, кто спасся бегством...

Он говорил, как человек, хорошо знающий правила игры, сам участвовавший в ней и принимавший вещи такими, каковы они есть. Глаза его приобрели цвет того закатного часа, когда обычно заканчиваются эти древние игры, и устремились на далекие горные склоны и вершины выстроившихся в ряд деревьев.

— А Младший? — спросил Ламброс.

Дядя повернулся, и точно молния осветила его лицо. Взгляд стал тяжелым и сосредоточенным — впервые Ламброс видел старика таким оживленным и взволнованным.

— С ним все было иначе,— сказал он, будто проснувшись.— Что стоит убить узника? Так поступают трусы. Да предатели. Разве я тебе не рассказывал?

Тетушка зажгла свет в гостиной и упорхнула в кухню. Она возвратилась с ужином на старом подносе, знакомом Ламбросу еще с давних времен. На подносе были три горшочка с простоквашей и три яблока.

— Кушайте, пожалуйста,— проговорила она по своему обыкновению протяжно и тихо, едва слышно.

— Давай перекусим,— живо сказал дядя, словно пробили часы и пора было кончать работу.

Они подошли к столу. Тут же на диван вспрыгнули две кошки, а напротив, на мраморной доске буфета, появились две мыши. Мышки побежали к столу, но остановились на краю доски, настороженно глядя на Ламброса — так же смотрели на него кошки и тетушка, застигнутые врасплох его неожиданным появлением. Мыши и кошки застыли на месте, остерегаясь подойти ближе, как, очевидно, делали это всегда.

— Разве я тебе не рассказывал? — повторил дядя, покончив с простоквашей и начиная маленьким ножичком чистить яблоко.

Смерть на рассвете

Один из тех:

«Младшего и еще четверых, мне не знакомых, привели к нам во второй половине дня. Я прекрасно помню: дело шло к вечеру, потому что в тот день мне впервые разрешили свидание. Только успела войти моя тетка, как поднялся шум, привели новеньких, и нас всех загнали в камеру. Я виделся с теткой всего несколько минут. Среди арестованных я узнал только Младшего. И тут же шепнул ей: «Это сын такого-то, Младший». Она все поняла и сказала, что постарается разыскать его отца. Но я-то знал, что старик в концлагере, на Макронисосе. И сказал тетке: «Сходи к ним домой». Она обещала...

Тетушка Александра:

— Никто к нам не приходил, да и не мог прийти. В тот день в нашем доме сломали лестницу, так что я не могла спуститься со второго этажа и никто не мог ко мне подняться. Болела матушка, она была при смерти, но как позвать врача? Только когда она уже умерла, мне разрешили починить лестницу. Но тогда Младшего уже не было в тюрьме, его убили. Как только стали ломать лестницу, я сразу поняла: случилась беда. Тотчас подумала о Младшем — ведь два других сына давно пропали без вести — и решила, что его, наверное, убьют. Но все же у меня теплилась надежда: может быть, он еще жив.

— Как вы узнали о несчастье? — спросил ее Ламброс.

— Мне сказала наша соседка, госпожа Христина. Она одна мне помогала. По вечерам, лишь только стемнеет, приходила под окно к задней стороне дома, так что

ее не было видно с улицы. Я спускала веревку, и госпожа Христина снабжала меня тем, что я просила,— даже воды не было в доме. Кроме того, она сообщала кое-какие новости.

— Когда вы узнали об аресте Младшего, что вы предприняли?

— Последний раз, насколько мне помнится, я видела его в тюрьме. Относила ему еду и одежду. Но как спустилась со второго этажа, припомнить не могу. Должно быть, и тут мне помогла госпожа Христина.

— Но как?

— Забыла.

— Может быть, приставила к окну лестницу?

— Наверное...

— А где теперь госпожа Христина?

— Давно ее не видела. Она к нам больше не ходит.

— Госпожа Христина умерла,— сказал дядя.

Один из тех:

«Поскольку Младшего навестила мать, я понял, что моя тетка ее известила. Мне кажется, она приходила довольно часто; во всяком случае, прекрасно помню, что последний раз она пришла утром, но накануне ночью их увезли. Мы слышали, как ее прогоняли жандармы и говорили, что сын ее в другой тюрьме, в Патрах, а кое-кто переведен в Афины».

— Вы тогда поняли, что произошло? — спросил его Ламброс.

— Пожалуй.

— Каким образом?

— Прежде всего потому, что их увезли ночью.

— В котором часу?

— За полночь. В такое время никого не увозили в другую тюрьму. Это делали обычно днем.

— Они сами, Младший и другие арестованные, догадывались, что их ждет?

— Про других не знаю, но Младший догадался. И даже мне намекнул. Камера наша была битком набита арестантами. Не помню, сколько там было человек, но теснота страшная — ни сесть, ни встать. Каждый день кого-нибудь увозили, переводили в другие тюрьмы. И сразу появлялись новенькие: одних арестовывали, другие сами являлись в полицию. И я бы угодил в другую кутузку, если бы за меня не хлопотали. В камере полно было чужих, и мы предпочитали помалкивать. Про некоторых даже знали, что это предатели. А если говорили, то о чем-нибудь постороннем, рассказывали анекдоты и разные истории. Мы с Младшим пытались подойти друг к другу поближе — ведь мы были хорошо знакомы,— но не могли, боялись. Когда за ними пришли и Младший стал собирать свои вещи — сказали, что их переводят в другие тюрьмы,— он отложил кое-что и просил меня передать матери. А потом шепнул: «Нас выдал Тот Господин», но на меня произвело впечатление не имя — мы знали, что он предатель,— а тон Младшего. Тот словно сказал: «Прощай и помни».

Дядюшка Павлос:

— Он сразу не заговорит. Когда разыщешь его в Пирее — там у него лавчонка, он торгует табаком, сигаретами, лотерейными билетами,— приди к нему в полдень, незадолго до закрытия лавки, чтобы застать его одного. Ты войдешь, и он тебя, разумеется, не узнает — ведь прошло столько лет. И когда он скажет: «Я закрываю», вытащи нож и пригрози ему, как Одиссей — Кирке. А потом спокойно прибавь: «Не бойся. Запри дверь, нам надо поговорить».

Один из тех:

«Я не имел к этому никакого отношения... Каковы мои убеждения? Какие там убеждения! В греческой гвардии я не служил. Знал полицейского, моего соседа. Были у меня и кое-какие знакомства в полиции: я доставлял туда для столовой овощи и фрукты. Они предпочитали иметь дело со мной человеком надежным, проверенным. У меня был особый подход к жандармам, но в их дела я не лез. А вот партизанам я должен быть благодарен, потому как однажды произошел такой случай. В полиции меня заставили везти куда-то жандармов ведь я еще в армии машину водить научился. Мы наскочили на засаду, и партизаны почти всех перестреляли. Спасся только один жандарм — успел убежать. Да я. Партизаны крикнули мне: «Ложись!» И я лег на землю. Они меня не тронули, а потом отпустили. В самом начале

перестрелки пуля попала мне вот сюда, в ляжку. До сих пор след остался... Я в дела жандармов не вмешивался, у меня своих забот хватало. В ту ночь я пришел в полицейский участок, потому что в тюрьме сидел мой двоюродный брат и мы боялись, как бы его не пустили в расход. Поэтому я туда наведывался под разными предлогами. А в ту ночь до нас дошел тревожный слух, вот я и пошел. Это было уже во втором часу. Я видел, как арестантов увели в другую камеру и связали их по двое веревкой. Видел я и кто там был, узнал Младшего, еще одного и сына моего приятеля, огородника; у него покупал я картошку, капусту и прочее. Сержант жандармерии, человек чужой, вскоре прогнал меня оттуда. Я поплелся домой, но жандармы сами вернули меня с дороги. И попросили поехать с ними. В полиции тогда работал один шофер, но в ту ночь его там почему-то не оказалось. Сами понимаете, мне пришлось согласиться. В кабину, рядом со мной, сел тот сержант. Ехали мы молча. А когда добрались до той деревни, я из его слов понял, что должно произойти. Да и ехали мы в горы — о каком переводе в другую тюрьму могла быть речь? Не помню, что именно сказал мне сержант, но меня взяло подозрение, и я решил: он хочет меня прощупать, нет ли у меня связи с кем-нибудь из арестантов. Тогда я сказал, что знать их не знаю. В деревне не было ни души, все спали. Сержант приказал мне не разгоняться, не шуметь, а сам стал внимательно смотреть в окно на дорогу. За деревней велел остановиться».

— Где же вы остановились? — спросил лавочника Ламброс.

— Там есть родник, как я выяснил позже. Ведь тех краев я не знаю и родника никогда не видал.

— Не удивило тебя, что этот сержант, человек чужой, знает те края лучше тебя?

— Чужой он был для меня. Может, он родился в той стороне, почем я знаю? Помню, в кабину стучали и другие конвойные, требовали, чтобы мы остановились. Он услышал стук и приказал остановиться.

— Какие конвойные ехали в кузове?

— Я их не видел.

— Ни одного? Ты же хорошо знал жандармов... И знакомого голоса не слышал?

— Было темно.

— Ну так как же, слышал ты знакомый голос?

— У меня душа ушла в пятки; я боялся, как бы меня не укокошили. Поэтому на следующий день я сбежал из города и много лет там не показывался. Сначала перебрался в Патры, потом в Афины; занимался там разными делами, пока наконец не обзавелся в Пирее собственной лавочкой — в приданое ее получил за женой.

— И больше никого из тех жандармов ты не встречал?

— Трудно сказать. Может, они каждый день проходят здесь, мимо моей лавки, но ведь и в ту ночь я их как следует не разглядел.

— Кто был тот сержант, ты не выяснил?

— Не так давно, мне кажется, он заходил ко мне в лавку. Одет был в штатское... Я подумал, не узнал ли он меня, испугался и потом целый месяц не переступал порога лавки, посылал торговать жену. Но похоже, он меня не признал. Ведь прошло столько лет! Он кое-что купил и ушел. По-моему, сигареты... Нет, погоди, он взял еще лотерейный билет.

— Что потом произошло в ту ночь?

— Их пустили в расход, и мы вернулись в город.

— Перестреляли в машине?

— Нет. Высадили и перестреляли на горном склоне.

— Стало быть, их поставили и убили, как это делают при расстреле?

— Думаешь, я что-нибудь видел? Я только слышал выстрелы, точно там бой шел. Впрочем, мне сказали, что их куда-то отведут. Я трясся от страха и все хотел запустить мотор и скрыться, но что бы потом стал я делать? Думал также выскользнуть из кабины и удрать в поля, но и на это не нашлось сил — я будто окамеиел... Когда все кончилось, сержант вернулся и спросил, могу ли я там развернуться. Я ответил, что не могу, очень уж узкая дорога. Тогда он велел мне ехать вперед, пока не найду подходящее место. Так я и сделал.

— В котором часу это было?

— Начало светать.

— Больше ни о чем вы не говорили? Он не стал тебе ничего объяснять?

— Когда мы въехали в город, он повернулся ко мне и сказал, что на горном

склоне на них напали партизаны и большинство заключенных были убиты, но некоторым удалось бежать. Я понял, зачем он дурит мне голову, и сказал, что слышал перестрелку, да так и подумал. На следующий день, как я тебе уже говорил, я скрылся из города.

— Не кажется ли тебе странным, что именно тебя попросили вести машину?

— Но я же рассказал, как обстояло дело.

— И потом тебя заставляли садиться за руль?

— Я же сразу уехал из города.

— А раньше?

— Я же говорил...

— Ходят слухи, ты не сразу, а много позже уехал в Патры.

— Кто знает это лучше меня?

— Ты прав. И не только это, но еще многое ты знаешь... Кто дежурил тогда в полиции?

— Какое это имеет значение?

— Не хочешь отвечать?

— Полицейских в ту ночь там не было.

— А Тот Господин?

— И его не было. Он не попадался мне на глаза.

— Ну все же чей это был участок? Кого из полицейских?

— Такого-то.

Дядюшка Павлос:

— Тут он тебя не обманул. Так действительно звали нашего полицейского, дело известное... Когда я наконец вернулся из концлагеря, тот вызвал меня в полицию. Привел в свой кабинет и спросил: «Был у вас сын, такой-то по имени?» — «Да».— «Его убили партизаны возле родника... Подпишитесь вот здесь и будете получать за него пенсию».— «Вы написали в этой бумаге, что моего сына убили партизаны?» — «Да». — «Не подпишу, ведь вы сами убили моего сына».

— Зачем им понадобился этот подлог? — спросил Ламброс.

— Чтобы скрыть преступление.

— Почему вы не возбудили дело? Это же настоящее убийство.

— Не имело никакого смысла, сынок. Зачем? Они вышли в победители, а мы потерпели поражение, с этим приходилось считаться. Я же говорил, царил страшный террор... Тут остается только не изменять себе и полагаться на судьбу. Что еще можно делать?

■

За деревней дорога идет слегка под гору, а потом поднимается вверх. Вдалеке синеют горные массивы со снежными бороздами на вершинах. Оттуда ветер приносит иные краски и звуки, которые катятся сюда с горных хребтов, как волны — на морской берег. В недалеком прошлом это ощущалось еще острее: наверное, потому, что весь тот край за деревней называли тогда — и с полным правом — горным. Козлиный и сермяжный дух этих деревень не смыл бы и сам Геракл, а навоз мулов, диких коз, собак и людей — греков и цыган, которых там тоже много,— копился тысячелетиями; его не удалось смыть дождям, и ни один герой не появлялся в тех краях, хотя об этом после завоевания Грецией независимости мечтали многие мэры, их заместители, епископы и военачальники. Но все они вместо того, чтобы перенести в горные деревни все ценное с равнины, сами перебирались на равнину, и на том дело кончалось; так было испокон веков. Однако теперь пейзаж сильно изменился. Уже не видно отвесных скал, крутых гор и даже холмов: по обе стороны от дороги тянутся поля, виноградники и сады; и вместо лесных чащ, где еще недавно свирепствовали волки и скотокрады да бушевали пожары, теперь зеленеют рощи с блестками лимонов и апельсинов. А ведь в этом краю женщины раньше с нетерпением ждали, когда на лозах нальется зеленый виноград, чтобы подкисливать им суп. Изменилась и река Пиней. Если спросишь, местные жители покажут тебе шоссейные дороги, которых прежде и в помине не было. Расскажут про автомобили, тракторы и новые сельскохозяйственные орудия. И про плотину на реке. Расскажут, возможно, и о другом. Но никто не упомянет о большом посеве тридцати-сорокалетней давности в

этой земле. О семенах, которые молодой кровью пролились в землю, чтобы дать ей новое цветение. Никто об этом не упомянет, словно того и не ведает. Словно расстрелянные унесли с собой тайну.

Там, где начинается едва заметный спуск, провожатый попросит остановить машину и, показывая вправо на хорошо возделанный горный склон, скажет:

— Там.

И ты не увидишь ничего из того, что представлял себе, слушая рассказ о случившемся здесь. Нет никакого родника. Склон полого поднимается вверх. Впрочем, может быть, раньше это был пустынный холм, а теперь здесь распаханное, засаженное поле.

— Хочешь выйти?

— Да.

Ты выходишь из машины. Перепрыгиваешь через небольшую канавку. Наконец ты на месте.

Ранняя весна. От земли поднимается прохладный пар, и день обещает быть теплым. Виноградные лозы, деревья, сплетение веток, отягощенных почками в круглых гнездышках из белесого пушка,— золотящиеся в утреннем свете волосы, щеки молодых парней, и неясно пока, какими они потом станут. Такой же неясной кажется музыка приближающихся пчел. Их не видно — жужжание долетает издали, а может быть, из-под земли. И вспоминаются огромные кладбища на прирейнских полях и в Бретани, бесконечные ряды белых памятников, выстроившихся на зеленой траве. Когда ты идешь, осторожно ступая, музыка словно доносится снизу — ее в своем усердии даруют тебе солнце, маки и пчелы. Что ты можешь сказать? И сделать? Ты стоишь, мысль твоя дремлет; бурное цветение, подобно музыке, заливает все вокруг в это весеннее утро, и как бы в оправдание и вместе с тем в утешение тобой владеет единственное чувство и единственная мысль. Ты весь во власти воспоминаний, которые будоражат пчелы и почки, тусклое утреннее солнце, скатывающееся на тебя с вершины горного склона, да еще вид распаханных и кое-где зеленеющих полей — все это замечательное продвижение равнины сюда, наверх, в этот засушливый, безжизненный и суровый край — таким ты знал его прежде. И вдруг тебе кажется, что ты извлек из земли голос своих братьев, и он словно спасительная тайна. Твои чувства, такие горькие, освещаются мыслью о лучезарной заре. Пусть живые приходят с серпами на поле, обагренное и напоенное вашей кровью. И с жужжанием пчел в крови ты покидаешь эти места. По сырой траве спускаешься вниз. Предаешься светлой скорби и чувствуешь: на коромысле весов тридцати с лишним лет уравновешиваются два груза: погребение в земле и твоя утренняя печаль. Там, в глубине, корни, а здесь, наверху, цветущая поросль. «Для дерева есть надежда [1]». Если его срубают, оно дает новые влажные ростки и опять цветет; а если корни в земле дряхлеют и среди камней погибает ствол, «лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное» [2]. Вот что припоминается тебе, и, понурившись, ты спускаешься по влажной траве со склона. А подняв голову, видишь ожидающую тебя машину. Небольшое облачко — и ум мутится. Видишь и улыбающегося тебе водителя. Он твой старый школьный товарищ. Однако сейчас ты его не узнаешь и не приветствуешь — на его месте ты представляешь другого. И там, в машине, куда ты должен сесть, тебе кажется, сидит другой. Ты слышишь, как они обмениваются несколькими словами, и погружаешься в ад: провожатый спрашивает, можно ли здесь развернуться, и водитель дает ему знакомый ответ:

— Нет, нельзя, слишком уж здесь узкая дорога.

Горькое возвращение. Проезжая овраг с речушкой и окруженную платанами церковь — она тебе как будто знакома,— ты видишь, что перед ней толпятся женщины и дети. Они говорят, что сегодня праздник, и предлагают тебе остаться. Ты отрицательно качаешь головой, опускаешь ее, и с твоих уст срывается фраза, словно поймавная на лету — теперь ты убеждаешься, что эти слова верны,— и твердишь, упорно повторяешь: «Мертвые на возвышении — первые участники праздника» [3].

И тут же точно доносится эхо выстрелов, и кулак топором опускается на твое раненое колено. «Дрянь! Дрянь!» — бранишь ты себя. И снова возвращаешься к той,

---

[1] Библия, кн. Иова, XIV, 7.

[2] Там же, XIV, 9.

[3] Из стихотворения «Сопротивление» греческого поэта А. Сикельяноса (1884—1951).

другой фразе, совершенно не предполагающей жестокой иронии. На каком возвышении? И что это за праздник?

Обезумевший ратник, ты только что узнал о поражении и предаешься мыслям о гибели. Ослабляешь поводья, и конь твой несется стремглав. Сроду не скакал ты на таком необузданном коне. Вы оба стремительно мчитесь. И позади остается все это, утопающее в крови и справляющее на костях праздник. Все то, что в твоей душе. Так ты скачешь, пока ие почувствуешь запах конского пота. Ты проводишь рукой по спине, бокам и груди лошади. На твоих пальцах следы крови. Тогда ты принимаешься осторожно вытирать пену с морды лошади, расчесывать гриву, говоришь ласково: «Успокойся, мой друг», «Успокойтесь, друзья», «Успокойтесь, братья». А как же иначе? Вот, постепенно замедляясь, и прекратилась эта сумасшедшая скачка. Соразмеряй опять свой шаг, спускайся к дороге — ведь вы остановились там ненадолго, ты и твои спутники. Вы как бы снова знакомитесь; выпив здешнего вина, молча поминаете покойников. Друзья что-то говорят тебе, ты их слушаешь. Но в ушах твоих до сих пор стоит жужжание пчел и музыка твоей молодости, той легендарной эпохи, чьи призывы, может быть, наивны, но в них наивность молодости. Их смысл, возможно, опровергнут беспощадной действительностью, но они как солнце, маки и пчелы, по-прежнему звучат музыкой, к которой тебе надо снова прислушаться и ей довериться, именно так сказал твой дядюшка: не изменяй себе и полагайся на судьбу.

Тетушка оставила полгоршочка простокваши кошкам, а дядюшка — мышам. Пришло время идти спать.

— Мы сразу ие засыпаем, но пора ложиться. Ты, Ламброс, будешь спать в гостиной.

Тетушка упорхнула и принесла, словно ей ничего не стоило, матрас, подушки, простыни, одеяло; все это были вещи Младшего. Ламброс испугался, увидев, что она тащит такую тяжесть:

— Не надо, тетя, я сам...

Он лег не раздеваясь. Сегодня вечером все сразу на него навалилось. Тяжелый груз. Трудно было свыкнуться с запахами дома, такими застарелыми. Дядя за стеной во сне скрипел зубами. Ламброс встал, зажег свет, прикрыл плотнее дверь, ведущую в комнату тетушки. Достал из портфеля большую записную книжку. Он не знал, с чего начать, но потом дело пошло.

...За работой и застал его дядя, который поднялся еще затемно. Стол был завален исписаниыми листами. Дядя поздоровался с Ламбросом. Подошел к балконной двери, приоткрыл ее, чтобы выветрился табачный дым. Затем присел напротив племянника.

— Я тебе не помешаю? — спросил он.— Посижу немного. По утрам я хожу в кофейню. Пью там кофе и пропускаю рюмочку-другую.

— Нет-нет, не помешаете. Сидите, дядя.

Они молчали. Дядя смотрел на ворох бумаг. Лицо старика было свежее и оживленнее, чем вчера, а во взгляде сверкал насмешливый ум. Ламбросу хотелось спросить: «Как вы спали?» — но он ие решился. Чувствовал, что дядя смотрит на него, будто сама судьба.

— Что ты пишешь, Ламброс? — вдруг заговорил дядя, готовясь подшутить над ответом племянника.— Я тебя понимаю,— продолжал он.— Но напрасно стараешься.

— Почему?

— Не надейся, сынок, их разжалобить. Не будь наивным. Это те же самые люди. Они знают все не хуже нас. Что нового ты им скажешь?

Ламброс и сам думал примерно то же. Но ночью, когда чувства преобладают над разумом, его сомнения смыла ночная волна; к тому же иадо было что-либо предпринять, имея на руках дядиио прошение.

— Если непременно нужно, запиши только ради памяти,— с улыбкой сказал старик.— А я пойду в кофейню. Хозяин уже открыл, я слышал, как хлопнула дверь.

И он встал с места. Но потом снова сел и положил руку на записную книжку Ламброса.

— Знаешь, сынок, что самое худшее? Они не только не станут этого читать, но в одной руке будут держать бумагу, а другой почесываться.— И он показал, как обычно чешутся люди, ведущие сидячий образ жизни.— Поэтому не пиши. Или, может быть, напиши, а им ие давай. Не мечи бисер перед свиньями. Запиши, говорю, ради памяти... Ты сегодня уедешь?

— Да, утренним поездом.

— Поезжай с богом, а я пошел. Андонису передай, чтобы не торопился. Пусть спокойно закончит свои дела и приедет, когда сможет. О нас пускай не беспокоится.

Он опять встал и пошел к двери. Не летя, а тяжело ступая налитыми свинцом ногами и опираясь на палку. На пороге он обернулся:

— Я, передай ему, проживу еще два года, ровно два года. Потом закрою глаза, уйду к своим братьям, сестрам и сыновьям.

Он посмотрел Ламбросу в лицо. Тот побледнел, но выдавил из себя улыбку.

— Передай то, что я тебе сказал,— продолжал дядя.— Два года... Ты здесь попьешь кофе. Тетушка тебе сварит.

Вскоре стало слышно, как он спускается по лестнице. Потом он прошел под балконной дверью, направляясь к кофейне. Ламброс вспомнил его слова про рюмочку-другую. От других он слышал, что старик выпивает восемь подряд. И однажды хозяин кофейни подал ему одну, разбавленную водой, а когда, получая деньги, нагнулся над столиком, заработал пощечину и больше на обман не решался.

Ламброс привстал, хотел посмотреть на дядю с балкона, но тут вошла тетушка с подносом.

— Добрый день,— проговорила она тихо и деликатно.

Тетушка, кроткий, добрый дух равнины, не изменила своих сдержанных, спокойных манер, войдя в семью грубых горцев,— ее, молоденькую и неопытную, привезли невестой в этот суровый горный край. Дрожащими руками она поставила на стол поднос с кофе и сухариками. Поднос колыхался, но кофе не разлился.

— Пей на здоровье,— улыбнувшись, сказала она, и ее улыбка была особенно теплой.

Ламброс внимательно посмотрел на нее и тоже улыбнулся — сердце его учащенно забилось.

— Ты же Ламброс,— довольно робко сказала она, но, как видно, загадка была ею разгадана.

— Да, тетя...— Он готов был подпрыгнуть от радости.

— Я тебя узиала.

Застыв, она продолжала глядеть на него,— и опять на него смотрела будто сама судьба.

Тетушка поспешно поднялась с места.

— Кто-то идет. Твой дядя, наверное, прислал покупки.

Донеслись шаги, кто-то прошел под балконом.

Ламброс остался один в гостиной. Внизу постучали в дверь. Он услышал обмен приветствиями на лестнице и обычное утреннее щебетанье женщин. Он выпил кофе и съел сухарик. После общения со стариками мысли путались, а голова казалась тяжелой и в то же время пустой. Бумаги, разбросанные по столу, уже потеряли всякий смысл. Он вспомнил слова дядюшки. Мудрый старик прав. Ламброс полистал записную книжку и решил, что попросит тетушку сжечь эти бумаги. Ему припомнилось «ради памяти», и он подумал: «Покажу их Андонису, когда он приедет. Раз я побывал здесь, то должен что-нибудь увезти. Пусть будет хотя бы прошение, подписанное дядей». И он принялся размышлять, как его лучше составить. Пересмотрел свои ночные наброски, остался ими недоволен, и ему пришли на память слова дяди о том, как прошение будут читать чиновники. Наконец он принял решение: «Надо сделать так, чтобы министр или кто-то другой бросил взгляд на бумагу и сразу понял, о чем идет речь, а потом уж пускай себе чешется сколько угодно». И он принялся набрасывать черновик.

■

ФЕРНАНДО НАМОРА

Река печали

РОМАН

Перевод с португальского ЛИЛИАНЫ БРЕВЕРН

Этот чудовищный эпилог (а может, апофеоз?) драмы «Фария Гомес — Бия» разрушил все планы Андре Бернардеса. А поскольку произошли и другие, не менее важные события, Андре не удалось ни посетить Терезу (а ему хотелось поговорить и с ее дочерью), ни поехать к родителям Родриго в их уединенный уголок, куда отзвуки далекой городской жизни доходили не скоро. Но об этом позже.

В настоящий момент Андре Бернардес дома. Он неожиданно быстро распрощался с Невесом и Феррейрой, впрочем, это желание бежать из квартиры Фарии Гомеса — вернее, из залы, где словно в сцене из трагедии возлежали тела усопших, а представители городских властей решали, как с ними поступить,— возникло у всех троих одновременно. Однако Андре все же подозревал, что Невес, отказавшись ехать с ним и Феррейрой в сторону редакции «Трибуны» (Андре должен был выйти чуть раньше), вернется в квартиру Фарии. Теперь Феррейринью и Андре Бернардеса Невес считал лишними: он намеревался побыть с другом наедине, побыть до того часа, когда станут появляться погребальные букеты цветов и постные лица одетых в траур посетителей, похожих на персонажей Феллини, которых он терпеть не мог.

И вот Андре Бернардес сидит, откинувшись на подушки диван-кровати, и смотрит на балки мансарды, расписанные под старое трухлявое дерево. Рядом столик на колесах, на нем рюмка виски, коробка трубочного табаку, томик «Лирики» Камоэнса с иллюстрациями чешского художника, на томике финская керамическая пепельница. Все видится, как в фильме о мексиканской пустыне, где копытами коня, уносящего на спине беглеца, подняты клубы пыли. Все будто вдали: и голоса, и движения, и шумы. Остро чувствуются только запахи: запах лака — им недавно покрыли балки; цветов, стоящих на подоконнике (в алентежском кувшине, эти цветы преподнес ему вчера читатель); ощущаемый до сих пор тяжелый запах квартиры Фарии Гомеса. Запах испражнений и крови? Кровь ведь тоже пахнет.

Так кончил жизнь его Принц. Завтра похороны. Слетятся черные «грифы», разразится красноречием в «Трибуне» Алсиндо (некролог напишет Феррейринья, но Алсиндо прибавит к нему выдержки из своего гребника), потом пойдут отклики в утренних и вечерних газетах, и все авторы некрологов будут клясться в горячей любви к Фарии Гомесу и мимоходом намекать на злоумышленное молчание не-

Окончание. Начало см. в № 3, 4.

понятно кого; хорошо воспитанные братья по перу придут с печальной миной оставить свою визитную карточку на традиционном подносе (и газеты упомянут их в числе участников похорон); вспомнив о своей горячей дружбе с покойным, они станут восклицать: «Мы так давно с ним не видались, если бы я знал...» Кастел-Бранко будет нетерпеливо поглядывать на часы: сколько времени уйдет на формальности, особенно на эти соболезнования коллег,— непростительная трата; он же, Андре Бернардес, отложив необходимые дела, погруженный в себя, вдруг окажется в укромном углу и будет время от времени наблюдать за тем, как очередной прибывший на бдение литератор горестно и укоризненно выгибает бровь, завидев кого-то, случайно затесавшегося в интеллектуальную элиту, и шепотом спрашивает: «А это что за тип?»— хотя, в общем-то, всех знакомых и незнакомых не так уж много и репортеру «Нотисиас» стоило труда сделать снимок, который бы создал впечатление, что проститься с покойным писателем пришли многочисленные поклонники, по дороге на кладбище кортеж еще поредеет: «Как неудачно, и именно в этот час...» — а когда Эйтор Кейрош, председатель Ассоциации писателей, начнет свою траурную речь, его будут слушать лишь те немногие, что остались страдать до конца. Завершающим словом будет, скорее всего, слово Кастел-Бранко, который скажет что-нибудь в этом роде: «А кто же оплатит похороны?» — ведь о том, что взнос с него обязательно потребуют, он думал, еще выходя из дома усопшего,— бродяги типа Фарии Гомеса побираются даже после смерти.

Спустя день, два, неделю, месяц все пойдет своим чередом, и в монотонном ритме будней вряд ли кто вспомнит Фарию Гомеса. Книголюбы, посещающие книжные лавки — эти храмы для избранных, прочтут из любопытства все, что им и о нем написано, включая хвалебные статьи в газетах, причем большинство сочтет себя обманутым и поклянется никогда более не верить газетному словоблудию; книги его начнут расходиться, но переизданий не последует: осторожные издатели уже сыты нераспроданными тиражами и неоправдавшимися надеждами, два года имя Фарии Гомеса еще будет мелькать на страницах антологий — узаконенный срок траура,— возможно, даже сохранится в том или ином школьном учебнике (что будет зависеть от идейных взглядов составителя), в первую годовщину смерти Андре Бернардес или Кастел-Бранко будет приглашен выступить по радио, и... мир праху его. Все, не исключая близких, придут к мнению, хотя его и не выскажут, что в этой жизни ничто не меняется с чьей бы то ни было смертью. Жизнь не дает смерти запугать себя, она освобождается от умершего, осмысливает его отсутствие и устанавливает церемониал, не дозволяющий горю пустить корни.

И хотя Андре Бернардесу все это было хорошо известно, в тот момент, да, по крайней мере в тот момент, он не хотел, чтобы так было. Ведь смерть Фарии Гомеса так или иначе уносила часть его жизни. Надменная гордость Фарии, его легендарный и дерзкий образ были как бы оборотной стороной его собственного «я» — нереальной, но влекущей, и он чувствовал, что с кончиной Фарии Гомеса многое уже умерло и еще умрет в нем самом, и не потому, что жизнь его лишилась чего-то привычного. Что он, Бернардес, собственно, представляет собой? Скопище персонажей и их тайных и не всегда понятных связей. Среди этих персонажей — Фария Гомес. «Он был вашим другом» — Андре Бернардеса потрясла эта фраза, сказанная Невесом в кафе, но с тем же успехом он мог бы считаться другом и Кастел-Бранко, и Невеса, и Феррейриньи, и любого другого из своих товарищей по ничем не приметным, долгим дням, таким же дням, как у Родриго (вполне возможно, домысленного?), мужа Терезы. И все же потерю Фарии Гомеса Андре Бернардес чувствовал сейчас остро, чувствовал отторжение части себя, так бывает с инородным телом. Как же все сложно и до невероятности преходяще. И бессмысленно. А

может, нет? Может, не бессмысленно, Андре Бернардес? Ведь Фария Гомес жил и умер так, как, по всей вероятности, и должен был жить и умереть. Необычно, театрально. И пожалуй, самое что ни на есть необычное — это то, что при всем своем высокомерии Фария Гомес был любим. И так любим, что многие заражались его иллюзиями и тяжело переживали их крушение.

Андре Бернардес выпил еще рюмку виски, и воспоминание о Фарии Гомесе стало тускнеть. Он стал думать о Терезе, Марте, Родриго, о самом себе. Неужели, в какой-то момент остановившись в своем творчестве и ожидая неизвестно чего, он так и не выйдет из тупика, в котором оказался? А что, если оживить Фарию Гомеса на страницах романа (ведь «оживление» персонажей «оживило» бы и его самого), вдруг у него хватит духу на такой подвиг, ведь тогда его ощущение духовной пустоты, разъедающей душу никчемности если не исчезнет, то хотя бы ослабеет. Ну и что? Ведь с каждой новой книгой он все больше замыкался в себе, предаваясь новым иллюзиям. Короткая вспышка, после которой все погружается в еще больший мрак. И тем не менее ему не устоять перед искушением, ни ему, ни кому-либо другому: лучше иллюзия, чем бегство от этой иллюзии, лучше горькое разочарование, чем отказ от пробы сил. Кто способен освободить его от этого? Жизнь?

Принц? Как ни странно, но этот герой, как и сама тема, перестал привлекать его. Ведь Фарию Гомеса, который любил пламенеющие сумерки и прогулки по ночному городу, безудержно фантазировал, посещал ночные сборища литературной братии, и Фарию Гомеса, метавшегося в горячечном бреду, декламировавшего стихи и в страхе звавшего Бию, отказавшуюся жить без него, разделяет такое обширное пространство, которое отделяет прозу жизни от высокого идеала. И первый из этих двух был нераздельно связан со вторым, однако говорить лишь о втором Фарии Гомесе было омерзительно. Тереза, Родриго — другое дело. Тереза, Марта и то, что делало одну именно Терезой, а другую именно Мартой, и не иначе.

Боже, как легко вещи впитывают запахи! Балки, цветы, рюмка с виски (только сейчас Андре заметил, что по рассеянности поставил рюмку на роскошное издание Камоэнса. Если бы Дорита увидела подобную небрежность, ему несдобровать! Ведь дом для нее существует, чтобы им любоваться, демонстрировать знакомым, а вовсе не для того, чтобы в нем жить: «О, Андре, на ковре опять пепел», «Ты вытер ботинки у двери?» — и тут же ему выдавались домашние туфли), трубочный табак, вода, корешки стоящих на полках книг. Из квартиры Фарии Гомеса, пожалуй, нескоро выветрится тяжелый запах, впрочем, через какой-нибудь месяц, когда там поселится новый жилец и вещи станут принадлежать новому хозяину, запах исчезнет, как исчезнут с полок книжных магазинов тощие, но блестяще оформленные книжонки Фарии и появятся другие, но никто из читателей ни с робким благоговением, ни от скуки листать их не будет.

Тереза. Он ведь отложил с ней встречу на конец недели. Не хочется идти к ней сейчас, сразу после смерти друга. Как она встретит? Обычной горькой и вместе с тем ласковой улыбкой и проникновенным взглядом, который тут же погаснет, спрячется в ей одной известном тайнике? Горечь сквозит в ее простоте и непринужденности, но в случае необходимости оборачивается презрением. У нее удивительная способность то присутствовать, то отсутствовать при разговоре. «Это опять вы, сеньор?» Самый обычный вопрос без какого-либо упрека или волнения. Этим вопросом она встретила бы и Феррейринью. Прошло уже столько времени, но никак нельзя понять ни ее отношения к мужу, ни ее собственного настроения. Ведь она все время рядом с раздраженной (а может, просто грубой?) дочерью. Время тянется в бесконечном ожидании, к чему Тереза придет: к отчаянию или смирению? Снова и снова вспоминая свою жизнь с Родриго

(«Я боюсь тебя, Тереза».— «Ты уже не раз мне это говорил. Почему?» — «Я знаю, что когда-нибудь ты меня заставишь страдать».), первые месяцы после свадьбы, потом заметное, но неизбежное отчуждение, а позже взаимное непонимание, она уже, должно быть, думает обо всем этом в прошедшем времени как о безвозвратно ушедшем. Андре даже казалось, что он слышит произносимые ею слова: «Раньше у нас было что сказать друг другу. Теперь нет. А это необходимо». Или как сказала бы Марта: «Он всегда был во мне, я знала, что он подумает или скажет». Обратите внимание: был — это и есть поворот к тому, что настоящее уже стало прошлым. Андре даже казалось, что он слышит, как по-иному звучит ее голос, как бы просветленный изнутри солнечным лучом: «Вы знаете, Сесилия теперь чаще бывает со мной. Она почти всегда дома. Мы много беседуем, а то и просто молча сидим, раза два она называла меня Терезой, а не мамой. Это меня даже растрогало. Теперь, когда в мои руки попадает ее дневник, я читаю его совсем иначе. Хотите посмотреть?» — «Что посмотреть?»— «Еще несколько страниц дневника, если это вам интересно». Она быстрой, но плавной походкой уходит в комнату, где хранит переписанные страницы. «Хотите посмотреть?» И Андре просматривает листки по диагонали, пока взгляд его не натыкается на следующее:

> Сегодня в нашем доме все молчат вчера была проповедь и прочая муть говорили что я ославилась на весь лицей и наша классная дама назвала меня «настоящим подарком» а когда на уроке истории мне шепнули что мною интересуются и Катарина чего-чего только не несет дрянь такая я конечно виду не подала что обижена но решила выдрать ей волосенки подкараулив на переменке. Потом передумала потому что у меня плохо пахло изо рта. И зачем мама во все лезет — сама виновата — а отец мрачен как туча хоть беги из дому. Удивительное дело когда я разозлюсь у меня начинает плохо пахнуть изо рта но это не от зубов нет. Я всегда думаю когда бываю с кем-нибудь из парней а чувствуют ли они этот запах но вот хотя бы Жоан в тот день когда мы ездили в Монсато на мне тогда были желтые туфли и я называла его Достоевским. Из машины я выскочила прямо под дождь и бросилась бежать между акациями мы бежали и от красной глины мои туфли стали такого же красного цвета. Все бежали от дождя точно от полиции прямо потеха смотреть. Дождь хлещет Жоан зовет обратно в машину говорит ты с ума сошла а я все бегу и бегу но потом все-таки вернулась и оказалась в его объятьях. Пообедать мы решили у него но я позвонила домой и сказала что пообедаю у Деолинды которая попросила меня с ней позаниматься а родители ее оставили меня обедать. Какая разница что врать они же все равно не верят. Обед у нас с Жоаном был шикарный белое вино консервированные фрукты. Настоящий пир. Он умеет все приготовить но мне было не по себе мне казалось что я веду себя как-то не так. Когда мы вернулись в гостиную он закурил трубку такую изогнутую как у голландских моряков а я сигарету. Поставили пластинку. Я закрыла глаза а он подошел ко мне и мы пошли танцевать тут он спросил меня почему я его никогда не целую. Почему никогда? Иногда целую. Нет не целуешь. Я все время от него отворачивалась это правда но ведь я же знаю что ждать что он на мне женится глупо он женится на другой и зачем я с ним? А вот расстаться духу не хватает. Ты Сеси всегда настороже. Вообще конечно я глупая и порчу себе жизнь как и все мы всегда сердимся друг на друга и грустим грустим как папа с мамой но почему?

И все это крутится изо дня в день в голове Андре Бернардеса, крутятся вперемежку и действительность и вымысел, так что не очень

отличишь, что где. Вполне возможно даже, что Сесилия ничего подобного не писала, хотя так же возможно, что все и было написано. Да и Тереза — опять же, возможно,— говорила ему о дочери один-единственный раз, при первом посещении, тогда же, когда и о родителях Родриго, и о клумбах герани, и шпалерах георгинов вокруг их дома, скрытого от постороннего глаза тесно стоящими соснами, и о матери, которая помнит Родриго в детстве: робкого, послушного и ласкового — словом, ее Родриго, и об отце, который сидит на каменной скамье в глубине двора, где сложены дрова на зиму; отец одинок, седая грива и потухший взгляд говорят, что он тоскует по городу и людям, «этим летом сорванцы подожгли кустарник, огонь дошел чуть ли не до дверей» (мать жалуется, кого-то обвиняет), «вон носятся эти лоботрясы» (с дороги слышится стрекот мопеда), «Родриго — хороший сын, но почему вы о нем спрашиваете?» — Родриго оказался между властной матерью и серой жизнью. Зачем кого-либо о чем-либо спрашивать, когда у него самого уже сложилось нечто связное об этом человеке — своего рода биография. И всякий раз, когда он, Андре Бернардес, будет обращаться к Терезе с вопросом о Родриго, она будет отвечать: «Для чего вам все, что я говорю, да и мне зачем эти вопросы?» — «Да так, чтобы вас послушать».— «А для чего вам меня слушать?» Вот так: вопрос — ответ, вопрос — ответ,— все глупее глупого. И все по поверхности, до тех пор пока Тереза не выпроводит его, Андре Бернардеса, за дверь, раз и навсегда отрезав: «Я устала». Когда кто-нибудь чем-нибудь сыт по горло и ему нечего больше сказать или нечем больше жить, он говорит именно это. Тереза устала. Да и он, Андре, тоже устал.

Кто был свидетелем событий 25 ноября 1965 года, самым важным из которых, несомненно, была новая стычка на южном берегу Тежо между рабочими с одной стороны и полицией вкупе с Республиканской национальной гвардией с другой: стрельба, убитые (кстати, сведения об их числе весьма красноречивы),— помнит их, как и все остальное, что за ними последовало. Впрочем, убитых хватало и в предыдущих столкновениях, а вот стреляли, стреляли 25 ноября даже в центре Лиссабона на Шиадо, откуда и гнали демонстрантов вплоть до площади Росио, и уж два-то человека угодили в тот день в больницу — это точно.

По поводу всего этого газеты предпочитали либо отмалчиваться, что, в общем, служило недвусмысленной и довольно распространенной формой протеста, либо давать ловко написанный репортаж, в котором говорилось о «хулиганах», «уличных подстрекателях к массовым выступлениям» и прочем, так что и молчание и репортаж, смысл которого тут же, между строк, улавливался, обсуждались в каждом кафе.

Вот это и явилось причиной того, что сообщения о раскрытии «тайны Абрантеса» (названия статей, как мы знаем, были разными, хотя все они давали повод к двоякому истолкованию случая, что вполне могло быть следствием требований цензуры: сдержанность и осторожность в выводах), набранные крупным шрифтом, появились на первых полосах газет, как только был обнаружен труп.

Труп, вернее не труп, а трупы — их было два. Ведь по чистой случайности в тот же день из грязных вод Тежо был извлечен утопленник, что и внесло путаницу в дело Абрантеса, так как очень многие читают одни заголовки и подзаголовки или в лучшем случае первые строки сообщения и считают это вполне достаточным, чтобы понять суть, а когда с ними начинают разговаривать другие, заявляя, что в сообщении говорится совсем не о том, то возникают споры, и чтобы их разрешить, сообщение читается от начала и до конца, что зачастую, надо сказать, вызывает изумление обеих сторон, поскольку за-

головок редко соответствует содержанию, а лишь свидетельствует о постоянной журналистской спешке: все срочнее срочного, все так, словно необходимо удержать безумца, собирающегося спрыгнуть с крыши высотного дома.

Так вот, что касается «второго» трупа (будем для ясности называть его так), то «Коррейо да Тарде», например, которая с самого начала почти не писала о Родриго Абрантесе, так как ей нелегко было состязаться с захватившей инициативу «Трибуной», дала заметку под следующим заголовком: «Упал в Тежо с набережной Колоннады» и подзаголовок: «Водолазы подняли со дна реки труп неизвестного молодого человека». Следом шел текст: «Сегодня до полудня еще не был опознан труп рыболова, который упал в Тежо у набережной Колоннады на Террейро-Посо.

Погибший — молодой человек лет двадцати пяти — удил рыбу, как вдруг упал в воду. Другой рыболов, находившийся в небольшой лодке неподалеку от утопающего, попытался спасти его, но тот пошел ко дну мгновенно. Час спустя труп из реки был извлечен.

Тело утонувшего доставлено в Институт судебной медицины. Для опознания трупа до сих пор никто не явился. Вполне возможно, что полиции в данном случае придется прибегнуть к дактилоскопии, чего ранее не делалось».

Сообщение о Родриго Абрантесе было совсем иным, и, читая его, можно было подумать, что в реке исчезает или обнаруживается такое количество людей — трудно и предположить. Когда мы любуемся Тежо, то видим величавую, широкую, своенравную реку, по которой снуют маленькие, юркие лодчонки, гордо высятся застывшие громады трансатлантических лайнеров, и мысли наши уносятся к далеким землям, где она течет, к океану, в который впадают ее сердито пенящиеся воды, она манит нас вдаль, сулит приключения, мы думаем о суете человеческого муравейника на ее берегах и очень редко — о человеческих телах, погребенных в ее чреве или выносимых ею на берег все двенадцать месяцев в году.

Итак, один из трупов — неосторожный рыболов. Заурядное дело, не требующее никаких объяснений. А вот второй, очевидно,— Абрантес! Однако труп найден в таком виде, что установить причины, вырвавшие этого человека из привычного уклада жизни и лишившие его завидной должности только ради того, чтобы неделю спустя тело выловили и осталось только предать его земле,— пока не удалось. Тем более что и опознать тело нельзя (заметьте это!); ведь труп обезображен то ли драгой, то ли пароходным винтом, то ли еще чем-то.

Однако как бы там ни было: можно его опознать или нет, вынесен он на берег или найден в кустах — труп есть труп, это уже нечто осязаемое, и это кладет конец нашим безудержным домыслам. Человек умер, и это факт. А причины, даже если они и выходят за рамки обычного, должны волновать членов его семьи, это их дело. А читательский интерес всегда ограничен, читателю уже не терпится перевернуть страницу, особенно когда другие события отвлекают его внимание, как, например, столкновение рабочих с отрядами полиции — подобное случается каждый день и каждый час,— они не доходят до смертельных сражений только благодаря принимаемым мерам предосторожности. Толпы людей у фабричных ворот, лозунги, выкрикиваемые и падающие в толпу, как семена в землю, отчаянная храбрость, порожденная гневом и страхом, и следом — тишина, зловещий топот по мостовой, крик, скорее угаданный сердцем, чем услышанный, и выстрелы и убитые. Сколько их? Каждый называет разные цифры. Три, тридцать, триста? Такая неточность свидетельствует об отчаянии и несдерживаемой ярости, а может, разочаровании. Однако сколько б их ни было: три, тридцать, триста — труп Родриго, как видно, сверх этой цифры, и его странный случай обманул читательское ожидание, и интерес живых к нему, мертвому, пропал.

К тому же сообщение речной полиции, переданное в тот же день органами печати, закрыло дело, и оно на законном основании перекочевало в архив, к удовольствию тех, кто еще вчера интересовался его судьбой, ведь в жизни каждого, кроме забастовок, волнений, неурядиц социального характера, было и многое другое. Ну, хотя бы свои собственные дела. Разговоры в кафе, домашние заботы, отсутствие хороших игроков в «Спортинге». И еще страх потерять работу, счет бакалейщика, прохудившиеся ботинки, которые следует отдать в починку, ограбление среди бела дня старухи соседки рецидивистом, проникшим в дом под видом страхового агента. Потом автомобильная авария: машина врезалась ранним утром в электрический столб и разбудила скрежетом весь квартал. Да еще это ужасное происшествие с ребенком, ехавшим по тротуару на трехколесном велосипеде, его ранил молодой человек, пробиравшийся в здание, где находилось много разных учреждений, он выстрелил с перепугу — за ним погнался привратник (сторожевой пес обязан быть свирепым, за то его и кормят). Как выяснилось позже, этот молодой человек — совсем еще мальчишка — только что вернулся из Африки, несколько месяцев не мог найти работу и залез в дом, чтобы взять то, что плохо лежит, а револьвер был им прихвачен с военной службы.

Вот полный текст сообщения речной полиции:

«1. 17 ноября 1965 года в 18.30 из Баррейро в Лиссабон вышло судно «Алентежо», принадлежащее Португальской железнодорожной компании. При подходе к пристани «Юг и Юго-Восток» у Террейро-до-Пасо пассажир Артур Диас сообщил контролеру Жозе Араужо Белото, что всего несколько минут назад видел за бортом тонущего человека.

2. Контролер сообщил об услышанном матросу Антонио Виейре Рейсу, который, вопреки своим обязанностям, не поставил тут же в известность о случившемся капитана судна, а сделал это только тогда, когда «Алентежо» готов был отшвартоваться.

3. Поскольку время было упущено, к поиску утонувшего не приступили, сочтя любую попытку подобного рода бесполезной из-за плохой видимости.

4. При осмотре судна были обнаружены оставленные на нем предметы: дамская сумочка, пустая, очевидно украденная и очищенная вором; бежевый мужской плащ, в одном из карманов которого находился билет до Баррейро и обратно; кошелек с мелочью и мужская шляпа, сильно поношенная, с трудно опознаваемыми инициалами на подкладке, первый из которых можно принять за «Р» или «Б», а второй, более стертый, за «М» или «Н».

5. Плащ был передан капитану пассажиром, который его обнаружил еще до осмотра судна.

6. Расследование, произведенное речной полицией, позволило установить следующее:

а) Матрос Антонио Виейра Рейс, будучи уведомлен контролером о происшествии, направился на корму, но никого не увидел и решил не сообщать об этом капитану судна, поскольку счел тревогу ложной — подобное, как известно, случается.

б) 22 ноября на пляже в Крус Кебрада был обнаружен труп мужчины, опознать который было трудно из-за многочисленных ушибов и рваных ран на всем теле, в том числе на лице и руках.

в) Занявшаяся этим делом уголовная полиция предположила, что речь идет о том самом человеке, который несколько дней тому назад исчез, уйдя утром из дому. Это предположение подтвердили родные и друзья исчезнувшего, которые опознали труп Родриго дос Сантос Абрантеса — сорокатрехлетнего служащего конторы фабрики по производству электробытовых приборов, сына Жоакина дос Сантос Рейса Абрантеса и Кандиды Перейры дос Сантос, уроженца Лиссабона, проживавшего на проспекте Тристана-да-Куньи, 28,6, правая сторона.

7. Однако в полицию обратились несколько человек, утверждавших, что они видели Родриго дос Сантос Абрантеса уже после опознания, правда при обстоятельствах, затрудняющих непосредственный контакт: входящим в метро или на железнодорожных станциях. В квартире Родриго дос Сантос Абрантеса продолжали раздаваться все те же телефонные звонки, после ответа на которые в трубку дышали, но не произносили ни слова, что, в общем-то, не поддается объяснению.

8. Уголовная полиция — совместно с речной — еще раз опросила свидетелей, которые утверждали, что видели Родриго дос Сантос Абрантеса живым. Двое из них подтвердили свои показания, а остальные, засомневавшись, отказались от них.

9. Данные судебно-медицинской экспертизы позволяют прийти к выводу, что обнаруженный труп, несмотря на затрудненность опознания, является телом Родриго дос Сантос Абрантеса; смерть наступила в результате удушья».

После некоторых колебаний начальника уголовной полиции, которого не устраивал пространный и не очень определенный текст сообщения для печати (слишком уж много сомнений, черт побери, зачем о них трезвонить), он все же без изменений был разослан редакциям всех газет, опубликовавшим его или полностью, или в сокращенном виде. Так что добавить, как говорится, нечего — вопрос исчерпан.

Однако в редакции «Трибуны» отнеслись к этому иначе. Главный редактор подозвал репортера, протянул ему сообщение и небрежно-иронически бросил:

— Вот тебе и труп. Твоего владельца плаща.

— Уже знаю.

— Откуда?

— Я был на месте опознания.— Феррейринья выдержал изумленный взгляд шефа, потер указательным пальцем правую ноздрю и склонил голову набок — верный знак, что собирается бросить вызов шефу.— Публиковать?

— Что публиковать?

— Сообщение.

Ответ вроде бы подразумевался, но в лаконичном вопросе репортера шеф почувствовал подвох и решил повременить:

— Меня это не волнует.

— Да, но без вашей санкции...

Похоже, Феррейринья хитрит. Попробуем вытянуть из него, что он там задумал...

— Возьми из сообщения самое важное. И покороче, ничего путного из этого все равно не выйдет. Только не фантазируй. Самую суть на полдюжины строк, и все. Без картинки. Радуйся, кончилась твоя игра в детектива.— И главный углубился в груду бумаг на своем столе. Однако лицо его с каждой минутой принимало все более и более озабоченное выражение. По всему было видно, что ему не дает покоя какая-то мысль. И в самом деле, взглянув на репортера поверх стекол пенсне в форме полумесяца, он вдруг строго спросил:

— А что ты хотел сказать тем, что «был на месте опознания».

— Ничего особенного. Еще раз послушал, что говорят полицейские, члены семьи, служащие «Новилектры». Они были поставлены в известность, что труп найден. Да и в сообщении сказано то же самое, верно?.

— Ну и что? Чем ты решил меня обрадовать?

— Радоваться надо мне: ведь вы мне велели радоваться.

— Ну, ну, выкладывай все, не морочь мне голову.

— А что выкладывать-то? Его похоронят, и делу конец.

Однако по всему было видно, что шефа подобный ответ не удовлетворил.

— А сам-то ты уверен, что делу конец?

— А вы разве так не считаете? Ведь вы уже отдали мне распоряжение действовать в соответствии с сообщением полиции.

— Я не отдаю распоряжений, Феррейра, я просто довожу это до твоего сведения и сведения всех. И лишь выражаю свое мнение, сверяя с мнением всех остальных. Так что кончай валять дурака и выкладывай все начистоту. Другие газеты собираются раздувать шумиху вокруг этого дела или ставят на нем крест?

Заложив за щеку жевательную резинку и меланхолически окинув взглядом редакционный зал, Феррейринья сделал вид, что не замечает ехидного выражения Алсиндо, явно наслаждавшегося их диалогом.

— Что происходит в чужом доме, я сказать не могу.

— А в твоем?

— В каком моем, я не понимаю?

— В твоем, в твоем, здесь, в газете.

— Но вы же только что сказали, что́ надлежит мне делать.

Все находившиеся в редакции пребывали в крайнем изумлении: не часто услышишь подобный диалог, да еще между шефом и Феррейриньей. А тут еще шеф то ли пожелал доказать свой демократизм, то ли вспомнил о фирме «Новилектра» (он о ней совсем забыл), а для «Новилектры» публикации о ее сотруднике в газете — реклама.

— Ладно, в общем-то мы ничего не потеряем, если еще раз прислушаемся к тому, что говорят люди. Но шума не поднимай, понятно? Скажи, что считаешь нужным сказать, и на всякий случай оставь лазейку. Ведь в сообщении упоминается, что вроде бы кто-то видел Абрантеса в метро.

— Обычное дело в такой ситуации.

— Послушай, а не кажется ли тебе, что ты все знаешь лучше меня? А?

Феррейринья, ища поддержки, взглянул на Алсиндо, который явно оценил благодушие шефа (в тот момент ни один, ни другой не знали еще о предстоящей между ними отчаянной грызне по поводу некролога о Фарии Гомесе), и смело ринулся в бой:

— Может, и кажется.

— А катись ты... Публикуй выжимки из сообщения, и все, надоело мне твое ломание.

— О'кей.

Очевидно, по этой самой причине комментарии к сообщению речной полиции в «Трибуне» были скупыми. Тем не менее большинство читателей восприняли их как завершение темы, интерес к которой падал, но все же многое для них оставалось неясным.

Среди этих читателей был и Андре Бернардес. Пробежав заметку глазами, потом прочтя ее внимательно, он отнесся равнодушно к тому, что было напечатано, точно содержание заметки ему было известно заранее, а может, потому, что все то, о чем в ней говорилось, не оправдало его ожиданий — да и кто такой этот самый Родриго?! В общем-то, чужой ему человек. Возможно, притупилась его восприимчивость, особенно за последнее время (Андре всегда терзали сомнения, подчас это было своего рода почвой, на которой вызревали его поступки), или он подсознательно отвергал эту смерть, которая волей-неволей соперничала со смертью Фарии Гомеса,— а Андре никак не мог примириться с ней, и все прочее казалось ему преходящим, малозначимым, банальным и глупым. То, что он увидел своими глазами в квартире Фарии Гомеса, никак не укладывалось в его голове, казалось плодом воображения, трагическим спектаклем, мрачной аллегорией. Такого произойти не могло. (Нет, Андре, это произошло, и тебе нужно готовиться слушать как вдохновенные, так и фальшивые траурные речи и думать, что сказать самому: в своей речи ты должен быть независим и сдержан.

Удивительно, что телефон твой до сих пор молчит. Дай-то бог, чтобы тебя не втянули в неминуемую распрю между Алсиндо и Феррейриньей: оба они были друзьями Фарии Гомеса, а потому оба претендуют на львиную долю поминальных славословий на страницах «Трибуны»; скоро ты узнаешь, что победа останется за Феррейриньей. «Ну чистый кинобоевик, Феррейринья!» — восхищенно воскликнет шеф, прочтя его залихватский репортаж о смерти Фарии Гомеса, и тотчас торжественно-выспренняя проза Алсиндо отойдет на задний план, пойдет в рубрику «Культурная жизнь» — лепрозорий для любого занудства.)

Однако вернемся к сообщению «Трибуны» о Родриго Абрантесе. Из него совершенно четко следовало, что полиции надоела шумиха вокруг исчезнувшего человека, поднятая газетами, и она рада возможности реабилитировать себя. Но использовала она ее из рук вон плохо: отчет только сгущал туман, и ничего больше. Андре Бернардеса, познакомившегося с участниками драмы, одна деталь просто поставила в тупик: Родриго Абрантес переправлялся через Тежо рейсом из Баррейро, а не из Касильяса. А это совсем иное направление и совсем иной путь следования. Так ли это? Ведь Абрантес (то есть муж Терезы) переправлялся через Тежо десятки раз (зачем, с какой целью?), но всегда рейсом на Касильяс, только на Касильяс. Для них с Терезой (не следовало бы откладывать вторую встречу с ней, а теперь уже неловко) рейс Лиссабон — Касильяс — Лиссабон связан с приятными воспоминаниями о прошлом. И если предположить, что Родриго выполнял священный ритуал, то он никак не мог сесть на первый отходящий паром и тем более с пристани «Юг и Юго-Восток». Разве что... он почувствовал желание изменить маршрут (возможно, он хотел изменить все, что было для него обыденным и привычным: службу, возвращение домой) или был вынужден изменить всему. А может, произошло нечто важное, даже трагическое, что заставило его отказаться от обычного маршрута, и он попал в западню. Западню? Вон куда завлекло Андре его воображение. Да, «отклонение» от маршрута, и именно в этом нужно искать ключ к происшедшему. Но что, собственно, произошло? Утонул человек. Это факт неоспоримый. Хотя, возможно, и не такой неоспоримый, если говорить именно о Родриго. Труп-то изуродован, и тут утверждение речной полиции особенно бездоказательно. А ведь в эти дни как раз происходили другие события: столкновение рабочих с полицией, и тоже на берегу Тежо. И больше того — в Баррейро! Предположим, Родриго переправился через Тежо, скажем, один-единственный раз, со стороны Баррейро на этом самом пароме «Алентежо». Раздался выстрел, потом другой, по берегу бежали люди, преследуемые полицейскими,— все это было, Алсиндо беседовал с очевидцами,— потом еще выстрел, и человек падает в воду, винт парохода ударяет упавшего, он тщетно пытается удержаться на поверхности и тонет. Но в сообщении говорилось о человеке, который «тонул» у пристани Террейро-до-Пасо, стало быть, эта гипотеза отпадает. Ведь от Баррейро до Террейро-до-Пасо несколько миль. Тогда, выходит, самоубийство? Или преступление? Ничто из того, что мы знаем о Родриго Абрантесе, не подтверждает версию самоубийства: нормальная жизнь, без лишений и неуверенности в завтрашнем дне. Однако всегда ли экстремальные поступки обусловлены логикой? При крушении надежд, в отчаянии люди зачастую руководствуются импульсами, не подвластными логике или общепринятым нормам поведения. Это Андре знал. Каждый человек уникален, его индивидуальность неповторима. Это тоже знал Андре, и знала Марта. Вот строки ее письма:

«Когда мы познакомились, ты уже тогда говорил о «наслаждении от страдания, о гнетущем чувстве вины» и других подобных

вещах. Все это призраки, плод фантазии, но ты этим живешь, и потому я отношусь к этому с уважением. Еще ты говорил об «успокоительном отречении». Ты поднимал глаза к небу, что-то в тебе было от детской восторженности (вместо «детской» я бы могла сказать «смешной», но не хочу раздражать тебя этим словом — ведь это нехорошо, правда?). Но даже зная, как ты умеешь все драматизировать, ты мне нравишься таким, каков ты есть. И как бы ни было, я не жалею, что терплю муку, в которую превратилась моя любовь к тебе. И все чаще и чаще думаю, как было бы чудесно жить бок о бок с тобой, несмотря на все эти «страдания», которые ты обрушивал бы на меня всякий раз, желая насладиться собственным несчастьем.
Все, я свое нравоучение заканчиваю. Не сердись, не стоит. Накажи меня лучше каким-нибудь обманным словом. Маленьким, но вмещающим большую ложь. Когда ты скажешь мне его (но ты не хочешь его говорить, хитрец, обманщик!), то даже серенький день станет для меня солнечным. Я люблю тебя».

Крушение надежд и отчаяние не подходят... как и прочее. Тогда, Андре, что же остается, кроме вполне допустимой мысли, что человек с плащом был не Родриго? Припомни то, что ты говорил Феррейринье: шум, поднятый газетами вокруг исчезновения Родриго, может возыметь последствия. Общество не упускает даже случайной возможности слепить наш образ по шаблону и протестует, если мы его отвергаем. Родриго был темой дня, часа, его образ насильственно воссоздали из свидетельских показаний, и сам Родриго не мог остаться к нему безразличным. Все началось с самой первой заметки. Сперва он испытал удивление: нет, это не о нем, — потом постепенно и с удовольствием стал осознавать себя фигурой, которая хоть и не очень ему импонировала, однако избавляла от серой повседневности. Да он просто «герой», и с того самого момента он стал себя таковым чувствовать. Но подумай о Терезе. Представь себя на месте Родриго, когда он читал репортажи, объявлявшие (или прославлявшие!) его загадочной, смелой, незаурядной личностью. Да ему — этому загадочному, смелому, незаурядному — было просто заказано возвращаться к обыденной жизни никому не известного служащего «Новилектры». Как было заказано и вернуться к Терезе, всегда мечтавшей видеть его способным на дерзкие поступки; только это дает мужчине возможность не ощущать себя погребенным заживо.

Нет, похоже, на сей раз в своих фантазиях он, Андре, превзошел самого себя. И все из желания наделить других своими неудачами и неосуществленными мятежными порывами. Родриго для него всего лишь персонаж, вот он и творил его на свой лад, таким, каким он смог бы волновать своего творца. Так же он поступал и с Фарией Гомесом, и многими другими. А истина была в том, что он, Андре Бернардес, уже много лет ничего стоящего не публиковал. Так, кое-какие мелкие вещицы, написанные без вдохновения и риска для писательской репутации, «ловкие поделки», как называл их он сам, горько посмеиваясь над собой, правда, после изрядной дозы виски, когда особенно остро чувствовал себя неудачником. К тому же не скажи он сам этого о себе, скажут другие: все мгновенно чуют, когда чье-то творчество буксует, все следят за дирижерской палочкой светского Жесуса Амарала — полномочного выразителя «общих мест» из обихода парижских интеллектуалов, от которого, как правило, исходил приказ казнить того или другого беднягу, которому вдруг не хватало дыхания. Какие-то замыслы у Андре, конечно, возникали (он называл их «ссыльными»), он вдохновлялся, неделями разрабатывал подробный план, казалось, книга вызревала в голове (сюжет, действующие лица, обстоятельства и даже стилистические находки), но когда наступал без конца отодвигаемый момент сесть за стол и встре-

титься с белой пустыней бумажного листа, на нем не появлялось ни строки. А бывало и хуже: лист исписывался безо всяких усилий жиденькой бессодержательной прозой хорошо набившего руку сочинителя. Но ведь он-то всегда был писателем, который вкладывал душу в каждое слово и никогда не писал лишь бы писать, кстати, именно на это сразу обратил внимание Фария Гомес (потому, верно, в минуту откровенности Невес и называл Фарию Гомеса его другом? Но Фария Гомес умер, кто же остался? Где они, его настоящие друзья? Что за жизнь, черт бы ее побрал!). Теперь в том, что писал Андре Бернардес, не было души. А были одни слова, пустые, нудные, вымученные. Опять многодневная словесная жвачка, опять долгие бессонные ночи и опять новый худосочный замысел — похоже, он исчерпал себя. Не твори из меня кумира, Марта. Я не гожусь для этого, нет, говорю тебе о том уже не первый раз. Ты видишь меня таким, каким бы я хотел стать, а не таким, каков я есть. Вон ее первое попавшееся под руку письмо:

«Тех двух дней я не забуду никогда, хотя я получила от тебя, в общем-то, не так и много. Но они мои. Попытаться описать их — только исказить. Вот ты бы описал, Андре, ты — другое дело, волшебник слова, в которое вкладываешь и боль души, и волнение. Да, ты бы действительно мог «объяснить мне» то, что между нами произошло. Мне кажется, мы в разлуке целую вечность, а ведь прошло всего несколько дней. И меня не оставляет сумасшедшее желание оказаться подле тебя, преодолев многие разделяющие нас километры. Сегодня ровно восемь дней (а может, восемь месяцев или восемь лет?) как была такая же ночь, как сегодня: шумело море и от ветра качались сосны. Ночь была холодная, но холода мы не ощущали. Знаешь, Андре, это лучшее, что было у меня в жизни. Каждое слово твоих книг убеждает меня в этом, убеждает меня в моей любви к тебе».

Обманывалась ли Марта сама или старалась обмануть его? Он-то не обманывался. Последнее время один вид его собственных книг — красные с золотым тиснением корешки, что говорило об их предназначении украшать собой книжные шкафы самодовольных олухов, — раздражал его. Они были чем-то вроде альбома с юношескими фотографиями, который показывают гостям, когда старость уже на пороге. А как тяжело ему было их перелистывать, что же до перечитывания, то к этому он и вовсе не мог себя принудить. И все-таки он знал, вернее предполагал, что не исчерпал себя, нет. При нем — его мастерство, наблюдательность, чутье и, главное, мучительная потребность излить то, что накопилось или созрело в его душе. Не хватает лишь темы, которая неодолимо влекла бы к себе. Временами ему казалось, что огонек вот-вот затеплится, что внутри у него что-то ширится, растет, воля его крепнет, и он уже спешил встретить неожиданно объявившуюся волшебную гостью: на столе лежала стопка бумаги, любимые карандаши, ручки, пишущая машинка, она ждала своего часа, часа, когда наступал этап окончательной отделки, вплоть до запятых, и всегда, когда написанное оказывалось перепечатанным, как правило, оставалась еще уйма работы... И вот он принимался писать, но, исписав полстраницы, чувствовал, что волнение проходит и огонь угасает. А написанные строки — их было так мало — выглядели пустыми и жалкими. Между тем все зависело или должно было зависеть от импульса, который бы вытолкнул все то, что жадно рвалось наружу. И опять возникали тревога, поиск, разочарование. Опять начинались блуждания по улицам, бесконечные кафе, длительные отлучки из дома («Лучше не думать о том, где ты бродишь»,— говорила Дорита, встречая его потерянный, отсутствующий взгляд, когда мысли далеко, казалось бы, в только тебе одному из-

вестном месте, а на самом деле, сколь это ни смешно, не известном и тебе. Вряд ли кто-нибудь мог понять, как он страдал. Иногда ему чудилось, что он у цели, что того и гляди ринется в бой. Тогда у него возникало — или ему казалось, что возникало, — то чувство, которое перед поединком, очевидно, испытывают боксеры. Руки чесались, сжимались в кулаки, искали себе применения, ждали удара. И Андре сжимал и разжимал их, бил кулаком правой в ладонь левой, словно готовился к встрече с главным, беспощадным противником. Он подбегал к столу, сдвигал в сторону бумагу, оставляя дюжину чистых листов, которые так и просились под перо. Ну же, Андре! Прояви упорство. Плачь от ярости, но пиши! Пиши, пиши, правь, рви, бросай в корзину и начинай все снова, только не сдавайся. Это твой бой, Андре, твой бой! Ну же, поднимись на ринг и померься силами с самым трудным из противников — с самим собой, разочарованным, изверившимся. Сноси удары, от которых темнеет в глазах, и не обращай внимания на рев толпы, глотай кровь, что течет по лицу, но не сдавайся. Ты жив, Родриго, а не мертв. (Родриго? Но я говорил о себе, об Андре, что же со мной творится? Уж не чистейший ли плод моей фантазии этот самый Родриго?)

Одной рукой Андре Бернардес сжимает липкий от пота лоб, другой — рюмку виски. И тут ему приходит в голову, что именно в этой позе его не раз ловили фотографы, не сочли бы его за пьяницу. Выйти, что ли, на воздух? Отвлечься, побродить по городу. Побродить. Не это ли слово пришло ему в голову, когда он представил, как какой-то Родриго, испытав вдруг чувство свободы, наслаждается прогулкой по городу, забыв о времени, без всякой цели. Идти куда глаза глядят. До сих пор он не знал, когда состоятся похороны Фарии Гомеса; кажется, возникли какие-то осложнения с властями, однако Феррейринья обещал известить его заблаговременно, известить о дне и часе, а он, в свою очередь, известит Кастел-Бранко (Кастел-Бранко спросил его по телефону: «В котором же часу состоится эта канитель с похоронами? Может, пойдем вместе?» — «Давай, я тебе позвоню, как только узнаю». Когда речь идет о ком-либо, у него все — канитель, не иначе. Кто знает, может, Кастел-Бранко и прав).

Пойду-ка я пройдусь по той дороге, по которой шел Родриго. Но как только Андре спустился в лифте на первый этаж, он тут же изменил намеченный маршрут. Идя по улице, он все время поглядывал на обгонявшие его машины, а увидев свободное такси, замахал рукой.

— Проспект Тристана-да-Куньи, двадцать восемь, — бросил он водителю.

Это был адрес Терезы.

Я расставляю фигуры на шахматной доске. И это нужно делать бесстрастно (страстность понадобится позже, в конце), однако я далек от этого состояния. Мысли мои путаются, но гораздо хуже, что я пристрастен. Все, что я думаю о своих героях и событиях, в которых они могли бы участвовать, приправлено сменами моего настроения.

Взять хотя бы Терезу. Я заметил, что выделяю ее даже среди любимых мной персонажей, она постепенно заслоняет собой их, притупляет мой эмоциональный (только ли эмоциональный?) интерес, например, к образу Фарии Гомеса, не говоря уж о всех прочих. Да, интерес мой к нему утрачен, но совсем не потому, что он умер, нет. С его смертью следовало бы ожидать как раз обратного, имея в виду трагическую, эффектную развязку. Однако Тереза победила — это так. (Кстати, в кафе как-то Алсиндо заговорил о литературном наследии Фарии Гомеса, которое, по его словам, должно быть солидным: ведь он публиковал далеко не все, что писал, и мы должны взять на себя роль душеприказчиков, чтобы спасти его рукописи, пока домовладелец не произвел дезинфекцию в квартире; услышав это, Кастел-

Бранко спустился с заоблачных высот, куда воспарял всякий раз, когда тема разговора не представляла для него интереса, и спросил: «О чьем наследии вы говорите?» Озабоченный, серьезный, Алсиндо ответил: «О наследии Фарии Гомеса. У него должно быть много неизданного». Презрительно скривив рот, Кастел-Бранко заметил: «У него-то? Разве что счета от бакалейщика».)

Так вот, самым сложным для меня и самым волнующим персонажем стала Тереза. И появилась она на сцене тогда, когда сцена была предоставлена совсем не ей. А почему? Ответить на этот вопрос довольно трудно, хотя кое-какие предположения напрашиваются сами собой: во-первых, я продолжаю держаться мнения, что все происшедшее с Родриго находится в прямой зависимости от личности этой женщины; и во-вторых, меня влекло к ней (признаюсь честно, не скрывая), вполне возможно, потому, что наша первая встреча произошла при исключительных обстоятельствах и в несколько неправдоподобной ситуации, хотя все мы знаем, что неправдоподобие — выдумка литераторов, вернее, литературных критиков. Помнится, один из них (он может не сдержать отрыжки за столом, но носит корсет, чтобы быть элегантным в светских салонах) как-то обрушился на такую пустяковую деталь в одной из моих книг, как признание одной женщины, сделанное ею по телефону подруге в том, что она любовница ее мужа. На трехстах страницах книги его больше ничто не заинтересовало. Однако этого ему было достаточно и позволило осудить книгу в целом. Так вот, автор не один год корчился на костре творческих мук (а есть ли пытка страшнее?), обтесывал, как каменотес, каждую фразу и получил приговор, лаконичней которого не придумаешь: такое саморазоблачение по телефону звучит неправдоподобно. Все, точка. Книгу — на свалку.

Но я говорил о Терезе. Вторая моя встреча с ней была тягостной, можно сказать, полная неудача. Разумеется, моя неудача. Сначала она была приятно удивлена моим появлением, мне даже показалось, что она оживилась и почувствовала себя польщенной моим участием. (Конечно, это было не просто участие, но мы оба могли считать его причиной моего визита.) Потом постепенно (или сразу?) она преобразилась — стала холодной и ироничной. Ироничной и далекой. Более того — не скрывала своего презрения. Именно этого я и должен был ждать от Терезы в силу сложившегося о ней представления, и все же почувствовал себя в гостиной неуютно и тут же пожелал как можно скорее оказаться вне ее пределов. Взгляд Терезы устремился к какому-то несуществующему предмету, в уголках удивительно красивых и глубоких (бездонно синих) глаз залегли говорящие о явном неудовольствии морщины, а большим и указательным пальцами правой руки она принялась поглаживать ноготь безымянного пальца левой, — словом, всем своим отсутствующим видом меня выпроваживала.

Чем же было вызвано в ней желание от меня отделаться? Я ведь взвешивал тогда каждое слово и сейчас, вспоминая во всех подробностях нашу злосчастную встречу, так и не понимаю, что же произошло? Какое-то время спустя я даже пришел к заключению, что никакой «причины» и не было, что для Терезы «причина» вообще не обязательна. За ее вызывающей невозмутимостью, создающей впечатление внутреннего спокойствия, кроется неизбывная жажда потрясений, нежелание жить будничной жизнью. Родриго знал это хорошо. Вот потому-то он и не вернулся.

Так, попробуем прокрутить все сначала или хотя бы отдельные кадры: дверь мне открыла Сесилия и тут же позвала мать, явно не желая вступать со мной в разговор.

На Терезе не было траура. И даже на лице ее я не обнаружил приличествующего вдове выражения. Но она заметно похудела, черты ее приобрели землистый оттенок, и в них как бы проявились горь-

ко прожитые годы. И вообще она изменилась, хотя я затруднился бы определить, в чем именно заключалась эта перемена. Однако она продолжала улыбаться своей сдержанной улыбкой, не радостной и не приветливой, не идущей от сердца, а привычной.

— Я не ждала вас.

— Но вы разрешили мне навестить вас. Помните?

— Помню.

— Извините, если потревожил.

— Вы же знаете, я не люблю извинений.

— Виноват, я хорошо помню все, о чем мы с вами говорили прошлый раз.

— Я не считаю, что вы в чем-то виноваты, во всяком случае по отношению ко мне. — И совершенно другим тоном: — Входите, пожалуйста, я сейчас.

Когда она вернулась в гостиную, на ней были лодочки на высоком каблуке. Я понял, что ей было неприятно, что я застал ее в домашних туфлях.

Каждый из нас сел на то же самое место, что и тогда, это мы отметили оба, но, улыбнувшись, промолчали. Сесилия к нам не вышла, хотя мне показалось, что Тереза ее пригласила.

И вот Тереза передо мной в знакомой мне позе: чуть подавшись вперед и сложив на коленях нервные руки, смотрит на меня вопросительно. Почувствовав мое смущение, задает вопрос первая:

— Вы уже что-нибудь написали?

— Нет, все обдумываю.

— Я так и не приобрела вашу последнюю книгу с тем красивым названием. Не то настроение...

— Понимаю. Если разрешите, я вам ее на днях пришлю. Но мне не хочется, чтобы вы ее читали сейчас.

— Почему? — В ее вопросе слышался вызов.

— Думаю, сейчас не время.

Тереза хотела было меня поставить на место, но сдержалась и уставилась в пол. Пожалуй, с этой самой минуты все и изменилось. Неожиданно выпрямившись, точно собираясь дать отпор противнику, она сказала:

— Вы пришли обсудить со мной сообщения полиции, так?

— Нет-нет... Я просто зашел навестить вас, повидать. Узнать, как вы.

— Тогда я должна поблагодарить вас за любезность.— Ее задрожавшие ноздри выдали иронию этих слов.

— Любезностью, в общепринятом смысле, я никогда не отличался.

— Но раз уж вы шли сюда, то, разумеется, надеялись, что кто-нибудь из нас затронет интересующую вас тему.

— Возможно.

— Тогда в чем же дело, приступайте сразу.

— Да, но я хотел, чтобы тема разговора — любая — возникла сама собой, у нас ведь с вами есть о чем поговорить.

Тереза задумалась, выражение лица ее смягчилось, руки, сплетясь пальцами, замерли на коленях.

— Все это так тягостно, так отвратительно, и, главное, не с кем поделиться.

— А с дочерью?

— Вы же знаете, с ней нелегко. Правда, последнее время Сесилия переменилась к лучшему, она как-то повзрослела. Всячески старается поддержать меня, но она сама не в лучшем состоянии, ей, возможно, даже хуже, чем мне. А потом, все, что закрутилось вокруг нас и Радриго, так ужасно, и люди такие ужасные.

— Могу я чем-нибудь помочь вам?

Она пронзила меня своим смелым, решительным и жестким взглядом:

— Вы действительно хотите помочь? Сомневаюсь. Я бы предпочла, чтобы вы были искренни, вы же знаете, мне понятно ваше любопытство, оно-то и привело вас ко мне снова. Так скажите, что именно вас интересует?

— Вы меня просто пригвоздили к позорному столбу. Я думал, что мы поговорим с вами как друзья...

— Разумно.— Помолчав, она как бы обретает утраченную уверенность: — Хотите кофе?

— Нет, спасибо.

— Тогда допрашивайте.

— Вы же с самого начала согласились, что мой разговор с вами не допрос.

— Да, согласилась, допрашивайте.

— Ну, пусть, раз вы настаиваете, скажите: допускаете ли вы, что ваш муж плавал на пароме в эти последние дни, когда он отсутствовал? И почему он отсутствовал?

— Вы читали сообщение? Там все сказано.

— Но это сообщение писали не вы.

— Нет, разумеется. Все эти сообщения — пустая болтовня.

— Не сильно ли сказано?

— Это так и есть.

— Что?

— Сообщение — болтовня.

— У вас есть конкретные основания, чтобы называть так сообщения?

— Что вы имеете в виду под словами «конкретные основания»? И почему вы употребляете слово «отсутствие». Тот, кто отсутствует, жив.

— А ваш муж...

— Вы же читали газету: мой муж умер.

Последняя фраза прозвучала приговором. Кому он адресован? Родриго? Я почувствовал именно это. Однако странно: ведь приговор-то выносился живому Родриго, ведь подобным приговором можно было метить только в живого.

На этом, пожалуй, я кончу прокручивание ленты. До поры до времени. И до поры до времени со своей шахматной доски не сниму фигурку Терезы — она меня еще интересует. У меня есть еще возможность обдумать последовательность фактов, боюсь, что на «обдумывание» (Феррейринья называет это — не скажу, что удачно,— «изыскательством») повлияет то впечатление, которое произвела на меня вторая встреча с Терезой. Непоколебимым остается только то, что Родриго любил эту женщину, любил и готов был за нее умереть, хотя ржавчина повседневности вполне могла свести их любовь к взаимным упрекам.

Что же, к этой теме мы еще вернемся, а может и нет, как знать. Я получил обещанное Мартой письмо или, вернее, получил от нее письмо с обещанным «дневником» (пока назовем это так) возлюбленного ее сестры, который воюет в Анголе. Чтение этого письма меня растревожило, особенно потому, что оно ведь миновало сито цензуры, и все же той встречи с действительностью, на которую рассчитывал, я не получил. Но мне захотелось сопоставить написанное в письме с тем, что пишут газеты (Феррейринья — человек верный, он обещал сделать для меня подборку), очень возможно, что это сопоставление даст моему мозгу определенную пищу, которой он будет хоть и недолго, но питаться, а возможно, в моей трудной, шахматной партии появится и новая фигура.

Начнем с письма Марты, оно в ее обычном стиле.

«Андре,
у меня есть три свободных часа, и я решила использовать их, чтобы отправить тебе обещанный дневник Энрике,— надеюсь, в нем ты найдешь «хороший материал». Три часа условной свободы, в течение которых я могу тешить себя иллюзиями, что я сама себе хозяйка. Когда же придет поезд, с которым приедет он, я, кроме того, что буду вынуждена терпеливо сносить свою участь, ничего не смогу сделать. Так вот, с тех самых пор как я во Франции, я живу в среде эмигрантов, не знаю, сколько веков подряд не верящих в свою родину, но связанных с ней пуповиной ужасающих страданий. Когда я вижу поезд, то смотрю на него без особого волнения; но если этот поезд везет меня во Францию или кого-либо привозит сюда, мною овладевает это самое особое волнение. Ненавижу поезда, как никогда никого и ничего не ненавидела. Теперь мне достаточно увидеть локомотив, и у меня на глаза наворачиваются слезы. Ребячество, скажешь ты и будешь прав. Да, во мне живет девочка, девочка, женщина и, надеюсь, будет жить старуха. Которая же из них возьмет верх над всеми и вынудит выражать себя? Я учусь задавать себе вопросы, не очень задумываясь над единственно возможными ответами. La sagesse, tu sais? [1] Мне тридцать три года — возраст Христа. И со мной что-нибудь да случится! Просто необходимо, чтобы Марта прошлого умерла, а родилась другая: менее неуверенная и более взрослая. Посвятить себя только себе самой трудно, но со временем придется.
Все это я в общем-то тебе говорю только потому, что предчувствую — мы больше не увидимся. И ты, чтобы отвести это предчувствие, не пошевелишь и пальцем. Обстоятельства выше нас и, надо сказать, с тобой заодно. Ты считаешь, что не создан для счастья, и наслаждаешься страданием. Страдание для тебя — снадобье, доставляющее наслаждение, а отречение — желанное благо. Не верится, что ты получил религиозное воспитание. Хоть ты и понял, что высший дар природы не жизнь, а любовь. Я это поняла, увидев один фильм. Но любовь не для тебя, мы знаем оба. Говорю тебе все это, Андре, абсолютно спокойно. Без малейшего желания обвинять. И знаешь, почему я прихожу к выводу, что мы больше не увидимся? Об этом говорят мне сны, мое подсознание: во всех моих снах ты всегда уезжаешь. Исчезаешь, как вода в песке. И я стала свыкаться с этой мыслью. А придет день, и я подумаю о тебе как о далекой и недостижимой звезде. Звезде сверкающей и одинокой. И посмеюсь над собой, тянувшей руку к звезде, чтобы ее потрогать. Да, я похожий на крылатого Пегаса ребенок, резвившийся в дюнах Армоны. Дети ведь наивны и мечтательны, им неведомы правила игры для взрослых. Чувство утраты, которое меня мучило, исчезло. Теперь думаю о тебе с легкой грустью, она живет во мне, но уже не терзает. Думаю, что со временем пройдет и она. Все: прошлое, настоящее и будущее — все пройдет. Люди, бедные, ограниченные существа, видя, что прошлое, настоящее и будущее не существуют, а существует время в своей неизменной бесконечности, выдумали время, часы и числа. Вот, например: когда я о тебе мечтаю, я представляю тебя тридцатитрехлетнего. И оба мы на пляже, на пляже какого-то острова, возможно необитаемого, возможно даже Армоны. На необитаемых островах время не движется. Вот поэтому я и перестала думать о расстоянии и событиях, разделяющих нас. Я люблю тебя, и этого мне вполне достаточно. И если ты не любишь меня, это ничего не меняет.

[1] Это и есть мудрость, понимаешь? *(франц.)*

Я продолжаю быть надоедливой, но надоедливость моя теперь утратила значение. Я даже способна предположить, что это мое письмо не будет прочитано — ты прежде всего начнешь читать дневник Энрике и забудешь обо всем на свете. Бог со всем этим. Существуют же письма, которые никогда не доходят до адресата. Когда ты едешь в Израиль?

Марта.

P. S. Сколько раз я мечтала о таком совпадении! Я запечатываю письмо спустя два дня, после того как его написала, и вдруг получаю твое, а я — в гриппе: нос заложен, лицо отекло, как у пьяницы. Сейчас вечер, сижу у огня, он подсвечивает бумагу красным светом. Так приятно!

Все, Андре: солнце, тучи, жара, холод — повторяется. Цветы ставят в вазу, а когда они вянут, выбрасывают. Люди, которые входят в твою жизнь, волнуют тебя. Если бы не было нашего внутреннего мира, который значительнее и интереснее того, что нас окружает, жизнь была бы невыносимо скудной. В моем внутреннем мире живешь ты, живешь в воспоминаниях, которые не оставляют меня ни на день. Ты — самое лучшее и самое разрушительное, что было в моей жизни. Сколько же раз я тебе говорю именно это? Сколько раз повторяю? Как мне хотелось бы увидеть твою улыбку (такую редкую и так быстро исчезающую) — она подтвердила бы, что я тоже могу тебе дать нечто постоянное. Я не должна была тебе писать, знаю, но именно с этим-то я и не могу справиться, вот черт! Заполненные словами полторы страницы твоего письма (очень размашисто написано) мало говорят о тебе, но чувство, что я чужда твоей жизни, выражено весьма отчетливо. Я должна отказаться от тебя — раз и навсегда. Иногда я себя спрашиваю: а нельзя ли те дни («наши»), дни прошедшие, считать знаменательными датами? Конечно же, нельзя. А они, и это особенно важно, заполняют все мои сны. Я хотела бы выразить тебе это все как-то иначе, но голова моя сейчас ни на что не способна, проклятый грипп. Пройдет.

Вчера была в одном книжном магазине (он не только книжный)— в нем открылась выставка тряпичных кукол, все они очень симпатичные. Среди посетителей были и старушки, и шикарно одетые дамы, и представители творческих профессий. С одним из посетителей я разговорилась и обменялась мнением о «nouvelle bombe» [1] — детективный роман, опубликованный одним преподавателем Лос-Анджелесского университета. Ты хоть что-нибудь слышал об этом романе?

Надеюсь, твоей зимней спячке пришел конец: страницы дневника Энрике должны пробудить тебя. Напиши мне об этом хоть строчку.

Хочу, чтобы ты знал, что, несмотря на все мои усилия оставить тебя в покое, самое большое мое желание сейчас — помочь тебе в твоем душевном разброде. Думаю о тебе.

Неизлечимая
Марта».

Комментировать письмо Марты мне почему-то необъяснимо стыдно. Вернее, непозволительно. И так же стыдно и непозволительно анализировать все, что было между нами, хоть ничего по сути дела и не было — я уже говорил об этом; но ей все, что было, кажется чем-то необыкновенным. А может, и для меня это тоже что-то? Не знаю. Странно, но мне и не хочется знать, хотя, по выражению Феррейриньи, я «изыскатель» или «предмет изыскательства», не помню.

А вот страницы из дневника Энрике.

---

[1] Последняя сенсация *(франц.)*.

«3. 6. 65, 23 часа (по местному времени).

Сколько же раз, с тех пор как меня сюда отправили, я прибегаю к этой спасительной зеленой тетради, лежащей на моих коленях,— своеобразному кляпу. Воспоминания будоражат меня, а взбудораженный человек не может заснуть. Вот я и пишу.

Если бы я сказал, что «мне все надоело», ты бы спросила «почему?», и мы бы, говоря обо всех твоих и моих печалях и горестях, стали рассуждать о том, кому из нас хуже. Оставим это. Слова — это слова, они не убивают, хотя и ранят, но от смерти они никого не спасли. Так вот, сюда я попал по милости слов. Понимаешь? О «делах» говорить не будем. Мир вопиет о них. Но никто не внемлет. Я было собрался напомнить тебе сказку о великане (за мной одна сказка, и я надеялся возместить свой долг), но сказал себе: чушь какая, зачем это сейчас? Вот я и решил обратиться к фактам (фактам-делам). Для начала скажу: я чуть было не опоздал на корабль, все уже стали думать, что я из тех, кто «отсутствует при отправке», то есть дезертир, поскольку уже тогда поговаривали, что эта война разбойничья и на ней греют руки ловкие дельцы, необычная война, хотя поначалу Африка встретила нас как ангелов-спасителей (мстителей?), поскольку повстанцы отнимали землю у хозяев, насиловали женщин и, случалось, убивали детей, но наши показали, какие они «ангелы»: там, где проходили они, не оставалось ничего, ни одной живой души, мы рубили людям головы и насаживали их на колья, а колья втыкали по дороге, ведущей к нашему лагерю. Варварство бывает с любым цветом кожи, и справедливость не зависит от расы. Ужасы творят люди, это они все пачкают дерьмом и кровью. Дальше. Как я уже сказал, мирное население сначала встретило нас как избавителей, а потом мы стали их врагами. Были маршруты, на которых жителям, в том числе и шоферам грузовиков, нужна была охрана. Но жители отказывались от нашей охраны на опасных дорогах. Теперь армию поддерживают только торговцы, которые следуют за ней по пятам со своими лотками. Возможно, такое происходит в каждой войне. Так вот, я опаздывал на корабль. Ты скажешь: обычная рассеянность Энрике. Это точно. Но те, с кем я отправлялся в Анголу, повели себя недостойно: они как бы заставили меня показать всем, что на мне военный мундир, еще когда я был в Лиссабоне. Я считал, что корабль снимется с якоря поздним вечером, чтобы не привлекать внимания, и потому поехал в Каркавелос поесть риса с креветками и был там до тех пор, пока не узнал, что корабль отходит. Вот тут-то и начался бег с препятствиями; вернувшись домой, я надел военное обмундирование и попихал в вещмешок все подряд — книги, одежду, потом ловил такси. Безумная гонка. Сумасшедший, да? Нисколько. И, только уже откинувшись на спинку сиденья старого «мерседеса», понял, что прощаюсь с Лиссабоном, но повсюду и всегда буду одинок.

Куда бы ты ни поехал, Энрике, тебя везде ждет пустыня. Мы ведь только бессловесное орудие в чужих руках. Тебя сделали солдатом, даже не спросив твоего согласия. И больше того — солдатом на войне.

Со мной обошлось: корабли всегда уходят с опозданием. На то и существуют приказы, контрприказы, марши, духовые оркестры. Волны Тежо коварны, река похожа на огромного ползущего червя, а когда спускается ночь, она становится совсем темной. Какой смысл в том, что я здесь, на корабле, и зачем я здесь? Сражаться, убивать, умирать тогда, когда я еще не научился жить? И вот я плыву. В баре — виски, американские сигареты, на корме брезентовый стул, на котором я сижу и читаю Платона, Камю, Себастьяна да Гама. Дремлю в каком-то забытьи, жизнь, смерть...

и снова бар. Мне хотелось послушать пластинку Карлоса Паредеса или «Фадо Коимбры», я любил бывать в Коимбре. Потом Луанда, Графанил, целая неделя за колючей проволокой. Потом либо сектор «D», либо сектор «G»— как видно, еще не было точно известно, куда меня отправят. Но будет ли это Набуангонго или Кибаше, Зала или Санта-Эулалия — я проведу там года два или четыре, простая арифметика: я проживу лет семьдесят за вычетом тех двух или четырех, из которых любой день может подвести итог всей моей жизни. Прекрасная сделка.

Перейдем к самому важному. Раньше все было просто: лень, инерция, немного фатализма и все вместе — нечто равнозначное спокойствию духа. Теперь с этим покончено, меня заставили воевать, а сам я еще не понял, но должен понять, нужно ли мне это. Если бы ты, именно ты, мне сказала: иди в армию, настигнет пуля — умрешь героем,— я бы понял. А так, как все произошло, не понимаю. Но хочу, подобно тебе, понять все до конца. Подобно тебе, подобно тебе. Ты стоишь в моих глазах, Беатрис: ласковая улыбка, уклончивый, чуть косящий взгляд, слышу твои каверзные вопросы. Но ты под материнским крылом, хоть и считаешь, что вы с матерью «две неразумные подружки». Это почти как я: говорю, что никто не набросит на меня узду, а оказываюсь здесь, выполняю приказы. Извини. Будем считать, что мы разговариваем по телефону и в волнении решили положить трубки. Ну, брякнул трубкой, и все! Нет, я не пьян, Беатрис, честное слово. Это от усталости, желания спать и досады. Не знаю, что сейчас: вчера или завтра. Больше всего мне хотелось бы поесть алентежского супа. Мне все надоело, и оттого, что надоело, все время хочется есть. Олá [1], Беатрис,— до чего же глупо, когда люди говорят «ола», и уж совсем глупо, когда считают, что так говорят они одни. Я не виноват, что все на свете глупо и даже мои необыкновенные мечты.

Здесь есть река, которая называется Данге. Красивое название, правда? Ну прямо для поэта. А на самом деле это всего лишь прозаическое обозначение полосы, разделяющей две зоны: в одну — кому-то приказано войти, не задумываясь, что в его руках автомат типа ГЗ, в другой — кому-то приказано начать стрелять при малейшем шуме. Я как раз в той, что опаснее для жизни. Кибаше. Этих самых Кибаш сотни. И в каждом холм, развилка дорог, дом управляющего в колониальном стиле, лавки с окнами на улицу, в которых местное население продавало кофе и миндаль и покупало соль, сушеную рыбу, сахар, ткани, спиртные напитки. А чуть в стороне санзалы — жилища негров. Это хижины со сходящимися наверху жердями, скелет хижин состоит из этих переплетенных ветками жердей, а пустоты между ними заполнены необожженным кирпичом — своеобразной затвердевшей на солнце массой из соломы и глины. В Алентежо такие стены называют глинобитными. Сверху все это сооружение покрыто соломой. Армия наша заняла каменные дома бежавших из Анголы белых, комната, в которой сплю я, до сих пор хранит следы кровавой резни. А поскольку помещений для нашего расквартирования не хватило, то здесь возведены из спецматериалов строения: будки часовых, казармы, склады оружия с сетками от москитов и вентиляционными устройствами, чтобы мы не задохнулись. Мы вооружены до зубов автоматами типа ГЗ «Бредас», «Унимогс», гранатами, гранатометами, минометами, гаубицами и всем прочим, что мне неизвестно. Еще есть здесь кафе. Оно носит имя сеньоры, которая его унаследовала от колониста, сошедшего с ума после того, как четвертовали его сына. Такое я слышу уже не

[1] Выражение приветствия.

первый раз, и подобное творится повсюду. А я, Беатрис, не способен никого четвертовать, не способен. Почему?

Это, как ты понимаешь, уже дело особое. Здесь мы играем в кости, суэку [1], кинг, когда, конечно, есть партнеры, что и облегчает наше существование. Но не подумай, что здесь у нас лагерь отдыха. Мгновение — и любой из нас может быть убит или стать убийцей, патруль уходит в лес, и от него остаются рожки да ножки. Можешь вообразить, что испытывает каждый из нас».

«9. 6. 65.

В Луанде, говорят, задохнешься. Это мне знакомо, хотя бы по дням, которые провел в Графаниле и его окрестностях. Там я узнал, что койка называется «козлы», а вновь прибывшие солдаты — «куликами». Начало было плохое: в обязательном порядке меня заставили побриться и остричься, точно я в Мафре[2]. Побрился я, как бреюсь обычно, не торопясь, чтобы не показать виду, что этот акт для меня — акт покорности. Победить себя я не дал: не позволил завладеть собой целиком. Есть, разговаривать, смеяться и мочиться я буду так, как хочется мне. Однако не презирать себя не могу. Мне больно быть таким, какой я есть. Итак, я здесь, Беатрис. Подъем в восемь тридцать, потом построение и перекличка. Смотр по всем правилам — да здравствует устав! — для этого здесь наши сеньоры лейтенанты. До двух дня можно посидеть в баре и поболтать друг с другом, хотя говорить-то уже не о чем. Почту раздают вечером. Это самый торжественный и волнующий час, которого мы ждем, как дети, грызущие от нетерпения ногти. Есть такие, которые, не получив письма, плачут. Для раздачи почты нам снова приходится становиться в строй. И сержант начинает выкликать по алфавиту и вручать письма. Когда кого-нибудь он пропускает, тот готов его живьем съесть: «Выходит, мне письма нет? Быть того не может». И сержант оказывается виноватым, иногда даже бывают ссоры. А другие требуют, чтобы поскорее раздавали остальные письма — каждый хочет получить «свое». «Спокойно, все должно быть по порядку». Но все против порядка. И знай, Беатрис, я тоже жду письма, я тоже заглядываю в руки сержанта, когда они уже пусты. Вот «Женское национальное движение» нас не забывает: забрасывает радиограммами, и где бы мы ни были, эти «вездеходочки», так называют радиограммы, нас находят.

Время здесь не движется, оно просто остановилось. Сонное, вялое существование ввергает нас в ужасное, мучительное беспокойство, отчего иногда даже хочется, чтобы нас послали на «операцию». Об этом, как и о том, что люди здесь озлоблены и способны полезть в драку только потому, что кому-то не хватило партнера в кинг, я был предупрежден. Вот так-то! И так четыре года или, по меньшей мере, два. В один из подобных дней наш механик принялся с остервенением чистить джип, а его сменщик зло бросил ему: «Куда торопишься?»

Да, я еще не сказал тебе, что, будучи в Луанде, провел три ночи в отеле «Империя», спал на семейной кровати, ширину которой описать невозможно, при номере была ванная комната, здесь о подобном удовольствии и мечтать нечего, разве что еще раз придется побывать в Луанде. Ты уже, наверное, обратила внимание, сколько всего в Лиссабоне названо этим словом «империя». У нас даже пиво и то носит это помазанное елеем название —«Имперское». Когда об империи так много говорят, плохой признак: ей приходит конец. Вон идет патруль после боевой операции «выж-

[1] Вид карточной игры.

[2] Расположенный неподалеку от Лиссабона город, где находится монастырь. Он построен в начале XVIII века.

женная земля», несут автоматы «Бредас», тащут пушки. Что это значит, я тебе расскажу потом. Скоро подойдет и моя очередь принять участие в подобной «операции», пока я еще «кулик». Но с меня хватает всех этих построений и перекличек. SOS, Беатрис, у меня украли возможность побыть с собой наедине. Как же мне это необходимо! Ведь уединение — это то истинное, для чего мы рождаемся, все остальное — пустая болтовня. Каждый человек всегда один на один с миром, все прочее — спектакль, который создается нами самими».

«13. 6. 65. (Я не буду датировать письма, их и письмами-то назвать трудно. Последний раз.)
23 часа (часы помечать буду, это важно).
Дни идут, но их смену замечаешь только тогда, когда что-нибудь происходит, как, например, вчера. Наше здешнее существование — смена громких выкриков внезапной тишиной. Приказы, скрип сапог, потом звуки умирают — тишина, как после казни. А может, все эти звуки, да и тишина — плод моей фантазии? Прежде я прилагал усилия, чтобы постичь самого себя, кружил вокруг да около, точно человек, заплутавшийся в лесной чаще, но порой мне удавалось пробиться к себе. А что теперь? Казармы, комнаты, столовые, маршевые колонны, которые прибывают, остаются здесь или следуют дальше. Одиночества как не бывало. Так и тянет ввернуть крепкое словцо. Скажи хоть ты мне его, Беатрис, скажи, ты все время молчишь, а я все болтаю. Ну же, скажи, скажи: сукины вы сыны! Пожалуйста, Беатрис, поговори со мной. Мне нужно знать: неужели это я, я уже превратился совсем в другого человека? Докажи, по крайней мере, что ты живая. Будет ли больно мне, если я себя ущипну? Не будь сторонним наблюдателем, Беатрис. Иногда твои ироничные миндалевидные медовые глаза раздражают меня. Но потом они становятся нежными, а рот кривится от плача. Каким же горьким бывает выражение твоего лица! Помнишь ли ты тот день, когда я сказал тебе: «Такая светлая печаль»? Тебе это понравилось. Понравилось, несмотря на то, что это была именно печаль, причинившая много страданий. Спокойной ночи. Может, отступать — это и значит побеждать? Может, побеждать — это и значит терять? Но если без поражений не существует побед, стоит ли печалиться? Я от тебя на расстоянии в тысячи миль, и так далее, и так далее; я там, где никто не говорит, что я — это я. Все, что случилось со мной, можно выразить в двух словах: я обманут. Конечно, все говорят об этом, в смятении не я один. У нас тут есть красавец врач, он приехал с юга Анголы, и надо же — у него кожное заболевание. И это самое заболевание красноречиво говорит обо всем и о личности человека: кто такой, что здесь делает и так далее, и тому подобное. Так вот, красавец врач говорит, что это на почве невроза, а невроз — от страха. СТРАХ. Руки и ноги его покрыты пузырьками и чешутся; когда он снимает форму, то напоминает мумию: все тело в повязках и пластырях. Когда же ему пришлось на несколько месяцев отправиться в Португалию, он не успел войти в самолет, как сразу почувствовал облегчение, а спустя несколько дней болезнь как рукой сняло. А возвратился в Анголу, и все началось снова. Страх. Может, и у меня тоже все от страха? Я должен был сказать тебе это. Но еще о враче. Этот врач приехал на смену другому, которого отправили в Лиссабон,— он злоупотреблял снотворными. Тоже, без сомнения, на нервной почве. Умница, прекрасный собеседник, если, конечно, предмет беседы ему интересен. Он рассказывает, что на юге на Черных камнях (не зная, что это камни, можно принять их за небоскребы) нашли одичавший взвод. Несколько месяцев назад этот взвод исчез. Их уже считали погиб-

шими, но вдруг обнаружили: они купались в реке нагишом, бороды у них отросли, как у туземцев. Своих бывших товарищей они встретили как марсиан и велели им уходить, иначе худо будет. Еще один пример: как-то я приехал в Кармону, вошел в ресторан и был потрясен тем, что увидел. Посетители то и дело, словно роботы, поднимали бокалы и пили за одно и то же: за то, чтобы вновь обрести блага жизни. С того дня я стал присматриваться ко всему, что творится вокруг, и получил подверждение тому, что видел в Кармоне. Мы — чаплинские человечки из фильма «Новые времена», только в новых обстоятельствах.

Кстати, о Кармоне: один субъект, депутат или кто-то в этом роде, две недели разъезжал по разным районам Анголы и в числе прочих предприятий посетил одно сельскохозяйственное, он был компаньоном хозяина-ангольца. Войдя в только что открытую при этом предприятии новую чистую больницу, где царили покой и тишина, он спросил: «Был ли мятеж на предприятии?» Ему ответили, что нет, пока не было. «Чем это объяснить?» И один из сопровождавших сказал: «Да все очень просто. Как только мы почувствовали неладное, составили список из семисот негров, не внушавших доверия, список пошел на одобрение в Луанду, и потом мы от них избавились». Услышав эти слова, депутат оценил патриотизм ангольцев. И как только вернулся в метрополию, тут же предложил свою кандидатуру на пост главы технического совета по заморским территориям: за две недели пребывания в Анголе он стал специалистом по африканским делам. Я должен описать тебе закаты в Кибаше, они наводят ужас. Это истинная агония. Все желтое становится оранжевым, все оранжевое пламенеет, а на небе вспыхивает пожар. Конец света. А дальше к югу не так: там солнце опускается мгновенно, и слышится странный грохот, вроде бы звезды разламываются надвое».

«12 часов.

Совсем забыл сказать тебе: я получил письмо из Малаги от потерявшей голову Аузенды. Ужасная история, но на сей раз не из-за денег. Аузенда рассказывает, что она арестована по подозрению в принадлежности к «опасным гангстерам, контрабандистам, занимающимся доставкой наркотиков». В квартире находилась она и ее друзья, когда вошли двое полицейских и потребовали паспорта. Под видом «проверки иностранцев». Паспорта им дали, все о'кей, но и ее и гостей отвели в полицию. В полиции пожелали знать, курили ли они — она и ее друзья — марихуану. Ясно, нет, это Аузенда-то (!) (Восклицательный знак поставил я.) Тогда их оставили в полиции до следующего утра, пока не проверят паспорта. Вот так, ошельмованные, они час за часом сидели в камере предварительного заключения, им даже ничего не предложили поесть, и это нашей-то Аузенде, храброй из храбрых и и вечно что-то жующей. Потом вдруг, как это бывает в фильмах, на парней надели наручники. В Испании не церемонятся. И пока они находились в полиции на турецком горохе (его я отведал здесь) и вареных яйцах, в доме все переворошили. Держали их в полиции еще два дня, а потом переправили в Торремолиньос, в тюрьму провинции Малага. О том было сообщено в газетах, все имена названы, задержанные обвинялись в бандитизме и торговле наркотиками, представляешь: отец-то Аузенды — сеньор генеральный директор, от важности лопающийся по всем швам, а мать — персона какая-то в благотворительном заведении. Ну а в тюрьме только горох и вареные яйца. У бедной Аузенды начались галлюцинации: ей всюду мерещились бифштексы и жареная картошка. Кто-то из ее друзей принес еду и одежду — самое необходимое. Наконец, Аузенда, не решившись написать матери, на-

писала в консульство. А консул сделал вид, что письма не получил, так до сих пор в тюрьму к ней никто из консульского отдела и не наведался. Думаю, что поднятый газетами шум дошел до ее родителей. Они, должно быть, уже знают, какая беда свалилась на их семью. Все это я пишу тебе только потому, что неплохо было бы позвонить им и узнать, что и как».

«16.30. Аккуратно сложенное постельное белье я оставил на своей кровати, а когда вернулся, не нашел его. Украли. Но кто? Странно, верно? Помнишь, как в ковбойских фильмах: герою наносят удар кулаком, а то и ножом, а кто — зритель так и не узнает. Трудно сказать, что произошло в данном случае, но здесь, в Анголе, все время испытываешь чувство, будто тебя вот-вот пристукнут из-за угла. Скажем, так называемый «враг», он всегда здесь и не здесь, мы его видим и не видим, он существует и не существует. Кто-нибудь из наших заметит: «Надо же, ни единого выстрела», а четверть часа спустя у него уже руку оторвало, и он кричит, что плюет на смерть с того самого дня, как здесь, только пусть похоронят его на родине. Вот тебе конкретный пример: дни напролет мы можем играть в покер и пить пиво — войной вроде и не пахнет, если не считать бесконечных придирок нашего военного начальства, к услугам которого кондиционированный воздух и прочее,— и вдруг раз, и половины взвода как не бывало. Любой из нас лезет на стенку, когда лейтенант приказывает, срываясь на крик: «Читай вначале это, скотина!» («это» — не что иное, как плакат с идиотскими восхвалениями славной португальской армии), а час спустя видим, как тот же лейтенант бежит под прицельным огнем на помощь сержанту, который молит не оставлять его одного.
Черт бы их побрал! Именно черт бы побрал их всех! А все прочее? Но главное — я пойман. Пойман и обманут. Ох уж эта история: многовековая галиматья с разными сучьими идеологиями, еще один поворот ее колеса — и вот я здесь... А теперь? Теперь я — часть колеса, и меня будут обильно смазывать. А дальше? Послушай, ты, которая так любишь животных, что я тебе расскажу: «твердолобые» пускают впереди своей колонны собак, и если путь заминирован, собак разносит в клочья. Собака умирает, а человек остается жить, пусть так. Но почему кто-то должен умереть насильственной смертью? Я не согласен, Беатрис. Я хочу, чтобы человек, будь он белым или черным, жил, и собака тоже, понимаешь? Чтобы обнаружить нас, тоже используются собаки. Иногда вблизи раздается бешеный лай, а следом за лаем начинает строчить автомат, который я еще не держал в руках. Что будет со мной, когда мне придется нажать на курок и, чтобы не быть убитым, стать убийцей? Ты видела, чтобы я кого-нибудь убил?
Одно из двух: или я свыкнусь со всей этой мерзостью, или дезертирую. Но как? Похоже, сбежать отсюда гораздо труднее, чем из Пенише[1]. Казармы, палатки, оружие, пиво, устав. Иногда услышать бывает страшнее, чем увидеть. Какой-нибудь младший лейтенант приглашает негров, чтобы, как это бывало раньше, сделать групповую фотографию, а когда они, поверив ему, встают полукругом или садятся, расстреливает их из пулемета. Теперь скажи мне, можно ли здесь оставаться после всего того, что тут творится. А бывает и хуже: негра привязывают за руки и за ноги к двум джипам, джипы трогаются с места и разрывают его на части. Видеть не видел, но слышал крики. Слышать даже ужаснее, чем видеть, правда ведь? Не знаю, не знаю, не хочу знать. Делают ли негры подобное с «нашими»? Не знаю, не знаю и знать не хочу, хочу бежать отсюда».

[1] Крепость-тюрьма на побережье Атлантического океана.

«15 часов.

Любая система противится каким-либо переменам. Это заурядная истина. И здесь, в колониальных войсках, она особенно ощутима. Командование прилагает все усилия, чтобы мы были на стороне колониального прошлого Португалии и оказывали сопротивление желающим освободиться ангольцам. Короче, стали инструментом этого сопротивления, если можно это назвать сопротивлением, посвятили бы себя ему. Идти в психическую атаку в густом лесу, где из-за каждого куста следят за тобой тысячи глаз, и слышать дыхание твоих врагов; впадать в истерику перед солдатами, призывая их защитить родину от «врага»; лишаться джипа, который занесен в священный реестр нашего «имущества», и отправляться на поиски других, наполовину уцелевших джипов, чтобы восстановить тот, что утрачен; покупать керосиновую лампу за триста эскудо, чтобы часок, когда после десяти вечера выключают генератор, почитать, или за те же триста эскудо продавать новому «кулику» местную негритянку, которая ночью ждет тебя; выслушивать пугающего тебя майора и дрожать, точно у тебя перемежающаяся лихорадка, плача и умоляя: «Мне страшно, доктор, я боюсь, что меня парализует, дайте мне лекарство, которое меня может спасти, или я пущу себе пулю в лоб»,— быть в очередной раз среди приглашенных к главе сектора — даже если он и симпатичный человек — и слушать, как ободряемый прелестной улыбкой своей обожаемой жены он повторяет одну и ту же фразу: «А теперь у меня для вас сюрприз»,— и наперед знать, что сюрприз этот будет не чем иным, как коллекцией заспиртованных ушей и носов негров, и видеть, как интендант сектора кланяется каждому негритянскому носу и говорит тем, кто его слышит: «Это, сеньоры, такие же сеньоры, как и все прочие, приветствуйте их, пожалуйста, приветствуйте»,— это же мерзость, кошмар, шутовство, но это система, ее извращения и создаваемая ею ложь. И я принимаю участие во всем этом. Отрицать не приходится. Конечно, я против, ты ж меня знаешь. Я человек разумный. И здесь, в Африке 1965 года, я нахожусь вопреки своей воле. Но какой прок от моей невиновности? Надо быть в жизни принципиальным и последовательным человеком. Но как добиться этого? И что может сделать человек в моем положении при всей его храбрости? К чему же я прихожу в результате? К апатии.

А если хорошенько подумать, то совсем не обязательно гибнуть от пуль повстанцев, есть ведь и другие возможности, их много: например, умереть от несчастного случая в машине или вертолете. Иногда вполне достаточно самого незначительного шума, чтобы автоматы застрочили как сумасшедшие и полетели гранаты, использовавшиеся еще во второй мировой войне, и в суматохе и неразберихе тебя ранили или отправили на тот свет. Все быстро и просто. Я признан годным для войны, а потому, о'кей, могу рисковать своей шкурой в любом варианте. Однако раз уж я на войне, я должен воевать по всем правилам, даже если и не вижу в том смысла. К тому же они-то говорят, что не меня посылают умирать, а хотят, чтобы от моей руки умирали другие. Они эту разницу хорошо понимают. И для того чтобы было как им надо, предпринимают все возможное: облекают ненависть в красивые слова; ненависть, корыстные интересы, алчность — слова терпят все. Убивать не умирая — вот закон их жизни Я рассуждаю, как индюк («ты хитер, с точки зрения индюка»,— так говорил, обращаясь к Шавьеру, мой преподаватель физики, я думаю, ты, Беатрис, помнишь Шавьера, ну, того, который походил на пень с глазами), я, возможно, скоро стану каким-нибудь Шавьером, то есть таким же пнем. Это лирическое отступление с субъективной точки зрения. Самое главное, каков я в твоих глазах».

«12 часов.

Казарма наполовину опустела. Я бы тоже мог попроситься в увольнение, но ничто меня не вдохновляет двинуться в город. И в бар, куда каждый день поставляют новых «импортных» проституток, точно здесь своих не хватает, не тянет. Этот день без команды «направо, налево, на плечо, на ремень» и даже без патруля — так еще жить бы можно: тишина, покой... Начинаешь вдруг видеть природу. Африка — волшебство, и это я говорю не для красного словца. Здесь есть колонисты, которые, что бы кругом ни происходило, живыми свой дом не покинут. В этой земле их корни, так они считают. Для них нет ничего, что бы связывало их с империей, а есть земля, которую они получили от африканцев не как военный трофей, а как дар. Здесь неподалеку на небольшом клочке земли с женой и сыном живет один сапожник. Так вот, он узнал, что таких, как он, четвертуют, что мы истязаем негров, выжигаем дотла их деревни в наших «операциях возмездия». Он понимает, что ненависть даст кровавые всходы, но с земли не уходит. Месяц назад у него был патруль и капитан сказал ему: «Вы все еще здесь? Смотрите, пока есть время...» Но он прервал его: «Я не уйду отсюда, это моя земля, и все это знают. Мне никто ничего плохого не сделает». Как будто кто-то во время войны может за что-то ручаться или что-то выбирать! И мы — самое главное проклятье этой страны. Какие же идиоты те, кто еще не понимает, что значит быть португальцем, португальцем до кончиков ногтей. Они и герои и трусы, щедры и мелочны, ничтожны и величественны, легко возбудимы и до дрожи холодны. А в основе своей они — смесь всех народов и рас. Человек, который делает из наиболее чужой ему habitat[1] привычную,— это португалец. Война в Африке, может, не война в полном смысле этого слова, хотя не все это понимают. Ужаснее другое — то, что война эта — способ подчинить себе вышедшего из повиновения противника.

Кстати (действительно ли кстати?), способность приспосабливаться у португальского солдата-новичка (я из их числа) необычайна. Им достаточно недели, чтобы в чужих краях почувствовать себя как дома. Книгу природы они читают не хуже самих туземцев, ну прямо как негры: те обнаруживают нас чуть ли не по запаху и чутко улавливают связь между человеком и природой. Профессионалы военные всему этому обучены. Ну например, организуется засада из четырех-пяти человек, готовых, если нужно, внезапно напасть и захватить языка. Понимаешь, о чем я хочу сказать. Они ползают как змеи, и ветер, который колышет траву и шелестит листвой деревьев, им помощник, защитный цвет их одежды неотличим от зелени леса, и охотятся они на людей, как на зверей. Меньше полудюжины взятых в плен их не устраивает. От прикрытия всегда отказываются. А какое получают удовольствие, когда им удается незамеченными подойти к дереву, на верхушке которого в листве сидит негр! Да, негры пасуют перед ними. Война для солдата-новичка — развлекательное приключение, а вовсе не черная страница истории.

Я не должен бы скатываться до их уровня, но по всему видно, что этого мне не миновать. То, что не миновать, ощущаю даже в строках своего письма. Однако есть же предел всему, и я, наконец, вынужден буду принять какое-то разумное решение и действовать. Чего я жду? Жизнь одна, и ее нужно прожить достойно, чтобы не презирать себя самого. Надо помнить: счастье — в наших руках. Я презираю себя за пассивность и за сострадание к самому себе, оно гнетет меня. Ты гораздо лучше. В тот день,

[1] Среда обитания *(франц.)*.

когда ты, притянув меня к себе, сказала: «Я хочу быть твоей»,— я понял, что ты сильнее меня, потому что тебе хватило смелости быть самой собой Мне же не хватает. Я ведь самого себя даже не знаю и обращаюсь с собой жестоко, жизнь отомстит мне за это незнание. Сейчас моя цель — попасть в лазарет с каким-нибудь заболеванием, выдуманным и хорошо симулированным,— врач поможет... Понимаешь? Но это, говорят, стоит больших денег, а на отца я рассчитывать не могу. И все же эта идея не идет из головы. Когда я бывал у тебя и заставал тебя у телевизора, ты сидела, закинув ногу на подлокотник диванчика, и была грустной и задумчивой, целиком погруженной в себя, я считал, что в мире существуешь только ты одна,— хотел того, чтобы так было. Но теперь я понимаю, что мир сотворен из многих, кто живет в нашей душе. А вдруг представится счастливая возможность дезертировать? Детские игрушки. Дезертировать отсюда не так-то просто. Дезертировать из Португалии в Европу проще, даже и сравнивать нельзя. Откровенно говоря, избрать тот или иной способ бегства — это тоже решение, и оно должно зависеть от твоих взглядов на жизнь».

«8 часов.
Я простужен, только этого не хватало, что за ерунда. Не кашляй, тихо: враг здесь, рядом. Ага, вот и утренняя газета, ну-ка поглядим, что там пишут, «да, как говорится, захотела собака стать человеком, отгрызла себе хвост». Я не утверждаю, но мне кажется, отгрызть хвост мало для того, чтобы стать человеком. Вот и пришла моя очередь командовать операцией «уничтожение всего жизненно необходимого», то есть уничтожением посевов и всех продовольственных складов «твердолобых». Впереди пойдут бульдозеры, затем солдаты, вооруженные большими ножами туземцев, которыми мы срезаем под корень все. Потом срезанное сгребается в кучу и поджигается. Возможны варианты, но я тебе описываю главный. Нет продовольствия — нет бойцов. А нет бойцов (с той стороны) — мы будем себя тешить мыслью, что война выиграна. Вот так. А пока необходимо «нейтрализовать источники снабжения» — технический термин Мне, во всяком случае, велено завтра утром сделать все возможное, чтобы стать героем. Понимаешь? Собака отгрызла хвост... и так далее. Понимаешь? Теперь нейтрализовать источники снабжения должен я, должен, понимаешь? А ведь поступки говорят сами за себя.

Мой сосед по казарме все время пристает ко мне с вопросом, что я делаю. Никогда мне не доставляло удовольствия жить в комнате с кем-нибудь. У меня такое чувство, что надо мной все время совершают насилие, захватывают мое жизненное пространство, точнее, то, что является моей личностью. Но какое это имеет значение теперь, когда завтра я должен сделать свой решительный шаг и стать героем? О великий Энрике, долговязый Энрике, давай организуем погром в старых залах лицея Педро Диаса, Мане опять будет шарить по чужим портфелям, а перепуганные насмерть преподаватели физики убегут в сад, и для того, чтобы это состоялось, все к дьяволу в ад.
Да здравствует недисциплинированность!
Эдмундо, помнишь ли ты, как я поплатился за двоих? Конечно, от того, что ты признал бы себя тоже виновным, мне легче не было бы, но ведь всегда приятно слышать: «Виноват не только он, сеньора». А в результате мы в ссоре, а жаль.
Все к дьяволу, все в ад,
за одну-единственную записочку
к дьяволу, дьяволу, дьяволу.
Все к дьяволу, все в ад.

Опять дисциплинарные придирки.

Писать письмо — это значит обдумывать, что и как сказать тебе, а я совершенно на это не способен. Поэтому, Беатрис (надеюсь, ты сидишь в своем уголке и приглаживаешь складки своей клетчатой широкой юбки), чтобы ты не очень сердилась на отсутствие писем, я соберу эти странички и все сразу тебе отправлю, идет? Только вот кое-что меня заставляет задуматься, а именно: все написанное покажется тебе не реальностью, а какой-то выдумкой. Наш мозг не ставит ни точек, ни запятых, не выделяет абзацев, а я только и делаю, что расставляю точки, запятые, абзацы, то есть мои писания сверхнереальны. Точка, все, закрыть скобки, направо, налево — скорей, скорей строиться, строиться.

Заметь: лейтенант удивлен неожиданным присутствием капитана. Меня тошнит от всего этого. Я сижу на солнце и слышу вокруг себя трепет крыльев. Нет, не птиц — насекомых. стоит на стол поставить блюдце с дезинсектолью красного цвета, и четверть часа спустя вся поверхность стола будет усеяна их трупами, ну, прямо красная поляна. Выпью-ка еще пива. В моей папке целый блок бумаги (мы покупали ее вместе с тобой в писчебумажном магазине на Кампо-де-Оурике), тоненькая книжица «Письма из Сталинграда» и пачка сигарет «Импала». Завтра...

Кто же все-таки во всем этом я? Я — песок, сухие листья, кактус, который похож на гусеницу, я лист на ветру. Чушь какая. Желтозеленое существо, тысяча нетерпеливых ножек, сильно трепещущий зеленый листок, я знаю, что с вами сделаю: всех вас я подарю Беатрис. Ты прислонилась лбом к оконному стеклу, в комнате полутьма, ласковая улыбка на твоем лице.

Я купил для тебя «Постороннего» Камю и забыл его в Лиссабоне у себя в комнате. Беатрис и Энрике, что у нас общего? Ты сказала «желание»? Ты сказала «тоска»? Ты сказала «нежность»?

Какая путаница в голове, или у меня сдают нервы? Сколько еще времени до завтра? Герои ведь идут в бой всегда на рассвете. это известно. Если я вернусь... Дерьмо, никаких «если». Не знаю, может, ты и забыла ту сказку, что нас как-то развеселила. Малышка, у которой было десять тостанов[1], перед тем как купить жевательную резинку, вдруг раздвоилась, и обе половинки ее заспорили. Одна говорила: на десять тостанов только и купишь что жевательную резинку, больше ничего, хоть ты и стащила их у матери. А другая отвечала: жевательную резинку ты сжуешь и останешься сначала без десяти тостанов, а потом и без жевательной резинки. Однако первая упорствовала: если я не куплю жевательную резинку, то, выходит, все было зря, и какая же радость от десяти тостанов? Весь смысл в том, чтобы купить жевательную резинку. Так они спорили до тех пор, пока не решили опять сделаться одним целым существом. Ты меня спросишь, что было дальше. А вот что. Малышка позвонила по телефону, видно чтобы с кем-нибудь посоветоваться. А для этого ей пришлось опустить в автомат десять тостанов. Да, наше поколение. Куда мы идем? Иногда мне кажется, что все можно свести к самой простой формуле: «девственная плева — семя — трава зеленая». С корнем вырван романтизм, объявленный реакционным. А иногда мне кажется, что «девственная плева — семя» котируются ниже, чем действия и слова, как, например, эти, что я тебе пишу в ожидании действий. Действий, которые необходимы хотя бы для того, чтобы все это внутри не оставалось, как говорила ты, нежная девушка с медовыми глазами. Ты видела когда-нибудь русалку? Вообще-то видела, видела издали. У нее длинные волосы, похожие на сеть рыбака, которыми она завлекает свои жертвы. Я злоупотребляю

[1] Мелкая португальская монета.

твоим вниманием, прости. И не думай, что все это пошлости. У меня нет ни малейшей причины быть с тобой пошлым. Да и сегодня канун завтра.
Завтра налет. В моей голове зреет налет на банк. План не ясен, конечно, но все же это еще одна мысль...»

Довольно, Энрике. С меня довольно. Я тоже боюсь за твой завтрашний день, за будущее тысяч таких же, как ты, парней, которые, вполне возможно, утратили всякую надежду. Боюсь того, что может произойти. Ведь все идет к тому, что зубчатое колесо перемелет тебя с твоим скептическим, наивным и анархическим бунтом в инертную массу, из которой другие будут лепить все, что им угодно и когда угодно, и в выгодном для них варианте. Как же тебе обрести себя вновь? Как всем нам и в Африке и здесь, в Португалии, обрести себя? Боюсь того, что меня ждет на последних страницах твоей исповеди, которая независимо от твоего желания уже окрашена нехорошим возбуждением, и оно все нарастает и нарастает, переживаемые тобой в Африке будни уже приспосабливают тебя к тамошней действительности. Ты надеешься от нее избавиться, но я в том очень сомневаюсь и предпочитаю написать (выдумать) за тебя заключительные страницы твоей исповеди. Или, если решусь, прочту твои, но позже. Сейчас я хочу выпить виски. Чуть-чуть виски с несколькими кубиками льда — на проигрывателе, кажется, стоит «Адажио» Альбиони — и походить по квартире — сегодня она целиком моя: Дорита отправилась в Байшу[1], там ей есть с кем поговорить, а прислуга, воспользовавшись этим, отпросилась опять к зубному врачу. Да, это замечательно, что вся квартира: прихожая, коридор, гостиная, спальни — мои. И удостовериться в этом, пройдясь по ней, не мешает, ведь, когда удостоверишься, радость увеличивается, становится пьянящей. Побыть в тишине, не слыша обычных домашних шумов, побыть одному несколько часов, а может и дней. Принадлежать самому себе, ни на что не разменяваясь, и в то же время иметь возможность в любую минуту отказаться от этого уединения. Кто из женщин понимает, что человека в какие-то моменты следует оставить одного? Дорита, Марта, Тереза, кто из них? Возможно, Тереза, и то не уверен. А может, никто. Да, я так и не спросил Терезу, служил ли ее муж в армии. А важно ли это? И еще: прекратились ли телефонные звонки?

Виски. Сильно развел, надо сделать покрепче. «Адажио». Буду слушать два, три, много раз подряд. Эта приятная тишина требует именно такой музыки. «Адажио» приводит мне на память Марту. Вернее, ее остров. Нет, не то. Если подумать хорошенько, то «Адажио» должно напоминать мне о Терезе, о нашей первой с ней встрече и той атмосфере, в которой она прошла. Но мысли мои опять возвращаются к Марте и Армоне — острову ее детства.

Марта. Пересылая мне эти страницы, написанные Энрике, она прекрасно понимала их ценность. И потому меня интересует не только то, что написано в этом дневнике, но и цель, которую преследовала Марта, пересылая их мне. Готов поклясться, что за этим что-то кроется. Импульсивность Марты нисколько не идет вразрез с ее способностью без всякой задней мысли проникать в самую суть чего бы то ни было и со свойственным ей простодушием завладевать тем или иным. Думаю, что именно ей я обязан усвоенной мною за последнее время истиной: в основе убеждений лежат эмоции. Следует запомнить, поскольку это факт, и быть осторожным с Мартой. А может, все это мои собственные измышления, потому что я, грешник, столько раз разбирал сложный механизм человеческой личности? И в первую очередь свой собственный. И все же нет, Марта, давая мне в руки то, что может увлечь меня, хочет подтолкнуть меня к работе и одновременно подвергнуть осаде мою колеблющуюся натуру и даже

[1] Нижняя часть города в Лиссабоне.

найти в ней уязвимую точку, а может, и испытать меня. Однако она не позволит, чтобы я угодил в эту незамысловатую ловушку. Нелепая и бессмысленная колониальная война, которая нанесет ущерб разным поколениям нашего измельчавшего и к тому же ни во что не верящего народа, имеет, как, кстати, и все прочие нелепые и бессмысленные войны, свои мифы и легенды. Каждая война пробуждает в нас чувство ответственности, мобилизует нас, притупляет эмоции. Поэтому будь осторожен, будь осторожен, Энрике. Вот почему я не хочу дочитывать до конца все тобой написанное.

Сейчас мне вспоминается один парень, которого я попросил рассказать об африканских впечатлениях. Ему моя просьба не понравилась, он помрачнел. Похоже, это была рана, прикасаться к которой чужим рукам не дозволено. Зовут этого парня Мариано Рейс, но все мы его зовем просто Мариано. Он антиколониалист, антисалазарист, активист левых сил — сочетание обычное. Мариано посещал собрания, которые проходили в моем доме (пункты повестки были расплывчатыми, и все, как правило, завершалось сбором средств на поездку Кристиано в Париж, чтобы там, в Париже, он мог от нашего имени выразить протест против насилия и защитить свободу личности. Уж не были ли мы единственными, кто читал речи этого самого Кристиано?), председательствовал уважаемый Аталайя, земледелец из Сантарена (куда мы ежегодно отправляемся на празднование годовщины «Сеара нова»), он же — глава республиканцев, без которого никак нельзя было обойтись на наших собраниях, не будучи занесенными в черный список. И это еще не самое худшее. Худшее то, что Аталайя являлся на эти собрания, как правило, под утро, когда дискуссия уже завершалась, и вынуждал нас начинать все сначала, чтобы в свое удовольствие, не спеша осушить бутылку анисового ликера и насладиться нашими ученическими шагами на священной стезе оппозиции режиму, и как строгий школьный учитель делал по ходу собрания пометки в своей записной книжке и поглаживал пышные усы да еще предупреждал, что собирает материал для своих мемуаров. И, напыжившись, посвящал нас в свои пророчества, брызжа слюной, возможно из-за редко стоящих зубов; режим падет (гремел он), это неизбежно, это сама судьба, и потрясенная, ликующая страна вмиг окажется переполненной восторженными и яростными революционерами-подвижниками, пыл которых скоро будет растрачен — они просто устанут, и тут из засады выйдут хитрые хищные волки, поджидавшие этого момента. А что, если тогда Аталайя надумает опубликовать свою хронику времен молчания? Да к нему в тот же день один за другим потянутся нынешние конспираторы и будут просить его проявить сдержанность и такт: «Мой дорогой Аталайя, к чему говорить обо всем этом? Забудьте мое имя и все остальное, я уже сам все забыл».

Мариано любезен и предупредителен (для трубки Аталайи он всегда приносит голландский табак)— истинно золотое сердце. Так вот, обратившись к нему однажды с просьбой рассказать о себе, я более не настаивал: пусть его рана зарубцуется. Однако вскоре я убедился, что он-то как раз все время ждал от меня повторения просьбы, он хотел, чтобы я настоял на своем, и тогда уж он вроде бы и ни при чем.

И когда мы с ним снова встретились, он спросил:

— Вы все еще интересуетесь моими военными подвигами?

Я даже не сразу понял, о чем он, и равнодушно спросил:

— Какими?

— А, так вы не знали, что меня там наградили медалью?

Ах, эта война, война, становясь участником которой человек с ужасом наблюдает за собственными невероятными метаморфозами! На сей раз наш разговор с ним на его вопросе и закончился, мы оба были смущены и удержались от дальнейшего. Однако вскоре он зашел ко мне, воспользовавшись каким-то наивным предлогом, и принес большой целлофановый мешок, в котором долго суетливо копался.

Я подумал, что там у него, как обычно, вино или закуска — Мариано любил угощать,— но он не переставал копаться в мешке и все повторял: «Сейчас увидите, сейчас увидите» — и вытащил альбомы с фотографиями, предметы обихода туземцев, газетные вырезки и даже военные карты — трофеи его африканской эпопеи. Как ни странно, он благоговел перед своими трофеями, просто нет сил описывать это идиотское благоговение. Мне вдруг открылось, что без этих свидетельств его героизма, без «памяти» обо всем, что было, Мариано чувствовал бы себя обездоленным.

Как сейчас вижу его пальцы, ласково и осторожно гладящие каждую страницу альбома: «Это я в крепости Браганса, а вот наша группа в Паланже, а это — на острове Луанда, тот, что в шортах,— лейтенант Баптиста, обратите внимание на автоматы «Бредас», минометы 8,5, пулеметы типа ФБП, палатку».

— В ней я спал прямо в джунглях, как негр, и даже ел руками, а вот мы устроили душ на открытом воздухе, использовав наконечник лейки, остроумно, верно? — Он улыбался и улыбался, явно радуясь, что это он, Мариано, совсем недавно принимал участие в смелой операции, цель которой — помешать отправке оружия в Африку.

— А медаль?

Я подумал, что слишком грубо прервал его. Но оказалось, нет. Он даже ждал этого вопроса. И тут же рассказал мне то, что я сейчас воспроизведу. Рассказ Мариано записан на магнитофонную ленту — он настоял на этом.

«Операция называлась... нет, подождите (голос в записи зазвучал приглушенно), пожалуй, лучше не говорить, как она называлась. Если вам все равно, пусть она будет называться «Термит», надо же, какое название пришло мне в голову. Целью ее было уничтожить источники снабжения противника, то есть повстанцев, главным образом посевы маиса и маниоки, и попутно пункты, где они могли бы разместиться, конечно Колонне были приданы бульдозеры для прокладки дорог в джунглях и минометы. Это было очень трудно и очень опасно, приходилось даже бросать застрявшие машины, на которые нападали повстанцы. Когда же мы нашли подходящее место для разбивки лагеря нашей экспедиционной базы, мы разместили все необходимое оборудование и оружие согласно заранее разработанному плану. Если хотите, я нарисую этот план. Мне нетрудно. Вот, пожалуйста (в нервных руках Мариано зашелестела бумага, он учащенно дышал, потом быстро провел фиолетовую черту): здесь — просека, сделанная бульдозерами, тропинки; обратите внимание, здесь — поля туземцев, гора под названием Мата-Санга, а кругом трава в человеческий рост, а значит — опасное место. Мы использовали поляну в двенадцати километрах от полей. Скрыть наше местонахождение было невозможно, да и ни к чему. Вот с этой стороны наши палатки были защищены мешками с песком, здесь «Бредас» с защитным навесом, понятно? Тут вот еще мешки с песком палатка побольше — для минометных расчетов, «Унимонг», грузовики. Все прикрыто ветками и скошенной травой. Эту поляну мы назвали Поляной цветов.

На разбивку лагеря у нас ушла неделя, так что после такого долгого размещения скрываться было точно ни к чему. Пожар мы устроили грандиозный, но вот находился в зоне пожара противник или нет — неизвестно У нас той войны, что показывают в кино, быть не могло, понимаете? Несколько колонн было послано на рекогносцировку прилегающей местности, но ни одна из них ничего не обнаружила А после того как мы снеслись по радио с командованием, было решено возвращаться на исходные позиции. Все мы думали про себя, вслух, конечно, не высказываясь, что от-

делались лучшим образом — ни одного выстрела. Но на рассвете началось, матерь божья, конец света: треск ФБП, уханье минометов, град пуль и осколков, проклятья, команды, крики — ад. Всем пришлось взяться за оружие, палили наугад. Где же противник? Черт бы его побрал! Одни бежали, другие ползли в укрытия, над лагерем рвались гранаты — судный день, да и только! Посередине нашего лагеря стояли два дерева, они давали нам тень в знойные часы, так раздался страшный грохот — и деревьев как не бывало! Раненых навалом: у кого раздроблены конечности, у кого что, трое убитых, у одного из них даже кишки наружу вылезли. Вот тут-то я и побежал к месту, где стояла пушка, и выстрелил в том направлении, откуда по нас палили. Мной овладела жажда мести, мне хотелось только убивать, но все это длилось не более десяти минут, как видно, я угодил в самую цель. Вот за это меня и наградили. Однако оставалось самое трудное: не подвергая себя опасности, свернуть лагерь и отнести на носилках раненых туда, куда могли приземлиться наши вертолеты. По радио нам сообщили, что вертолеты уже вылетели, однако для нас это было слабым утешением: обратно вместо колонны шла процессия с носилками. Все же до места, где приземлился вертолет, мы дошли. А как дошли, хотите знать? Всю дорогу мы стреляли, стреляли от страха во все стороны без разбора, ну и чтобы создать впечатление, что мы сильны. Но возможно, нас не атаковали совсем не потому, что мы стреляли. А почему именно, кто мог знать наверняка? Одного же повстанца, хоть и в конце пути, нам все-таки схватить удалось. В кустах послышался подозрительный шорох, тогда один из наших пополз по-пластунски и схватил его. Мы надеялись, что взятый в плен расскажет нам о всех подстерегавших нас опасностях. Но он молчал даже тогда, когда лейтенант привязал его к дереву и четверть часа сек плетью. Ярость была ответом на ярость, жестокость на жестокость, точно этот человек был повинен в том, что у нас были убитые и раненые. И если хотите знать, я при этом присутствовал. Правда, стоял почти все время с закрытыми глазами, но не от жалости, нет, а потому, что меня подташнивало, и до сих пор не могу понять, как это я принял участие в жеребьевке, кому из нас пристрелить этого человека, от которого и осталось-то окровавленное мясо да переломанные кости. Нет, не спрашивайте, прошу вас. «Принял участие» — это я так сказал. Я присутствовал при жеребьевке и почти был уверен, что судьба меня пощадит».

Вот рассказ Мариано, слово в слово он записан на моем магнитофоне. Голос глуховатый, иногда вдруг срывающийся на крик, не всегда внятно произносимые слова. От комментариев я воздержался, что мог бы я ему сказать? Я протянул руку, выключил магнитофон, снял кассету и налил Мариано виски. Выпил с ним, собрал его жалкие трофеи в целлофановый мешок, согласившись взять только некоторые газетные вырезки.

Через несколько дней Мариано позвонил мне:

— Я хочу извиниться перед вами за одну ошибку.

— Ошибку? Не понимаю,— я даже испугался.

— Минометы были 8,8, а не 8,5, как я сказал.

— Спасибо, Мариано, я исправлю.

— И еще, на той фотографии, где мы стоим группой на острове Луанда, рядом со мной не Баптиста, а Виейра Сантос.

— Это не важно, имена меня не интересуют.

— А я думал, важно.

Таков рассказ Мариано. Возможно, нечто подобное я прочел бы на последних страницах дневника Энрике. Так и будем считать, что Мариано тут ни при чем: все написанное навеяно чтением дневника Энрике.

Сумасшедшая ночь. Андре проснулся с опухшими глазами и подергивающимися веками, расстроенный и удрученный. Машинально пошел в ванную и, открыв кран с холодной водой, подставил под струю (рецепт одной доброй знакомой из Болгарии) раскалывавшуюся голову, выйдя из ванной, в коридоре столкнулся с Доритой — она уже давно встала — и, прежде чем пойти и выпить кофе, который разогнал бы дурные мысли, вернулся в спальню и стал искать аспирин в ящичке ночного столика. В этом доме лекарства тогда на месте, когда в них нет нужды.

— Куда ты положила аспирин?

— Аспирин брал ты, а не я, зачем же меня спрашивать?

— Ты уверена? — спросил Андре и, не надеясь получить ответ, продолжил розыски; Дорита всегда во всем уверена.

Между тем утро в тот день было особенно ясным по сравнению со всеми предыдущими днями. Разнообразные звуки волнами доходили до Андре, и вот один из них, перекрыв все прочие, вдруг привлек его внимание. Все усиливающийся гул какого-то мотора, чем-то похожий на хрип уставших легких, возможно, старого автобуса, курсирующего по двадцать восьмой линии, потом послышался гудок, другие звуки, треск перевозящих овощи старых мотоциклов, опять сигнал, о, суета сует — и все это не смолкнет раньше, чем наступит ночь. И еще — надо же! — самолет и где? Летит прямо над самыми крышами. Короче, весь этот шум не дает спокойно жить людям даже в собственной квартире.

Отодвинув тарелку с гренками, Андре двумя глотками выпил налитый ему кофе. «Может, хочешь галет?» Вместо ответа он, хотя ему это было не свойственно, отрицательно покачал головой. Он должен позвонить Феррейринье. Зная, что хоронить Фарию Гомеса и Бию вместе не разрешат, Андре никак не мог понять, почему же молчат репортеры. Говоря о вскрытии, один адвокат сказал, что оно делается только в случаях, когда человек умер не своей смертью. На что Невес тут же ответил: «Ах, какой тонкий ум! А самоубийство что, естественная смерть?» Самоубийство говорит о многом, и прежде всего о том, что в человеке затронуты самые тонкие струны души. Какая неуловимая разница в смысле этих слов: смерть и самоубийство! Бия и Родриго — оба они отказались от жизни (разве сомнения в том, что Родриго мертв, не должны быть отброшены?), и оба на столе для вскрытия. Да, это было так.

Однако еще несколько дней тому назад Родриго собирался продолжать жизнь по заведенному порядку: дом — работа — дом; и утро в тот ноябрьский день началось для него точно так же, как все предыдущие, и, без сомнения, было похоже на это, в которое он, Андре Бернардес, раздумывал надо всем этим,— черт, когда же подействует таблетка? Не тривиальна ли для Родриго подобная развязка — она ведь кладет конец всему? Однако жить — это не просто переползать из часа в час, пусть даже с трудом. Рано или поздно люди должны себе дать в том отчет.

Сосредоточившись на мыслях обо всем этом, Андре Бернардес вдруг обратил внимание на помрачневшее лицо Дориты, явно не понимавшей, что же его так занимает.

— Что с тобой?

От этого вопроса он вздрогнул, точно его на чем-то поймали.

— Не понимаю, ты о чем?

— Странный ты какой-то.

Он это слышит не в первый раз, хватит. Они же хорошо знают друг друга. Да и разговор между ними не обязательно должен быть до конца ясным, и не в значении слов дело, а в том, что заставило ее сказать эти слова. Вот поэтому-то удивление жены взвинтило Андре:

— И эту странность ты только сегодня заметила?

— Нет, не сегодня. Ты какой-то другой уже несколько недель.

— Другой?

— Молчаливый, злой.

— Но ты уже не раз пыталась доказать, что это мое нормальное состояние.

— Я ждала, что ты скажешь это, очередная колкость,— и ее руки встряхнули рыжие вьющиеся волосы, придававшие ей озорной вид, которому противоречили морщины у рта, с каждым днем все более и более горькие.

— Это не колкость, Дорита. Мне бы хотелось, чтобы ты поняла, о чем я тебя спрашиваю.

— О чем спрашиваешь?

— Почему ты считаешь, что я «другой»? То, что ты сказала, вовсе не свидетельствует о том, что я другой.

— Ты действительно этого хочешь? — Руки ее успокоились и принялись искать сигарету в кармане платья.

— Да, действительно.

— Хорошо. — Слишком высокое пламя зажигалки она с досадой тут же уменьшила. — Среди прочего я ясно вижу, что ты не выносишь чьего-либо присутствия. Что касается меня, то я уже к этому привыкла.

— Привыкла к чему?

— К твоему постоянному отсутствию, даже когда ты дома. К твоей отстраненности.

Андре Бернардес отодвинул чашку, машинально отломил и искрошил кусочек тоста. Потом, не глядя на жену, сказал:

— Ты со мной никогда так не говорила.

— Так откровенно, да?

Да, подобного откровенного разговора прежде между ним и Доритой быть не могло. И она и он всегда выражали свои обиды, подбирая и взвешивая слова, хотя и понимали, что так быть не должно. А может, ни один из них не решался потревожить их спокойно текущую жизнь первым? И все же это был банальный разговор между мужем и женой. Хоть и оздоровительный. Да, банальнейший разговор, вызванный раздражением, которое должно выйти наружу. Вот и у Терезы с Родриго тоже бывали подобные сцены. И все-таки как такой диалог происходил бы между Терезой и Родриго?

Андре Бернардес поставил на прежнее место чашку и повторил про себя вопрос Дориты:

«Так откровенно, да?»

На это Тереза, точно ей бросили вызов вступить в словесную перепалку, могла бы улыбчиво и насмешливо ответить:

«— Возможно.

— Намекаешь на то, что я становлюсь тебе неприятен, да?

— Да, неприятен».

В этот момент сигарета могла бы погаснуть, и она снова могла бы подосадовать на плохо регулируемое пламя зажигалки. Курила ли Тереза? Он этого не помнил.

«— Презираю твой цинизм.

— Я знал, что ты меня презираешь.

— Я не сказала, что презираю тебя, а сказала — твой цинизм.

— Это одно и то же.

— Ты делаешь те выводы, какие тебе больше подходят. Но в конце концов, откуда тебе известно, что я тебя презираю?

— От твоих подруг. Ты им жалуешься. Рисуешь меня зверем.

— Ложь. Кто из моих подруг мог сказать подобное?

— А, вот я тебя и поймал.

— Неприятный ты человек. Сейчас я тебя презираю, это точно».

Но диалог между ними мог бы быть и другим, менее риторичным или менее театральным и в какой-то степени вызывающим, вне зави-

симости от того, происходит ли он между Андре и Доритой или Родриго и Терезой. И снова он мысленно повторил реплику Дориты:

«— Так откровенно, да?

— Возможно».

Тереза бы помедлила, прежде чем ответить, и пока медлила, искала бы в кармане сигареты; пламя зажигалки не было бы ни высоким, ни низким, потому что он взял бы у нее зажигалку, чтобы хоть этот огонь погасить своими руками. Дорита нашла ответ:

«— Сегодня я тебя прощаю, потому что у тебя болит голова. А завтра, завтра мы с тобой об этом «возможно» поговорим.

— Завтра я не скажу «возможно». Завтра я уже кое в чем буду убежден.

— Ты и это говоришь всерьез?

— Да.

— Не верю.

— Было бы лучше, если б поверила. Повтори-ка, в чем ты меня находишь другим?

— Во всем. Ты напоминаешь того, кто высиживает свою мысль, точно курица — яйца. Витаешь в облаках и не выносишь тех, кто заставляет тебя спуститься на землю. Да вот хотя бы вчера, и как только этот Кастел-Бранко проглотил все, что ты ему сказал по телефону.

— Что я ему такое сказал?

— Не что́, а ка́к ты ему сказал. Ты никогда не замечаешь оскорбительных своих слов.

— Это я от тебя уже слышал. И всякий раз сомневаюсь, что мои слова оскорбительны. Да ладно, ты лучше скажи, в чем я другой?

— Ты проще это объяснишь себе сам.

Теперь помедлил с ответом он. И пока медлил, потянулся за лежащей на столе пачкой сигарет.

— Мы, Дорита, все время о чем-то умалчиваем. И это все портит. Мы же не говорим друг другу все, что должны были бы говорить. И кто в том из нас больше повинен, не знаю. Но считаю, что не я.

— Я так и думала. Весь мир виноват, но только не ты.

— Ради бога, Дорита, хоть сегодня без театральных реплик. Давай поговорим по существу, боюсь, что другого такого момента у нас с тобой не будет. Дай сказать мне...

— Говори, обвиняй.

— Ты неисправима. Так я говорить отказываюсь.

— Нет, это я отказываюсь говорить и хочу слушать.

— С каких это пор ты научилась слушать?

— Ну-ну, обвиняй, не теряй времени.

Снова он медлит, он (Андре или Родриго?) сосет сигарету, потом начинает кашлять.

— Та перемена, о которой говоришь ты, для меня может быть всем чем угодно, скажем, защитной реакцией на трясину повседневности, которая нас с каждым днем все больше засасывает. Я должен встряхнуться.

— Без меня, так само собой получается.

— Речь не идет о том, с тобой или без тебя. Я говорю о более важном. Или, если хочешь, более значительном.

— Но ты же говоришь «должен», а не «должны». И почему то, что ты говоришь, более важное или более значительное, чем то, о чем говорю я?

— Да пойми же ты меня, наконец. Я говорю о своей внутренней жизни, а не о чем-то другом.

— Пусть так. И к какому решению ты пришел?

— Пока ни к какому. Ты же сама сказала, что я высиживаю решения».

Проигрывая в уме все эти возможные варианты, Андре продолжал смотреть на отрешенное и помрачневшее лицо Дориты невидящим взглядом. И вдруг услышал медленно произносимые слова:

— О чем ты думаешь?

— О чем думаю? Сам не знаю. Возможно, о том, что ты находишь меня другим.

— Да, это так.

Сказав, она коснулась его шеи: «Застегнул бы воротничок, холодно»,— потом взяла его за руки и сжала их, холодные. Вот так же сжимал он свои холодные руки, когда увидел гроб Фарии Гомеса, поставленный на почерневшую от дождей землю, потом исчезнувший в черной яме. О чем были его думы? О детстве? Какие ассоциации приходили Андре в голову? Может, он вспоминал, как окапывают старые оливы, которые весной зазеленеют. Зазеленеют и оденутся новой листвой, как наденут весной чистую одежду те, кто их окапывал.

Четырнадцатое ноября тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Я вижу тебя, Родриго.

Утреннюю чашку кофе ты выпил в два глотка, обжигаясь и одновременно нащупывая лежащие в левом кармане вещи: записную книжку, кошелек для ключей, талон на общественный транспорт — все оказалось на месте (ты даже не заметил, как Тереза, обратив внимание на то, что ты не притронулся к тостам, пододвинула тебе вафли), ведь минута задержки — и автобус уйдет, и если придется дожидаться следующего, то по крайней мере минут десять, не меньше, следовательно, ты опоздаешь к началу рабочего дня в «Новилектре», а в твоей табельной карточке уже более четырех опозданий, так что к рождеству ты «порадуешь» директора «Новилектры», забыл его фамилию, а может, никогда и не знал («Как выяснилось, сеньор Абрантес, пунктуальность ваша хромает, даже не знаю, как быть с премией, которую намеревался дать вам».) Однако, эта не устраивающая директора «пунктуальность» — результат того, что ты опаздываешь на нужный автобус, и чаще всего это опоздание бывает вызвано тем, что чашку кофе ты выпил до конца, а не наполовину, и еще у Терезы манера заливать кофе только кипящим молоком («он лучше растворяется»), и она всегда мягко, но упорно заставляет ждать, когда молоко закипит, или тем, что в последнюю минуту Сесилия старается вырвать у тебя согласие на очередной каприз, чтобы ответственность за ее поступки нес кто-то другой — это ее тактика,

«Я уже не говорю о Лекас которую знают все чего только у нее нет не жизнь а сплошной праздник. В последнее время мне нравится ее подружка с красивыми волосами мне бы такие она напоминает Жанну д'Арк которую я видела в театре а ногти у нее плохие такие бывают у тех у кого застужены руки и глаза как два уголька вот ноги что надо особенно когда она каблук одной туфли ставит на носок другой очень оригинально и зовут ее необычным именем Армандина не то, что мое и откуда мои родители его выкопали Армандина запросто стреляет у парней сигареты и может зайти выпить кофе в любое заведение где сидят мужчины. Она тренер по плаванию и несет всякие глупости но красиво а иногда бывает занудой и признает что бывает занудой я тоже зануда только признаться что я зануда и заставить терпеть мое занудство у меня не хватает храбрости а кроме всего прочего я все-таки женщина (все-таки или женщина?) которая волнуется как ребенок или как дурочка наверное все-таки как дурочка и чувствует себя счастливой радуясь цветку взгляду ласке мне уже не хочется чтобы меня насильно целовали или

грубо мною овладевали а хочется чтобы нежно как к цветку прикасались к уголку моих губ и если бы было время средневековых рыцарей моим девизом было бы «все или ничего» хочу поставить точки над i и все что я сказала сказала не для того чтобы считали меня героиней я не люблю героев они мне напоминают увешанных медалями и позирующих перед объективами генералов как и мама иногда напоминает мне булочницу из Алжубарроты которая ждет похвалы от покупателей Эурико прав когда называет меня кусачим ободранным зверьком и когда говорит что фасад не главное».

или Тереза вспоминает, что я должен принести из фабричной столовой несколько банок компота: на этом мы сэкономим три эскудо восемьдесят сентаво, но даже если бы на этом мы экономили всего несколько сентаво, она бы все равно была довольна (не Карлос ли Мурта как-то раз полушутя-полусерьезно назвал ее скопидомкой?), а то и просто у тебя, когда ты уже на пороге и в ушах твоих стоит мерное, все убыстряющееся тиканье часов, которые не знают передышки, не пренебрегают своими обязанностями и не прощают тебя, пусть ты тешишь себя иллюзией, что можешь забыть о них до следующего утра, отрывается пуговица.

Вижу, вижу тебя таким, каким видел вчера, позавчера, но не таким, каким увижу завтра. Все изо дня в день повторяется, и никто, наверное, а особенно ты, не может вообразить, что зреет, зреет нарыв, который наконец лопнет. «Новилектра»? Никогда больше. Нет, ждет тебя не табельная карточка, нет, а город, в нем ты найдешь много всего, о чем не только не думал, но даже не подозревал, и с каждым часом будешь пьянеть от обретенной свободы, вначале случайной, а потом сознательно завоевываемой, и каждое взятое тобой препятствие станет побуждать тебя на новые смелые поступки, как и открытия. Так какую же роль в этой твоей метаморфозе сыграла Тереза? Ты, думая о Терезе, действительно совершишь поездку на пароме Лиссабон — Касильяс (но суда теперь другие, у них другие названия, и они выкрашены в другие цвета), еще раз воскресишь в памяти вашу первую встречу, но испытывая беспокойное ощущение от того, что время почти все стерло: ты даже не можешь припомнить, в чем она была в тот далекий день (светло-коричневая юбка, так шедшая к Терезиным глазам цвета морской волны, как-то удивила тебя: «Новая? Какая красивая, я ее на тебе не видел»,— Тереза же, проведя руками по талии — она любила этот жест,— тут же упрекнула тебя: «Это же та самая юбка, в которой я была, когда мы с тобой познакомились. Сегодня я ее надела ради праздника». Тогда ты нахмурился, но Тереза молча отметила твою забывчивость: между вами все время идет сложное, упорное соревнование в оценке вещей и событий, и его можно как выиграть, так и проиграть, но проигрывать никто из вас не хочет). Нет, Родриго, сегодняшней свободой ты обязан только себе, и больше никому. Она твоя и сегодня и завтра, до той самой минуты, пока ты не прочтешь невероятное сообщение о твоем исчезновении — исчезновении никому не известного человека. Что ты почувствуешь, когда прочтешь его? Будешь изумлен, смущен, раздражен, но в конце концов испытаешь своеобразное наслаждение: ты — личность, ты существуешь. Существуешь без Терезы, «Новилектры» и друзей — вот открытие! И этим открытием ты насладишься. Между тем

— О чем ты думаешь?

— О чем думаю? Я и сам не знаю. Возможно, о том, что ты находишь меня странным

ты идешь по переходу и, к явному неудовольствию водителей, лавируешь среди автомобилей, но тебе кажется, что так ты опередишь по

меньшей мере двоих, спешащих к той же остановке автобуса, однако, уже оказавшись на тротуаре, убеждаешься, что мог бы идти по переходу и не торопясь, так как все равно ничего не изменилось: очередь не увеличилась, а осталась как была,— любопытно, что народ на остановку прибывает волнами, и каждая следующая волна мощнее предыдущей, так как она обрушивается не сразу, а вначале набирает силу; заметь, Родриго, в этот час жизнь города, похоже, зависит от автобуса, владельцы собственных машин — люди другого рода-племени, хотя уличное движение частенько сбивает спесь и с этих привилегированных слоев общества; смотреть на часы, Родриго, ни к чему, забудь эту необходимость до конца твоего приключения, ибо время принадлежит тебе, ты еще этого не знаешь, но это так, и поэты не устают о том писать, вспомни поэму из сборника «Маркетинг»:

наш приятель
уже не колесо
уже не роскошь
уже не предлог
уже не шпагат
уже не лопнувший шарик
и не отходы
что отправляют на свалку [1] —

нет, ты не сможешь вспомнить, оно будет написано несколько лет спустя, но важно то, что оно могло быть написано гораздо раньше, например, вчера, с мыслью о тебе и миллионах таких, как ты, Родриго, подчиненных табелю; смотреть на часы не стоит, через два дня ты перестанешь куда-либо спешить и будешь ждать разве что выхода газет, в которых привыкнешь видеть свое имя, свою фотографию, бесконечное число смелых домыслов и деталей, вроде бы имеющих отношение не к тебе, а к кому-то другому, но в которых ты со временем начнешь узнавать себя с приятным ощущением, что в тебе родился некто другой, кто ранее был подавлен и таился от всех и тебя самого, другой, от которого тебе уже трудно будет отделаться, другой, которого, возможно, предпочла бы Тереза,— как, интересно, она тебя встретит, если ты вернешься в своей собственной шкуре, шкуре Родриго дос Сантос Абрантеса, теперь, когда ты перестал им быть? — глядеть на часы ни к чему, автобусы, следуя по своим маршрутам, попадают в разные непредвиденные ситуации, их расписание — недостижимый идеал, между тем с циферблата «Тимекса» ты переводишь взгляд на стоящее напротив здание: в витрине колбасного магазина выставлены окорока и бутылки «Мартини», из бутылок построена пирамида, на которой красуется карточка с новой ценой — тебе все равно, «Мартини» плохо действует тебе на желудок, и никто из твоих друзей никогда не заказывал именно этот аперитив, все они пристрастились к виски, теперь ведь даже в деревнях любой эмигрант предложит тебе scotch[2], и это в стране, где вина на любой вкус и на все случаи жизни, недавно кто-то говорил даже о sherry[3], кто же это был? а, Розинда, она в ресторане всегда заказывает то, чего нет в меню, это, похоже, ее способ самоутверждения, способ почувствовать себя хоть на мгновение вознагражденной за однообразие жизни (это ведь она передала тебе разговор с привратницей, которая подслушала сплетни: «Слышала бы сеньора, как сегодня ее тут хвалили! И симпатичная-то вы, и стройная, и привлекательная, и все прочее. Так что зима теперь вам не страшна: укрыться есть чем»,— так образно, приправляя речь метафорами и сравнениями, говорит только народ), вот и ты, Родриго, этой зимой не замерзнешь: о тебе судачит весь город,— однако чем вызвано это любопыт-

[1] Отрывок из стихотворения Ф. Наморы «Las palmas» из сборника «Маркетинг».
[2] Виски *(англ.)*.
[3] Бренди *(англ.)*.

ство и сколь дорого тебе оно обходится? твой взгляд ползет вверх, к крыше этого дома, можно подумать, что каждый жилец задался целью поднять свою индивидуальную телевизионную антенну выше других, какие странные люди: Розинда, все розинды (Карлос Мурта назвал Терезу скрягой, когда увидел, как в тот вечер она, точно банковский кассир, раскладывала месячное жалованье на четыре кучки; кучку туда, кучку сюда, каждая имела свое определенное назначение — а что в этом плохого? может, Терезе это необходимо для того, чтобы смирить какие-то свои желания), на той же крыше все того же дома торчат еще и печные трубы, правда, только две на весь дом, ты никогда не обращал на это внимания, будь этот дом в Алентежо, на крыше был бы лес труб, сейчас дует холодный ветерок, в утреннем свете уже чувствуется холодная декабрьская сырость, дует ветерок и на твоей широкой улице, самолеты, обрати внимание, летают в такую погоду гораздо ниже, когда строили аэропорт, видно, не думали, что город будет расти, наступать на него, город бежит от реки как раз в сторону аэродрома, карабкается, точно в страхе, на холмы, откосы, плоскогорья, и все же река — его дорога, его движение, его укор и еще одна переменчивая и чарующая взор смотровая площадка: да, город, презирая реку, бежит от нее так же, как бегут из Португалии люди, но, открыв мир, возвращаются в Европу, становясь ее рабами: это те самые эмигранты, которые предлагают вам приправленный слезами и горечью изгнания scotch, не проходит и дня, чтобы газеты в том или ином виде не преподносили их жизнь — еще одну никому не известную одиссею; так что же означает быть португальцем? на этот вопрос мне тут же приходит ответ: быть португальцем — значит быть склонным к иллюзиям, иметь неистощимую способность прощать. Слова, слова, я знаю, оставим это. Несколько раньше всего того, что с тобой случилось, Родриго, я вижу тебя с одной из провинциальных газет в руках, не обращай внимания на шероховатость ее стиля, за наивными словами видно сердце народа, и оно кровоточит, кровоточит в Европе, Африке и в тысяче других мест,

«Мы получили письмо от португальца, пустившего корни во Франции, приводим некоторые места из него: «Я очень хотел бы рассказать о тех несчастных, которые отправляются за границу без документов, рассказать во всех подробностях о том, что с ними происходит, так как через все это прошел сам. Совсем недавно в горах Испании были найдены шапка и пиджак одного португальца, съеденного волками. Его съели волки, а семья до того самого дня ничего о нем не знала — это ужасно, и такое случается со многими из тех, кого минуют пуля пограничника, холод и голод. Кроме шапки и пиджака остались еще лезвия «Жиллет» и авторучка, это волкам тоже ни к чему.

А недавно в мою дверь постучались четверо, попросили помочь найти работу, согласны на любую, ну, а те, кто ее дает, пользуется этим, да как, даже стыдно сказать, вот потому эти четверо живут у меня, спят на тех же, что и я, нарах, днем съедают кусок хлеба с колбасой, а вечером — картошку с чем придется. Рассказывают, что прошли ад кромешный. Всего их было сорок восемь человек, все они сели на рыболовецкое судно и вышли в море, вскоре у них кончился газолин, погас свет, а тут еще начало штормить. Один упал за борт, но они его вытащили. Потом кончилась питьевая вода, а они были уже в открытом море. Передать все трудно, это надо испытать.

На днях у меня появился еще один. До Парижа он добрался чудом, а там его посадили на такси и отправили сюда. Тому, кто его переправил в Париж, он отдал двенадцать тысяч эскудо и семь с половиной за такси от Парижа, да еще шофер такси ук-

рал у него полторы тысячи. Здесь всех обворовывают. Обдирают несчастных как липку, так что для многих наших Франция — слезы и обман. Чтобы этот вновь прибывший смог рассчитаться с шофером, мне пришлось одолжить ему денег, а когда таксист уехал, он узнал, что таксист-то его и обокрал; дело дошло до того, что один наш трасмонтанец [1], чтобы выбраться из Франции, прицепился к шасси самолета. Я многое могу порассказать о нашей жизни, здесь ведь мы ничего, кроме работы, не видим, и каждый посланный нами домой тостан горек, как желчь».

да, в тысяче других мест, минуту, Родриго, давай послушаем Кастел-Бранко, он со значением заложил большой палец в вырез жилета и, кривя губы, с неприкрытой радостью заявляет:

— И ты, Андре, еще сердишься, когда я говорю, что твоя тема — несчастные!

— вот мы и услышали.

Ветер шелестит газетами, лежащими в газетном киоске, эта улица ну просто аэродинамическая труба, вон у окна стоит Тереза, только теперь ты силишься припомнить: а попрощался ли ты с ней в утренней спешке?

Но бывает и похлеще — это я опять об эмигрантах. Марселино Фернандес записал на магнитофон эмигранта Жозе де Моуру, спустя несколько лет мы сможем познакомиться с этой записью в монографии Мануэла Виегаса Геррейро «Питоны из Жуниаса», читайте ее, пожалуйста, если хотите знать больше о нашем простом народе. Я ведь только прикоснусь к этому труду, чтобы заинтересовать вас. Вот несколько строк из рассказанного Жозе де Моурой:

«Проводники вывели нас на дорогу. Посадили в крытый грузовик всех — нас было сорок четыре человека. Ехали мы двенадцать часов в неизвестном нам направлении. Не ели. Наконец прибыли в какое-то местечко в Испании, где нас встретила легковая машина, и шофер этой легковой машины крикнул нашему:

— Высаживай всех, и быстро.

В грузовик влезли двое и стали нас высаживать прямо посередине улицы. Потом мы бегом поднялись по лестнице, которая вела к церкви. И скоро оказались в туннеле, должно быть железнодорожном. И вот, когда мы оказались там, в нас начали стрелять, и стреляли как с одного конца туннеля, так и с другого. Один из проводников приказал нам лечь на землю. На земле мы пролежали около часу, потом он пошел договариваться с полицией или не знаю с кем, а когда договорился, нам разрешили подняться. Шли мы, шли, наконец вышли на дорогу, где появилась машина тех, кто переправлял нас, маленькая, но все мы, сорок четыре человека, влезли в нее. Кто сидел, кто стоял, кто лежал. А тут дорога пошла вверх, ну и машина не смогла нас вывезти. Мы стали кричать. Тогда шофер приказал всем выйти, а когда мы вышли, уехал. Так мы остались посередине дороги, не зная ни где находимся, ни куда держать путь. Стали спускаться к болоту, и пока спускались, все искололись о растущий на берегу колючий кустарник. Все на нас было изорвано, а мы исцарапаны, вид — хуже не придумаешь. Тут мы увидели пастуха, пасшего овец, и подошли к усадьбе. Хозяин усадьбы, увидев нас, в испуге схватился за ружье и только потом спросил, кто мы такие. Мы сказали ему, что идем во Францию, что нас бросил проводник, не приютит ли он нас на скотном дворе или в сарае.

— Заходите вот сюда, заходите.

Мы оказались на скотном дворе, где было двенадцать овец, легли прямо в овечьи кормушки, потому что лечь там, где спали овцы,

[1] Житель португальской провинции Трас-ос-Монтес.

было нельзя — мокро. На другой день этот хозяин, должно быть тоже проводник или связанный с проводниками, вывел нас на дорогу, а потом спрятал в зарослях колючего кустарника, надо сказать, место не безопасное. Сидели мы там долго, потом пришли четверо, принесли нам хлеб, колбасу, вино. Все это мы кое-как поглотали. А полиция весь этот день нас искала, кто-то донес. К вечеру, когда солнце село, нас повели в новую овчарню, а ночью — через горы пешком. Это были Пиренеи. Шли мы часов одиннадцать, точно, одиннадцать. Метров тридцать — сорок спускались по склону почти ползком. Срывались, падали, кричали, некоторые не могли идти дальше. К трем утра оказались около реки, шириной метров в сорок, а глубиной по горло. Разделись догола. В этой реке один молодой парень, лет восемнадцати, чуть было не утонул — вода покрыла его с головой. Повезло ему, что рядом был умевший плавать, он его и вытащил, а позже выловил из воды свои и его ботинки. Через реку мы наконец переправились, все грязные и мокрые. Очень хотелось одеться, но проводники не разрешили, и мы шли еще четыре часа голыми — это сорок-то четыре человека! В Пиренеях нам встретился пастух и сказал, что если мы и дальше будем идти этой дорогой, то прямиком угодим в лапы полиции — она нас, конечно же, ждет. Тогда мы пошли вверх, даже звери не могли бы подняться по таким крутым скалам, ноги то и дело соскальзывали, мы падали, но шли. Все были изранены в кровь. И вот наконец поднялись на самое высокое место в Пиренеях и оказались за колючей проволокой, а за ней, за этой проволокой, куда нам приказали лезть проводники, разъяренные боровы. Они-то, эти боровы, как только увидели, что мы пожаловали к ним в гости, бросились на нас. Ничего другого, как бежать, бежать со всех ног, пока не спасемся, нам не оставалось. И мы бежали. А так как наши проводники есть-то нам не давали, сил у нас было мало, да и жажда мучила. Мокрые, дрожащие, несчастные, мы продолжали свой путь, когда один из нас сказал:

— Либо проводник нас накормит, либо мы его убьем.— Счастье, что мы его так и не убили, а то бы потом, как пить дать, поубивали друг друга».

в тысяче других мест, минуту, Родриго, Кастел-Бранко еще что-то хочет сказать:

— Это же смешно, Андре, неужели ты не знаешь, что подобные драмищи сейчас не в моде?

все, Родриго, мы услышали его слова, Тереза стоит у окна, она печальна, но старается улыбаться, ее что-то тревожит. И хуже то, что она ведь не скажет тебе причины, она ждет, что ты сам догадаешься, тебе хорошо известны эти загадки, которые она тебе преподносит, и как же редко ты их разгадываешь — женщина непростая, и, возможно, это тебе надоело? В тот вечер, если ты помнишь (необходимо, чтобы ты помнил!), ты должен был принести ей какую-то безделушку, пусть дешевую, но «обязательно в тот вечер» — фразу относительно супружеской внимательности она повторяла много раз и сознательно, понимая, что ты к ее словам не безразличен. Помнишь, как она отнеслась к букету георгинов, который принес ей Адалберто в день ее рождения? Ведь не сказала ни слова, но как и сколько раз поправляла уже поставленные в вазу цветы! Да, какую-нибудь безделушку, ну хотя бы ту лаковую шкатулку, что ты видел в витрине парфюмерного магазина, или, может, духи? Это и практичный и приятный («духи всегда приятны» — это ее слова) подарок, правда, ты в духах не разбираешься, но какие-нибудь всегда рекламируются по телевизору — попроси у продавца именно эти.

Нетерпение стоящего впереди тебя парня превосходит твое. Он никак не может закурить: поворачивается спиной к ветру, прикрыва-

ет рукой пламя зажигалки, но она все равно гаснет,— а может, он слишком суетится? — вот наконец закурил, спрятавшись за широкую спину мрачного пожилого мужчины, под шестьдесят, на носу у него профессорские очки, из-за них лицо кажется жестким, этот человек следит за своей внешностью, правда, как-то странно держит портфель: обеими руками за ручку — вроде бы он в наручниках, по всему видно, что стоять между долговязым парнем и растрепанной девицей в водолазке (на которой в двух местах спустились петли) и пышной юбке до пят, вся одежда пропахла тошнотворным запахом восточных духов, ему неприятно: он то и дело сопит, не одобряя неопрятности в одежде и резких духов.

А вот и автобус, помаши рукой Терезе, даже если ты не уверен, что на таком расстоянии она тебя заметит. Очередь уплотняется, все считают, что, стоя как можно ближе друг к другу, они скорее окажутся в автобусе; скрипят тормоза, на остановке выходят только два человека, а могло бы не выйти ни одного, входят четверо — все, посадка окончена. Кондуктор строг, лишнего не впустит: «Отойдите, сеньора, а то окажетесь под колесами»,— дает сигнал к отправке, и автобус следует дальше.

Я вижу тебя, Родриго, мозг твой работает четко, как вычислительная машина. Если следующий автобус придет через три минуты, не позже, а пересадка на «тридцать восьмой», которую ты должен сделать на площади Чили, займет, скажем, минуты две, то ты войдешь в здание «Новилектры» как раз в тот момент, когда часы начнут отсчитывать минуты опоздания. Необходимо иметь в запасе три минуты. Одна минута уже прошла, идет вторая, тебе повезло: подходит другой автобус, и очередь на треть убывает. Можешь считать, что минута тобой выиграна. Но это же старая колымага, вот незадача! Она скрипит, скрежещет, а подпрыгивая на ухабах, того и гляди развалится на части. На такой будешь тащиться в два раза дольше, этого-то ты и не учел. Ты обратил внимание, какой изысканно одетый молодой человек подошел к благоухающей духами девице? Ботинки белые с коричневым — такие носили в сороковые годы, к тому же сейчас осень. Однако смешное существует только для того, кто его видит. С каким достоинством он держит голову, шея устанет, ей-богу. А этот вот уже на ходу прыгнул на ступеньку и висит, но кондуктор все видит, его не проведешь: на следующей остановке он его ссадит. Но ссадит, добродушно улыбнувшись,— это свойственно португальцам, как и свойственно вести войны на таком далеком от Португалии расстоянии, эти войны мы считаем чужими, ход их печать освещает, опять же смягчая события, в результате чего события искажаются, ты еще вчера читал:

«В Китеше (Ангола) царит спокойствие. За последние шесть месяцев здесь вновь открылись и работают шестнадцать магазинов и еще несколько готовятся последовать их примеру. Скоро будет построен отель — первый отель в городе. Территория под отель уже отведена.

30 июля в поместье «Мануэла» вернулись первые уроженцы здешних мест. Вернулись с гор, где властвуют повстанцы. В городе с каждым днем все больше и больше больных, истощенных, раненых. Мне показывают две фотографии Габианы Домингас, сделанные с интервалом в семь месяцев. На первой — это скелет, настоящая оборванка, доставленная в поместье «Мануэла» португальским вертолетом. На второй — упитанная, толстощекая, пышущая здоровьем женщина. Фотографии были широко распространены в печати и должны заставить задуматься повстанцев.

В районе семь домов отданы неграм, они бывшие повстанцы. Одни ранены, другие все в язвах, страдают от разных болезней. Каждый день они приходят на консультацию к врачу-португальцу, спокойно ждут своей очереди, улыбаются.

В Китоке, например, за август месяц восстановили свое здоровье двести пятьдесят семь человек, среди них Симан Домингос — теперь он сам себе хозяин. Строит для своей семьи самый большой дом. Старый плотник преодолел большие трудности: за ящик с инструментами он было продался повстанцам.

Симан Домингос показал мне и дом, в котором перебирают маниоку, рассыпанную для просушки. Готовят питье.

Я спрашиваю:

— Почему не возвращаются остальные, подавшиеся к повстанцам?

Он указывает на гору Китоке.

— Там,— произносит он,— наверху, осталось еще пятеро вооруженных негров, их запугивают, говоря, что белые убивают любого, кто возвращается к себе домой.

— Как-нибудь пойдите и приведите их сюда,— замечает ему один из португальцев.

Негр улыбается, не очень уверенный, что ему это удастся.

Вся сложность в том, что у повстанцев везде свои люди, которые на них работают: сеют, убирают урожай, прислуживают и уважают власть — она держится на силе. Кто хозяин в горах — всякий знает. Если бы никто не поддерживал повстанцев, власть их давно бы кончилась. Но их поддерживают. Его же случай особенный, хоть он и сам сдался (португальские солдаты никогда не спрашивают у взятых или сдавшихся в плен, сколько белых они убили), он-то был тем, кем командовали, а не тем, кто командовал, в этом можно убедиться, просмотрев бумаги.

При отъезде из Китеше командир батальона дарит мне ежемесячную газету части, она называется «Маяк».

Когда же все это: ложь, правда, иллюзии, обман, алчность, доблесть, мечта и кошмар — прекратится? И какими к тому времени будем мы, когда мы скажем: «С этим покончено»?

Наконец-то ты доехал до площади Чили. (Кстати, Родриго, а назовут ли именем нашего города улицы других городов, в которых живут другие народы, говорящие на других языках? У нас, как видишь, нет страны, именем которой не были бы названы проспекты и переулки, мы, прошу прощения, вечно пресмыкаемся, пресмыкаемся с тех самых пор, как вместе с каравеллами[1] утратили гордость мореходов, а оставшиеся жалкие крохи этой гордости еще утратим в этой африканской авантюре.) Да, площадь Чили. Ты перебегаешь на остановку «тридцать восьмого» и, видя очередь, догадываешься, что автобус вот-вот подойдет. У светофора стоят сразу три автобуса, один из них наверняка «тридцать восьмой». Да, вот он. Так что тебе не надо будет бегом бежать от остановки «тридцать восьмого» до «Новилектры»: до начала работы еще останется минуты полторы — больше, чем обычно. Между прочим, стоит встать всего на пятнадцать минут раньше, и у тебя не будет всех этих забот. Неужели так трудно это сделать (Тереза уже перестала об этом говорить)? Не будет этих забот, это точно, но последнее время ты стал особенно упрям, и тебя трудно понять. Похоже, ты с кем-то все время борешься, с кем-то, кого тебе надо победить во что бы то ни стало, уж не с самим ли собой?

«Тридцать восьмой» даже не остановился. Набит битком. Бессмысленно спрашивать впереди стоящую женщину, давно ли она ждет автобуса, получишь столь же бессмысленный ответ: «Больше четверти часа, и похоже, простоим еще столько же». У этой женщины рубленое суховатое лицо, она напоминает женщин времен первых американских westerns[2], которые с мушкетами в руках встречали бандитов. Что же в ней необычного? Присмотрись к ней хорошенько, да перестань же думать о своем табеле, останется ли год спустя в твоей па-

[1] Имеются в виду времена владычества португальцев на море.

[2] Переселенцев *(англ.)*.

мяти эта неприятность? Нет, не останется. А раз так, к чему нервничать? Одним опозданием больше, да гори он, этот табель, жарким пламенем. Гори жарким пламенем «Новилектра» — браво, Родриго. О, какой браслет! Такие браслеты, как у этой женщины, по праздникам, например на свадьбу, надевают преуспевающие торговки рыбой. А на самом деле, забудешь ли ты через год это ожидание автобуса, так потрепавшее тебе нервы? Наверное, нет. Тереза побаивается твоей памяти, вернее, того, что ты копишь все обиды, даже мелкие. А все потому, что ты любишь эту женщину и хочешь, чтобы тебе принадлежало не только ее настоящее, но и ее прошлое. Ты сказал ей это, когда она упомянула, в ответ на твой вопрос, почему она не до конца откровенна, те «два случая» (а может, больше?), двух мужчин, которых знала до тебя. Подробности ты знать не захотел, хотя тебя интересовала каждая мелочь:

— Лучше не рассказывай, я хотел бы, чтобы все, что ты пережила до меня, было забыто.

— А я и не рассказываю, Родриго.

— И все же я чувствую, что эти двое оставили свой след в твоей жизни.

— Что за ерунда, Родриго, на такую глупость даже не знаешь, что ответить.

И через несколько месяцев, когда они лежали на пустынном пляже — поехать к морю захотелось Терезе,— она сказала:

— Ты знаешь, когда мне было шестнадцать, я познакомилась с одним Родриго, надо же: не такое уж часто встречающееся имя; это было летнее увлечение, он был как ты, высокий и нелюдимый, любопытное совпадение.

— А потом?

— Что потом?

— Другие?

— Других не было, хотя как-то в меня влюбился курсант мореходного училища, встретились мы с ним на танцах, он танцевал только со мной одной, а позже стал поджидать меня у лицея.

Тереза ушла от правды и солгала и в то же время не солгала. Возможно стараясь защитить себя (и защитить тебя) от твоей острой чувствительности? Ты ее ни о чем не спрашивал и ничего не говорил, а она, обмолвившись о своем прошлом и на этот раз сказав совсем иное, стала для тебя другой. И все же через несколько дней ты повторил свой вопрос, и с укором:

— Почему же ты не рассказала мне о тех других «двух случаях»? Я помню наш прошлый разговор слово в слово.

— О Родриго, как же с тобой трудно. Я ж говорила о своих детских годах, а не о тех, когда стала женщиной.

Опять молчание, опять заход издалека,

— О чем ты думаешь?

— О чем думаю? Сам не знаю. Скорее всего о твоих словах, что я какой-то странный.

и снова молчание, оно — твое убежище, твоя мука, в нем ты скрывал то, что тебе страстно хотелось сказать. Почему Тереза ушла от разговора о том, в чем уже однажды ему призналась?

Все это ты вспомнишь завтра, когда на пароме будешь пересекать реку. Как мог ты столько лет жить, подчиняясь Терезе? Она — ось, ты — колесо. Вот почему, неожиданно вкусив свободы, ты с часу на час станешь откладывать свое возвращение домой, а когда о тебе заговорят все газеты этого равнодушного города (а что скажут о тебе твои друзья в кафе «Мартиньо»? Интересно бы услышать), возвращение тебе покажется невозможной капитуляцией. Но ты должен будешь кому-нибудь позвонить, чтобы узнать, как относятся к твоему

исчезновению Тереза, Сесилия и Карлос Мурта, хотя печать и сообщает тебе обо всем интересующем, однако, Родриго, ты даже не представляешь, что это закроет тебе все выходы. Завтра на реку — на вашу, как море, широкую, изборожденную острыми килями кораблей, на одном берегу которой холм, темнеет силуэт замка, на другом — лес заводских труб рабочего пригорода Баррейро, извергающих то ли дым, то ли огонь, Лиссабон, по мере того как мы от него удаляемся, разрастается вширь, мимо проходит красный корпус грузового судна, ну прямо освежеванная туша какой-то огромной рыбины, нарядные пароходы, желтые, попадаются и зеленые, похожие на плывущих по водной глади крокодилов, возможно, эта скамья та же, на которой сидела Тереза в тот день, когда они встретились,— ребенок упустил воздушный шарик, и они оба бросились ловить этот шарик,— потом очень быстро спустились сумерки, первые тени легли на Террейро-до-Пасо, на набережную Колоннады, где рыбаки с удочками в руках совсем забыли о времени; во чреве парохода без устали работают шатуны, дрожит палуба, дрожат наши внутренности, вон на полном ходу идет «Воуга». «Почистим ботинки»,— предлагает чистильщик и крутит от безделья большими пальцами, точно перебирает четки. «Да и у меня все внутри сотрясается». Никто чистить ботинки не желает, придется ему переменить свое место... какие вены у этой иностранки, что в светлой блузе, «Что-то упало за борт?» — «Oh, c'est joli»[1]— щелкает фотоаппарат; «...или они помогают тем, кто работает?» — на ней не платье, а что-то вроде нижней юбки и слишком легкое для нашей погоды, с которой шутки плохи, «Кто жаждет получить большой выигрыш?»— тут же рядом некто — образец для подражания высовывает из сандалии большой палец правой ноги, «il faut tenir»;[2] за судном, проходящим впритирку с «Воугой», тянется что-то вроде плота, река волнуется, «venez, une petite photo là bas»[3]; девушка в дымчатых очках берет из горсти двумя пальцами, точно курица клювом, кедровые орешки, ее блузу золотит поздний луч солнца. На том берегу неспокойно, ты об этом знаешь,— забастовки, пикеты, стычки рабочих с полицией. Говорят, есть раненые и убитые. Что ты об этом думаешь? Спускают трап, кое-кто из пассажиров уже спрыгивает на землю, не дожидаясь, когда конец его ляжет на причал. На здании, которое стоит за рыбным магазином, висят афиши кинофильмов: «Геркулес-завоеватель» и другие, особо рекламируется «Большой бал» в Пьеденском клубе, где играет знаменитый ансамбль «Булимундо». А дальше — ну что ты так пугаешься?— огромный цветной плакат, изображающий живописный вид южного берега Тежо, открывающийся из распахнутого окна, а подо всем этим — крупные буквы зовут в будущее: «Алмада — район для народа, ждущего апрель». Апрель? Народ? Что хотят этим сказать?

Я вижу тебя, Родриго, вижу, но все еще на площади Чили. Надеяться на что-либо, если «тридцать восьмой», которого ты ждешь, придет только через четверть часа,— пустое дело. Точные часы «Новилектры» не оставляют тебе и крошки надежды. Теперь ты не успеешь отбить табель, даже если сядешь на такси. Разве что опоздаешь не на две минуты, а на одну, будь оно неладно. Пропади пропадом эта «Новилектра». Странно: газетный киоск, тот, что напротив остановки, еще закрыт. Похоже, его владелец проспал, заболел, а может... Подходит автобус, но не «тридцать восьмой», этот идет на Шабрегас, у Аррейро он сворачивает. И тоже еле тащится, мотор глохнет, пыхтит, точно астматик. На остановке он не останавливается, а проезжает чуть вперед, три человека бегут за ним. Один из них ну просто боксер, того гляди померяется с соперником силой. Неподалеку ведутся строительные работы: стучат отбойные молотки, видны дыры в асфальте,

[1] О, как красиво! *(франц.)*
[2] Надо держаться *(франц.)*.
[3] Встаньте сюда, я вас сниму *(франц.)*.

стоящие напротив остановки здания одеты в леса, когда фасад подновят, он будет красив, но пока шум такой, что хочется бежать без оглядки; кто-то жалуется: «Хотя и говорят, будто денег нет, но повсюду ведутся работы, что только не ремонтируют, остановиться не могут, кошмар какой-то!» — сказанное подхватывают те, кто стоит впереди. «Не останавливаются, черт подери!» — что, впрочем, можно отнести к очередному (все еще не «тридцать восьмой») не остановившемуся автобусу, тоже битком набитому, он идет мимо, даже не подходя к остановке. А если твой «тридцать восьмой» тоже окажется полным или, что для тебя одно и то же, придет позже, чем через четверть часа? Да, в общем-то, ты, Родриго, уже на этот вопрос ответил: каждая секунда опоздания отдаляет тебя от «Новилектры». Но если так, то почему же все это не отдаляет тебя еще больше от всего того, что ждало тебя в тот день четырнадцатого ноября 1965 года? Я вижу тебя, Родриго, но уже не здесь. Я думаю о Терезе, думаю о реке, сколько она унесла жизней, и вижу тебя на переправе через Тежо. Но на которой? Почему тебя видели на пароме, что ходит от Лиссабона в Баррейро? Что тебя туда привело? Но нет, прежде я вижу тебя в городе. Знаешь ли ты Лиссабон или только думаешь, что знаешь? К этому моменту ты уже опоздал на... а важна ли эта точность, важно ли, на сколько? важно то, что все утро, все целиком, твое, и даже Тереза — а Терезе нужно знать (она это делает умело: сдержанно, ничего не требуя и не раздражаясь, но и не выпуская из виду), где ты или те, кого она любит, и что они делают в тот или иной момент,— не сможет представить себе, чем это утро ты заполнишь. Если не считать воскресные утра или утра праздников — они не имеют ничего общего со всеми остальными,— то сколько же месяцев ты не проводил утренних часов вне стен «Новилектры»? Какое-то время после знакомства с Терезой (как рано в тот день стемнело!) ты еще ухитрялся находить предлог, чтобы не прийти на службу утром, но потом это кончилось, и кончилось, как это ни парадоксально, потому, что тебя повысили в должности. А заведующий отделом не может быть мальчишкой на побегушках. Каким же найдешь ты город в разгар будничной суеты? Ведь ты-то видел его только по вечерам, возвращаясь с работы, а вечером он совсем другой, разве не так? Ведь, в общем-то, твой город — кружок друзей в кафе «Мартиньо», автобус (уже другой), увозящий тебя домой, после того как на еще одном ты добрался до Байши, да, половина твоей жизни проходит в общественном транспорте, в конторе «Новилектры», за столиком кафе. Но вернемся к газетному киоску: может, хозяин его заболел, а может, без особых причин решил не открывать его в этот день, четырнадцатого ноября. И ты, Родриго, не пойдешь в «Новилектру», ты тоже решил этого не делать в тот же день, четырнадцатого ноября.

Ты уже вышел из очереди — вам повезло, стоящие сзади. «Кружка», что за идиотское название? Но для пивной, пожалуй, и не плохое; новая модель БМВ несется на большой скорости, ты никак не перейдешь улицу — такое движение, улицы, перекрестки, тротуары вдруг превращаются для тебя в бурные потоки, куда спешат все эти люди? Утро наконец прояснилось, может, ближе к полудню и солнце появится; еще немножко — и бедняжке Мануэле нужно будет оправдывать твое отсутствие перед управляющим «Новилектры» (ему-то нравится, чтобы его называли директором), а вон бедняга, тот, что с непокрытой головой, как видно, провел ночь на скамейке сада «Анжос», он потягивается, перед ним тоже новый день, и он тоже может распорядиться им по своему усмотрению; ты шагаешь по проспекту, которому нет конца, зелень деревьев после октябрьских дождей стала ярче, навстречу идет рабочий с завтраком в руке, он здоровается, но не с тобой, а с другим, таким же, как он, рабочим, вышедшим из переулка: «Ну как жизнь, паршиво?»— ясное дело, что паршиво, мы постоянно испытываем чувство катастрофы, и тут же этому «паршиво»

ты видишь подтверждение: трамваи, позвякивание железа, плевок старика, плевок густой, только чудом не попал тебе на брючину, какое движение, и вот, наконец, «тридцать восьмой», прощай, прощай, вечером, когда закат

— О чем ты думаешь?

— Я и сам не знаю. Думаю о тебе, о Терезе, а теперь, когда сказал, о закате, о Марте, сейчас, пожалуй, больше о Марте.

— Но мы же о закате не говорили.

— Нет? Значит, мне показалось.

— Ты в самом деле какой-то странный. Кто такая Марта?

— Ты ее не знаешь.

— Потому и спрашиваю.

— В двух словах объяснить трудно. Ее надо знать, чтобы понять, кто она такая.

— Тебя послушаешь и решишь, что вы близки.

— Зачем ты это, Дорита?

когда закат

«До чего же мрачны твои письма. Каждое слово — черная молния. Ты даже унижаешь себя, ты, тот, кого я люблю, а я разве смогла бы полюбить кого попало? Следовало бы запретить людям так плохо говорить о себе. Мы ведь смотрим на себя пристрастно, и что мы такое, лучше видно только со стороны.

Но два слова «заходящее солнце» задели меня за живое. Сейчас скажу почему. В моих жилах смешана разная кровь: индейская, ирландская, берберская. Может, именно этим объясняется ритуал (в нашей семье), с молчаливым изумлением и трепетом совершавшийся ежедневно: с порога нашего стоящего за дюнами дома мы наблюдали величественный заход солнца. Это надо прочувствовать хотя бы раз в жизни, чтобы понять, какое впечатление он производит на человека. Солнце погружается в море в самый разгар оргии красок. Если повернуться к солнцу спиной и смотреть вдаль, на вершины гор, можно увидеть, как подкрадывается ночь, как робко над горизонтом вспыхивают звезды, робко, точно знают, что свет их затмит эта пышная агония дня. А ритуал заключался в следующем: я танцевала на золотом песке, а отец, сидя в кресле-качалке, смаковал налитый в рюмку портвейн. И это длилось, пока солнце не тонуло в море. Танец — это все равно что любовь. Танец, музыка, ритм живут в нас как наше второе «я». Танцевать — значит освобождаться от чувств, переполняющих наше тело. Когда же солнце исчезало, мы шли домой, этим заканчивался наш день, а лицо отца становилось серьезным. Сейчас без двадцати четыре, я одна, вялая, безучастная, разбита такими же черными, как твои, думами. И виноват в этом ты. На этот раз я скажу все, до конца, смелости у меня хватит. Я уже говорила тебе и повторяться не буду, но ты мне нужен, нужен весь целиком. Тогда ты мне ничего не ответил, вернее, сделал вид, что ответил, прикрывшись, как всегда, одолевающими тебя душевными страданиями, ты искренне веришь в эти свои страдания. Но теперь, теперь ты должен мне ответить: принимаешь ты меня или отвергаешь? Конечно, я совсем другая, чем ты. И когда меня что-то мучает, я вначале пытаюсь уйти от этого «что-то», не думать, отсрочить решение, но долго не выдерживаю. Приходит час, когда я не в силах больше выносить эту неопределенность (я тебе говорила, страдать просто так я не способна) и бросаюсь в омут: утону — что поделаешь? выплыву — тем лучше! Вот почему я и боюсь себя: когда я «бросаюсь», удержать меня уже невозможно. И все же я хочу знать, что у тебя ко мне и что ты решил. Больше я так не

могу. Если я буду писать тебе по-прежнему, мне от тебя не освободиться, от тебя и моих иллюзий. Лучше покончить со всем разом.

Je t'aime, je t'aime, je t'aime,
et toi, et toi
tu es libre de choisir[1].

Думаю о тебе,

Марта.

когда закат смягчает очертания городских холмов, когда стены замка вырастают в поблекшем от усталости небе, куда ты, Родриго, идешь, какой ты выбрал корабль из тех, что несет река Тежо на своей волнующейся груди? Газеты пишут, что это был паром «Алентежо», который ходит от пристани «Юг и Юго-Восток» до предместья Баррейро, и что именно на нем нашли твой плащ.

■

Я вижу себя.

Вижу себя спустя много — не знаю сколько — лет.

Это один из дней начала мая.

Я иду по одной из улиц, выходящих на Шиадо, иду не спеша, как в те времена, когда, бывало, прогуливался по улицам города с Фарией Гомесом. Как же мне его не хватает! На площади меня поджидают еще трое писателей. Кастел-Бранко прямо задохнулся от ярости, когда узнал, что его-то и не пригласили, а он считал себя чуть ли не знаменем всемогущего Движения вооруженных сил[2]. А пригласили нас в штаб-квартиру ПИДЕ, последний редут салазаризма, откуда его тайные агенты, подобно крысам, бежали с тонущего корабля подземными ходами, на мостовой еще видна кровь тех, кто пал при осаде этой цитадели.

У входа нас встречает морской пехотинец, он стоит в вольной позе, опираясь на карабин, берет набекрень, ворот расстегнут: муштра окончена, запрещать воспрещается, наказывать тоже. На улице дышится свободно, полной грудью.

В полном молчании мы открываем дверь, внутри меня все сжимается. Глаза отказываются видеть, я вынужден заставлять себя, что это со мной? Будь здесь с нами Невес, ироничный Невес, легче было бы справиться с охватившим нас волнением. Длинный коридор. Вот здесь были залы ожиданий, волнений, тревог, там — шли допросы, истязания. Внутри — железные лестницы, патио, галереи, камеры, а что это за надписи на стенах? Кабинеты мало кому известной бюрократии, лабиринт переходов, на втором этаже (или на третьем?) какие-то странные установки, нечто вроде студий звукозаписи, я всегда боялся подобной техники, ничего в ней не смысля, металлические стеллажи до самого потолка, архивы, картотеки, хочется отвести глаза, не смотреть, начинает сосать под ложечкой, наше появление здесь — это вторжение в мир ужасов, я воспринимаю все как кошмар, начинаю слышать безмолвные крики, затихающий звук шагов, вижу разбросанные по полу бумаги, клочки разорванных документов в корзинах для мусора, а на письменных столах картинки из порнографических журналов, недокуренные сигареты, чувствую стойкий запах гари, запах пожарища, вот и пепел на ковре, и портреты Салазара, исполосованные ножами, здесь прошел ураган ярости, мебель поломана. «Берите, берите, в память о посещении ПИДЕ»,— здесь впервые пять таких звезд,— не знаю почему, но я отказался, почему-то даже отпрянул, каждый из нас (из «пяти звезд») направляется к тому, что его больше

[1] Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, а ты, а ты свободен выбирать *(франц.)*.

[2] Движение вооруженных сил возглавило апрельскую революцию в Португалии.

всего интересует (как бы на все это набросился Кастел-Бранко: ведь все секретное его притягивает!), никто за нами не следит, следить запрещено, и тут мое внимание привлекает список «лиц», которые должны быть «немедленно извещены», если Салазар серьезно заболеет, бумага жжет мне руки, все плывет, перед глазами туман: я вижу одно имя,— как же мы могли верить такому двуликому человеку?!— но спросите любого, и всякий вам ответит, что это «лицо» достойно уважения, а оно здесь, вот оно, в начале списка, история давит на меня, история жестокости, цинизма, алчности, мучений, полувековая история — это и ничего и все, лейтенант, наш гид, предлагает нам: «Берите, берите, сегодня особый день, не такой, как все»,— и тут один из нас спрашивает:

— Даже *досье* можно?

— Конечно, выбирайте, какое вас интересует.

Луис Морейра идет к полке, на которой прикреплена буква «М», нервно перебирает папки и наконец объявляет:

— Вот мое.

Листает его с возрастающим беспокойством, потом уже медленнее, усмехается, негодует, а мы все смотрим на него. И вдруг лейтенант чуть ли не укоризненно спрашивает меня:

— А вы, Андре Бернардес, вы не хотите взять свое?

Зачем? Я снова отказываюсь. От всего этого меня мутит, и мне делается страшно. Страшно даже наше присутствие здесь. Я чуть отстаю от своих собратьев и снова беру в руки список тех, кого ПИДЕ должна была оповестить, и снова ужасаюсь некоторым стоящим в списке именам, особенно этому, сколько же раз ты, Андре, пожимал ему руку, неужели в атмосфере недоверия нужно подозревать каждого? И вдруг неожиданно для себя говорю нашему гиду:

— Простите, все-таки одно *досье* меня интересует. Если оно, конечно, имеется.

— Скажите имя, я найду.

— Родриго дос Сантос Абрантес.

Лиссабон, 1 ноября 1981 г.

■

БРЕВЕРН ЛИЛИАНА ЭДУАРДОВНА

Советский переводчик с португальского. В ее переводе выходили романы Алвеса Редола «Яма слепых» Вержилио Феррейры «Явление» и «Краткая радость» (в серии «Мастера современной прозы»), Фернандо Наморы «Хлеб и плевелы», повесть Освалдо Франса Жуниора «Бразилец Жорже» («ИЛ», 1983, № 7), новеллы Эсы де Кейроша и др.

Два перевода Владимира Набокова*

Декабрьская ночь

Из Мюссе

Однажды, в детстве, после школы,
я в нашей зале невеселой
один читал на склоне дня;
вошел и сел со мною рядом
ребенок в черном, с кротким взглядом,
как брат, похожий на меня.

Склонясь, печальный и прекрасный,
к свече, пылающей неясно,
он в книгу стал глядеть со мной;
к моей руке челом прижался
и до рассвета так остался —
в мечтах, с улыбкою немой.

В мое пятнадцатое лето
по вереску в дубраве где-то
однажды брел я наугад;
прошел и сел в тени древесной
весь в черном юноша безвестный,
похожий на меня, как брат.

Я у него спросил дорогу;
держал он лютню и немного
шиповника в пучок связал;
с очаровательным приветом,
слегка оборотясь, букетом
на ближний холм он показал.

---

* Статью Н. Анастасьева «Феномен Владимира Набокова» см. на с. 210.

Во дни слепой сердечной жажды
я у огня рыдал однажды,
измену первую кляня;
поближе к трепетному свету
сел кто-то, в черное одетый,
как брат, похожий на меня.

Дышал он сумрачной тоскою;
он твердь указывал рукою,
в другой руке блестел кинжал,
он знал мои глухие думы,
но испустил лишь вздох угрюмый
и, как видение, пропал.

Во дни, когда, гуляка вольный,
подняв бокал, под гул застольный,
любому тосту был я рад,—
одетый в черное, нежданно,
сел рядом собутыльник странный,
похожий на меня, как брат...

Он плащ стряхнул; на тощем теле
лохмотья пурпура висели,
и был он в миртовом венке,—
симво́л бесплодья; он склонился;
мы чокнулись; бокал разбился
в моей трепещущей руке.

А год спустя, порой ночною,
лежал недвижно предо мною
отец мой, вечностью объят;
у ложа смертного покорно
сел сирота в одежде черной,
похожий на меня, как брат.

Глядел он влажными очами,
увит терновыми шипами,
как ангел, нежен и уныл;
и лютня на земле лежала,
и в грудь вошел клинок кинжала,
и пурпур цвета крови был.

Его запомнил я так ясно,
что после в жизни я всечасно,
повсюду — узнавал его;
поистине то — призрак странный,
друг пасмурный и безымянный,
не демон и не божество.

Когда же, не стерпев страданья,
задумав дальние скитанья,
чтоб смерть найти иль вновь расцвесть,
я вышел из родного края,
нетерпеливо настигая
надежды призрачную весть,—

на склонах Пизы, в Апеннинах,
на Рейне, в Кёльне, и в долинах
пологих Ниццы, и тиши
дворцов Флоренции священной;
в шале, стареющих смиренно
в альпийской горестной глуши,

и в Генуе, в садах лимонных,
в Вевэ, меж яблоней зеленых,
и в атлантическом порту,
и в Лидо, на траве могильной,
где Адриатика бессильно
лобзает хладную плиту,—

повсюду, где, среди простора,
оставил сердце я и взоры,
терзаясь раной роковой;
повсюду, где хандра хромая,
на посмеянье выставляя,
меня тащила за собой;

повсюду, где тоской суровой
тоскуя по отчизне новой,
я шел за тенью снов моих;
повсюду, где, пожив так мало,
я видел все, что сердце знало,—
всю ту же ложь личин людских;

повсюду, где в пустыне пыльной
я, словно женщина, бессильно
рыдал, закрывшись рукавом;
повсюду, где в лесу тернистом
душа цеплялась шелковистым,
легко теряемым руном;

повсюду, где дрема́ долила,
повсюду, где звала могила,
повсюду, где коснулся я
земли,— садился при дороге,
весь в черном, человек убогий,
как брат, похожий на меня.

Откройся мне, ты, знающий все дали,
все колеи моих дорог!
Так скорбен ты, что я могу едва ли
в тебе признать мой злобный рок.
В твоей улыбке кротости так много,
так сердобольно слезы льешь...
Когда ты здесь, любовно чую Бога;
твоей тоске близка моя тревога,
на образ дружбы ты похож.

Но кто же ты? Не ангел, Богом данный,
руководитель душ людских.
Вот мучусь я, но ты — и это странно! —
молчишь при виде слез моих.

Я двадцать лет знаком с твоею властью,
неведомое существо,
меня жалеешь, но твое участье
не греет; улыбаешься, но счастья
не разделяешь моего.

Сегодня вновь явился ты ко сроку;
лилась ночная темнота;
крылом в окно бил ветер одиноко;
моя печаль была пуста:
но там остался отпечаток томный,
еще лобзанья жар тая;
и думал я о страсти вероломной,
и медленно, подобно ткани темной,
рвалась на части жизнь моя.

Собрал я письма, прядь волос — обломки
любви недавней,— все собрал;
и голос прошлого, не в меру громкий,
пустые клятвы повторял.
Прелестный прах, не смея с ним расстаться,
я гладил, трепетен и тих.
Плачь, сердце, плачь! Слезами напитаться
поторопись! Ведь завтра, может статься,
ты не узнаешь слез своих.

Я завернул остатки счастья эти
в обрывок бурого сукна.
Среди недолговечного на свете,
пожалуй, прядь волос вечна.
Как бы в подводный сумрак погруженный,
я глубь забвения пытал;
мой лот терялся в этой тьме бездонной;
я над моей любовью погребенной,
над бледным счастием рыдал.

И вот уже сургуч я выбрал черный,
чтоб запечатать нежный клад,
еще не веря, в скорби непокорной,
что я отдам его назад.
Ты слабая, надменная, слепая,
былого не сорвешь с себя!
О Господи, зачем же ложь такая?
Как страстно задыхалась ты, рыдая,
зачем рыдала — не любя?

Да, ты грустишь, томишься, но меж нами —
преграда прихоти твоей.
Ну что ж, прощай! Ты будешь со слезами
считать часы пустых ночей.
Уйди, уйди! В холодный сон гордыни
твоя душа погружена...
Моя же не стареет и не стынет,
и кроме горя, узнанного ныне,
немало мук вместит она.

Уйди, уйди! Не все от полновластной
природы получила ты,
увы, дитя, ты хочешь быть прекрасной —
что красота без доброты?
Пускай судьба тебя уносит мимо,
моей души ты не взяла...
Развей золу любви неповторимой...
Как я любил, и как непостижимо,
что ты любила и ушла!

Но вдруг в ночи как будто тень мелькнула,
затрепетала по стене,
по занавеске медленно скользнула
и села на постель ко мне.
О, кто ты, образ бледный и печальный,
одетый в черное двойник?
Чего ты ищешь здесь, паломник дальний?
Иль это сон, иль в глубине зеркальной
я отражением возник?

О, кто ты, спутник юности обманной,
упорный, призрачный ходок?
Зачем тебя я вижу постоянно
средь мрака, где мой путь пролег?
О, соглядатай скорби и заботы!
За что ты, горестная тень,
осуждена считать все повороты
моей стези? О, кто ты, брат мой, кто ты,
являющийся в черный день?

Видение отвечает:

Друг, мы — дети единого лона.
Я не ангел, к тебе благосклонный,
я не злая судьбина людей.
Я иду за любимыми следом,
но, увы, мне их выбор неведом,
мне чужда суета их путей.

Я не Бог и не демон крылатый;
но ты дал мне название брата,
и название это верней.
Где ты будешь, там буду я рядом
до последнего дня — когда сяду
я на камень могилы твоей.

Небо сердце твое мне вручило.
Я хочу, чтоб ко мне приходила
без боязни кручина твоя.
Я с тобой не расстанусь. Но помни,
прикоснуться к тебе не дано мне:
о мой друг, одиночество я.

В. Сирин

Пьяный корабль

Из А. Рембо

В стране бесстрастных рек, спускаясь по теченью,
хватился я моих усердных бурлаков:
индейцы ярые избрали их мишенью,
ногами их сковав у радужных столбов.

Есть много кораблей, фламандский хлеб везущих
и хлопок а́нглийский,— но к ним я охладел.
Когда прикончили тех пленников орущих,
открыли реки мне свободнейший удел.

И я — который был, зимой недавней, глуше
младенческих мозгов — бежал на зов морской,
и полуостровам, оторванным от суши,
не знать таких боев и удали такой.

Был штормом освящен мой водный первопуток.
Средь волн, без устали влачащих жертв своих,
протанцевал и я, как пробка, десять суток,
не помня глупых глаз огней береговых.

Вкусней, чем мальчику плоть яблока сырая,
вошла в еловый трюм зеленая вода,
меня от пятен вин и рвоты очищая
и унося мой руль и якорь навсегда.

И вольно с этих пор купался я в поэме
кишащих звездами лучисто-млечных вод,
где, очарованный и безучастный, время
от времени ко дну утопленник идет,

где, в пламенные дни, лазурь сквозную влаги
окрашивая вдруг, кружатся в забытьи —
просторней ваших лир, разымчивее браги —
туманы рыжие и горькие любви.

Я знаю небеса в сполóхах, и глубины,
и водоверть, и смерч; покой по вечерам;
рассвет восторженный, как вылет голубиный;
и видел я подчас, что мнится морякам;

я видел низких зорь пятнистые пожары,
в лиловых сгустках туч мистический провал;
как привидения из драмы очень старой,
волнуясь чередой, за валом веял вал;

я видел снежный свет ночей зеленооких,
лобзанья долгие медлительных морей,
и ваш круговорот, неслыханные соки,
и твой цветной огонь, о фосфор-чародей!

По целым месяцам внимал я истерии
скотоподобных волн при взятии скалы,
не думая о том, что светлые Марии
могли бы обуздать бодливые валы.

Уж я ль не приставал к немыслимой Флориде,
где смешаны цветы с глазами, с пестротой
пантер и тел людских и с радугами в виде
натянутых вожжей над зеленью морской!

Брожения болот я видел — словно мрежи,
где в тине целиком гниет левиафан;
штиль и крушенье волн, когда всю даль прорежет
и опрокинется над бездной ураган.

Серебряные льды, и перламутр, и пламя;
коричневую мель у берегов гнилых,
где змеи тяжкие, едомые клопами,
с деревьев падают смолистых и кривых.

Я б детям показал огнистые созданья
морские — золотых, певучих этих рыб.
Прелестной пеною цвели мои блужданья,
мне ветер придавал волшебных крыл изгиб.

Меж полюсов и зон устав бродить без цели,
порой качался я нежнее. Подходил
рой теневых цветов, присоски их желтели,
и я, как женщина молящаяся, был —

пока на палубе, колыша нечистоты
золотоглавых птиц, их клики, кутерьму,
я плыл, и сквозь меня, сквозь хрупкие пролеты,
дремотно пятился утопленник во тьму.

Но я, затерянный в кудрях травы летейской,
я, бурей брошенный в эфир глухонемой,
шатун, чьей скорлупы ни парусник ганзейский,
ни зоркий Монитор не сыщет под водой,—

я, вольный и живой, дымно-лиловым мраком
пробивший небеса, кирпичную их высь,
где б высмотрел поэт все, до чего он лаком,—
лазури лишаи и солнечную слизь,—

я, дикою доской в трескучих пятнах ярких
бежавший средь морских изогнутых коньков,
когда дубинами крушило солнце арки
ультрамариновых июльских облаков,—

я, трепетавший так, когда был слышен топот
Мальстромов вдалеке и Бегемотов бег,
паломник в синеве недвижной,— о Европа,
твой древний парапет запомнил я навек!

Я видел звездные архипелаги! Земли,
приветные пловцу, и небеса, как бред.
Не там ли, в глубине, в изгнании ты дремлешь,
о стая райских птиц, о мощь грядущих лет?

Но право ж, нету слез... Так безнадежны зори,
так солнце солоно, так тягостна луна...
Любовью горькою меня раздуло море...
Пусть лопнет остов мой! Бери меня, волна!

Из европейских вод мне сладостна была бы
та лужа черная, где детская рука,
средь грустных сумерек, челнок пускает слабый,
напоминающий сквозного мотылька.

О волны, не могу, исполненный истомы,
пересекать волну купеческих судов,
победно проходить среди знамен и грома
и проплывать вблизи ужасных глаз мостов.

В. Сирин

Публикация Я. Марковича

Недостаточно сказать, что набоковский перевод «Декабрьской ночи» Альфреда де Мюссе — редкая удача. Речь должна идти о большем. Это — почти идеальный образец того, чем должен быть на пределе своих возможностей художественный перевод и чем он почти никогда не бывает. Прочитать такой перевод для любителя поэзии — наслаждение, но для переводчика — профессиональная необходимость.

Мюссе недаром назвал Октава, героя своего автобиографического романа, то есть, по сути дела, самого себя,— «enfant du siècle», «дитя века». Более великие, чем он, были хотя бы отчасти детьми вечности; но он был дитя века и писал для детей века, он выразил свое время, с незаурядным талантом разработав самый серединный, среднеарифметический, но именно потому самый характерный вариант французского романтизма. В его поэзии как будто нет быта, но ее дух составляет нерасторжимое единство с бытом той эпохи, когда юная Эмма, будущая мадам Бовари, в тишине дортуара разглядывала любимые гравюры. «Она трепетала, когда от ее дыхания над гравюрой приподнималась дугою и потом снова тихонько опадала шелковистая папиросная бумага. Там, за балюстрадами балконов, юноши в коротких плащах сжимали в объятиях девушек в белом, с кошелечками у пояса; там были анонимные портреты английских леди в белокурых локонах,— огромными ясными глазами глядели они на вас из-под круглых соломенных шляп»,— здесь можно оборвать цитату, все и так помнят этот флоберовский пассаж. Любопытно, что как раз тогда, когда Флобер писал все это, он ощутил надобность рассчитаться — в известном письме к Луизе Коле от 6 июля 1852 года — с явлением Мюссе. «Мадам Бовари» подводит черту, мир уходящей красивости описан в нем извне; но менее чем за двадцать лет до этого, в 1835 году, когда на страницах «Revue des Deux Mondes» появилась «Декабрьская ночь», это еще был воздух, которым люди дышали,— ни сам Мюссе, ни читатель, на которого он рассчитывает, просто не знают никакого другого мира. И вот Набоков сумел так перевести лирическую поэму французского романтика, что в его переводе как будто слышно похрустыванье папиросной бумаги над гравюрой, как будто виден облик книжной страницы первой половины прошлого века: из старинных оборотов речи, интимных и неожиданных, как обмолвка, встает целая жизнь со всей конкретностью своих аксессуаров. Чтобы так воссоздать эту жизнь, нужно было совмещение взгляда извне и взгляда изнутри — вся жесткая отстраненность и вся пронзительная ностальгия, составляющие тайну этого единственного в своем роде перевода.

Это великолепные стихи на русском языке; но это не русская поэзия, ибо это французская поэзия, силой художественной иллюзии сохраняющая в русскоязычном обличии всю полноту своего свойства быть французской. Так Пушкину, когда он читал перевод Гнедича, померещился сквозь русские слова «умолкнувший звук божественной эллинской речи». Ни одна строка не припахивает переводом — у нас остается ощущение, что мы читали французский оригинал, а то, что слова — русские, не мешает этому, как могло бы быть в сновидении.

Прошу простить меня за слишком личный тон, но я почти совсем не умею любить оригинальное творчество Набокова и способен только «ценить» его. Но никуда не денешься: перевод «Декабрьской ночи», ненаучно выражаясь,— чудо. Выполненный тем же Набоковым перевод «Пьяного корабля» Рембо — не более чем интересная переводческая работа. Оба перевода поучительно видеть рядом, чтобы ощутить разницу между хорошей работой — и чудом.

С. АВЕРИНЦЕВ

■

Публицистика

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Главы из книги

Перевод с чешского ВИКТОРИИ КАМЕНСКОЙ

Когда в 1961 году Тайвань отозвал генерала Ли Ми и прекратил финансовую помощь остаткам своих частей в Бирме, Таиланде и Лаосе, соперничество между заместителями Ли Ми, генералом Туаном Ши Вэнем и генералом Ли Вэнь Хуанем привело к открытому разрыву.

Генерал Туан, командовавший 5-й армией (1600 солдат), избрал местом своего главного лагеря Мэсалонг. Генерал Ли, стоявший во главе 3-й армии (1400 солдат), построил укрепленную деревню Тамнгон двумястами километрами дальше. Десять дней пути — от одного лагеря до другого — несколько приглушали взаимную неприязнь.

И вот Тайвань отрекся от 3-й и 5-й армий. Чтобы по-прежнему принимать участие в выгоднейшем торговом предприятии века, беглецы из Юньнаня должны были делать вид, будто собираются завоевать самую населенную страну нашей планеты. После того как они отступили из Бирмы и перестали представлять опасность для целостности страны, центральное правительство оставило их в покое и повело борьбу с собственными повстанцами. Бывшие же гоминьдановцы занялись контрабандой.

Дисциплина и современное оружие обеспечивали им перевес над местными повстанцами. Хорошо поставленная разведка сообщала данные о предстоящем урожае и о ценах на опий-сырец. Совершенная организация помогала устранять конкурентов, так что в шестидесятые годы энергичные беглецы из Китая сосредоточили в своих руках 90% бирманской торговли наркотиками. Чтобы избежать раздоров, оба генерала разделили сферы своих торговых интересов.

Генерал Туан торговал наркотиками и информацией, драгоценными камнями и нефритом.

Но и покровительство таиландских властей не могло избавить его от конкуренции. Особую угрозу представлял хищный Чанг Ши Фу, давно уже потребовавший, чтобы каждый китайский караван, вступающий на землю племени ва, платил ему такую же пошлину, какую его люди вынуждены платить гоминьдановцам на пути в Таиланд и Лаос.

Карьера Чанг Ши Фу, сына китайца и женщины из племени шан, началась когда бирманское правительство разрешило создавать отряды местной самообороны, от которых ожидало помощи в борьбе с повстанцами. Добровольцам не платили денег, не выдавали ни обмундирования, ни продуктов, их лишь снабдили старыми ружьями, которые уже все равно были никому не нужны. Зато они получили право пользоваться государственными шоссе.

Несколько небольших караванов с опием, которые Чанг Ши Фу как начальник местной полиции направил в Таиланд, принесли ему деньги для закупки современных автоматов. Он вооружил восемьсот человек, что в шанском государстве было немалой силой, отмежевался от правительства и, возглавив отряд ополченцев, который тем самым превратился в «банду изменников», направился на восток, где обитало племя ва, пользовавшееся репутацией охотников за черепами. Чанг Ши Фу не страшила встреча с ними. Его привлекали земли, на которых произрастал лучший в Бирме мак.

Два года спустя, в 1966 году, Чанг Ши Фу вновь переметнулся на сторону правительства, что было привычным делом в краю, где разрозненные группки заключали кратковременные союзы, пытаясь использовать любую возможность в целях обогащения. Торговля опием пошла так бойко, что стало выгоднее гнать караваны тягловых животных по государственным дорогам. За какие-нибудь четыре года Чанг Ши Фу собрал под своим началом две тысячи дисциплинированных и обстрелянных воинов.

Однако он метил выше. Он основал в шанском государстве первую лабораторию по переработке опия-сырца в морфин. Между тем девять десятых выгод-

Окончание. Начало см. в № 3, 4.

ной торговли все еще были в руках генералов Туана и Ли. И потому Чанг Ши Фу решил одним ударом покончить с их монополией.

Как донесли в Мэсалонг разведчики, в окрестностях Виннгуна люди Чанг Ши Фу скупили у крестьян весь опий. Согласно последующим донесениям, то же самое происходило и в других местах. Всего было собрано добрых пятнадцать тонн опия. Скорее всего Чанг Ши Фу попытается переправить этот груз в Лаос.

Пятнадцать тонн опия принесут ему полмиллиона долларов. На эти деньги Чанг Ши Фу сможет закупить еще тысячу автоматов. Его «личная» армия возрастет таким образом до трех тысяч солдат и почти сравняется с объединенными силами обоих генералов.

«Они не должны добраться до Лаоса»,— решил генерал Туан.

Радиостанции в горах ежедневно передавали сообщения о приближающемся караване. Повсюду к нему присоединялись небольшие группки, так что теперь он растянулся на два километра. Гоминьдановские командиры наносили поступающие данные на карты. По их прикидкам, у шанов не было никаких шансов пробиться. В засаде контрабандистов поджидали вдвое превышавшие их численностью китайцы. К тому же во время сражения шаны должны будут следить, чтобы не разбежались мулы,— так что перевес будет еще значительней.

Но и горцы успели овладеть тактикой боя в джунглях. Под прикрытием заградительного огня караван проскользнул мимо расставленной ловушки и стремительно двинулся к Меконгу. У берега его ждали джонки. Не успели изумленные гоминьдановцы опомниться, как шанов от них уже отделяла вода.

Опасаясь широкой огласки, генералы весьма неохотно отдали приказ о переходе лаосской границы. В обстановке скандальной шумихи, которая неизбежно поднимется вокруг «опиумной войны», уже не прикрыться утверждениями, будто они отстаивают высокие идеалы. Но с другой стороны, если они останутся на бирманском берегу, Чанг Ши Фу достигнет своей цели.

Поэтому гоминьдановцы все-таки переправились через Меконг и настигли контрабандистов в деревушке Бан-Кван.

Шаны едва успели завести усталых мулов на лесопилку, с трех сторон омываемую Меконгом, и сложить из бревен немудрепые баррикады. Увидев, что они готовятся к бою, деревенские женщины, прихватив детей и что поценнее из имущества, бегом бросились в джунгли, за ними последовали и мужчины. И только директор местной школы поспешно сел в лодку и отправился по Меконгу в Тонпыен, в казармы лаосской армии. В распоряжении тамошнего начальника была всего одна рота, а потому он передал сообщение о перешедших границу чужаках во Вьетнам.

Китайцы не торопились. При атаке на шанов им пришлось бы преодолеть открытую местность, где они стали бы мишенями, как на стрельбище. После обмена первыми выстрелами они начали подготавливать позиции для минометов и тяжелых пулеметов, намереваясь не просто рассеять противника, но и полностью его уничтожить. Ведь результат сражения должен был на долгие годы определить соотношение сил в торговле опием. В разгар этих приготовлений над головами у них появился вертолет с капитаном лаосской королевской армии на борту, который приказал им покинуть Лаос.

Генералы согласились, но потребовали четверть миллиона долларов отступных. А шаны даже не ответили, поскольку Чанг Ши Фу запретил им отступать. Вертолет улетел, и обе стороны ринулись в бой.

На следующий день около полудня низко над горизонтом пролетели шесть истребителей-бомбардировщиков и забросали обе воюющие стороны бомбами. На этом неожиданности не кончились. Верховный главнокомандующий лаосской армии генерал Оуан, для перерабатывающей фабрики которого и был предназначен груз опия, решил до конца быть патриотом и послал к месту сражения батальон десантников. Последний путь к отступлению отрезали два батальона пехоты, так что соперники оказались в окружении.

Два дня шаны держались, несмотря на интенсивную бомбардировку, потом погрузились на джонки, которые еще раньше реквизировали в соседних деревнях, и под покровом темноты переправились через реку обратно на бирманскую территорию, оставив на поле боя двадцать восемь убитых, пятнадцать застреленных мулов и... почти пятнадцать тонн опия.

Китайцы попытались пробиться из окружения. Но не прошли и десяти километров, как превосходящие силы лаосской королевской армии вновь преградили им путь. Две недели торговались генералы Туан и Ли относительно размеров выкупа, пока наконец не достигли договоренности. Заплатив 7500 долларов, их части могли покинуть лаосскую территорию. Потери китайцев составляли семьдесят человек, двадцать четыре пулемета и примерно двадцать мулов, но им удалось сохранить тяжелое оружие. Поле боя они покидали, считая себя победителями.

Предводитель шанов потерял полмиллиона долларов, а это в бирманских горах — фантастический капитал. Он лишился оружия, мулов, опия и — что не менее важно — престижа. Через три месяца после этого сражения под его началом оставалось всего лишь восемьсот наемных солдат — столько же, сколько в начале его карьеры. Он попытался еще раз переменить покровителей, но был арестован бирманскими властями.

Энтузиазм остальных шанских военачальников поостыл. Вместо действий на свой страх и риск они предпочли вернуться к испытанной торговле при посредничестве китайцев.

Больше всех заработал на этом генерал Оуан. Кроме высокой награды за героическую защиту родины он еще даром получил пятнадцать тонн опия

«Опиумная война» 1967 года! Десятки журналов и сотни газет во всех частях света публиковали сообщения о схватке в джунглях.

Журналисты несколько омрачили триумф Туана и Ли. Пресловутый фасад борьбы с коммунизмом начал осыпаться. Ведь битва у Бан-Квана была вызвана отнюдь не идеологическими разногласиями, она напоминала скорее гангстерские войны в Чикаго.

Проявили неудовольствие и таиландские власти. Со времен аферы генерала Пао в середине пятидесятых годов правительство в Бангкоке старалось создать впечатление, будто с опием оно не имеет ничего общего. Гоминьдановские отряды, отступившие на таиландскую территорию, выдавались за гражданских беженцев, пытающихся обрести новую родину, безопасность и спокойствие. Китайским солдатам было запрещено появляться в форме на улицах близлежащих городов. Изоляция укрепленных лагерей, которые находились высоко в горах, привела к тому, что мир забыл об их существовании. За полгода до первых выстрелов Таиланд посетила комиссия ООН, которая на протяжении двух месяцев изучала «титаническую борьбу» правительства с наркоманией и отбыла с чувством удовлетворения, ибо не обнаружила ни малейших следов контрабанды.

«Опиумную войну» можно сравнить с прожектором, который в самый неподходящий момент выхватил из тьмы угол сцены, где поспешно переставляли мебель.

Не в силах объяснить, откуда на территории Таиланда взялись вооруженные минометами и орудиями китайцы, правительство в Бангкоке объявило, будто на северные провинции напал иностранный агрессор, и направило к границе несколько полков. Китайские лагеря оказались под военным надзором. Но, несмотря на это, в 1971 году в непосредственном соседстве с армейскими постами, видимо пораженными слепотой, в Мэсалонге и Тамнгопе работали большие героиновые лаборатории.

Казалось, ничто не может подорвать опиумную монополию гоминьдановских генералов. Однако ситуация стала меняться.

V. ВЬЕТНАМ:
тридцатилетняя война

Современный историк, занимающийся Соединенными Штатами, возможно, назовет шестидесятые годы Десятилетием Вьетнама — в духе американской традиции именовать различные десятилетия по ключевым событиям. Ведь война во Вьетнаме оказала на американское общество куда более глубокое влияние, чем высадка человека на Луну или убийство президента Кеннеди.

Эта война унесла около четырех миллионов человеческих жизней. Превратила сотни тысяч гектаров леса в пустыню. Финансово ослабила и морально разложила одну из сильнейших в мире держав. Все это не могло не вызвать тревожных вопросов о судьбе человеческой цивилизации в двадцатом веке.

Рассказ о наркотиках во Вьетнаме затрагивает пусть не самый главный, однако весьма необычный аспект этой войны. Сами по себе наркотики не определяли исхода больших сражений, хотя вызвали несколько путчей и сыграли определенную роль даже в решении о выводе из Вьетнама американской армии. Мы останавливаемся на этом эпизоде лишь потому, что он наглядно свидетельствует: ныне наркотики — это синоним денег, а потому и искушение — властью, финансовым могуществом. Искушение политического и морального порядка.

— Боюсь, что в конце концов нас вынудят воевать,— заявил в 1946 году после безуспешных переговоров с французским правительством Хо Ши Мин, беседуя с американским журналистом.

— Похоже, эта борьба не увенчается успехом,— сказал американец, имея в виду соотношение сил.

— Это будет сражение слона с тигром. Если тигр будет стоять на одном месте, слон раздавит его своим весом. Но тигр не стоит на месте. Днем он скрывается в джунглях и на охоту выходит лишь ночью. Прыгнет слону на спину, вырвет кусок мяса и вновь скроется в джунглях. Слон постепенно истечет кровью. Так будет выглядеть война в Индокитае,— ответил руководитель вьетнамского народа.

В марте 1946 года Франция признала республику Вьетнам во главе с Хо Ши Мином «свободным государством, имеющим свое правительство, свой парламент, свою армию, свои финансы, входящим в Индокитайскую федерацию и Французский Союз». А в ноябре произошло столкновение в Хайфоне, когда французский крейсер обстрелял город и было убито более 6000 жителей. Отдельные стычки вскоре переросли в войну.

Прекрасно вооруженная и вымуштрованная колониальная армия после ряда кровопролитных боев вытеснила Вьетминь из больших городов и дельт Красной реки и Меконга. У французов были танки и самолеты, самоходные орудия, минометы, крейсеры, миноносцы, парашютисты, иностранный легион, части из Северной Африки. Недоставало только поддержки населения. Из пяти вьетнамцев четверо поднимались против них. Сражение тигра со слоном началось.

Во Франции эта война была исключительно непопулярна. Демонстранты бросались на рельсы перед воинскими эшелонами, докеры отказывались грузить корабли, отправлявшиеся в Сайгон, налогоплательщики роптали. Депутаты Национального собрания весьма неохотно утверждали даже самые минимальные суммы на содержание регулярной армии.

Тогда и возник план «операции Икс», тщательно утаиваемый не только от французского правительства, но даже от колониальной администрации в Индокитае. Об этой акции знало всего несколь-

ко человек из командования экспедиционного корпуса.

До 1946 года французы открыто торговали в Индокитае наркотиками, однако столь беззастенчивое насаждение наркомании вызывало все более решительные протесты вьетнамцев. Поэтому в 1946 году французское правительство запретило официальную торговлю опиумом.

Большинство колониальных чиновников с этими мерами не смирилось. Опий с гор на севере страны продолжал оседать в бесчисленных притонах, которые теперь были переименованы в «клиники по деинтоксикации». Под этой возвышенной вывеской всем желающим продавались наркотики. Лишь через два года французский верховный комиссар издал распоряжение, согласно которому курильщик опиума обязан был зарегистрироваться. Соответствующие медицинские учреждения будут выдавать ему наркотики, все уменьшая и уменьшая дозу, чтобы постепенно отучить от пагубной привычки.

Статистические данные мгновенно подтвердили успех начинания. Если в 1943 году в горных областях Индокитая было закуплено 60 тонн опия-сырца, то в конце сороковых годов уже не было продано ни грамма. Тем не менее наркоманы от этого не пострадали. Выгодную коммерцию взяла в свои руки французская секретная служба. Теперь ее хозяевам уже не приходилось с напряжением следить за парламентскими дебатами в далеком Париже и трястись за каждый франк. Был найден неисчерпаемый источник доходов: появилось достаточно денег не только на собственные нужды, но и на оплату наемных солдат в горах, и на финансирование полувоенных организаций и всякого рода религиозных сект. К тому же «операция Икс» обеспечивала и расположение горцев. По счету платили другие.

Однако чтобы акция прошла успешно, французам пришлось объединиться и с явными преступниками.

Речные пираты из Бинь-Кхьема впервые появились в дельте Меконга в начале двадцатых годов. Убежищем им служили густые джунгли в устье текущей через Сайгон реки, прорезанном бесчисленными каналами и непроточными рукавами. Ни одна облава не может прочесать болота величиной с целый округ. Пираты собирали дань с джонок и сампанов, которые плыли по Меконгу в Шолон, порой убивали богатых купцов или похищали у них детей.

Не начнись война в Индокитае, эти всеми преследуемые изгои были бы лишь персонажами местной рубрики происшествий. Столкновение же полярных политических, социальных и национальных интересов в конце второй мировой войны вознесло их на вершину могущества.

Ле Ван Вьень, по прозвищу Бай Вьень, родился в китайской части Сайгона, в Шолоне. Здесь, среди своих нищих сверстников, постиг он закон силы и сделал для себя соответствующий вывод: хитрость полезней, чем умение читать. Первые шаги подающего надежды молодчика были довольно типичны: кража — арест — тюрьма. Выйдя на свободу, он начал заниматься грабежами, порой сдобренными похищением, дикой погоней или убийством.

9 марта 1945 года японская армия произвела в Индокитае молниеносный переворот. Все французские чиновники, полицейские и солдаты очутились в лагерях для интернированных. В то время, когда американская морская пехота приближалась к Южно-Китайскому морю, оккупанты из Страны восходящего солнца пытались снискать симпатии вьетнамских националистов и выступить в роли их освободителей и братьев.

В критический час японцы не пожалели денег, чтобы собрать информацию о том, что делается в самом большом и самом богатом городе Индокитая. Они щедро раздавали своим потенциальным союзникам оружие и слитки золота. С арестом французов освободились сотни кресел в важнейших учреждениях. Оккупанты предлагали их всем желающим. Пираты, прекрасно знавшие Сайгон, с радостью принимали дары небес: когда японцы окончательно проиграют войну, можно будет снова уйти в джунгли. Пока же сотрудничество с неприятелем сулило им одни выгоды.

На всякий случай прозорливые пираты завязали отношения и с капитаном Савани из французской секретной службы, так называемого Второго отделения.

Так Франция обрела неоценимых помощников, в обмен на власть всего лишь в одном городском квартале те снабдили французов сведениями о системе нелегальных организаций в Сайгоне, помогли колониальной полиции в розысках и ликвидации революционных ячеек. Поскольку в борьбе против нелегальных организаций французы не могли обойтись без помощи местных преступников и осведомителей, они были вынуждены постепенно передать в их руки весь Сайгон.

В апреле 1954 года подчиненный Бай Вьеня возглавил полицию, а сам Бай Вьень вошел в состав правительства.

В начале пятидесятых годов пираты овладели и сетью опиумных притонов, «унаследовав» тысячи клиентов.

Агенты Второго отделения с помощью командиров местных наемных частей покупали в Лаосе и на северо-западе Тонкина опий-сырец и на мулах доставляли его на вырубленные в джунглях посадочные площадки. Легкие военные самолеты переправляли опий на мыс Сен-Жак. Отсюда ящики с товаром перевозились на военном автомобиле в полицейское управление столицы. Как только опий-сырец окажется в Сайгоне, в руках облаченных в полицейские мундиры гангстеров, уже не докажешь, каково его происхождение. Он исчезнет на одной из двух перерабатывающих фабрик. Об остальном позаботятся местные торговцы.

Риск — минимальный, прибыль — огромная.

Подлинного происхождения наркотиков поначалу не установили даже американцы, в том числе и крупнейший специалист ЦРУ по Индокитаю полковник, а позднее генерал Эдвард Ландсдейл.

Когда же ему удалось разузнать об «операции Икс» и он, ужаснувшись, сообщил в Вашингтон, что французская секретная служба поддерживает торговлю опиумом, от начальства поступил раздраженный ответ:

«Разве вам больше нечем заниматься? Мы не желаем, чтобы вы совали нос в эту банку с червями, потому что это означало бы крупные неприятности для дружественного нам правительства».

За океаном, несомненно, понимали, что без бывших пиратов французам не обойтись. Тот, кто владел сайгонской улицей, держал в руках всю столицу. Сайгон контролировал подступы к дельте Меконга — рисовой житнице страны. А дельта Меконга — это ключ ко всему Южному Вьетнаму. Так что с принципами можно и повременить.

Только выиграть войну нельзя было даже с помощью опиума.

Битва за Сайгон, о начале которой первые выстрелы возвестили 28 апреля 1955 года, относится к одному из парадоксов войны в Индокитае. Дело в том, что в тяжелых уличных боях столкнулись южновьетнамская армия и полиция. Только немногие посвященные знали, что здесь сводят счеты американцы и французы — точнее, ЦРУ и Второе отделение.

На смену долголетнему сотрудничеству двух держав (к слову сказать, французская война в Индокитае велась в основном на средства американцев) после совещания в Женеве пришли разногласия.

В отличие от реалистически мыслящего Парижа, который собирался без шума оставить Индокитай, сохраняя там при этом максимальное влияние, Вашингтон, «проигравший» Китай и исполненный священного гнева, рассуждал так: либо победа, либо поражение. Джон Фостер Даллес, официально провозгласивший крестовый поход против коммунизма, выразил этой фразой сущность своей политики. Участников крестового похода оскорбляла уже сама мысль о возможности переговоров с неприятелем. Компромисс для них был равнозначен измене.

Американские политики надеялись преуспеть там, где их предшественники потерпели крах. Пожалуй, лучше других передал мышление американцев Грэм Грин в своей книге «Тихий американец». Не выдумано и стремление американцев найти «третью силу», которая могла бы стать альтернативой как не пользующимся любовью колонизаторам, так и коммунистам Хо Ши Мина. Именно с этой задачей приехал в Сайгон Эдвард Ландсдейл, явно послуживший Грину прототипом его главного героя.

Тихий американец из романа Грина не корыстолюбец и не авантюрист. Это ограниченный идеалист. Вера в превосходство американского образа жизни не позволяет ему понять азиатскую действительность, он готов пожертвовать невинными людьми ради теорий, выдуманных в далеких американских университетах.

В июне 1954 года под прямым давлением Вашингтона президентом страны стал Нго Динь Зьем. У людей, которые обладали в Сайгоне всей полнотой власти, его избрание вызвало лишь снисходительную усмешку. Во Вьетнаме его почти никто не знал.

А тем временем люди Ландсдейла пытались разобраться в сложном процессе перекачивания денег в соответствии с планом «операции Икс». Если бы удалось покончить с неофициальной торговлей наркотиками, Второе отделение вышло бы из игры. Без доходов от опия и сотрудничества с биньхьемовцами французской секретной службе пришлось бы капитулировать.

Постепенно чаша весов склонилась на сторону южновьетнамской армии, которую поддерживали американцы.

Всеобщее сведение счетов началось с атаки парашютистов на полицейское управление, служившее пиратам штабом. Оттуда ответили пальбой из минометов по президентскому дворцу. Французские танки тщетно пытались остановить сражение; после длившегося месяц перемирия стычки переросли в настоящую битву, орудийным огнем были уничтожены целые кварталы. Армия одерживала верх и оттесняла пиратов к их прежнему становищу.

Ландсдейл поддерживал связь с президентом Зьемом, а капитан Савани сидел в штабе биньхьемовцев. Его подчиненные из Второго отделения руководили пиратами в уличных боях, однако перевес был явно на стороне противника. Остатки биньхьемовцев вновь отступили в болота. Так кончилось господство французов в Южном Вьетнаме.

Американцы, всего за несколько лет до этих событий посмеивавшиеся над аморальностью и цинизмом французов, пошли по их следам. Командиры «зеленых беретов» обучали новобранцев из тех же самых горных племен, где прежде занимались вербовкой инструкторы французских «красных беретов». Сотрудники американского посольства, которые в пору колониального господства французов осуждали взяточничество и кабинетную политику, вдруг словно бы оглохли и ослепли. Вьетнамский крестьянин перестал понимать, чем американские части отличаются от французской колониальной армии. Вместо сенегальцев появились негры из Нью-Йорка или Ньюарка, вместо многонационального иностранного легиона — американские союзники из Таиланда, Южной Кореи или Австралии. Морские пехотинцы сменили форму, но продолжали войну во имя целей, абсолютно чуждых крестьянину из дельты Меконга.

Засилье иностранцев вызывало у большинства вьетнамцев недоверие: от сайгонского правительства, которое противилось любым реформам, отворачивались буддисты, студенты, интеллигенция. Уничтожение посевов, растительности с помощью напалма и дефолиантов не могло не вызвать негодования крестьян.

Война разгоралась. Даже ожесточенные бомбардировки Демократической Республики Вьетнам не смогли остановить помощь, которую Север оказывал Югу. А обстановка в Сайгоне начинала напоминать фарс.

В ряде других стран Юго-Восточной Азии существовали не менее странные порядки — в Индонезии, например, коррупция была распространена еще больше, чем в Сайгоне. Но нигде грязное белье не стиралось при столь ярком свете прожекторов. Соперничество и борьба за власть выносили на поверхность и такие скандалы, которые при иных обстоятельствах тщательно скрываются.

К 1967 году взяточничество настолько расшатало сайгонский режим, что контрабандистам, перевозившим наркотики и золото, уже не требовались ни частные самолеты, ни помощь секретной службы.

«Коррупция,— жаловался журналистам шеф американской таможенной службы Джордж Робертс,— стала неотъемлемой частью повседневной жизни, «честные» поступки теперь уже невозможно отличить от «нечестных». Высшие сановники сознательно закрывают глаза на контрабанду и сами в ней участвуют, подрывая нелегальным ввозом золота национальную экономику. Но самое страшное зло — это опиум и другие наркотики».

Телетайпы и телекамеры разнесли эти слова по всему свету. Сайгонские же сановники не обращали на это никакого внимания.

И вдруг весь карточный домик рассыпался.

30 января 1968 года, когда вся страна готовилась к встрече вьетнамского Нового года, праздника Тет, началось стремительное наступление сил Национального фронта освобождения. Все шестьдесят четыре крупных города Вьетнама превратились в поля сражений. Сотни переодетых в городскую одежду партизан предприняли в Сайгоне самоубийственную атаку на президентский дворец. Пала бывшая императорская столица Хюэ.

И хотя после тяжелых боев американской морской пехоте удалось вновь овладеть Хюэ, престиж США чувствительно пострадал. Провести такое широкое наступление в момент, когда в стране находилось более полумиллиона американских солдат, означало показать всему миру, что утверждения Джонсона о разгроме неприятеля — всего лишь попытка выдать желаемое за действительность. Неудивительно, что это способствовало дальнейшему росту антивоенных настроений в США. Американцам пришлось приступить к постепенному выводу своих войск из Вьетнама.

Военная база возле Лонг Бинь, севернее Сайгона, занимавшая площадь 165 квадратных километров, напоминала большой окружной город. Почти все 26 000 ее обитателей служили в американской армии или работали на нее. Помимо комфортабельных домов с кондиционерами заморские гости пользовались площадками для игры в гольф и китайским рестораном. Развлекаться они могли в трех кабаре и 102 киноклубах. Но самой большой популярностью среди солдат пользовалось заведение «У августовской луны».

Это поэтическое название получил огромный писсуар. Сюда ежедневно являлось пятнадцать сотен американских военных, у которых заканчивался срок службы. Через облицованное кафелем помещение должен был пройти каждый представитель вооруженных сил США, невзирая на звание. Моча солдат и генералов стекала в пронумерованные бутылочки и поступала в лабораторию. От результатов анализа зависело, сможет ли человек сесть в самолет или задержится в Юго-Восточной Азии еще на несколько месяцев — в армейском наркологическом центре. Ибо армию Соединенных Штатов начали разлагать наркотики.

Небольшие, разбросанные по всей стране части и гарнизоны захлестнула волна наркомании. Перед воротами казарм толпились подростки, предлагая скучающим солдатам билет в «край грез» — одно путешествие стоило пять долларов. Продажей героина подрабатывали торговцы мороженым, танцовщицы в барах, уборщицы, таксисты. Буквально каждый третий солдат попробовал морфин, героин или хотя бы гашиш.

Столь утонченный план уничтожения американской армии наверняка разработан Ханоем в сотрудничестве с Пекином! Кто же еще в этом заинтересован? Американская разведывательная служба занялась изучением вопроса и пришла к невероятному выводу: одурманивающие яды распространяет не враг, которому это было бы на руку, а напротив, союзник, обязанный американцам своей силой, богатством, привилегиями, а возможно даже — и своим существованием. К торговле причастны высшие представители сайгонского режима — министры и генералы. Что они, с ума посходили?

Массовое распространение наркомании в американской армии, поощряемое правительством, которое эта армия призвана была защищать, не могло не вызвать в осведомленных американских кругах сомнений не только в порядочности, но и в здравом рассудке их «друзей».

К моменту проведения «операции Тет» участие американцев во вьетнамской войне достигло своей кульминации. Дальнейшего увеличения численности войск, участвующих в интервенции, которого

добивался президент Джонсон, конгресс не одобрил. И хотя после прихода в Белый дом Ричарда Никсона американцы вторглись в кампучийское пограничье, тем не менее их количество во Вьетнаме стало быстро уменьшаться. В Вашингтоне начали понимать, что эту войну невозможно выиграть обычным путем. Положение могло спасти только применение ядерного оружия, но на это никто не решался. Весь мир с изумлением наблюдал, как одна из самых могущественных в мире армий покидает поле боя.

Самоотверженность, с какой воевал противник, не укладывалась в сознании американских военных. Отчего их южновьетнамские союзники не воюют столь же самоотверженно? Ведь они воспитывались в тех же традициях, выросли в тех же условиях. Почему эти солдаты не хотят умирать на поле боя и дезертируют?

Достаточно взглянуть на сайгонскую сцену перед самым уходом американцев, и комментарии будут излишни.

Новый премьер-министр Чан Тхиен Кхием, едва заняв свое кресло, тотчас вступил в борьбу с президентом Тхиеу. Коррупция приняла трудно вообразимые масштабы. Сайгонские политики и раньше устраивали родственников на важные посты, но Кхием своим бесстыдством превзошел всех. Его шурин стал мэром столицы. Дядя его жены «служил отчизне», занимая пост генерального директора полиции. В сайгонском аэропорту, где хозяйничал брат премьер-министра, практически стерлась грань между контрабандистами и таможенниками.

«Начальник аэропорта возглавляет контрабанду наркотиками,— сетовал главный судья американской армии.— Контрабанда золотом и опием стала повседневностью Согласно рапортам наших советников, вьетнамские таможенники в аэропорту — всего лишь прислужники контрабандистов».

Даже грозные признаки того, что вскоре им придется полагаться лишь на собственные силы, не заставили сайгонских правителей взяться за ум. В непонятном ослеплении продолжали они играть в покер на палубе корабля, который начал уже погружаться в пучину.

В январе 1973 года подписание Парижского соглашения положило конец военным действиям, а в марте Вьетнам покинул последний американский солдат.

Падение Сайгона молниеносно отразилось и на международной торговле наркотиками. Но еще больше сказались на ней политические перемены в Лаосе. Ведь прежде в Южном Вьетнаме одурманивающими ядами только торговали. В Королевстве же миллиона слонов наркотики составляли фундамент национальной экономики. Здесь они определяли и сам ход войны.

VI. ЛАОС: золото и опий

Лаос, равный по площади Великобритании или Италии, с самого своего возникновения был такой же игрушкой истории, как Монако или Лихтенштейн.

Одна из беднейших на свете стран, Лаос пополнял государственный бюджет за счет помощи из-за рубежа и весьма снисходительных законов: здесь разрешалось все, что в соседних странах находилось под запретом. Главным же источником не только личных, но и государственных доходов были контрабанда золотом и выращивание мака на опий. В горах северного Лаоса мак находил благоприятную температуру, идеальный гумус и достаточное количество влаги.

«Опий — единственный экспортный товар, который мы способны производить. Поэтому мы увеличим его производство и вывоз».— откровенно провозгласил в 1970 году перед камерами британского телевидения министр финансов и (что характерно!) национальной обороны Сисук На Чампассак, когда правительство во Вьентьяне в очередной раз оказалось в затруднительном материальном положении.

Первоначально торговля наркотиками была прерогативой французов. После обретения Лаосом независимости в стране оставалось еще несколько сот французов, которым не хотелось возвращаться домой. Государство, не имевшее шоссейных и железных дорог, предоставляло широкие возможности каждому, у кого было достаточно связей и мало щепетильности. Корсиканцы, наводнявшие все французские колонии, попытались удержать прибыльную «операцию Икс» в своих руках.

Перспектива легкого обогащения соблазняла бывших военных летчиков и армейских офицеров. Между большими городами Индокитая шла оживленная переписка: писали друг другу бывшие соратники по экспедиционному корпусу и ветераны Корсиканской унии, летели письма в Марсель, Парагвай, на Ближний Восток. В середине пятидесятых годов над Лаосом все чаще стали появляться маленькие самолеты, способные приземляться на поляне среди джунглей. Жерар Лабеньски на своем единственном самолете летал из Пхонсавана в Долине Кувшинов во Вьентьян. Рене Анжабаль, располагавший двумя двухмоторными самолетами, основал даже миниатюрную авиакомпанию. Неофициально их называли «опиумная авиалиния».

С активизацией военных действий опий перестал служить только предметом контрабанды. Он превращался в оружие.

— Если вы хотите заручиться поддержкой племени мео, вы должны покупать их опий! — утверждал французский полковник Транкиль во время войны в Индокитае. Эта истина не устарела и спустя годы.

В отличие от французской секретной службы американское ЦРУ открыто никогда не выступало в поддержку торговли наркотиками. Оно лишь закрывало на нее глаза в интересах сиюминутных

политических и военных выгод. То же самое оно посоветовало делать и трем своим советникам в Лаосе.

Один из них, Уильям Юнг, прекрасно изучивший жизнь горных племен, понимал, что до тех пор, пока не изменятся социальные и экономические условия, у горцев нет иного выбора, как выращивать мак. Это была необходимость, порожденная нуждой.

Другой же — Энтони По — грозился выкинуть из летящего вертолета местного солдата, у которого обнаружил полкило опия-сырца. Однако в интересах тайной войны он «не замечал» в зоне своих операций фабричек-лабораторий по выработке героина, принадлежавшие главнокомандующему лаосской армии генералу Оуану.

Третий — специалист по земледелию Эдгар Бьюэл Мейм — давал крестьянам из племени мео советы, как повысить урожайность опиумного мака.

— Раз уж вы разводите мак, так хоть делайте это хорошо. И не курите его,— уговаривал он деревенских жителей. Он заботился, чтобы в посылках с американскими продуктами всегда были и лекарства, тогда заболевшим крестьянам не придется принимать опиум в качестве целительного средства.

Разумеется, все три представителя ЦРУ отдавали себе отчет в том, что опий, на торговлю которым они смотрели сквозь пальцы, в конце концов кто-то выкурит или введет себе в кровь — сделает инъекцию. Получив первые сообщения о массовой наркомании в американской армии во Вьетнаме, они сообразили, кого помогают уничтожать. Но их задачей было вести тайную войну в Лаосе. И они добросовестно эту задачу выполняли, предпочитая отмахиваться от сомнений морального свойства — из равнодушия, или цинизма, или слепой веры в то, что их родина всегда права.

Ведь без опия из горцев не сформируешь армию, способную противостоять объединенным силам Патет-Лао и вьетнамских добровольцев.

А опий, подобно невидимому демону, уничтожал каждого, кто к нему прикасался. Белый сок маковых головок стал не только источником богатства мео, но и их проклятьем. Ибо только опий заставлял воевать солдат-мео генерала Ванг Пао, которые в лаосской войне были сильнейшим козырем Соединенных Штатов.

К полному удовлетворению американцев Ванг Пао бросал свои части в атаку в любой обстановке — даже на пулеметы. Его офицеры появлялись даже в самых крошечных деревушках племени мео: раздавали рис, деньги, оружие — и увозили рекрутов. Вскоре Ванг Пао набрал 9000 бойцов и занял горы вокруг Долины Кувшинов с целью блокировать все дороги, снабжающие армию Патет-Лао.

Однако наемные солдаты Ванг Пао соглашались воевать только при условии, что их семьи не будут нуждаться. Американцы оказались перед выбором: либо кормить горные деревушки на собственные средства, либо помочь им в сбыте урожая единственной сельскохозяйственной культуры, приносящей здесь доход. Они предпочли последнее.

С середины шестидесятых годов вертолеты и легкие самолеты компании «Эйр Америка» начали осуществлять переправку опия из деревень на севере Лаоса во Вьентьян. Чтобы не «повредить» сложный механизм тайной войны, американцы не проявляли излишнего любопытства и не задавали щекотливых вопросов ни генералу Оуану, ни другим командирам лаосской армии. Политика вновь одержала верх над моралью.

С американской точки зрения война в Лаосе велась весьма успешно. Если в дорогостоящей войне во Вьетнаме приняло участие полмиллиона американцев, то в тайных операциях в соседнем с ним Лаосе кроме авиации было задействовано всего несколько десятков офицеров ЦРУ. Бремя войны несли другие — лао, лю и представители прочих народностей и племен, участвовавших в боях и на той и на другой стороне. Но прежде всего были почти истреблены мео, героически сражавшиеся и в отрядах Патет-Лао.

Счет за войну включал и цену за опий: соображения политического и экономического порядка вынуждали американских политиков и генералов участвовать — пусть даже пассивно — в торговле наркотиками, которые в конечном счете уничтожали их собственную армию и деморализовали их союзников.

Но и тайная война завершилась поражением. В декабре 1975 года, спустя полгода после падения Сайгона, части Патет-Лао вступили во Вьентьян. Их не остановили ни танки, ни бомбы, ни опытность «зеленых беретов», ни упорство Ванг Пао, ни даже опиум.

Поездка Ричарда Никсона в Китай на первый взгляд не имеет с наркотиками ничего общего. Беседуя с Чжоу Эньлаем, Никсон коснулся вопросов международного положения и войны с Вьетнамом, взаимной торговли и сотрудничества в области науки и культуры, ракет и ядерного вооружения. Об одурманивающих ядах, по всей вероятности, не упоминалось. Однако эта встреча изменила и жизнь генерала Туана, и облик Мэсалонга, а также стала поворотным моментом в истории наркотиков.

Вслед за Соединенными Штатами дружеские связи с Пекином решил завязать и Таиланд. Улучшились взаимоотношения между Вашингтоном и Рангуном. Все это не замедлило сказаться и на положении гоминьдановских армий, вернее, их остатков.

Разумеется, Пекин давно раздражало закулисное существование 3-й и 5-й армий, хотя бы потому, что с ними не были еще сведены счеты за прошлое. В защиту нескольких тысяч беженцев из Юньнаня, занимающихся подозрительной торговлей наркотиками, никто не сказал ни слова. И в конце концов Бангкок предпочел отмахнуться от своих прежних союзников: пользы от них все

меньше и меньше, так к чему вызывать неприязнь соседей и негодование всего мира?

Так бывшие прислужники вместо благодарности и выполнения давних обещаний дождались строжайшего приказа: сложить оружие.

Похороны генерала Туана символизировали конец целой эпохи. Вместе с генералом были похоронены надежды и иллюзии.

Хитрый лис Чанг Ши Фу, который всегда выходил сухим из воды, после побега из бирманской тюрьмы принявший имя Кхун Са, не замедлил воспользоваться обстоятельствами. В момент, когда противник исчез со сцены, его восемьсот солдат заполнили освободившееся пространство. Доход от перепродажи одного урожая опия-сырца увеличил численность солдат до трех тысяч и придал недавнему изгою самоуверенности.

«Я генерал регулярной армии. Мы воюем за государство шанов, за его независимость от Бирмы и Таиланда. Уже сейчас мы контролируем более трети Бирмы»,— важно заявлял он журналистам, для которых, нуждаясь в рекламе, время от времени устраивал приемы.

«Вы говорите, что я гублю сотни тысяч людей во всем мире? Так ставить вопрос нельзя,— терпеливо объяснял Кхун Са.— Во-первых, сами мы наркотики не производим, а лишь по мере сил определяем пути их дальнейшего использования. Во-вторых, мы никого не принуждаем становиться наркоманами, мы только удовлетворяем спрос, который, безусловно, существует на Западе. А в-третьих, нас вынудили торговать наркотиками, ибо никто на свете не даст нам денег на нашу борьбу за свободу — даже ООН».

Подобные заявления ставили таиландское правительство в затруднительное положение. Имя шанского военачальника привлекало нежелательное внимание, иностранные журналисты задавали назойливые вопросы. Возможно ли, чтобы Кхун Са, находясь в Таиланде, «определял пути использования наркотиков»? Кто его защищает?

Формально Бангкок выдворил предприимчивого «борца за свободу» из страны, но тот явно не опасался тайцев. Лишь перебрался поближе к границе, в Банхинтэк, где выстроил себе роскошную резиденцию. В 1980 году он непринужденно беседовал там с репортерами из «Штерна»:

«Поскольку мне не хватает денег, я готов продать весь нынешний урожай опия за десять миллионов долларов. Если кто-нибудь пожелает приобрести этот опий, будь то ЦРУ или кто другой, он избавит человечество от множества забот».

«Сенсационное» предложение ни для кого не было новостью, впервые Кхун Са высказался в том же духе годом ранее в разговоре с американскими сенаторами, правда безрезультатно. Пришлось обратиться к старым друзьям из Триад и других тайных обществ.

Но какое же место на этой шахматной доске занимает Мэсалонг, где всего несколько лет назад работала самая большая во всем «золотом треугольнике» лаборатория по производству героина?

Часть третья

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ЦВЕТОК

Допрос

— Ты возьми камеру и иди! — вежливо обратился ко мне на ломаном английском щуплый человечек в зеленой форме без знаков отличия и оглядел почти пустой гостиничный номер.

— Почему? — сдавленным голосом задал я вопрос всех арестованных.

— Ты будешь увидеть.

Я молча последовал за ним, ожидая, что перед гостиницей стоит машина, но дорога была пустынна. Мы направились к площади. Не доходя до перекрестка, мой провожатый по крутой земляной лесенке стал подниматься к домику на выступе горы, который нависал над дорогой. На шесте болтался таиландский флаг. Возле деревянной веранды, куда вели пять ступенек, стояли стол, скамья и три стула.

— Ты можешь сидеть,— гостеприимно предложил человечек и указал на скамью.— Кто-то сюда приходить,— объяснил он и открыл термос.

— Кто приходить? — спросил я, пока он полотенцем не первой свежести протирал чашки.

— Ты не спрашивать. Увидишь,— сказал он.— Будешь слушать вопросы, будешь отвечать.— И начал разливать чай. По особому терпкому вкусу я определил, что чай — с местных плантаций.

— Скажи хоть, зачем ты меня привел?

— Я не знаю. Я получить приказ,— ответил человечек.

Резкую перемену в отношении ко мне я заметил еще утром. Жители Мэсалонга уступали мне дорогу, точно я прокаженный. За завтраком меня окружали каменные лица. Репортера с Тайваня я больше не видел, а господин Чандон строгим тоном сообщил, что на поездку в соседние деревни рассчитывать не приходится.

— Кто же вы такие? — спросил я.

— Военная полиция.

Я сразу вспомнил вооруженных солдат, заполонивших вчера деревню.

Допрос начался с появления трех человек в штатском, их сопровождала китаянка-переводчица.

— Ваше имя? — по-тайски спросил старший из них и протянул руку за моим паспортом. Китаянка перевела. Я ответил. Он бросил взгляд на фотографию, наклеенную на первой странице, и передал документ коллеге.— Как вы сюда попали?

Я быстро ответил, что приехал в

«тоёте» с приглашенными на похороны китайцами. Как их зовут — не знаю.

— Где вы провели ночь перед поездкой сюда?

— В Мэсае.

— Что вас так заинтересовало на бирманской границе?

Я понимал, на что он намекает: неподалеку от поселка начинаются первые лагеря бирманских сепаратистов.

— Спросите об этом у других иностранных туристов, которые наезжают в ваши края! — ответил я, с опаской поглядывая на его коллегу. Тот сосредоточенно разбирал латинские буквы на английских, французских и индонезийских визах. Я ждал, когда он доберется до страничек, которые могут привести его в ярость. Подушечка, о которую потерли лаосскую печать, была хорошо пропитана краской — посреди странички сияли красная звезда, серп и молот. Вьетнамская виза по яркости не уступала лаосской.

— Почему по приезде в Мэсалонг вы не отметились в полицейском отделении?

— Я не знал, что это необходимо.

— Вы говорите по-китайски?

— Ни слова.

— Зачем вы приехали в Мэсалонг?

— Собираюсь писать о наркотиках.— Не имело смысла делать вид, будто я попал сюда случайно.

— Почему вы выбрали именно Мэсалонг?

— Не я первый посетил эту деревню.

Но вот сотрудник военной полиции обнаружил в паспорте красную звезду — и обомлел. Взволнованно склонившись к начальнику, он что-то горячо зашептал.

— Вы собираетесь в Лаос?

— Это на пути домой.

— Граница с Лаосом закрыта.

— Но не для самолетов.

— Что вы намерены там делать?

— То же, что здесь. Заниматься наркотиками.

— Кто вам сказал о похоронах генерала Туана?

— Друзья из бюро по борьбе с наркотиками, американцы,— ответил я.

— С кем вы встречались в Таиланде?

К этому вопросу я готовился давно и тщательно. Я перечислил на память записанные в моем блокноте имена австралийских журналистов, таиландских генералов, американских дипломатов и сотрудников Организации Объединенных Наций. Я надеялся, что отблеск их высокого положения падет некоторым образом и на меня. Допрашивавший улыбнулся.

— Мэсалонг уже не имеет ничего общего с наркотиками.

Я и так не сомневался, что в последний год жизни генерал Туан больше не торговал наркотиками. Он предпочел перебраться со своими миллионами в Бангкок, на отдых. Кроме того, будучи хорошим торговцем, он понимал, что при изменившихся обстоятельствах не сможет долго продержаться на рынке. А вот генерал Ли и по сю пору продолжает эту игру.

— С оружием Мэсалонг тоже не имеет ничего общего,— переводила китаянка.

Я пожал плечами. Мы еще не подошли к самому главному. В Пекине, безусловно, без особой радости отреагировали бы на фотоснимки военных вертолетов с генералами таиландской армии, участвовавшими в похоронах своего гоминьдановского соратника.

— Мы пошлем рапорт начальству. Будем ждать ответа,— чуть подумав, решил старший из офицеров и направился в помещение к невидимому радисту.

— Нам очень жаль, что мы задерживаем вас, но о Мэсалонге напечатано столько лжи! В прошлом году у нас побывали два японских журналиста. Мы показали им деревню, ответили на все их вопросы. А они написали нечто противоположное,— объясняла китаянка, чтобы заполнить паузу. Говорила она с американским акцентом, столь необычным в таиландских горах. Я внимательно разглядывал ее лицо. Где же я ее видел?

Где-то внизу, в деревне, кричали дети. Проехала «тоёта», медленно прокладывая путь в грязи. Я размечтался, как хорошо было бы сидеть рядом с шофером и забыть про Мэсалонг.

Через пять минут офицер вернулся.

— Придется обождать приказа, что с вами делать,— виновато улыбнулся он.

— Но ведь я не совершил никакого преступления!

Китаянка перевела мой ответ на тайский. И по-английски добавила:

— Конечно нет. Просто вам не повезло. Мы с удовольствием принимаем здесь туристов. Но похороны генерала Туана — исключение.

Мы обменялись несколькими вежливыми фразами, однако разговор не клеился, неясно было, кто я на этих чайных посиделках — узник или гость. Далекое начальство, вызываемое по рации, тоже долго не могло ни на что решиться и в конце концов отодвинуло окончательное решение на потом.

— Пришло распоряжение отобрать у вас все фотопленки. Начальство скажет, когда и какую из них вы получите назад. Нам очень жаль,— перевела китаянка приказ из ниоткуда.

— Наш солдат проводит вас в гостиницу и осмотрит ваши вещи,— чуть ли не извиняющимся тоном произнес допрашивавший меня офицер.

На всякий случай я запротестовал.

— Можете вернуться сюда, когда вам будет угодно. Будете нашим гостем,— прощалась со мной переводчица.

Солдатик без знаков отличия, проводив меня в гостиничный номер, с явной неохотой и не слишком внимательно произвел осмотр. Он удовольствовался четырьмя рулончиками пленки, которые я сам же ему и вручил (все хоть сколько-нибудь важные пленки я припрятал).

Деревню я покидал с чувством облегчения. Только спустившись с гор, я вспомнил, откуда знаю эту китаянку с американским акцентом: она шла в белом капюшоне за лакированным гробом.

Это была дочь генерала Туана.

Возьмите свои пленки

— Солдаты на севере чересчур переполошились,— улыбнулся полковник Прамон и открыл ящик стола.— Вот ваши пленки.

Репортер «Фар Истерн экономик ревью» оказался прав. По его совету я не стал задерживаться ради переговоров с начальством штаба 04 в Чиангмае и по телефону разъяснил суть инцидента незнакомому полковнику из генерального штаба. Без долгих размышлений тот пообещал разузнать о пленках и пригласил меня к себе. Со времени событий в Мэсалонге прошло четыре дня.

— Вы их проявили?

— Только черно-белые,— невозмутимо ответил он, кладя перед собой на стол два рулончика негативов и два цветных «кодака», заклеенных контрольной лентой.

— Почему похороны генерала Туана окружены такой тайной? — осторожно спросил я.

— Мы многим ему обязаны,— туманно ответил полковник.

— За поддержку в борьбе с восставшими мео? — Об опии я предпочел умолчать.

— И за это. Но главное — за то, что его части сложили оружие.

— Не понимаю.— Мне показалось, что я ослышался.

— Когда мы получили приказ разоружить гоминьдановские части, мы опасались неподчинения, протеста, даже бунта. Но генерал Туан убедил своих людей сдать оружие добровольно.

— Так вот за что он получил таиландское гражданство! — дошло до меня.

— И за это тоже... Возьмите свои пленки и не поминайте Таиланд лихом,— сказал, улыбаясь, полковник Прамон.

От удивления я опомнился только за воротами генерального штаба. А потом развеселился. Пожалуй, теперь я могу позвонить по телефону хоть самому премьер-министру.

Огонек во тьме

— То и дело появляется какой-нибудь новый Джеймс Бонд и приходит к выводу, что проблему наркотиков проще всего решить, взорвав маленькие фабрички героина и перестреляв всех, кто там работает. Покуда в Бирме сеют мак и получают из него опий, кто-то все равно будет вывозить его на рынок. Насильственные же акции ни к чему не приведут,— любил повторять отличный знаток «золотого треугольника» Уильям Юнг.

Я вспомнил его слова в вездеходе, принадлежавшем сельскохозяйственной организации, которая с помощью ООН собиралась научить горцев разводить вместо мака столь же выгодные овощи и фрукты.

— Крестьяне во всем мире реалисты. Они умеют считать. Выращивать мак на опий выгодно только тем, кто побогаче, кто может позволить себе иметь несколько жен, а это значит, что при сборе урожая на них работает больше рук. Бедняк на маке не разбогатеет. Кроме того, мак — растение нежное. Без влаги он сохнет. При длительных дождях гниет. В худшие годы доход подчас не окупает затраченных усилий,— старался перекричать рев мотора доктор Чалермон Самната, доцент агрономии в Чиангмайской высшей школе земледелия.

Опытная станция Чангкхиан, цель нашей поездки, напоминала садовый участок, расположенный на лесной поляне. Между рядами низких зеленых кустов склонилось несколько девушек с мотыгами, они были заняты прополкой. На клумбах красовались желтые, красные и оранжевые цветы. В маленьком пруду цвели лилии. Теплиц здесь не было: в тропических горах, где температура зимой не опускается ниже пяти градусов, они не нужны.

— Цветы в борьбе с наркотиками действенней, чем полицейские дубинки,— заметил доцент. Я не мог понять, шутит он или говорит серьезно.

— Тогда почему вы не засадите цветами все горы?

— Мак тоже цветет красиво,— усмехнулся он и стал объяснять стратегию мирного наступления на наркотики. Горцы сажают мак не из желания причинить людям вред, а потому, что для них это подчас единственный источник доходов, и нередко достаточно высоких. Вот почему необходимо найти что-нибудь еще более выгодное. К тому же в условиях перенаселения нельзя без конца выжигать лес.

За килограмм высушенного кофе крестьянин-горец может получить примерно столько же, сколько за килограмм опия. Один кофейный куст плодоносит шесть-семь лет. При этом на сбор урожая тратится меньше усилий, чем на трудоемкое надрезание тысяч маленьких зеленых головок мака. И возможности сбыта неплохие. Закупка кофе за границей ежегодно обходится Таиланду в десять миллионов долларов. Практика опытной станции и результаты, полученные в первых тридцати восьми деревнях, которым оказывает помощь ООН, свидетельствуют, что сорт «арабика» вполне приживается в здешних горах.

— Перемены приходят в горы на цыпочках. Горцы консервативны, как и все крестьяне на свете. Их деды и отцы с незапамятных времен сажали мак и получали опий. Пока крестьяне не убедятся, что новые растения выгоднее старых, они не откажутся от привычного и надежного заработка. И потому мы не должны сразу навязывать им много новых культур. С персиками у них дело уже пошло. Надеемся, что по качеству фруктов мы со временем сможем конкурировать с Тайванем и Калифорнией... В Бангкоке продаются привозные яблоки — по 55 центов за штуку. Если бы горцы научились выращивать карликовые яблони и продавали яблоки торговцам хотя бы по 15 центов за штуку, они получали бы с каждой яблони самое малое 30 долларов.

А семеноводство? В низменностях Юго-Восточной Азии неплохо произрастают и некоторые сельскохозяйственные культуры умеренного пояса, но в тропиках они не дают качественных семян. В горах же северного Таиланда идеальные условия для семеноводства. На участке, равном примерно 0,4 гектара, уже через три месяца после посева можно собрать семена различных овощей и цветов примерно на 625 долларов. Причем семена отличаются еще и высоким качеством, поскольку нежелательного опыления почти не происходит. Неудивительно, что к результатам, которых добивается эта опытная станция, проявляют живой интерес семеноводческие фирмы всего мира.

К перспективным растениям относится и мак Papaver bracteatum, из которого, в отличие от мака Papaver somniferum, можно изготовлять кодеин, а морфин и героин — нельзя. Учитывая, что 90% опия, используемого в фармацевтике, идет именно на приготовление кодеина, можно сделать этот вид мака средством борьбы с одурманивающим ядом.

Вдвойне полезней может оказаться клещевина. Из ее семян получают касторовое масло. Ее листьями можно кормить шелкопряда эри, разведение которого тоже довольно выгодно...

— Перемены приносят в горы даже сельскохозяйственные машины и орудия, которые в экономически развитых странах вы увидите только в музее,— рассказывал доцент. В первую очередь он имел в виду конный привод. Поскольку большую часть земледельческих работ в Таиланде выполняют женщины, для них и конный привод — огромное облегчение. В краю мотыг даже обыкновенная лопата означает чуть ли не революцию.

Тридцать юношей в возрасте от пятнадцати до двадцати лет терпеливо сидят в классе. Они пришли из деревень, где начинают ставить опыт. Деревенские старосты отобрали для этой школы самых энергичных и способных, независимо от их образования или достатка их родителей. Некоторые лишь с грехом пополам умеют читать. Доцент рисует на доске растения, показывая, как они цветут, какие имеют корни. Эти рисунки помогают полуграмотным слушателям лучше понять объяснения. Следующий урок молодые крестьяне проведут на опытных участках.

Вернувшись домой, они сами начнут выращивать кофейные кусты, клещевину или тимьян и подадут пример другим. Организаторы обучения намеренно не принимают на курсы старых и опытных, но явно консервативных крестьян. Им нужны молодые, готовые на риск энтузиасты. Именно им предстоит повести за собой остальных.

Но что такое тридцать учеников в горах, где на одной лишь таиландской территории еле сводят концы с концами полмиллиона бедняков? Что такое тридцать восемь деревень, где крестьяне, возможно, поверят в выгодность новых сельскохозяйственных культур, в сравнении с 2500 деревушками по одну только таиландскую сторону границы? И что такое два миллиона долларов — общий пятилетний бюджет проекта ООН и таиландского правительства — в сравнении с подлинными потребностями гор?

Мои сомнения попытался развеять один из агрономов:

— Лучше затеплить маленькую свечку, чем попусту проклинать тьму. Помидоры, азалии или шелкопряд эри вряд ли изменят мир. Но все-таки сделают его хоть немножко лучше.

Слон, который забыл джунгли

Борьбу с наркотиками можно уподобить цепи из трех звеньев. Теоретически для победы нужно не так уж много изъять из цепи одно звено. Причем любое. Если земледельцы перестанут выращивать мак, торговать будет нечем. Если исчезнут перекупщики, прервется связь между производителями и потребителями. А если потребители решат отказаться от наркотиков, цепь развалится на наших глазах. Наркоманы — жертвы своей собственной страсти, но одновременно они поддерживают организованный преступный мир, обеспечивая спрос и внося свою лепту в постоянный рост цен. Без заказчиков, готовых заплатить за дозу порошка любые деньги, самая выгодная коммерция века не могла бы существовать.

Центр принудительного лечения наркоманов в Тхонбури, километрах в пятидесяти от Бангкока, напоминает обширное крестьянское хозяйство. Лишь небольшая табличка над входом сообщает, что он подчинен министерству внутренних дел. Возник он в 1965 году в связи с растущей волной преступлений на почве наркомании.

В 1961 году таиландский суд вынес обвинительные приговоры двум тысячам наркоманов. Спустя год осуждено было уже около сорока тысяч. В переполненных тюрьмах корчились и визжали настигнутые абстинентным синдромом заключенные, а охранники в ужасе взирали на них или пытались утихомирить побоями, карцером, а то и доставкой в тюрьму наркотиков.

— Мы лечим наркоманов трудом,— уверенно заявляет директор центра генерал Хуа Патанахарьен, но в подробности не вдается. Посетителям разговаривать с его подопечными запрещено, так что информацию о результатах лечения мы получаем только в канцелярии.

В этом своеобразном хозяйстве — поля, тридцать коров пятьдесят овец, двести свиней и примерно триста уток. Плюс огород, где выращивают овощи. В ремесленных мастерских заключенные плетут корзины и рыбачьи сети, учатся обрабатывать дерево и делать мебель. Спят они в просторных помещениях с вентилятором. Питание хорошее. Им выдают карманные деньги, на которые они могут купить лимонад, зубную пасту или

новую рубашку. Для неграмотных, составляющих около одной пятой находящихся на принудительном лечении, организована четырехклассная школа.

И все же это заведение выглядит слишком идиллично по сравнению с переполненными камерами в Чиангмае или Бангкоке, где в клетушках размером с ванную комнату ютятся четверо, а бывает, и пятеро несчастных. Ведь на Востоке преступление не воспринимается как социальная болезнь. В воре или мошеннике видят отнюдь не жертву дурного воспитания или семейного неблагополучия. Восток карает жестоко, порой безжалостно, его не интересуют тонкости человеческой души.

Так что же, центр в Тхонбури — своего рода витрина? Кстати, его успехи не блестящи: девять десятых здешних заключенных, выйдя на волю, не желают, чтобы какая-нибудь общественная или социальная организация совала нос в их дела. Более половины из них вновь прибегают к наркотикам.

В больницу Тханирак, что в тридцати километрах от Бангкока, поступают только те, кто сам хочет, но у кого не хватает решимости покончить с наркотиками. Основа лечения — назначаемые врачом дозы метадона: рюмочка коричневой жидкости, принимаемой дважды в день, приглушает абстинентный синдром и вызывает неприятные ощущения при одной только мысли о наркотиках. Пациенты занимаются спортом, работают, посещают общеобразовательные лекции, учатся играть на гитаре, под присмотром специалистов занимаются групповой психотерапией. Короче говоря, ведут почти нормальный образ жизни.

Приводит их сюда чаще всего настойчивость близких или боязнь потерять работу. На 400 коек здесь 200 врачей и санитаров, есть психологи, социологи, психиатры. Результаты не слишком обнадеживают — наверное, потому, что чаще всего пациенты к лечению не подготовлены и недостаточно глубоко осознают его необходимость.

Среди пациентов много учащихся начальных и средних школ, направленных сюда родителями. Они еще не в состоянии понять, что встали на путь, ведущий к преждевременному одряхлению и смерти,— приказы или просьбы родителей не могут компенсировать отсутствие собственной воли.

Успешнее всего действуют в Таиланде наркологические центры при буддийских монастырях. Наиболее известный из них находится в Сарабури, расположенном в ста сорока километрах севернее Бангкока. Как утверждает настоятель монастыря Пра Хамрун, за пятнадцать лет из тридцати тысяч находившихся здесь на излечении исцелить удалось более двадцати тысяч. Курс лечения начинается с торжественной клятвы. Перед статуей Будды наркоман клянется, что никогда больше не притронется к одурманивающим ядам — если же он нарушит обещание, пусть его постигнет самая суровая кара, вплоть до лишения жизни. С точки зрения истинного буддиста, постоянно тренирующего свое тело и развивающего в себе способность подавлять всяческие желания, наркотики противоречат самой сути религии.

Дав клятву, наркоман выпивает напиток, приготовленный из ста трав. Он слышит пение, сопровождаемое треньканьем музыкальных инструментов и ударами гонгов, и чувствует острую боль. Желудок исторгает содержимое. Дисгармонические аккорды ритмически сопровождают приступы тошноты. Потом издалека доносится успокаивающий многоголосый хор — напоминание о человеческой солидарности. Постепенно и музыка, и судороги стихают. Обливающийся потом пациент тяжело дышит.

Это повторяется пять дней подряд. На шестой день ослабевший пациент чувствует облегчение. Нужды пить убийственный напиток больше нет. За этим следуют процедуры в парной бане, проповеди, беседы. По прошествии десяти дней лечебный курс считается завершенным, можно вернуться домой. В большинстве случаев больной выздоравливает. Так по крайней мере заявляют монахи. Потерявшей опору личности помогают возродить силу воли, которой должно хватить и на то время, когда больной выйдет из-под присмотра (врачей, психологов, монахов) и вновь подвергнется искушению.

Сходного ритуала придерживаются и в буддийском святилище Кхао Тхам Тха Лу. Только травы для целительного напитка здесь другие. Он вызывает не судороги, а глубокий сон, который длится день и ночь. Монахи за руки и за ноги накрепко привязывают больного к постели, ибо во сне он галлюцинирует и беспокойно мечется. Первым, что он ощутит, очнувшись, будет желание скорее бежать отсюда. Но о побеге из монастырской кельи с зарешеченными окнами не может быть и речи. И все-таки, чтобы больной не смог незаметно выбраться из монастыря, ему неровными клочками выстригают волосы.

Строгость режима напоминает здесь тюрьму. За попытку бежать или за проявление агрессивности посылают на самые трудные работы — заставляют огромной «палицей» дробить камень. За более тяжкий проступок положено телесное наказание, неисправимых выдают полиции.

Бывший наркоман еще целый месяц предается медитациям, тренирует тело и дух. Как ни мучительно лечение, почти все пациенты его выдерживают, хотя обычные больницы многие покидают не долечившись. Большинство добровольно остается в монастыре еще на три месяца, некоторые же продолжают носить оранжевое одеяние монаха долгие годы. К наркотикам возвращаются лишь единицы.

Ускоренное — трехдневное — лечение наркоманов организовал одинокий монах в маленьком святилище Па-Панг в Чиангмае. Он дает пациентам смесь трав и

кореньев, разведенную в воде и подслащенную медом или сиропом. Наркоман залпом выпивает напиток и погружается в беспокойный, но глубокий сон, полный диких видений,— недаром он толстой проволокой прикручен к тяжелой колоде. Он пребывает в полубессознательном состоянии день и ночь, затем просыпается — веселый, смеется, шутит. Через несколько часов эйфория выветривается, пациент успокаивается и приходит в норму. На прощанье он получает темно-красный порошок, который должен принимать еще две недели. Лекарство носит название «Слон, который забыл джунгли».

Традиция повелевает наркоманам преклоняться перед монахами, внушает им древнюю мечту о совершенстве и подавлении человеческих слабостей, о превосходстве духа над материей. И люди подчиняются этому зову. Некоторые наркоманы так и не покидают монастырей. Монастырская обстановка, помимо прочего, охраняет слабовольных, для которых в большом городе возник бы соблазн наркотиков.

Для общества, конечно, такие люди потеряны — но это все же не наркоманы, которые умножают количество мелких краж, грабежей и убийств или же сами занимаются продажей одурманивающих ядов.

Правда, и монастыри — не выход из создавшегося положения. Что такое двадцать тысяч вылеченных в стране, где, по официальной статистике, шестьсот тысяч наркоманов?

Иглы и тоник

Во всех странах, где наблюдается массовое распространение одурманивающих ядов, ведутся поиски способов излечения наркоманов. В Гонконге, например, существует принудительная лечебница Тан Лам, способная вместить до семисот больных-заключенных. В крошечной английской колонии с самым высоким в мире процентом распространения наркомании открыто также двадцать государственных клиник, где жертв героина лечат с помощью метадона. Число пациентов колеблется в зависимости от успехов полиции. В августе 1977 года, после разгрома мощного контрабандистского синдиката, туда ежедневно обращалось за помощью 6400 мужчин и женщин — жертв прервавшейся поставки наркотиков из «золотого треугольника». В сентябре 1979 года, когда борьба с наркотиками достигла апогея, число наркоманов, желающих прибегнуть к медицинской помощи, доходило до 800 человек в день. К сожалению, среди четырехмиллионного населения колонии всегда найдется достаточно предприимчивых дельцов, которые в погоне за наживой готовы пойти на риск и обновить прежние каналы контрабанды.

Наибольших успехов в борьбе с наркотиками на Дальнем Востоке пока что добились Китай и Вьетнам.

Раймон Дюк возглавлял в Сайгоне бандитскую шайку. Приговоры судов, куда его время от времени доставляли, были ему безразличны. Если тюремных надзирателей не удавалось подкупить, банда освобождала своего главаря силой.

— Когда мы задержали его после освобождения Сайгона, он презрительно смеялся и заверял нас что не изменит образа жизни. Он не верил в новую власть и недооценивал нашу систему лечения, даже попав в центр перевоспитания «Фатима» неподалеку от Сайгона, ныне города Хошимина,— рассказывал начальник вьетнамского управления по социальным вопросам Чан Зань Ча.— Несколько месяцев, проведенных в центре, подействовали на Раймона Дюка. Впервые в жизни он оказался среди нормальных людей. Постепенно он уверовал в гуманную политику нашего правительства и в свою способность жить без наркотиков. Теперь он уже не помышляет о бегстве. Он стал главой самоуправления, состоящего из бывших наркоманов. Он даже помогал нам бороться с оставшимися на свободе в Сайгоне уличными торговцами наркотиками. Причем мы его к этому не принуждали.

— Но разве предательство не противоречит «кодексу» преступного мира?

— Он больше не считает себя бандитом. Впрочем, он не выдавал торговцев полиции, а пытался убедить их бросить свое занятие, потому что оно вредит людям,— назидательно сказал Чан Зань Ча.

— В борьбе с наркоманией нередко оказывают помощь и родственники, даже обыкновенные прохожие на улице,— добавил работник министерства, занятого решением социальных проблем, эксперт по вопросам наркомании господин Куэ.

— После освобождения Юга мы обследовали большое количество наркоманов. Иначе бы у нас не сложилась общая картина.— Господин Куэ взял со стола необычайно интересный документ: ни в одной стране, затронутой массовой наркоманией, не удалось поставить на учет всех больных и собрать надежные сведения о распространении наркотиков. Цифры потрясали куда больше, чем пространные объяснения.

Перед освобождением Сайгона здесь было 150 тысяч наркоманов. 98% из них — моложе 35 лет (0,5% в возрасте до 14 лет, 82% — от 15 до 25 лет, 16,2% — от 25 до 35 лет).

Статистика вскрывает не только социальные корни наркомании, но и ее зависимость от политической обстановки. А также показывает, какие социальные группы были особенно глубоко затронуты войной.

Поразительные результаты дало изучение образовательного ценза. Неграмотные среди наркоманов встречались как исключение (0,5%). Чем выше уровень образованности, тем больше склонность к наркотикам (начальное образование — 18,2%, полное среднее — 31,6%, гимназическое и высшее — 49,7%).

— Нам и теперь относительно нетрудно выявлять наркоманов. Они живут в

больших городах и происходят преимущественно из состоятельных семей. В деревне, где много неграмотных, наркотики почти неизвестны,— объяснял Чан Зань Ча.

Медицинское обследование позволило установить, как воздействует наркомания на распространение различных болезней: венерическими болезнями страдало 27,3% подвергнутых осмотру наркоманов, кожными заболеваниями — 61,1%, проказой — 1,05%, малярией — 8%, туберкулезом — 3%.

Ужаснее всего статистика преступности. Все обследованные наркоманы (100%) совершали кражи. Тайной доставкой и продажей наркотиков занималось 40%, грабежом и вооруженными нападениями — 50%, разного рода мошенничеством — 100%, контрабандой — 10%, в убийствах участвовало 2%. Стремление получить новую дозу наркотиков толкало людей на все новые преступления (а ведь у половины было высшее образование!).

— По нашему мнению, наркомания не медицинская, а скорее общественная, политическая проблема,— подчеркнул Чан Зань Ча.

— Сколько сейчас во Вьетнаме наркоманов? — поинтересовался я.

Господин Куэ помедлил с ответом.

— Несколько тысяч.

— Откуда они достают наркотики?

— Лаос и Таиланд не так уж далеко, во многих местах граница проходит через горы и джунгли.

Он отвечал на мои вопросы лаконично, но со знанием дела. Не пытался скрыть трудности за общими фразами, впрочем, такая откровенность характерна для всех вьетнамцев, с которыми я сталкивался.

— Пример Вьетнама весьма примечателен,— заметил я.— Западные специалисты утверждают, что мало кто может преодолеть наркоманию собственными силами. Если причины наркомании действительно заключаются прежде всего в социальных и политических условиях жизни людей, то победоносной революции на Юге должно было сопутствовать и падение интереса к наркотикам.

— Десятки тысяч наркоманов отказались от наркотиков добровольно, без нашего участия. Мы не знаем точных цифр, потому что ни одна статистика не зафиксировала, сколько их бежало за границу.

— Что же с ними стало?

— Судьба их неизвестна. Но и через наши руки после освобождения прошли десятки тысяч наркоманов. Большинство — добровольно, благодаря стремлению к новой жизни.

— Какими лекарствами вы пользуетесь?

— На лекарства у нас нет денег,— ответил господин Куэ.— Борьбу с наркоманией мы считаем частью политического воспитания. Нам не кажется правильным постепенное уменьшение дозы, как это делают за границей. Такое лечение затягивается на три-четыре года. Отказались мы и от лечения, которым пользовались при режиме Тхиеу: наркомана во время конвульсий связывали и избивали, чтобы у него возникла подсознательная связь между наркотиками и болью.

— Вы лишаете наркоманов наркотиков и при этом не даете им лекарств?

— Мы осуществляем радикальное вмешательство. Пытаемся их убедить, что они вели недостойную жизнь, пробуждаем в них желание начать все сызнова. Держим их под постоянным наблюдением. Судя по нашему опыту, здоровая атмосфера, спокойная обстановка могут заменить лекарства. Важно также, чтобы пациент попал в отдаленное изолированное место, где его возрожденная воля не подвергнется никаким испытаниям.

— А не слишком ли это жестокий перелом?

— Мы пользуемся некоторыми методами народной медицины, в первую очередь акупунктурой. Когда начинаются конвульсии и наркомана трясет лихорадка, иглоукалывание помогает снять мышечное напряжение. Пользуемся мы и гипнозом. На всех стадиях лечения полезен также обыкновенный тоник.

— Он ослабляет абстинентный синдром?

— В точном смысле этого слова — нет, но все же помогает. Особенно тяжел первый месяц. Наркоман, лишенный наркотиков, находится в кризисном состоянии. Теряет аппетит, теряет интерес к жизни. Поэтому мы усиленно питаем его, следим, чтобы он выполнял физические и дыхательные упражнения. Все взаимосвязано, упражнения улучшают аппетит, организм включается в нормальный ритм. Тем самым снижается зависимость от яда.

Доказательством, что пациент избавился от наркотической зависимости, служит простое испытание. Руководитель центра приглашает бывшего наркомана на беседу. На столике возле кресла лежит трубка с опием или шприц. Вылечившийся равнодушно на них посмотрит и продолжает беседу, невылечившийся начинает дрожать, невольно косится на столик.

— Какая судьба ожидает бывших наркоманов, когда они покидают центр?

— Мы помогаем им устроиться на работу. Некоторые трудятся в государственных хозяйствах, другим мы помогли найти работу в новых экономических зонах или вернуться домой. Все они вновь обрели человеческое достоинство. Многие не хотят возвращаться в большие города, ибо не уверены, что смогут одолеть искушение. Для них километрах в ста от города мы создали государственное хозяйство. Там живут и занимаются земледелием более двух тысяч бывших наркоманов. В любой момент они могут вернуться к своим родным. Но примерно четверть решила навсегда остаться в хозяйстве. Они создали там семьи, у них появились дети.

— А вы не боитесь, что как специалист в один прекрасный день останетесь во Вьетнаме без работы?

— Научусь чему-нибудь другому,— сдержанно ответил господин Куэ. Наркотики он ненавидел как личного врага. Объединенному Вьетнаму до сих пор не удалось справиться с рядом проблем, которые здесь подчас эвфемистически называют «пережитками прошлого». Однако искоренить массовую наркоманию в стране удалось.

В большинстве же остальных стран положение далеко не столь отрадно.

Кхун Са велел кланяться

«Снова опиумная война!» — кричали заголовки газет всего мира в феврале 1982 года. Незадолго до этого я вернулся из Азии, и потому мне нетрудно было представить себе новый поворот в судьбе «золотого треугольника», когда я прочел репортаж в американском еженедельнике «Ньюсуик».

— Вперед! — глухо приказал полковник Тхонг Аун Чаненсам. И восемьсот таиландских пограничников, растянувшись цепью, бросились в атаку. Их лица застыли от напряжения. Расчеты безоткатных орудий взяли на прицел крайние дома Банхинтэка. Вот уже и ракеты приведены в боевую готовность. Даже самые большие оптимисты не надеялись, что главную базу Объединенной шанской армии можно захватить без боя.

Части пограничной полиции приблизились к спящему городку перед самым рассветом, но неожиданного нападения не получилось. Навстречу кордону пограничников, оцепившему главную улицу, выбежали заспанные наемные солдаты, многие в трусах и босиком. Но долголетней привычке никогда не расставаться с оружием они не изменили. Все держали в руках автоматы или скорострельные карабины.

Перестрелка затянулась. Шаны быстро пришли в себя и заняли круговую оборону. Тогда таиландское командование вызвало бронированные вертолеты и бомбардировщики. В результате жестоких уличных боев процветающий городок постепенно превратился в груду развалин. Через три дня Объединенная шанская армия начала отступать через границу. Если бы в этот момент в сражение вмешались и бирманцы, «личная армия» Кхун Са прекратила бы свое существование. Но таиландская полиция не информировала Рангун о готовящейся операции. И потому Кхун Са вновь удалось ускользнуть.

Тайцы потеряли шестнадцать человек, наемники — шестьдесят. Еще несколько сот были ранены, но оставшимся все же удалось уйти в Бирму, как и четырнадцать лет назад, во время схватки у деревушки Бан-Кван.

Кхун Са лишился роскошной резиденции с телевизором в каждом помещении, с видеомагнитофоном, плавательным бассейном и прочими дорогостоящими игрушками. Но что значат все эти потери при миллионных доходах? Основа его могущества — опийные поля и сеть перекупщиков в Бирме — не пострадала.

Связи с торговцами из тайных китайских обществ не были прерваны. Десять лабораторий по производству героина на бирманской территории работали полным ходом. Не упал даже боевой дух 4000 его солдат, из которых не менее половины в момент нападения находились в безопасности, на бирманской территории. Рассвирепевший Кхун Са жаждал мести. Более трехсот его наемников напали на пограничный городок Мэсай, разграбили банки, разгромили полицейский участок и убили шесть человек.

Комментаторы соревновались в предположениях, что заставило правительство Таиланда послать войска и объявить о награде в двадцать пять тысяч долларов за голову человека, которого оно до сих пор само же и охраняло.

— Тайцам показалось, будто деятельность Кхун Са на их территории начинает противоречить интересам государства. За это приходилось слишком дорого платить,— объяснял один западный дипломат в Бангкоке.

Давление на Таиланд со стороны американского, западногерманского и австралийского правительств возрастало соразмерно все увеличивавшемуся количеству наркоманов в этих странах. Сведения о рекордном урожае опия в «золотом треугольнике» усилили это давление. Кроме того, Кхун Са вел себя все более и более вызывающе. Один из таиландских полицейских агентов был заживо погребен, другой четвертован на главной улице Банхинтэка.

В Чиангмае люди Кхун Са напали на жену Майкла Пауэрса. Один из лучших агентов по борьбе с наркотиками в Юго-Восточной Азии, он поплатился за самоотверженность, с которой всю жизнь рисковал ради других. Подосланные убийцы застрелили его жену прямо на улице...

— Успех данной акции — в том, что она вообще была осуществлена,— сдержанно прокомментировали результаты трехдневного сражения иностранные агенты по борьбе с наркотиками, подозревавшие ряд бангкокских политиков в двойной игре. Одновременно они на всякий случай отправили свои семьи в более безопасные места — Кхун Са еще вернется.

Все знали, что удар по самому сильному человеку в «золотом треугольнике» общую картину не изменил. Героин из «золотого треугольника» по-прежнему в большом количестве поступает во все части света. Единственное, что может ограничить его распространение,— это засуха. А также конкуренция наркотиков из других частей света.

Миллиарды на улице

На улицах грязных городков в глубине Бразилии, Боливии, Перу и Колумбии, бывает, паркуются черные «мерседесы», каждый стоимостью сто тысяч долларов, в лачугах с земляным полом мерцают цветные телевизоры. В глухих селениях, затерянных в джунглях, на местном черном рынке зеленые долларовые банкноты стоят дешевле, чем в банке.

«Белая богиня», или «маленькая матушка Кока», как столетиями называют коку индейцы, прямо в джунглях простейшим способом превращается в кокаин, еще недавно полузабытый наркотик. «Снег», как называли кокаинисты белый порошок на рубеже столетий, падает на Западную Европу и Соединенные Штаты.

В некоторых южноамериканских государствах вывоз наркотиков стал самой выгодной отраслью национальной экономики. В Боливии, известной экспортом олова, нелегальные доходы от вывоза наркотиков превысили прибыли от рудников. Бедная гористая страна в начале 80-х годов на одном только кокаине зарабатывала 1,6 миллиарда долларов в год. Белая паста, представляющая собой полуфабрикат, нечто среднее между кокой и кристаллическим кокаином, большей частью направляется на североамериканский рынок — с остановками в Колумбии или Панаме.

Деньги стирают границу между законом и преступлением.

— Впервые в истории торговцы наркотиками позволили себе такую роскошь — купили целое правительство,— с горькой усмешкой характеризовали агенты по борьбе с наркотиками путч, благодаря которому к власти пришел генерал Луис Гарсиа Меса.

По неофициальным данным, после свержения в стране гражданской власти борьбу с наркотиками сосредоточил в своих руках министр внутренних дел и юстиции полковник Луис Арсе Гомес. За его спиной стояли три мощных гангстерских организации с основной базой в городе Санта-Крусс на востоке Боливии. Главарь первого синдиката Хосе Роберто Гассер, в прошлом президент местной торговой палаты, в июне 1980 года был арестован в Майами (штат Флорида) в момент, когда получал девять миллионов долларов задатка за крупную поставку кокаиновой пасты. Суд отпустил его под залог в один миллион долларов. Боливиец не стал дожидаться разбирательства, наплевал на деньги и тихо ретировался.

Вместе с Гассером американская полиция арестовала и Альфреда Гутьерреса, тоже из Санта-Круса, друга министра культуры и образования полковника Ариэля Коки. Гутьеррес тоже был освобожден под миллионный залог... и тоже скрылся. Третья группа торговцев наркотиками была связана с шефом военной разведки полковником Фаустино Рико Торо.

Производство коки в Боливии быстро расширяется. За дымовой завесой нового закона, который карает торговлю наркотиками смертной казнью, строятся лаборатории, позволяющие превращать коку непосредственно в кокаин и освобождающие контрабандистов от необходимости вывозить необработанное сырье.

Однако самая прибыльная кока произрастает в Перу, на своей исконной родине. Кусты этой коки растут в протянувшейся на четыреста километров долине реки Уальяга, однако тайные плантации рассеяны и вокруг бывшей столицы империи инков Куско. Главный центр предпринимательства в этой отрасли — край вокруг небольшого городка Тинго-Мария.

В «белом городе» Тинго-Мария, расположенном в Амазонской низменности,— полдюжины банков и целый квартал баров и борделей, называемый «малым Чикаго». Перестрелки и убийства — тут дело привычное. Наиболее высокое положение среди местных производителей коки занимает агроном Луис Лучо Порто, легально владеющий 100 акрами земли, урожай с которой он продает государству. В несколько раз большую площадь он возделывает нелегально.

Не только полиция, но даже журналисты и местные обыватели знают, кто стоит за спиной десятков мелких перекупщиков и финансирует их деятельность. Но, несмотря на это, почтенные джентльмены продолжают спокойно играть в теннис или гольф и останавливаться в самых дорогих отелях.

Центром торговли стал порт Манаус, расположенный в глубине южноамериканского континента. По Амазонке, крупнейшей водной артерии земного шара, туда приходят даже небольшие океанские корабли. С их помощью в безлюдную глушь, за тысячи километров от океанского побережья, можно переправить химикалии, необходимые для производства наркотиков. На обратном пути в трюмах корабля спрячется не один ящик, не указанный в сопроводительных документах.

Самолеты, стартующие с вырубленных в сельве, в окрестностях города, взлетных полос, долетают до Центральной Америки или до островов в Карибском море. Бесконечные, почти безлюдные, дикие дебри легко скроют не только маленькие поля коки и марихуаны, но и портативные лаборатории по выработке кокаиновой пасты.

— В федеральной полиции у нас всего 186 человек, а призваны они обеспечивать соблюдение законности на территории размером с Великобританию, Францию, Испанию и Западную Германию, вместе взятые,— сетовал начальник полиции Манауса Алвес де Брито.

Посреди лесов, неподалеку от Амазонки, совершил вынужденную посадку поврежденный самолет. Североамериканский экипаж вызвал по рации на помощь другую машину и с помощью местных крестьян экипажи обоих самолетов целый день перетаскивали груз кокаина. Через несколько часов на месте остался лишь не поддающийся опознанию разбитый самолет. Кто-то из крестьян сообщил обо всем полиции. Но прежде ему пришлось тридцать дней добираться на каноэ до ближайшего полицейского поста.

При таком положении дел торговцы наркотиками чуть ли не хвастают своей безнаказанностью. После долгих стараний полиции в ее сетях увязло восемнадцать колумбийцев из двух гангстерских банд. Было уничтожено четыре лабора-

тории по производству кокаина, из них одна — на пароходе «Антониа Маркос», стоявшем на якоре в одном из протоков реки, в четырех часах пути от Манауса. Однако мелкие неудачи не обескураживают предприимчивых производителей коки.

Близ места, где сходятся перуанская, колумбийская и бразильская границы, на колумбийской стороне расположен городок Летисия, один из важнейших в Латинской Америке рынков, где процветает торговля наркотиками. «Биржей» наркотиков служит кафе перед входом в отель «Анаконда». Торговцы кокаином посиживают за столиками и выглядят не менее добропорядочно, чем любой маклер на бирже в Чикаго, торгующий зерном, или джентльмен из алмазного картеля в Лондоне. Агент по борьбе с наркотиками мог бы здесь арестовать половину постоянных посетителей, которые без стеснения разглядывают «образчики» урожая, растирают между пальцами листья коки, чтобы определить содержание алкалоидов, попивают крепкие напитки, непринужденно болтают и одновременно подсчитывают барыши на карманных компьютерах. Вечером они, по местной моде увешанные золотыми часами и массивными браслетами из того же металла, перемещаются в казино «Амазонас».

У каждого завсегдатая казино в кармане три паспорта. При необходимости колумбийский торговец может в течение десяти секунд превратиться в перуанского страхового агента или в бразильского дровосека. Для этого ему даже не нужны фальшивые усы.

На международный рынок наркотиков колумбийцы вышли как производители и организаторы контрабандного провоза марихуаны, называемой «Маримба». Выращивают ее более восьмидесяти тысяч семей. Во главе торговли стоят 164 гангстерские организации, которые скупают урожай и на самолетах, океанских кораблях и быстроходных катерах перевозят тонны наркотиков за границу. Среди них есть и банкиры, и торговцы с обширными международными контактами, и политики, и полицейские, и обыкновенные бандиты. Один из них, Луис Перес, по прозвищу Лучо Барранквилья, подкупил, например, целое отделение местной полиции и жил припеваючи, пока его не прикончила конкурирующая группа гангстеров.

Важный опорный пункт в контрабандной цепи представляют собой и семьсот Багамских островов, которые служат трамплином при перевозках наркотиков в Соединенные Штаты. Базовые корабли, размером с небольшие танкеры, почти не таясь, перегружают в открытом море кокаин и мешки с марихуаной на яхты и катера, которые тут же затеряются среди тысяч парусных яхт и рыбацких лодок. На отдельных островах появляется все больше наскоро сооруженных аэродромчиков. Маленькие самолеты, переправляющие наркотики из Южной Америки, запасаются здесь бензином, летчики отдыхают. Роскошные виллы служат складами.

На Ямайке производство наркотиков — важная составная экономики. Местный сорт марихуаны приносит острову доход в 1,1 миллиарда долларов, тогда как самый прибыльный из легальных видов торговли — вывоз боксита — дает всего 230 миллионов. Туризм с его 200 миллионами занимает лишь третье место.

Стоит ли удивляться, что в борьбе с наркотиками правительство не проявляет особого рвения. Местные власти ссылаются на то, что не могут опрыскивать плантации марихуаны ядовитыми веществами, поскольку индийскую коноплю сажают вперемежку с бананами, кукурузой и сахарным тростником, ю, как в частных разговорах признают многие полицейские, таких попыток никогда и не делалось.

В банках на Багамских и Каймановых островах деньги, полученные от торговли наркотиками, кладутся на анонимные счета — чековую книжку можно предъявить в любом уголке мира. «Грязные» деньги, происхождение которых легко установить, превращаются в «чистые», которые вполне можно использовать для покупки драгоценностей или хотя бы акций нефтяной компании.

Дырки в чайных ложках

Годовой бюджет Интерпола — восемь миллионов долларов. Примерно четверть этой суммы идет на координацию международных усилий по борьбе с наркотиками. Рекордного успеха Интерпол достиг в 1980 году, когда удалось конфисковать тонну героина.

Но не свидетельствуют ли эти цифры как раз о беспомощности полицейских? Ведь по самым трезвым подсчетам в одной лишь Европе к заказчикам попало наркотиков на 100 миллионов долларов. Эпидемия охватывает теперь уже не отдельные страны, а целые континенты.

Как же предотвратить распространение наркотиков? Этим вопросом задаются и специалисты и обыватели.

В Париже некоторые владельцы кафе начали просверливать в чайных ложках дырки, чтобы наркоманы перестали их красть для приготовления своих регулярных «доз». Наркологические больницы в Великобритании до того переполнены, что пациенты дожидаются приема по два месяца. В Италии все привыкли к картине, когда молодой человек с отсутствующим взглядом натыкается на встречных прохожих,— это уже не вызывает порицания. Волна наркомании, которая пришла сюда на четыре года позднее, чем в Западную Германию, застала общество неподготовленным. В стране нет ни одного финансируемого государством наркологического центра. Наркоманы с абстинентным синдромом кричат от боли в коридорах переполненных больниц, приводя в ужас остальных пациентов.

А наркотики продолжают течь в Европу: кокаин из Южной Америки, мари-

хуана из Марокко и с Ближнего Востока, героин из Азии.

На рубеже шестидесятых — семидесятых годов почти удалось ликвидировать выращивание мака в Турции. Примерно в то же самое время энергичные полицейские меры привели к уничтожению большинства корсиканских гангстерских организаций. И что же? Цветы мака в небывалом количестве расцвели сначала в «золотом треугольнике», а потом в Иране, Афганистане и Пакистане — вслед за «золотым треугольником» обозначился «золотой полумесяц».

После падения шаха стражи исламской революции в Иране казнили несколько десятков торговцев наркотиками. Но в отдаленных горных долинах, за пределами влияния аятоллы Хомейни, господствует анархия, и кочевники-белуджи тоннами переправляют опий через границу — в Турцию.

Еще хуже обстоит дело в Афганистане и Пакистане. Душманы получают ракеты типа «земля-воздух», автоматы и боеприпасы не только за счет США и Саудовской Аравии, но и на деньги от продажи наркотиков. Мак цветет и в пакистанском пограничье, рядом с лагерями афганских беженцев. Два миллиона снявшихся с насиженных мест беженцев, бросивших свои поля и стада, живут на грани голода. И мак для них — самый выгодный сельскохозяйственный продукт.

Разумеется, нельзя забывать и про «золотой треугольник», где после трех засушливых лет пошли дожди. Добыча опия-сырца здесь мгновенно возросла втрое — до 700 тонн готового героина.

Огромный прилив наркотиков из «золотого полумесяца» вновь оживил деятельность уцелевших корсиканских гангстерских организаций. Богатеет и итальянская мафия, а ее пример поощряет предприимчивых представителей других наций. По утверждению полиции, во главе вновь организованной турецкой мафии стоят примерно тридцать семейств. Есть там и свой «крестный отец». Хотя турецкому правительству удалось пресечь выращивание мака на плантациях Анатолии, оно не в силах приостановить поток наркотиков из соседнего Ирана. Вертолеты, которые хорошо послужили в борьбе с маковыми полями, не могут обозреть тысячи укрытий в горных пещерах, пастушеских шалашах или маленьких чайных. «Опийную» эстафету принимают десятки тысяч турок, в поисках работы переезжающих в Западную Европу. Доставка нескольких пакетиков морфина, которые можно легко запрятать, приносит около восьми тысяч марок дохода за одну поездку. При самой напряженной работе за границей им не скопить такой суммы и за год. Достаточно двух-трех поездок — и они могут вернуться домой, купить маленькую кофейню или расширить земельный участок и смыть с себя унизительное клеймо «гастарбайтера»[1].

[1] Временный рабочий, приехавший из другой страны (*нем.*).

По мнению итальянских журналистов, перекрестком контрабандных путей стал и Апеннинский полуостров. Через порт в Бриндизи, печально прославившийся еще пятнадцать лет назад, проходит не менее 90% всех наркотиков на новой транспортной магистрали между Баальбеком в Ливане и различными средиземноморскими портами. Предполагается, что в Италии ежедневно продают около 90 килограммов самых различных наркотиков. При цене 100 тысяч лир за 1 грамм преступный мир ежедневно выручает до 9 миллионов лир. Притом ряд фармацевтических фирм не желает сотрудничать с полицией даже в установлении каналов, по которым тайно поступают аппаратура и химикаты, необходимые для лабораторий, вырабатывающих героин и такие синтетические наркотики, как ЛСД или ПСП[1].

В свою очередь западногерманская печать считает главной метрополией европейских наркотиков Франкфурт-на-Майне. В результате решительных мер, предпринятых в борьбе с китайскими Триадами, роль Амстердама несколько снизилась, но и нидерландские торговцы наркотиками не могут пожаловаться на судьбу.

Лондонская газета «Таймс» высказала предположение, что в Европу контрабандным путем ежегодно поставляется не менее 100 тысяч тонн самых разнообразных токсических веществ.

В сравнении с этими цифрами 1 тонна героина, конфискованная Интерполом, значит не более чем дырки в чайных ложках, просверленные владельцами парижских кафе.

Операция «Кондор»

В сообщениях западных агентств печати, в репортажах популярных еженедельников, посвященных наркотикам, обычно выпячиваются «исключительные», а потому приводящие в ужас факты. Никто словно бы не замечает, что в Исландии или Гренландии нет спроса на марихуану, что в Китае, Сингапуре и Вьетнаме массовую наркоманию удалось искоренить, а в Мексике резко ограничить.

В какой мере наркомания зависит от социальных перемен, доказывает пример Вьетнама, а главное — Китая, где в начале XX века с наркотиками соприкасалась треть населения.

В ходе революционных преобразований ликвидируется рынок наркотиков, а всеобщее равнодушие к судьбам сограждан сменяется страстным стремлением помочь наркоманам — нередко даже против их воли. Международные торговцы наркотиками избегают таких стран: риск, связанный с контрабандной доставкой наркотиков через зорко охраняемые границы, превышает выгоду от получаемых доходов.

В Китае и Вьетнаме с наркоманией удалось справиться в рамках общенационального возрождения, в Сингапуре — благодаря дисциплине, порожденной кон-

[1] Псилоцибин.

фуцианской моралью. С суровыми запретами в Сингапуре сталкиваешься на каждом шагу. Уже в аэропорту иностранец видит желтую табличку с надписью: «Загрязнение тротуара карается штрафом в 500 долларов». Даже если бросишь спичку — это проступок. Шофера, который не пропустит на переходе пешехода, оштрафуют на 1000 долларов. Накурившегося наркотиков юношу с суженными зрачками моментально задержат. И потому никого не удивляет, что наркотики не попадают в город. Пожалуй, иной раз местные жители и примут участие в торговле столь прибыльным и одновременно опасным товаром, но наверняка не у себя дома, а за рубежом.

А вот как обстоят дела в Мексике, откуда торговцы наркотиками десять лет назад переправляли крупные партии героина в США.

Каждый год в окрестностях города Кульякана на склонах Сьерра-Мадре выращивали мак в количестве, достаточном для производства девяти тонн героина. Огромные партии белого порошка переправлялись через плохо охраняемую границу на севере Кульякан поражал блеском богатства и дикими нравами. Но вот мексиканское правительство решилось положить конец этому нелегальному, хоть и весьма выгодному предпринимательству.

Тысяча солдат, специально отобранных для проведения операции «Кондор», уже десять лет прочесывают самые глухие уголки Сьерра-Мадре. В контрабанде был уличен даже шеф федеральной полиции.

Сначала экстренные меры предпринимались для уничтожения посевов мака. Семьдесят самолетов, полученных от Соединенных Штатов, кружили над горными склонами и распыляли над подозрительными участками сильнейший гербицид. Это принесло двойной успех: ядовитые химикалии уничтожали мак, а кроме того, слухи об их использовании настолько устрашили американских наркоманов, что они стали отказываться от мексиканского героина.

Мексиканское правительство проводит в отдаленных областях дороги, предоставляет крестьянам кредит, раздает зерно и семена, чтобы взамен мака они могли сеять другие культуры.

Затем дошла очередь и до марихуаны. От внимания пилотов военных вертолетов не ускользнут и самые маленькие участки на лесных просеках. По радио будут мгновенно вызваны самолеты-распылители. А через несколько дней специальная группа, прилетевшая на вертолете, убедится, что химикалии действительно сожгли урожай.

Крестьяне пытаются обмануть всевидящее око, уменьшая участки. Как и на Ямайке, они сеют индийскую коноплю вперемежку с пшеницей, овощами или табаком, но этому скоро придет конец. Спутники, снабженные аппаратурой, более зоркой, чем человеческий глаз, вскоре начнут передавать из космоса снимки, на которых будет зафиксирован участок даже величиной с письменный стол.

Пример Мексики обнадеживает: производство наркотиков можно успешно ликвидировать и на самых маленьких полях, укрытых в тропических джунглях, если только правительство сумеет устоять перед соблазном собственной выгоды.

Тем не менее, несмотря на успехи, достигнутые отдельными странами, опасность массового распространения наркотиков в мире все увеличивается. Этому способствует не только жажда наживы, но прежде всего равнодушие. Значительная часть общественности охваченных наркоманией стран привыкла смотреть на губительнейший социальный недуг второй половины XX века как случайный пешеход на уличную аварию.

И еще. Производство наркотиков в Таиланде, Бирме и Лаосе, незначительное в конце сороковых годов, в результате «холодной войны» стремительно возросло. Соперничество между Китаем и Соединенными Штатами способствовало появлению вблизи маковых полей контрабандистов с автоматами и агентов секретных служб. То же самое в последнее время происходит и в Афганистане, Пакистане и Иране. Неспокойная обстановка, грозовая атмосфера гражданской войны, столкновение государственных интересов, когда перспектива немедленной победы представляется важнее, чем цена, которой за нее позднее придется расплачиваться,— все это благоприятная почва для распространения наркотиков. И напротив, мирное сотрудничество дает возможность организовать международный контроль, улучшить жизненные условия крестьян, вынужденных выращивать мак или индийскую коноплю. Так уж устроен мир, что не только количество ракет, но и посевы обыкновенного мака зависят от взаимного доверия государств, а следовательно — и от политики.

Перманентный бунт или паралич воли?

Каковы причины того, что вопреки шестидесятилетней систематической борьбе с наркотиками их угроза человечеству небывало возросла? Из статистических данных явствует, что наркоманы выходят из самой различной среды. Это и нищие жители трущоб в Гонконге, и представители сливок общества в Риме или Лос-Анджелесе. Наркомания распространяется даже среди детей.

«Никогда прежде столько детей не соприкасалось с наркотиками и опасностями, которые с этим связаны»,— было заявлено в Женеве в Международный год ребенка Комиссией ООН по борьбе с наркотиками.

В сообщении ООН о распространении наркотиков в 1977 году говорилось, что ежегодно более 100 нью-йоркских младенцев рождаются со склонностью к наркомании. Как только новорожденный без причины начинает кричать, краснеть и конвульсивно дергаться, врачу приходится вводить ему героин. Только так

можно предотвратить синдром абстиненции, который настигает маленького человечка в момент, когда тот покидает тело матери-наркоманки и лишается таким образом регулярной дозы наркотиков.

«Для тысяч детей первое, что они ощущают, появившись на свет,— это невыносимая боль в результате абстинентного синдрома»,— лаконично констатирует доклад ООН.

Ни один из авторов социологических исследований не сомневается в том, что наркомания — следствие глубокого социального, морального и психологического кризиса, охватившего почти все западные страны именно в то время, когда они достигли относительного благосостояния. Мельчают идеалы, и человек чувствует себя все более одиноким и затерянным в лабиринте определяющих его жизнь безликих сил (высокие налоги, к примеру, повестка в армию, ядерное оружие и опасность его применения).

«Перед нами,— писала французская газета «Фигаро»,— молодые парни и девушки, которые способны к хроническому озлоблению и перманентному бунту. Они не только чувствуют презрение и отвращение к современному обществу и его институтам, но и отвергают ограниченный, замкнутый, обюрократившийся, подчиненный власти денег буржуазный порядок, выражая свое неприятие такого мироустройства нигилизмом и яростным протестом».

Сходным образом суммирует свои наблюдения западногерманский журнал «Штерн»: наркотики — «это средство, к которому многие молодые люди обращаются в силу убеждения, что не могут жить в мире, к коему принадлежат; они поразительно рано понимают, что современное общество бедно положительными идеалами, но богато пушками, что оно неискренне и бесчестно».

Весьма скептически настроена и полиция.

— Мы можем арестовывать контрабандистов, изымать наркотики, но этого мало. Проблема героина свидетельствует о бессилии общества,— заявил высокопоставленный сотрудник Интерпола в беседе с репортерами журнала «Ньюсуик». И добавил: — Улучшение работы полиции ни к чему не приведет без самых решительных мер в области социальной, в профилактике. Мы оказались в ситуации, когда полиция превратилась в мусорщика современного общества.

Нетрудно подыскать десятки подобных цитат в итоговых главах почти всех медицинских или социологических исследований о наркотиках (а количество их прямо пропорционально росту массовой наркомании).

Наркоманы в Западной Европе и в крупных американских городах на вопрос, что привело их к наркотикам, отвечают равнодушно или патетически: «Пытаюсь пробиться через окружающее свинство...». «А что мне еще остается делать?..», «Я уже сыт всем по горло...» Причем большинство отрицает собственную вину. А ведь кое-кто из таких «бунтарей», берущихся за шприц, «чтобы выразить протест», между прочим, имеет возможность вступить в революционную или радикальную политическую партию, может уехать в страну с иной социальной системой, может, по примеру Альберта Швейцера, отправиться в Ботсвану или Камерун и помогать там болящим и страждущим.

Любое положительное деяние лучше той готовности, с какой молодой безумец хватает пистолет и выбегает на улицу, чтобы добыть денег на очередную дозу героина или ЛСД.

Я много путешествовал — по всем пяти частям света — и всюду меня охватывали горестные чувства: я видел столько разбитых надежд! Ведь именно наркоманией кончали многие пророки и мятежники, многие глупцы, а еще идеалисты, впавшие в отчаяние от собственной неспособности хоть как-то изменить мир...

Молодой бродяга Джек Лондон исколесил всю Америку; свои впечатления он описал в сборнике рассказов «Дорога». Вольнолюбие бродяг он изображает как протест против условностей и обычаев общества, основанного на власти денег, как бунт против капиталистической системы. Джек Керуак, автор другой знаменитой книги о бродягах, написанной полстолетия спустя, пророк «разбитого поколения», от случая к случаю работал сцепщиком на железной дороге. Путешествовал же он автобусом и в отличие от своего предшественника курил марихуану.

Бездомные бродяги Джека Лондона испытывали счастье, путешествуя в товарных вагонах. Запах сваренного на костре кофе, удачный (рискованный) прыжок в вагон, наскоро сочиненный анекдот дарили им радость бытия, радость общения; это нашло свое выражение и в песнях, которые они оставили после себя.

Для хиппи же радость общения с другими людьми нередко заменяют наркотические видения, переживания, которые нельзя передать другим и которые погребены в глубинах сознания. Следствие этого — чувство еще большего одиночества.

Черный обелиск

Попав в Амстердам, непременно постойте минутку на мосту. Внизу проплывают комфортабельные катера с женщинами в белых шортах и старые развалюхи-баржи, где на веревках сушится белье. Хозяйки — от восемнадцати до восьмидесяти лет — чистят овощи и потрошат рыбу, в то время как мужчины с важным видом стоят у руля. Так выглядят Херенграхт и Кейзерграхт, но особенно примечательны малые каналы, где пришвартованные к берегу суденышки заменяют своим владельцам дома.

В городе на реке Амстел есть и обычные улицы: направо — ряд домов, налево — ряд домов, один краше другого. Город возник из рыбачьей деревушки, а

когда людей стало больше, он поглотил и рукава реки, так что сегодня вы уже не поймете, где, собственно, в Амстердаме река, которая создала эти девяносто островов и островков. Люди обжились здесь, сковали воду каменными и бетонными набережными, так что возникли «грахты» и «валы», как именуют и судоходные каналы, и улицы по их берегам. В старых кварталах их столько, что центр города буквально «переграхтован», и если вы случайно попадете на такую улицу, как Калверстраат, вас поразит, что тут нет воды.

Рядом с роскошными магазинами, сверкающими красочными, полными всяких товаров витринами,— уличные бистро, где вам предложат горячие картофельные шарики с кетчупом. Кафе, кондитерские, сковороды, на которых что-то шкворчит, холмики и целые холмы мороженого, а рядом — для разнообразия — бриллианты на бархатных подушечках; зрительная и звуковая реклама — паренек с мегафоном продает механические щетки собирающие с ковра не только пыль, но и осколки стекла: «Дамы и господа! Извольте взглянуть!» Звенит стекло, звенит мегафон, и осколки исчезают с подстилки, скрываясь в утробе механической щетки.

И вдруг вы снова сознаете, что над вами синее небо и ласковое солнце. Улица расступилась и открыла площадь перед Королевским дворцом, на котором золотом так и написано: Royal Palais. Пышное название не мешает бродягам со всего света устраивать здесь сходки. Они посиживают и полеживают прямо напротив Королевского дворца на площади, называемой Дам. Пространство перед обелиском становится для них на время пребывания в Амстердаме домом. Тут они собираются, решают свои проблемы, личные и торговые, развлекаются, веселятся, спят.

Пространство перед обелиском пустует лишь ранним утром, когда большой брандспойт сильной струей ополаскивает широкие ступени вокруг памятника жертвам обеих войн. Как только солнце немного подсушит мостовую, квартиранты возвращаются. Да, квартиранты. Потому что за пребывание на Дам платят — и порой весьма дорого.

Уже к полудню вы обнаружите здесь группки, где по кругу передается сигарета. Каждый сделает затяжку, медленно втянет дым в легкие и, прикрыв глаза, выдохнет, ленивым движением передавая сигарету с марихуаной следующему. Другая группа комбинирует наркотики с алкоголем. Пока еще не начались галлюцинации, они со знанием дела спорят, что лучше — вино или более крепкие напитки. Вот сидит юноша, выпрямившись, словно он опирается на невидимую стену. Точечные зрачки красноречиво свидетельствуют о том, что он принял сильнодействующий наркотик. К обелиску подошла блондинка с красным рюкзаком за плечами. Она прочла надпись на полукруглой низкой каменной ограде и, заглядывая в план города, стала рассматривать исторические объекты вокруг Дам. Солнце било ей в глаза, и потому она не заметила реакции юноши, того самого, который сидел прямо, будто проглотил аршин. Он резко поднялся — в нем точно развернулась сжатая пружина — и как лунатик пошел за ней. Негр, до сих пор вроде бы равнодушно сидевший на ограде, соскочив, вразвалку двинулся за красным рюкзаком.

— Эй, детка, хочешь гаш?

Хозяйка рюкзака сначала не поняла, что это обращаются к ней. Оглянулась и тут же увидела уставившегося на нее молодого человека. Насторожилась.

— Можешь получить и героин. Первую дозу задаром. Идет?

— Спасибо, я не употребляю.

Негр расхохотался. А потом заорал на всю площадь:

— Наконец-то Джеки нашел свою русалку!

Джеки шел за красным рюкзаком, словно безвольная кукла, типичной походкой наркоманов — напоминая пьяного, который старается идти прямо, чтобы не упасть. Шел, натянутый, будто струна, уперев взгляд в светловолосую девушку. У перехода она остановилась. Он — тоже. Чтобы сбить с толку нежелательного спутника, блондинка изменила направление. У соседнего перехода замигал красный свет. В последнюю секунду она перебежала улицу, сделала вид, что идет в костел, а сама свернула к зданию главного почтамта. Молодой человек сунулся под машины уже на красный свет. Шоферы гудели, с обеих сторон объезжали неуверенно идущего человека, по походке узнавая, с кем имеют дело. Светлая головка скрылась в дверях почтамта, и Джеки ускорил шаг. Когда он вошел туда, открылась боковая дверца, красный рюкзак перебежал через улицу и нырнул в костел.

На площади Дам неудача Джеки никого не интересовала. Мостовой возле обелиска завладели две девушки в черном, известные здесь под кличкой Вороны. Девушки исполняли диковинный танец под музыку, которую слышали только они. Черные юбки с глубокими разрезами на бедрах доходили до середины икр, босые ноги шлепали по мостовой, руки взлетали к небу. Сперва девушки раскачивались из стороны в сторону. Потом, наклонившись вперед и отведя руки назад, словно крылья, стали описывать магический круг. Одна из них, очевидно, когда-то занималась художественной гимнастикой или училась в балетной школе — порой ее движения были весьма грациозны. Другая танцевала неуклюже. Возле танцующих не было ни футляра от музыкального инструмента, ни перевернутой шапки, ни копилки. Просто обе девушки под воздействием наркотиков пытались как-то выразить свои ощущения и без всякого стеснения танцевали свой странный танец, не обращая внимания на насмешки толпы. Единственный, кто был захвачен их выступлением,— высокий тощий старик с гривой седых вьющихся волос, которые падали ему на плечи, а наверху были схвачены каким-

то сооружением из разноцветных металлических блях.

— Когда-нибудь им это удастся,— убеждал он стоящих вокруг зевак, дико жестикулируя и хриплым голосом поощряя черный дуэт. Девушки отпрянули друг от друга, запрокинули головы, их распростертые руки напоминали машущие крылья, а в упорстве, с которым они все это проделывали, было что-то пугающее. Правда, ожидаемый «взлет» не наступал. Обессиленные, они рухнули у ног старика.

— Клаудия была уже совсем близка,— прохрипел старик. Ее подруга, стоявшая на коленях, зарыдала. Кто-то прыснул. Старик пришел в ярость.

— Когда-нибудь у них это получится,— закричал он на всю Дам,— они взлетят туда, наверх, и окаменеют на вершине обелиска, а вы только будете ходить да таращить глаза!..

Возможно, когда-нибудь и впрямь вершину обелиска на площади, называемой Дам, украсит черный ворон. Обелиск белый, и поставили его в память о павших. Черной птице, которая благодаря не одному поколению поэтов стала символом гибели и смерти, очевидно, самое место на этой площади — в память о тех погибших, что лежат вокруг обелиска, хотя они еще живы.

Пока еще живы...

◆

КАМЕНСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Советский переводчик с чешского и словацкого языков. В ее переводе издавались произведения ряда классиков чешской литературы XIX—XX вв. со словацкого публиковались пьесы О. Заградника книги для детей Л. Фельдека. В «ИЛ» в ее переводе напечатан памфлет Карела Чапека «Скандальная афера Йозефа Голоушека» (1967 № 9, совместно с О. Малевичем), подборка рассказов Э. Петишки (1976, № 3) и др. произведения.

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету

Мы сочли себя вправе предпослать этой публикации рисунок Пабло Пикассо «Юрий Гагарин», присланный художником в «Иностранную литературу» в 1961 году. Этот дар — знак доброй воли, творческого общения. Мы воспринимаем его как послание выдающегося художника XX века в наши тревожные дни, как его наказ новой эре в человеческих взаимоотношениях.

Два журнала — «Советская литература», который на разных языках читают в ста странах, и «Иностранная литература», делающая достоянием советского читателя зарубежную литературу,— обратились к видным художникам слова многих стран с просьбой принять участие в анкете.

На инициативу откликнулись люди самых разных политических, философских, религиозных убеждений, несхожих эстетических взглядов, имеющие неодинаковое представление о том, что происходит, скажем, у нас в стране, высказывающие порой суждения, с нашей точки зрения (мы еще будем иметь возможность ее высказать), неприемлемые... Что ж, пусть обмен мнениями будет откровенным, и пусть каждый получит возможность сказать то, что думает, ибо как же иначе найти общий язык?

В этом номере мы начинаем публиковать ответы зарубежных авторов на вопросы анкеты:

1. Решение каких общечеловеческих проблем представляется Вам самым неотложным?
2. Какова связь между этими проблемами и Вашим творчеством?
3. Над чем Вы сейчас работаете, каковы Ваши творческие планы?

До того, как шагнем за порог XX века...

До недавних пор я как-то внутренне не хотел согласиться с тем, что человечество находится на грани гибели. То ли мешала инерция мышления, то ли виновата была моя наивная душа, не знаю. Хотя давно миновали те годы, когда я смотрел на мир с детской непосредственностью и незамутненностью. Но все же как хочется иногда в наше тревожное время вернуться в ту безоблачную пору! Между тем каждый новый день неизменно напоминает о чем-то совершенно ином, тревожном. Эти напоминания — повсюду в нашей, казалось бы, однообразной, будничной жизни. Может быть, это происходит оттого, что несколько по-иному, чем прежде, мы смотрим на происходящее вокруг — смотрим с беспокойством и озабоченностью.

В конце прошлого года мне довелось несколько дней пробыть в Минске — совместно с белорусскими товарищами мы работаем над документальной лентой о нашей стране. Там я в бо́льших подробностях узнал о беде, постигшей Чернобыль, посмотрел фильм, поставленный по повести В. Быкова «Знак беды», цикл фильмов «У войны — не женское лицо» известного режиссера-кинодокументалиста Дашука. И от всего этого у меня стало еще более тревожно

на душе. А в настоящее время я нахожусь под впечатлением «Плахи» Чингиза Айтматова. И я невольно задаюсь вопросом. «Куда же вообще идет человек? Неужели он создал технические чудеса лишь ради того, чтобы совершить самоубийство?»

На этот вопрос, мне кажется, существует самый что ни на есть конкретный ответ. Может быть, даже у человечества никогда прежде не было более конкретного ответа на большие, сложные вопросы. Сегодня необходимо спасти планету, жизнь на ней от ядерной катастрофы, необходимо сохранить хотя бы на нынешнем уровне экологический баланс на Земле. Эту задачу мы должны решить до того, как шагнем за порог двадцатого века. Иначе будет поздно.

Чем же мы, писатели, деятели культуры, можем помочь делу? Бить в набат тревоги? На мой взгляд, это уже немало. Поскольку я верил и верю, что писательское слово во все времена помогало развеивать мрак невежества, то убежден, что и нам нужно нести людям правду, какой бы горькой она ни была, ибо только правда спасет человечество. И чтобы внести хотя бы малый вклад в борьбу во имя великой правды, я пишу книги и в этом вижу смысл своей жизни. Надеюсь, что в конце концов творения, созданные во имя человечности, добра, любви, во имя мира без насилия и угнетения, пробьют мрак зла и несправедливости. Моя надежда зиждется единственно на вере в человеческий разум.

Каждый раз, когда я берусь за перо, меня одолевает одна мысль: «Как бы осветить — осветить хотя бы чуточку — темные углы человеческой души» Порой у меня вырывается вопль разочарования: «Ох, уж эти люди!» Но вместе с тем меня никогда не покидает безграничная вера в человека.

В романе «Круг жизни» я старался провести мысль, что человека спасает любовь к человеку и поклонение природе. Видимо, подспудно я «проповедовал пантеизм». И видимо, в романе прозвучали нотки ностальгии по патриархальной, кочевой жизни, иначе почему же вдруг на меня так яростно обрушились наши критики. Однако я остаюсь при своем мнении и не стыжусь желания быть бесхитростным и естественным.

Сейчас заканчиваю роман о первом монгольском богдо-гэгэне [1], известном представителе кратковременного монгольского Ренессанса (вторая половина XVII века). Хочу показать трагическую ситуацию, когда «желтая религия» (ламаизм), ставшая в те времена наиболее влиятельной силой в Монголии, не сумела спасти страну от разрушительных раздоров и кризиса. Человек на протяжении многих поколений ищет бога, но, увы, это не мешает вспыхивать конфликтам и войнам. Нет, не в боге, а в самом человеке заложена способность остановить и пресечь зло!

В дальнейшем хотел бы написать книгу лирических зарисовок, отражающих облик Монголии поры моего детства и юности. Жить такими воспоминаниями — тоже неплохо. Тем более что в подобных воспоминаниях, пусть наивных,— вера в то, что «красота спасет мир».

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ
(Монгольская Народная Республика)
Февраль, 1987 г.

[1] Богдо-гэгэн — глава ламаистской церкви в Монголии. *(Здесь и далее прим. ред.)*

Миру — мир!

Шлем теплые и дружеские пожелания нашему другу и коллеге — Чингизу Айтматову [1]. Как и наши советские друзья, мы знаем, что дипломатия, осуществляемая посредством искусства, скажем театрального искусства, может быть намного действенней искусства самой дипломатии, сколь театральным оно порой ни выглядело бы. Мы приближаемся к XXI веку, и нашей первоочередной задачей должно стать ослабление международной напряженности. Здесь существуют два пути. Первый: сокращение и окончательное уничтожение средств, порождающих напряженность,— боевой техники и других «усовершенствованных разновидностей дубинки пещерного человека» Все это следует выкинуть из мировых арсеналов. Второй и гораздо более важный: на смену напряженности должны прийти чувства доверия, дружбы, взаимоуважения и постоянный обмен идеями и творчеством между народами.

Нам надлежит улучшить качество, ускорить осуществление взаимных переводов книг и наладить обоюдное общение. Мы мечтаем, чтобы на сценах Москвы и Нью-Йорка шли одни и те же пьесы, чтобы книги издавались одновременно на русском, английском и китайском языках.

Своим литературным трудом мы всегда стремились утверждать идеи мира и взаимопонимания. Вместе с Норманом Казинсом мы написали недавно пьесу «Внутренний шепот». Она поднимает общечеловеческие проблемы, поскольку шепот, упомянутый в названии пьесы, взывает к сознанию

[1] Анкета была задумана и начала осуществляться сразу после проведения Иссык-Кульского форума, организованного Чингизом Айтматовым.

народов, принадлежащих к различным культурам, говорящих на разных языках. Давайте же возвысим этот шепот до победного клича: «Миру — мир! За мир во всем мире!»

ДЖЕРОМ ЛОУРЕНС,
РОБЕРТ ЛИ
(Соединенные Штаты Америки)
Декабрь, 1986 г.

«О том, что видела, стараюсь написать...»

1. Наш век — век трагедий и век небывалых в мировом масштабе возможностей. Я хотела бы не только верить, но и дожить до того времени, когда из трагедий научатся извлекать уроки и когда весь тот ужас, который уже пережило человечество, заставит его добиться всеобщего разоружения, мира во всем мире и того, чтобы атом использовался только для облегчения существования человека.

2. Наша семья на протяжении нескольких поколений занимается литературой; семья большая, и, может быть, именно поэтому я никогда не хотела стать профессиональной писательницей. То, что я пыталась выразить в прозе или стихах, в полной мере — я так чувствовала — могла выразить лишь вся наша разветвленная семья. Но вторая мировая война решила за меня. Если бы не это потрясение, из меня, пожалуй, никогда не получился бы лирический поэт, и я осталась бы при своей «цивильной» профессии. Но я постигла, в чем состоит мой долг.

...Если и я, стоя на коленях, наблюдаю,
Как катит зерно целая армия муравьев, и — обратив лицо к солнцу,—
Я начинаю танец на холмике — еще свежем! —
И свое бренное тело
Кидаю в объятья мертвого тела,
Пока кажется сладким уксус,
Которым время наполнило мой рот;
Кто оставит им в наследство
СЛОВО, если не я, не поэт?[1] —

так написала я в первом стихотворном сборнике. Я стала писательницей, и беспокойство о судьбе человечества, находящегося под угрозой, присутствует в каждой моей строке; оно сопровождает меня, как тень. Я не могу и не хочу забыть ни свои личные потери, ни потери, понесенные миром. Я была свидетельницей и ужасных и прекрасных событий. И о том, что видела, стараюсь написать.

3. Сто пятьдесят лет тому назад у нас был создан Национальный театр, задачей которого было участвовать в дальнейшем формировании и пестовании национальной культуры и развитии языка. Поэтому я считаю честью для себя откликнуться на просьбу театра написать для него пьесу; я попытаюсь сквозь призму одного лишь эпизода нашей истории четырнадцатого века высветить важный момент эпохи нынешней. Когда пьеса будет завершена, вернусь к томику эссе, две трети которого уже готовы, а когда закончу и его, снова начну писать роман. Воссоздавая события кануна второй мировой войны, свидетельницей которых была, я попытаюсь раскрыть предпосылки «аншлюсса» и осмыслить себя самое как личность в тех обстоятельствах, в преддверии приближавшейся войны.

МАГДА САБО
(Венгерская Народная Республика)
Январь, 1987 г.

[1] Перевод подстрочный.

Известная английская писательница Айрис Мердок предпочла устно ответить на вопросы анкеты в беседе с нашим корреспондентом Н. Степановой. Запись беседы была сделана в Дели в январе нынешнего года, когда там проходила международная конференция, посвященная памяти Индиры Ганди.

Проблемы, которые требуют решения

Н. С. Решение каких общечеловеческих проблем представляется вам самым неотложным?

А. М. Конечно, в первую очередь это проблемы, которые мы обсуждаем сейчас на конференции: нищета и голод в странах третьего мира и каким образом можно помочь народам этих стран. Речь идет не только о помощи продовольствием, необходимо попытаться найти глобальное решение проблемы, а это требует определенных жертв с нашей стороны. Следует подумать о ликвидации задолженности этих стран и о многом другом. Это и проблема контроля над вооружениями, проблема мира. Меня также беспокоит вопрос — именно поэтому очень хотелось бы принять участие в московском форуме[1] — о либерализации режимов в странах Восточной Европы, где, насколько мне известно, сажают в тюрьмы за инакомыслие. Я надеюсь, что с приходом к руководству господина Горбачева такая либерализация произойдет. Больше свободы в странах Восточной Европы и больше свободного обмена между Советским

[1] Имеется в виду Международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества», состоявшийся в Москве 14—16 февраля 1987 года.

Союзом, странами Восточной Европы, с одной стороны, и Западом — с другой.

Ослабление ядерной угрозы и отмена преследований за так называемые политические преступления — я, конечно, не имею в виду преступления в истинном смысле слова, когда совершается насилие, я имею в виду просто несоответствие взглядов — вот проблемы, которые, на мой взгляд, требуют решения.

Н. С. Какова связь между этими проблемами и вашим творчеством?

А. М. Такая связь есть, но она не механическая, это не значит, что я сажусь и пишу роман именно об этих проблемах, просто во многих моих книгах они так или иначе находят отражение. Например, проблема беженцев. После второй мировой войны мне пришлось работать с ними, и я знаю, что значит быть беженцем.

Н. С. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

А. М. Непосредственно после окончания войны, в августе 1945 года, я работала в Австрии и принимала участие в оказании помощи беженцам из так называемых лагерей перемещенных лиц. Это были люди, насильственно угнанные в рабство Гитлером в Германию и другие страны Европы. Когда закончилась война, они оказались в тяжелейшем положении. Я видела, как они голодали. Не работал транспорт, было очень трудно их накормить. Некоторые из них не хотели возвращаться на родину, хотели остаться жить и работать в Европе.

Н. С. Что привлекало ваше внимание более всего в этих людях?

А. М. Удивительная доброта, выдержка и самообладание. Перебивались как могли, многие продавали все, что имели, на черном рынке, чтобы хоть как-то прокормиться, но, несмотря на тяжелейшие обстоятельства, сохранили прекрасные душевные качества. А как они помогали друг другу! И еще какая-то грусть: ведь они никому не были там нужны. Ну, молодых и одаренных еще можно было пристроить, надо было только найти страну, которая пожелала бы их принять, а пожилые и старики — они-то уж действительно никому не были нужны.

Н. С. Что стало с этими людьми?

А. М. Через некоторое время я вернулась в Англию, занялась научной деятельностью. Не знаю, что стало с этими людьми, может, в конце концов их как-то пристроили.

Н. С. Они могли вернуться на родину, если бы пожелали?

А. М. Да, многие это сделали.

Н. С. А что помешало другим — страх или что-нибудь другое?

А. М. Многие югославы или поляки, например, просто не хотели жить в своих странах.

Н. С. А с русскими вы встречались?

А. М. Нет, с русскими было трудно встретиться. Я не встречалась с русскими, которые бы решили жить на Западе. Я не встречалась ни с русскими военными, ни с гражданскими. У нас не было контакта с ними: в Вене очень строго соблюдалась демаркационная линия. Вена была разделена на четыре зоны, по французской, английской, американской зонам нам можно было передвигаться беспрепятственно, а русская зона была закрыта. Ну, и граница тоже, естественно, была закрыта. В молодости я была членом компартии и была очень хорошо настроена к русским; мне очень хотелось встретиться с ними, я даже учила в то время русский язык и позднее тоже продолжала его изучать, могу читать, правда не рискну разговаривать по-русски. Но с русскими мне там так и не пришлось встретиться.

Н. С. Над чем вы сейчас работаете, каковы ваши творческие планы?

А. М. Я только что закончила роман, который выйдет в сентябре этого года,— роман о марксизме, о различных точках зрения внутри него. Конечно, это роман о людях: кто-то из них придерживается крайне левых взглядов, кто-то — более умеренных, они серьезно расходятся в политических убеждениях, так что отчасти мой роман о политике. Что касается творческих планов, я намерена продолжать писать романы и заниматься философией, если получится.

Н. С. Вы слышали об Иссык-Кульской встрече, которую проводил Чингиз Айтматов? На эту встречу собрались видные представители творческой интеллигенции различных стран, чтобы обсудить наиболее насущные проблемы современности, была принята Иссык-Кульская декларация.

А. М. Да, припоминаю, я что-то об этом слышала. Скажите, Айтматов и прежде пользовался авторитетом у властей или только недавно получил признание?

Н. С. Чингиз Айтматов пользовался уважением и был признан читателями с того

времени, как начал писать. Это талантливый писатель, его произведения любят в нашей стране, но не все они принимаются однозначно, вокруг некоторых, как, например, вокруг последнего его романа «Плаха», разгорелись серьезные споры.

А. М. Роман переведен на английский?

Н. С. Он наверняка будет переведен, как и все предыдущие произведения Айтматова.

А. М. Мне бы очень хотелось с ним встретиться. Очень жаль, что не смогу приехать на московский форум.

АЙРИС МЕРДОК
(Великобритания)
Январь, 1987 г.

Цена слова

На мой взгляд, существуют две наиболее важные общечеловеческие проблемы, требующие безотлагательного решения: угроза ядерной войны и невозможность предотвращения этой угрозы при современном состоянии взаимоотношений между государствами. Политические деятели всех стран должны сегодня всемерно содействовать организации серьезных переговоров на всевозможных уровнях — между соответствующими государственными, общественными, творческими организациями,— а не только на уровне глав правительств. Такие многосторонние переговоры представляли бы собой некий постоянно действующий форум, подобный встрече американских и советских писателей, в которой я недавно был приглашен принять участие в Лос-Анджелесе [1]. Дипломатия «открытого окна» в области культуры гарантировала бы продолжение контактов, даже если бы на высшем государственном уровне они были прерваны. Политическим лидерам надлежит рассматривать вопрос о ядерном разоружении, учитывая положение во всем мире, они обязаны уметь предвидеть и предупредить внезапное возникновение опасности первого ядерного удара, которая, по всей вероятности, будет исходить не от сверхдержав. Уже один этот факт требует проявления немедленных инициатив в деле разрядки и конкретных предложений по сокращению вооружений.

Отвечая на второй вопрос, замечу, что существует множество связей между этими проблемами, общими для всех, и моей индивидуальной литературной работой. Но я бы хотел подробнее остановиться на роли языка, слова во взаимоотношениях между людьми и странами в наш ядерный век, век массовых средств коммуникации. И в связи с этим на задачах художника.

Два года назад в Советском Союзе встретились двадцать пять поэтов, чтобы принять участие в Московском международном фестивале поэзии. Я имел честь выступать на нем вместе с такими выдающимися мастерами, как Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Эрнесто Карденаль, Саймус Хини, Любомир Левчев, а также моими соотечественниками — Робертом Блаем и поэтом-бардом Бобом Диланом.

Нас братски объединяло тогда общее желание как можно точнее выразить свои мысли. Нас объединяла готовность воплотить в словах всю страсть наших сердец. Нас объединяла решимость слить воедино наши разум и душу в стремлении к простой человечности: к миру во всем мире, к взаимопониманию. И средством достижения этой цели было для нас с л о в о.

Слова — это управляемые ракеты поэзии. Когда-то считалось, что поэты способны влиять на умы королей и политических деятелей, которые, в свою очередь, формируют общественное сознание. Сегодня, к нашему прискорбию, оказывается, что не осталось ни королей, ни политических лидеров, на чьи умы можно было бы влиять.

Порознь и сообща, солируя и сливаясь в хоре, мы, поэты, при помощи слов способны перекинуть мост через пропасть непонимания и недоверия, превращающуюся порой в отношениях между правительствами и их главами в зияющую бездну. (Свидетельством тому явилась встреча в Исландии.)

Задачей поэта всегда было сохранять верность правде. Мои уважаемые друзья Евтушенко и Вознесенский недавно выступали в Союзе писателей, призывая к ликвидации каких бы то ни было ограничений в области литературного творчества, что способствовало бы более полному и свободному обмену взглядами.

Мы не имеем права забывать о возложенных на нас огромной ответственности и обязанности защищать слово. Нам, живущим в современном мире, который находится под угрозой ядерного уничтожения, известно, с какой легкостью зачастую политические лидеры пренебрегают этой моральной ответственностью.

И на Востоке и на Западе научились обесценивать слова, с помощью средств массовой коммуникации — телевидения и газет — искажать факты, пользуясь расхожими языковыми штампами. Поэты мира

[1] Речь идет об очередной встрече советских и американских писателей, проводимых по инициативе журналов «Иностранная литература» и «Сатердей ревью».

должны восстать против утверждения об изначальной враждебности человека человеку и направлять свои слова-ракеты в самые сердца людей.

Слово, язык, общение — вот первые шаги к улучшению международного положения.

Моральный долг поэта на мировой арене — говорить определенно, даже если политические лидеры этой определенности избегают, вставая в позу и рисуясь, девальвируя язык, приспосабливая его к своей ограниченной идеологии. В конце концов, наши руководители — тоже продукты века массовой информации и века ядерного.

Мы были отучены от истинных ценностей телевидением, о котором американский писатель Стадс Тёркел сказал, что оно свободно от ценностей, и уже невозможно определить, где кончается телевидение и начинается жизнь. Штампы, идущие по каналам массовой коммуникации, предостерегает он, опошляют нашу богатую устную традицию. Тёркел сетует, что язык ныне утратил свою многозначность. Семантический коллапс — вот что стало с нашей устной традицией. Присущая ей опора на слово, на яркую метафоричность рухнула: она несовместима с «культурой» массовой коммуникации. И это создает угрозу человеческой психике, ибо, по замечанию драматурга Эдварда Олби, мы единственные существа, определяющие себя и свое сознание при помощи метафоры.

Полагаю, нам следует также вернуть изначальный смысл понятию «совесть», столь необходимому для того, чтобы уберечь жизнь от ядерного кошмара. Массовая культура подменила метафору штампом, моральный долг — пропагандой, а сознание — послушанием робота.

В результате для общества, привыкшего не к чтению, а к визуальному потреблению информации, становятся характерными эмоции-рефлексы, а не глубокие личные переживания, вызванные словом — метафорой и образом. Под влиянием средств массовой коммуникации общество утратило способность к катарсису, оно стало бесчувственным и циничным. И нет ничего удивительного в том, что, видя, как изображение ливанской женщины с мертвым ребенком на руках быстро сменяется на телеэкране рекламой моющего средства, кто-то может подумать, что моющее средство по своей ценности равно жизни человеческой. Так возникает подмена эмоций при восприятии действительно важного — и пустого. Подобные «замкнутые» визуальные ассоциации приводят к тому, что трагические образы современного мира утрачивают для зрителя трагизм. Духовные ценности опошляются, теряя способность катарсического воздействия, воображение оказывается практически парализованным, эмоции — выхолощенными.

Мы стали бесчувственными к реальной страшной угрозе ядерного уничтожения. Нам кажется, что это просто еще один фильм, еще одна форма неизбежного насилия.

Видимо, в нынешнем поколении происходит формализация языка. За последние два десятилетия наше общество явилось свидетелем научных и технических открытий, совершавшихся с такой стремительной быстротой, что языку, чтобы поспеть за ними, ничего другого и не оставалось.

В мире, непрерывно меняющемся, в привычных своих формах буквально исчезающем, занять эскапистскую позицию, пытаясь уйти из-под диктата общества, многим представлялось целесообразным. Прямое следствие этого — неспособность сопротивляться угрозе новой войны. Как же могло общество найти определенность в словах, если неопределенной становилась сама повседневная жизнь? Когда перемены, порожденные промышленной революцией начала века (хотя они происходили и не с такой головокружительной скоростью), казалось, угрожали человеческой психике, французские символисты метафорически стремились передать «эфемерность существования», то, что Бергсон назвал «непрерывной изменчивостью состояний». В наш век искусство, видимо, не способно предложить никакого решения, поскольку язык развивается в сторону шаблона, чтобы вписаться в общую систему координат и отражать быстро меняющуюся среду. Штампы, ложь, умолчание, полуправда, язык иных руководителей и бюрократов предлагаются сегодня в качестве такого решения и составляют ту самую общую систему координат.

Американский поэт Уильям Карлос Уильямс предостерегал, что продажность языка приведет к продажности морали. В письме к поэту Роберту Крилею Уильямс отмечал: «Писать плохо — значит совершать государственное преступление, поскольку управление осуществляется при помощи слов. Если искажается язык, процветает преступность». Это особенно правомерно сегодня, когда стоящие у власти законоведы и бюрократы, призванные быть служителями общества, стоять на страже точности языка закона, зачастую как раз первые искажают его.

Семантический коллапс, или утрата ответственности за слово, становится возможным тогда, когда все общество «стремится избежать причастности». Так считают, как я понимаю, Олби, Евтушенко, Вознесенский, Уильямс и многие другие поэты мира, не оставившие надежды «влиять на умы королей, президентов или партийных лидеров». Поэзии и искусству предстоит пройти трудный путь, поскольку задачи, поставленные мировыми культурами перед искусством слова, были восприняты политическими лидерами ядерного века, лишенными поэтического воображения, как минималистские. Нам, поэтам, надлежит заново открыть изначальный смысл и силу языка, нам надлежит говорить свободно и влиять на умы королей и политических лидеров, призывая их истинно осознать силу важнейшего из слов — слова «мир».

Что касается моей текущей работы, я недавно завершил книгу стихов под названием «Утомленные тьмой» и начал работать над следующей, которую назову «Иллюзия». Предполагается, что она будет направлена против равнодушия, процветающего в царстве иллюзий и заблуждений, против попыток увести общество от решения общечеловеческих проблем. В основе книги — тема общения между людьми в мире, нарушенного лишь в наше время. Кроме того, я недавно закончил пьесу «Коммедиа», посвященную той же проблеме. Ее собираются перевести и поставить в Москве Премьера состоялась год назад в Сан-Франциско с американским актером Раймондом Бэром в главной роли.

ДЖЕЙМС РЕЙГАН
(Соединенные Штаты Америки)
Декабрь, 1986 г.

Фактор победы

Уважаемые товарищи

Савва Дангулов
и Николай Федоренко!

1. Сегодня главной в мировом масштабе проблемой, от решения которой зависит само существование жизни на планете, является, вне всякого сомнения, гонка вооружений, которую подстегивает военно-промышленный комплекс США и которая в любой момент может привести к термоядерному апокалипсису — достаточно нажать кнопку.

2. Другая важная проблема современности — все более усиливающаяся безжалостная эксплуатация стран так называемого третьего мира. Мало того, что эта эксплуатация, осуществляемая империализмом в разных формах, препятствует экономическому развитию более чем ста стран, она еще и создает обстановку, взрывоопасность которой может достичь небывалого в истории человечества уровня.

В связи с этим приведу некоторые данные.

Если бы страны Латинской Америки удовлетворили сейчас требования, предъявляемые Международным валютным фондом и Международным банком развития для покрытия их внешнего долга, это означало бы, что империализм вывез бы из них 25% национального валового продукта.

В третьем мире ежегодно умирают от голода 40 миллионов человек. Это комментариев не требует.

Землетрясение, происшедшее не так давно в столице Сальвадора, помимо того, что произвело огромные разрушения, унесло три тысячи жизней. Мужественная борьба против жестокой олигархии, поддерживаемой ЦРУ и Пентагоном, уже стоила сальвадорскому народу 60 000 жизней. Это все равно как если бы такое землетрясение обрушивалось на страну каждые четыре месяца.

3. Значительным и положительным шагом к решению упомянутых проблем я считаю смелые и весьма полезные преобразования, которые решительно и энергично проводятся сейчас в Советском Союзе и коренным образом меняют положение дел во всех сферах жизни.

В современном мире судьбы всех народов земли тесно взаимосвязаны. Глубокая демократизация, проводимая КПСС под руководством товарища Горбачева, должна привести к экономическому, научно-техническому, культурному и социальному взлету, который придаст Советскому Союзу и всему миру социализма новый облик, политическое и военное могущество. А это станет решающим фактором победы мира над войной, жизни над смертью и откроет более просторные и требующие меньших жертв пути для всех народов.

Упомянутые и многие другие проблемы всегда волновали и продолжают волновать меня как писателя. Что касается моих творческих планов, надеюсь продолжать пером служить делу борьбы за мир, за свободу для моего и других братских народов.

С дружеским приветом,

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС
(Коста-Рика)
Январь, 1987 г.

◆

П. НИКОЛАЕВ

ВО ИМЯ ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

Взгляд на русскую и советскую литературу [1]

Книга эта исповедальна. Известный чилийский писатель Володя Тейтельбойм создал лирическую повесть о том, что составляет целую область его интеллектуального, духовного мира, озаглавив ее «Написано сердцем» Сердце художника и революционера вобрало в себя гигантский исторический материк мировой культуры — русскую классическую и советскую литературу почти за два столетия ее развития. Вобрало и отозвалось благодарно и щедро. Мне, русскому читателю книги, очень дорого это объяснение в любви к моей отечественной литературе.

Но драгоценное качество труда — не в одной эмоциональной силе. Ее автор — мыслитель и общественный деятель, человек, чье возвышенное чувство отдано многострадальной родине, чей разум ищет пути социальной справедливости и нормального жизнеустройства на всей планете. Отсюда лейтмотив книги: гуманистическая культура объединяет народы.

Он, этот лейтмотив, сложился из авторских идей и наблюдений. Объясняя восприимчивость к русской культуре на огромном географическом отдалении от нее, В. Тейтельбойм глубоко осознает: это замечательное явление возможно лишь при несомненном сходстве судеб народов, к каким бы — совершенно разным — регионам они ни относились.

Мы, русские, давно дорожим всемирной отзывчивостью нашей литературы. Еще в 1880 году об этом ее уникальном качестве сказал Достоевский в знаменитой речи о Пушкине. Для автора «Преступления и наказания» пушкинская отзывчивость — завет русской культуре, которому надлежит следовать во имя всечеловеческого содружества. Она и следовала ему.

И наш чилийский друг великолепно показывает это. Уже в юношеском возрасте ему представлялось, что книги русских писателей, которые он читал запоем, написаны о нем и его соотечественниках. Подобный феномен восприятия неудивителен.

Подлинная высота культуры — не в ее элитарности. Напротив, во все века она всегда обретала пусть неодинаковые, но родственные по главному смыслу демократические формы. Русскую классику прошлого можно определить словами: демократический реализм. Ее известная характеристика, данная Горьким,— критический реализм — изначально указывает на демократическую сущность классики: критический пафос всегда демократичен, менее всего связан с элитарностью искусства.

Почему юноше могло показаться, что со страниц русских книг слышны человеческая исповедь, слово утешения в жестоком мире? Теперь, много лет спустя, он сам дает точный ответ. С этих страниц звучал голос «униженных и оскорбленных» всей земли. Подобное ощущение рождало, хотя и не сразу, широкую мысль: славянский

[1] В основу статьи легло предисловие к книге В. Тейтельбойма «Написано сердцем. Русская и советская литература глазами латиноамериканца». М., «Радуга», 1986 (на испанском языке). *(Прим. ред.)*

НИКОЛАЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский литературовед, член-корреспондент АН СССР, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «Сила слова» (1959), «Эстетика и литературные теории Г. В. Плеханова» (1968), «Возникновение марксистского литературоведения в России» (1970), «Реализм как творческий метод» (1975), «Историзм в художественном творчестве и в литературоведении» (1983), «Марксистско-ленинское литературоведение» (1983) и др.

крестьянин — совсем иной, нежели латиноамериканец, человеческий тип — своей социальной судьбой близок людям с черной или красной кожей, живущим в тропических долинах и на далеком океанском побережье.

Писатель видит здесь прямую аналогию, она в общности страданий, неизбежных в бытии «низких» сословий. Тут — «знак общества неравных, знакомое клеймо рабства». Поведав о последнем, русская литература косвенно рассказала латиноамериканцу о нем самом. «Два разных полушария планеты, два мира нищеты, угнетения и горя. Имеет ли значение, под каким небом это происходит?»

Но есть в книге еще более дорогая особенность восприятия нашей литературы. Мы иногда называем ее первой революцией перед великой революцией в октябре 1917 года. Оказалось, что и сознание человека, родившегося на земле доколумбовых племен аборигенов, при знакомстве с русской словесностью, его «первой любовью», укреплялось в том же страстном намерении нарушить сложившийся ход вещей. Понятно, что литература великих бунтарей Толстого и Горького была принята сердцем чилийского «вольнодумца».

Здесь дело не в какой-то внешней агитационности искусства, а в сокровенной психологической силе, которая, вообще говоря, есть самая неоспоримая его ценность. Тейтельбойм так поясняет свою любовь к русской литературе: «..это она могла заставить жить и умирать с каждым героем, разделять с ним всю гамму чувств». Русская литература, говорит он, воспринималась поколением его юных единомышленников как нечто антибуколическое, антипасторальное. Она привлекала тем, что представляла жизнь как внутреннюю борьбу человека, не содержала намека на безмятежность и самодовольство. «Для нас это было важно потому,— свидетельствует автор,— что давало нам примеры, уроки непокорности, восстания в нашем собственном «доме», потому, что мы хотели изменить мир».

Понятно, почему первая глава книги названа «Оружие и литература». Тот — прошлый — век русской художественной литературы, который справедливо именуют «золотым», рассмотрен здесь чилийским писателем как век борьбы справедливости и добра с социальным антигуманизмом. Именно так он и оценивает, например, смысл пушкинской оды «Вольность» и комедии Грибоедова «Горе от ума». Если аналитически подходить к оде, можно не согласиться с заявлением исследователя, будто молодой поэт призывает в ней к бунту. «Восстаньте, падшие рабы!» — это скорее обращение к чувству достоинства, надежда на силу человеческого духа. Но имеет право быть и предложенное в книге толкование: ведь иногда сам стиль придает бóльшее значение тексту, чем вложено в него поэтом. Не случайно декабристы воспринимали «Вольность» как революционную прокламацию.

В таком контексте и с точки зрения революционной функции рассматривает Тейтельбойм и всю русскую литературу прошлого столетия.

Тут необходима оговорка. Автор имеет дело с явлениями высокого искусства, содержание литературы видится ему во всем колоссальном психологическом богатстве. Это во-первых. Во-вторых, он постоянно расширяет контекст русской художественной и общественной жизни, имея в виду события за пределами России, прежде всего относящиеся к Латинской Америке. Таков принципиальный композиционный прием писателя, как бы «подсказанный» конкретным адресатом, к которому он обращается. Поэтому на тех страницах, где идет речь о пушкинской эпохе, совершенно оправдан рассказ о восприятии в России войн за независимость испанских колоний в Америке, битв при Валенсии и Карабобо, об интересе передовой русской прессы к Боливару как исторической личности.

Книга «Написано сердцем» изобилует экскурсами в современную действительность. Образцы классического искусства восприняты с точки зрения их бытия в XX веке, возникают аналогии с явлениями нашей эпохи. Так, персонажи Гоголя, реалиста, но, по мысли автора, и предвестника театра абсурда, рождают ассоциацию с нынешними торговцами «мертвыми душами». Капиталист, говорит писатель и публицист, торгует мертвыми телами и душами, создает индустрию смерти.

Книга увлекает тонкими сопоставлениями русской и латиноамериканской литератур. Иногда автор говорит о влиянии первой на вторую. Это — не от простого увлечения предметом повествования, как порой случается в иных трудах. Объективность суждений здесь подтверждается ссылками на выводы других авторитетных исследователей, европейских и латиноамериканских.

Остановлюсь чуть подробнее на оценках в книге русской литературы XIX века. Вот одна из острых и актуальных проблем. Она связана с интерпретацией знаменитого образа Обломова. В последние годы ряд литераторов, критиков и деятелей искусства (в том числе и в Советском Союзе) с активной солидарностью стали говорить об Илье Ильиче Обломове как художественном характере, в котором якобы воплощены преимущественно положительные человеческие качества. Возвышая его нравственные достоинства, кое-кто заявлял, что неважно, какое сословие представляет персонаж и что его леность и праздность, дескать, компенсируются некой моральной кротостью и чистотой. Так возникло прямое несогласие с точкой зрения Добролюбова, осуждавшего обломовщину как социальное бедствие, и с мыслью Чехова, считавшего, что праздность не может быть чистой.

Володя Тейтельбойм идет добролюбовским и чеховским путем. Он напоминает также о позиции Ленина, боровшегося против обломовского культа лени. Писатель называет обломовщину «социальной болезнью» и выводит ее за национальные рамки, находя «микроб обломовщины» в Латинской Америке XX века, видя его в теориях фатализма и созерцательности. Кстати, Алехо Карпентьер саркастически писал о той части интеллигенции, которая, подобно гончаровскому Обломову, непо-

движно созерцает любую несправедливость и с невероятной безответственностью соглашается на любой компромисс. Выдающийся кубинский прозаик считал прекрасными примерами «антиобломовщины» замечательную деятельность Хосе Марти и Хосе Карлоса Мариатеги.

Вот в какой исторический контекст поставлен художественный характер из русского реалистического романа! Проблема эстетическая стала в полной мере проблемой политической. Недаром раздел об Обломове завершается в книге пророческими словами Мариатеги: «Будущее Латинской Америки — социализм».

Почему латиноамериканские писатели XX века с особой восприимчивостью отнеслись к творчеству Тургенева, в частности к его «Запискам охотника»? Володя Тейтельбойм объясняет это родством общественного мышления писателей разных континентов. Когда чилийскому реалисту Мариано Латорре потребовалось для художественного анализа тяжкой крестьянской жизни учесть опыт других народов, он не мог не заметить тургеневские новеллы с их поэтической, но беспощадной правдой.

Литература становится интернациональной, если живет проблемами, близкими всем. Тургенев, по мысли автора, рисуя полусонное общество полусонных русских провинциальных помещиков, оживляющихся лишь тогда, когда надо наказать слуг, как бы изображает и латиноамериканское общество, возглавляемое богатыми креолами.

Тургенев не был революционером, однако своим творчеством звал к преобразованию жизни — вот в чем мобилизующая сила художественного реализма. Недаром, как подметил Пабло Неруда, Тургенев стал известен в Чили в конце XIX века, когда поколение 900-х годов ковало свое духовное оружие. Русскому читателю дорого узнать, что любимый нами автор «Отцов и детей» одним из первых среди русских литераторов начал диалог с латиноамериканским читателем.

Всякое дарование неповторимо. Но художественный талант Достоевского поистине поразителен — это признано всеми деятелями мировой культуры. Таково же впечатление и нашего чилийского друга. Однако удивление перед уникальным художественным феноменом не ослепляет писателя и публициста: он определяет границы между близким и неприемлемым в художественном мышлении Достоевского. Взгляды его напоминают суждение Луначарского: надо учиться по Достоевскому, нельзя учиться у Достоевского. Великий реализм «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых» — школа духовного формирования, утопические идеи писателя — вне истинного жизнедеятельного творчества.

«Преувеличения от увлечения» порой заставляют и советских исследователей говорить о том, что Достоевский — самый читаемый классик в нашей стране. Чилийский исследователь подходит к проблеме сегодняшнего восприятия Достоевского гораздо осторожнее: «Нельзя сказать, что в современной русской жизни уже нет ничего от Достоевского. Но пожалуй, гораздо меньше, чем в английском, американском, а также в латиноамериканском обществе. Потому, что определенные противоречия, которых у нас предостаточно, по большей части устранены на родине Достоевского». Можно было лишь еще сильнее подчеркнуть подобные различия.

Вероятно, какие-то частности в выводах автора можно оспорить. Скажем, несмотря на оговорки насчет того, что у Франца Кафки, в отличие от Достоевского, «ясность фактов как бы подернута призрачной дымкой», все же неполно говорится о принципиальных границах в художественном познании мира у русского и австрийского писателей, сходство между которыми преимущественно стилевое. В целом же поиски точек соприкосновения между ними убедительны.

Но пожалуй, еще интереснее в книге анализ социальных и политических проблем, увиденных в исканиях Достоевского-мыслителя. На первом плане здесь — идеи социализма. Преклонение перед русским гением не допускает, понятно, резкости в устах автора, когда он оценивает интерпретацию социализма у Достоевского; «мягко говоря, она личная»,— замечает Тейтельбойм. И все же исследователь ни разу не погрешил против истины. Это закономерно для марксиста. Он напоминает, что основоположники научного социализма, в отличие от автора «Записок из подполья», ставили целью покончить с отчуждением человека от других людей и самого себя и знали реальные пути к объединению. Достоевскому же они были неизвестны.

Но нет непроходимой пропасти между Достоевским и научным историзмом. Великий художник современен многими идеями и заявлениями. Да, Достоевский был в принципе противником социализма, но чаще всего он имел в виду мелкобуржуазный социализм. К тому же, как тонко подметил Тейтельбойм, у Достоевского одна фраза против социализма уравновешивается фразой о буржуазном строе, бескомпромиссным противником которого был писатель.

Со страниц его книг звучит пророческое предупреждение насчет возможной безграничности человеческой жестокости. Володя Тейтельбойм с полным правом говорит о том, что трагический художник предугадал фашистскую чуму и атомное безумие А разве не актуален Достоевский, сказавший об опасности терроризма, о казарменном коммунизме?! Согласимся с автором книги, когда он заявляет, что в этом Достоевский близок к Марксу и Энгельсу.

Известно, сколь трудно понимание идей гигантов русской литературы. Автор показывает это на примере творчества Льва Толстого. Создатель «Войны и мира» и «Воскресенья» был принят в Латинской Америке восторженно. Сильнее всего влияла «социальная позиция» писателя. Но воспринималась она с неодинаковой степенью осознания. Как и повсюду в мире, было и поверхностное увлечение толстовскими проповедями, сводимое к «жонглированию словами». Анархисты использовали имя

Толстого в своих целях, препарировав его учение.

Однако континент знал и подлинного Толстого. Может быть, важнее всего и содержательнее в общественном (и даже историческом) смысле была прямая реакция на толстовские книги массового читателя. Простые люди нередко заявляли, адресуясь к самому писателю, о духовном братстве с ним.

Бедняки называли Толстого не графом, а «товарищем», сообщали о своих житейских горестях, а порой ждали от него «растолкования основ социализма в собственном изложении». Это важное свидетельство демократизма толстовского творчества. Уместно вспомнить слова Ленина: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

Материал книги Тейтельбойма по-своему подтверждает и другую ленинскую характеристику Толстого: «зеркало русской революции». Не теория непротивленчества, а могучее бунтарство писателя стало истинно плодоносным в духовном движении латиноамериканцев. Его романы как бы отразили и борьбу крестьян Латинской Америки. В книге «Написано сердцем» есть замечательное место: несколько лет спустя после мексиканской революции 1910 года вождь повстанческих войск говорил об ее направленности «против того, что Лев Толстой называл великим грехом, против возмутительного факта узурпации земли».

«Творчество Толстого стало частью нашей жизни» — эти слова звучат лейтмотивом «толстовских» страниц труда Тейтельбойма.

Однажды на международном конгрессе славистов мне довелось услышать, как американский литературовед сформулировал основную мысль «Войны и мира»: мир разъединяет людей, война их объединяет. Услышав это, не хотелось предполагать, что ученый верит в объединяющую функцию войны, этой высшей, катастрофической формы человеческой конфронтации. Но чудовищное истолкование смысла великой эпопеи прямо-таки ошеломило.

Подумалось: неужели это только поверхностное прочтение романа, где все призвано утвердить наиболее дорогую для Толстого идею: одно из самых страшных доказательств гибельности разъединения людей — война? Романа, где в широкое понятие «мир» входит мысль об объединении людей, в частности, в том ее варианте, который опирается на близкое писателю коллективное бытие и сознание русских крестьян («мир решил», то есть решило крестьянское собрание)? Конечно, толстовская эпопея воспроизводит единство народа, поднявшегося против врага. Но не сама по себе война представлена там как источник объединения, она лишь выявляет давно сложившееся единство в нравственном опыте народа, любящего свое отечество. Вряд ли дело здесь в непрофессиональной интерпретации сложного произведения Теперь есть основания думать, что этот частный случай отразил умонастроение тех буржуазных критиков и литературоведов, которые время от времени высказывают сомнение в гуманизме русской классической литературы.

Книга Тейтельбойма решительно противостоит этим ложным концепциям. Для него, честного исследователя, одним из источников, питающих благоговейное чувство к русской классике, является ее антимилитаристский смысл. Он пишет: «Толстого ужасали несправедливые войны того времени: вторжение итальянских войск в Абиссинию, испано-американская война 1898 года и англо-бурский конфликт».

Чем хронологически ближе к нам литературные эпохи, освещаемые в книге, тем эмоциональнее стиль автора. Начинается рассказ о XX веке, и причастность к его историческим проблемам, судьбам культуры не может не влиять на композицию и тон соответствующих частей.

В главу о Чехове включен — недаром — рассказ о близком сердцу каждого чилийца Пабло Неруде: оказывается, некоторые эстетические увлечения и жизненные позиции совпадали с чеховскими. Сами аналогии тут усиливают лиро-эпическое звучание рассказа. А вообще же в сближении двух великих писателей — русского и чилийского — не одно частное наблюдение. За ним — большая идея, может быть главная для исследователя,— идея единства всего мира.

Что же касается рассказа о самом Чехове, то на первый взгляд кажется необычным словосочетание «чеховский аромат», предваряющее итоговые оценки русского реалиста — «глашатая исторических перемен», «провозвестника грядущих дней»,— но оно органично для стилистики этих страниц.

Глава о Горьком еще усиливает впечатление личностного характера повествования. Два исходных тезиса раздела (Горький — связующее звено между русской классической и советской литературой; Горький оказал огромное влияние на многих писателей Латинской Америки) выражают сокровенные идеи автора. Он — сторонник преемственных связей между культурами, ему дорого обновление собственной национальной литературы с помощью творческого опыта социалистического художника. Колоссальное воздействие Горького на латиноамериканскую литературу имело опорой особенности всей жизни далеких стран, где, как и в России, зрело предощущение новой социальной эры.

Кроме того, внутренние связи между Горьким и латиноамериканскими писателями были, в сущности, неизбежны вследствие сходства многих конкретных событий в жизни их стран, да и в личных биографиях.

Бунтуют рабочие селитряных карьеров, бывшие крестьяне-отходники, не заставляет себя ждать кровавое подавление забастовок — все это нередкие эпизоды в жизни Перу, Боливии и других стран региона в начале века (к несчастью, и в конце его) Вне литературы это не осталось. Бальдомеро Лильо, написавший о бунте и расправе, а также и о вожде рабочего движения, не мог не учесть опыт Горького, создателя «Матери» и рассказов о пролетарской бедноте.

Если бы книга содержала лишь одну главу о Горьком — то и она давала бы воз-

можность судить о демократизме автора. Здесь он схож со всеми прогрессивными писателями Латинской Америки, преклонявшимися перед Горьким. Тейтельбойм приводит слова Мигеля Анхеля Астуриаса: «Творчество Горького подвигло нас к освоению социально-политической и документальной литературы, к изучению проблем неимущих классов. Вся латиноамериканская проза испытала благотворное влияние Горького». Изображенные Горьким русские мужики напоминали ему индейских крестьян. А чилийский критик Доминго Мельфи еще около полувека назад отметил, что горьковские босяки похожи на бродяг других стран и континентов.

Одно из сильных мест в книге — слова чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль, лауреата Нобелевской премии: «Для нашего поколения Горький воплощает в себе всю нашу молодость, благороднейшие порывы наших сердец... он показал нам размах русской революции в публицистически отточенном романе «Мать» о простой женщине из народа, характером схожей с креолкой».

Напоминает Тейтельбойм и о собственно эстетической специфике творческих открытий Горького: следование классической традиции и одновременно ее обновление, активное неприятие литературного декаданса. Всякие попытки модернистов XX века, в том числе, скажем, экзистенциалистов, иронизировать по поводу горьковского метода, утверждающего пафоса его творчества в конечном итоге обусловлены их философией отчаяния, неспособностью предложить человечеству что-либо конструктивное. Горький потому и стал знаменем передовых литератур, в том числе и латиноамериканской, что его мятеж против старого мира имел целью утвердить прекрасные и, главное, р е а л ь н ы е формы человеческого бытия.

Тейтельбойм точно чувствует и передает расстановку культурных сил в России накануне и в период Октябрьской революции 1917 года, убедительно показывая неизбежность краха декаданса как литературного направления в начале века. Горделивые заявления модернистов о том, что они смотрят на мир с эстетической точки зрения и отвергают материалистическую философию (поверхностно сводя ее к узкому рационализму), должны были с неотвратимостью привести их к творческой катастрофе. Таков всегда финал активного несогласия со всем лучшим, что есть в социальном движении времени. Вожди русского декаданса, Мережковский и Гиппиус, предрекавшие гибель искусства после революции, отвергнув ее, сами в итоге погибли как художники.

Сохранились в большом искусстве лишь те, кто нашел в себе мужество порвать с авангардизмом и услышать «музыку революции». Ясно, что при этом вспоминается прежде всего Блок, воссоздавший в поэме «Двенадцать» ритмы и краски революционной эпохи. В книге чилийского исследователя верно определена неповторимая, исключительная по идейному и эстетическому динамизму эволюция поэта от символизма к реализму.

Величие совершившейся в России революции состояло, помимо всего прочего, в том, что она родила великих художников. Тейтельбойм прав, когда связывает с именами Блока, Маяковского, Есенина возникновение «эры поэзии». Верно, что поэтическое творчество сопутствовало революции с первых ее дней.

Всеобщее духовное возрождение в стране выливалось в разнообразные эстетические формы. Но процесс становления нового искусства был непрост. Автору книги, конечно, весьма близок тезис Ленина о необходимости бережного усвоения старой культуры. Но он понимает и другое: в «экстремальную эпоху» Маяковский, например, не мог обойтись без «эстетического экстремизма». Однако эксперименты Маяковского осуществлялись в рамках реализма. Его новаторская поэзия была романтическим гимном новому миру и одновременно реалистическим познанием последнего. «Знамя, реющее над полями сражений в области эстетики и идеологии»,— образно говорит о ней Тейтельбойм.

Такую же особенность революционного искусства можно увидеть и в чилийской поэзии. Самые яркие примеры — творчество Висенте Уидобро и Пабло Неруды, пришедших к большим идейным и эстетическим результатам. Как симптоматично и значительно, что имена великих чилийцев стоят в книге в одном ряду с именами Блока и Маяковского! Позднее Уидобро будет сопоставлен с неистовым искателем необычного стихотворного слова Хлебниковым, а Габриэла Мистраль — с Ахматовой, с волнением читавшей строки выдающейся чилийской поэтессы. «Мосты» мировой культуры!

В советской прозе 20-х годов в общем происходили те же процессы, что и в поэзии. Чилийские писатели увидели в ней поначалу стилевые искания, но затем проникли в суть ее художественных открытий. Молодые читатели, вероятно, еще раньше почувствовали, как нужна им молодая советская литература. Как был бы взволнован Гладков, знай он, что в 1932 году, когда восстание чилийских моряков позволило прийти к власти — временно, правда,— социалистическому правительству, его роман «Цемент» обсуждался студентами Сантьяго под свист пуль вокруг университета!

Чем ближе к нашим дням, тем сильнее личная причастность автора к литературному процессу в социалистической стране. Будущие историки советской литературы вряд ли пройдут мимо столь горячих и умных высказываний зоркого свидетеля, а порой — участника литературной жизни в нашей стране. Пожалуй, нельзя найти ни одного крупного советского писателя, оценке творчества которого не нашлось бы места на страницах книги. Имен слишком много, и потому анализ не всегда отличается большой широтой, как в суждениях о классике, но всегда оригинален и запоминается.

Объясняя всемирную популярность Шолохова, исследователь выделяет два момента. Рисуя одну деревню, писатель воссоздает жизнь многих народов. Персонажи его романов не послушные создания авто-

ра, а живые люди с сомнениями и колебаниями; и они сильные личности, а не мягкотелые существа, не листья на ветру. Источник уникального творческого успеха Шолохова, утверждает Тейтельбойм,— неразрывная, не однажды объявляемая самим художником законом писательского бытия связь с действительностью и, разумеется, неповторимое его художественное дарование.

Фадеев, Паустовский, Катаев — в каждом из этих известных писателей наш чилийский друг находит своеобразные черты. Но в их творческих индивидуальностях есть и общее: гуманизм и правда. Автор книги вновь и вновь подчеркивает социально-нравственную и эстетическую близость советской литературы латиноамериканскому читателю.

Он потому особо останавливается на деятельности Эренбурга, что советский писатель, публицист хорошо, «изнутри» знал Запад и давал ему неоднозначную, объективную характеристику, ратуя за интеллектуальный обмен между странами. Особенно запоминаются те страницы книги «Написано сердцем», где рассказывается о приезде Эренбурга в Чили, к Пабло Неруде.

Исследователь постоянно возвращается к ведущей идее своего труда — о «мостах» культуры. Широко читаемый на Западе роман Булгакова «Мастер и Маргарита» он называет «философской гиперболой» и говорит об его родстве с художественными фантазиями Гоголя, Марло и Гёте. Естественно, напрашивается аналогия и с романом Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», с его сложнейшей метафоричностью и иными эстетическими условностями.

А вот иной материал, другая тема — однако с тем же внутренним лейтмотивом единства мировой культуры. Одна из частей книги озаглавлена «Конец Вавилонской башни». «Вавилонская» неслиянность десятков языков и наречий в России преобразована при социализме в согласный хор замечательных литератур, при этом блистательно демонстрирующих индивидуальную национальную спефицику. «Сейчас,— пишет автор,— хаотическое разноязычие уступает место межъязыковому общению».

Исследователь с особым вниманием относится к младописьменным литературам народностей СССР, спасенных социализмом от вымирания, с болью говоря о том, какая культура умерла вместе с исчезновением некоторых чилийских племен индейцев. «Не кто иной,— читаем здесь,— как так называемая белая раса ответственна за то, что в Чили не существует арауканской письменности и не стал литературным фактом древний фольклор мапуче». В условиях социалистических преобразований окрепли и фольклорные традиции народностей.

Такое исключительное явление в нынешнем художественном процессе, как творчество Айтматова, представляющего киргизский народ, который лишь сравнительно недавно обрел оседлый образ жизни, рассматривается автором книги с особым чувством. Он не скрывает волнения, рассказывая о маленькой северной народности, когда-то сплошь неграмотной,— чукчах, давших превосходного писателя Рытхэу.

Подобные факты внушают чилийскому патриоту веру в будущее культуры народов его родины и всего латиноамериканского континента: «Придет день, когда мы будем иметь книги, целую литературу, написанную на кечуа, аймара, кауке, мапуче, на сотне языков нашего континента. И этот день нам принесет Революция».

На советской литературе последних десятилетий лежит отсвет героики и трагизма Великой Отечественной войны.

В гражданском, общенациональном значении воспринимает исследователь творчество Твардовского, с его гениальным «Василием Теркиным», Антокольского, Суркова, Алигер, плеяду послевоенных поэтов — Гудзенко, Луконина, Межирова, Винокурова, прозу Полевого, Казакевича, Быкова, Астафьева. Чтобы представить отношение чилийского писателя к «военной» литературе, стоит указать хотя бы на одно место в книге — о повести Сергея Смирнова, посвященной защитникам Брестской крепости: «...из этого животрепещущего материала он составил поразительный человеческий и литературный репортаж. И благодаря появившейся книге Брест стал синонимом эпопеи, стяжав славу советских Фермопил». В облике Сергея Смирнова, в его постине подвижнических исканиях всей мужественной правды о войне, воплощены лучшие черты советского писателя-гуманиста, активного противника войн, интернационалиста. Несомненно, это чувствовали чилийцы, когда Смирнов был в их стране. Другие советские писатели также смогли посетить Чили, и автор книги, рассказывая о них — Дудине, Алигер, Евтушенко,— особо подчеркивает их интернациональные чувства и убеждения.

Обо всем, что есть в книге Володи Тейтельбойма, конечно, не расскажешь в небольшой статье. До ее последних страниц не перестаешь удивляться проникновенным суждениям о советской художественной культуре, о новаторстве нынешней поэзии — отлично, например, сказано о Вознесенском, драматургии, детской литературе в Советском Союзе, наконец, о советской литературной науке, которая фундаментально изучает латиноамериканскую литературу с точки зрения ее удивительного своеобразия и места в современной мировой культуре.

Книга «Написано сердцем» — слова любви чилийца к русскому художественному творчеству. Она — о том, чем обязана латиноамериканская литература русскому искусству слова. Но в ней прекрасно сказано и о другой стороне процесса влияния: «Сегодня латиноамериканская литература возвращает советскому читателю нечто из того, что в свое время посеяли на ее далеких землях великие русские писатели прошлого, обогатившие сознание многих поколений нашего континента и оказавшиеся необходимым элементом для формирования большинства современных авторов».

◆

Г. ЗЛОБИН

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ДНЕЙ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЛИНКОЛЬНА

Сто двадцать пять лет назад Н. Чернышевский писал: «Едва ли можно избежать Линкольну этих решительных мер». Речь шла о необходимости добиться коренного перелома в ходе самой затяжной и кровопролитной войны в истории Соединенных Штатов Америки — Гражданской. За четыре года сражений, развернувшихся на огромной территории от Пенсильвании до Миссури, Луизианы и Джорджии, пало полмиллиона американцев — гораздо больше, чем во время второй мировой войны.

Известно, чем была вызвана эта ожесточенность. Шла вторая американская революция, нацеленная на уничтожение того, что сохранила первая и что почти целый век тормозило развитие капитализма в стране,— рабовладения.

Гор Видал — едва ли не главная фигура в современной исторической прозе США Его интересы как исторического романиста простираются от недавнего национального прошлого до жизнеописания римского императора, «отступившего» от только что принятой христианской веры («Юлиан». 1964), и дальше, до эпохи Заратуштры, Будды, Конфуция, Демокрита («Сотворение мира», 1981). Наибольшей степени достоверности и проникновения в былое он достигает в американском цикле: «Бэрр» (1973), «1876» (1976), «Вашингтон, округ Колумбия» (1967)[1].

Видал берется за переходные, переломные периоды развития США И все-таки именно в новом масштабном романе цикла «Линкольн» (1984), он обращается к кризису общенациональному, каким была Гражданская война. От исхода столкновения буржуазного промышленного Севера с рабовладельческим аграрным Югом зависели дальнейшие судьбы страны. И впервые в самый центр повествования выдвигается фигура всемирно-исторического значения.

Эпоха и личность в романе так тесно взаимодействуют, что кажется, будто они замещают друг друга, едва ли не отождествляются. Противоречия целого исторического периода как бы сходились в фигуре человека, вышедшего из гущи народа и волей событий вознесенного на вершину власти. Война началась сразу же после вступления Линкольна в должность президента. Он сходит с исторической и, соответственно, с романной арены, как только она кончается.

Именно реальной оценкой положения — раскол страны на две части, разногласия и распри в самой правящей республиканской партии — вызван примирительный тон первой инаугурационной речи Линкольна. Обращаясь к южанам, он сказал: «Мы не враги.. мы не должны быть врагами» — и не посягнул на рабовладение на Юге. Однако, присягая на должность, он поклялся «охранять, защищать и поддерживать» Конституцию Соединенных Штатов», двухсотлетие которой отмечается на его родине в этом году. У всех на памяти было знаменитое линкольновское высказывание: «Дом, расколотый надвое, не может стоять». Поэтому в формуле «защищать Конституцию» недвусмысленно прочитывалась готовность всеми средствами, вплоть до применения оружия, отстаивать целостность союза штатов.

Протянутая рука не была принята, скрытая угроза не подействовала. Через сорок дней конфедераты после многочасового обстрела форта Самтер в чарльстонской бухте принудили гарнизон майора Андерсона сдаться. Военные действия начались

Ход войны, ее основные вехи диктуют Видалу даже композиционное членение романа, однако в нем нет ни одной батальной сцены. Вместо полей сражений автор располагает действие преимущественно в Белом доме и Капитолии, сосредоточивается на экономических, социальных, политических аспектах войны и не ставит перед собой задачу создания эпоса, непременно подразумевающего более или менее широкое изображение народных движений — иначе роман вошел бы в качественно иную идейно-художественную систему.

В книге господствуют политические битвы — особенно выделяются в этом смысле промежуточные выборы в конгресс в ноябре 1862 года и избиратель-

[1] Все три романа печатались в «Иностранной литературе» соответственно: 1977, № 7—10; 1986, № 4—5; 1968, № 11—12; первые два выпущены также отдельными изданиями. *(Прим. автора статьи.)*

ная президентская кампания 64-го, сообщения о ходе которых напоминают прямотаки военные сводки с фронтов. Разыгрываются подвижные, изобилующие подробностями, переплетениями и противоречиями столкновения и схватки честолюбий и воль, генеральных идей и голого интереса, чистых помыслов и чистогана. Возникают, распадаются и снова складываются сиюминутные союзы, группировки, фракции. Их участники, смотря по обстоятельствам, бросают старых сторонников, находят новых друзей, перекрашиваются, блокируются с противниками, предают партнеров, причем все взывают к богу или конституции, к долгу перед историей или к высшей морали, одновременно требуя благодарности за оказанные услуги и раздавая направо и налево обещания сослужить обществу службу в будущем. Посреди политических исканий, игр, интриг одиноко возвышается фигура президента.

Центральный вопрос всякой революции, как известно,— вопрос о власти. Так и у Видала на первый план выдвигается борьба за власть в ходе войны — борьба линкольновской администрации против сецессионистских[1] сторонников на Севере и борьба между самими юнионистами. Насыщая роман юридическими подробностями, дискуссиями о конституционности тех или иных акций, разбором механизма взаимодействия кабинета и конгресса, писатель преподает немаловажные уроки политической культуры и одновременно обнажает изнанку и издержки демократического процесса, когда политика переходит в политиканство. Содержательные и формальные особенности «Линкольна» многое проясняют в самом понятии жанра политического романа, который повсеместно утверждает свои позиции.

Принцип исторической достоверности, которого всегда держался Видал, и понимание масштаба личности Линкольна продиктовали способ изображения. Автор нигде не старается проникнуть в мысли своего героя, влезть, что называется, ему в душу. В романе совершенно нет внутренней речи Линкольна: больше того, в нем почти не встретишь фраз типа: «Наполеон видел, что это было не то, совсем не то...». В отличие от Толстого, который «знал», какие чувства испытывал Наполеон накануне Бородина, Видал «знает» о Линкольне только то, что тот говорил в публичных выступлениях или частных беседах и что написано в его бумагах. В послесловии говорится: «Я воссоздал их *(действующих лиц.— Г. З.)* по их письмам, заметкам, дневникам, газетам и т. д.».

Строго следовать фактам не значит слепо подчиняться им — иначе мы имеем дело в лучшем случае с исторической хроникой, романизированной биографией или чем-нибудь еще, но никак не с романом. Не прибегая к историческому вымыслу, Видал создал тем не менее именно художественное произведение и сделал это благодаря искусному отбору фактического материала и сугубо романным приемам организации прозы. Один пример, самый первый и наглядный,— страницы, открывающие книгу.

...Ранним утром 23 февраля 1861 года в Вашингтон прибывает некий джентльмен, приезжает инкогнито, отпустив черную бородку, за полсуток до срока, в сопровождении Аллана Пинкертона и телохранителя. На вокзале его встречает один-единственный человек. «Конгрессмен Уошборн тепло пожал руку своему другу и коллеге-политику из Иллинойса Аврааму Линкольну. Тот недавно был избран президентом Соединенных Штатов, и его собирались убить позже, в тот же день в Балтиморе...»

Читатель знает, что Линкольна в конце концов убили, но это знание дремлет в его сознании и вот, чтобы пробудить его, писатель дает специфическую романную, если угодно — детективную завязку.

Тема разветвленного заговора с целью устранения или убийства президента, прямо отсылающая читателя к современности, пройдет по всему роману и разрешится в финале роковым эпизодом в театре «Форд» 14 апреля 1865 года, а пока прямо подхватывается — опять-таки по требованиям художественной композиции, а не хроникальной — сразу же, во второй главе, где автор переносит нас в дом семейства Сэрретов под Вашингтоном, рьяных сецессионистов. Здесь мы и встречаемся с молодым учеником аптекаря Дэвидом Гэролдом, недалеким «идеалистом» мечтающим о подвигах и славе, которого мятежники используют в качестве связного. На периферии произведения маячит множество других фигур заговорщиков и шпионов, вплоть до самого Уилкса Бута, актера и фанатика «южного дела» который и осуществил «последнее сражение Конфедерации», то есть убийство Линкольна.

Самовыражение личности в речи дает лишь внешнее ее описание: в конечном счете человек есть то, что он делает и как он это делает. Однако для романного характера, тем более характера исторического, чрезвычайно важно, что о нем думают другие. Так и у Видала образ Линкольна дается во многом через восприятие его личного секретаря Джона Хея (именно его глазами мы видим почти что все полторы тысячи дней президентства Линкольна), государственного секретаря Уильяма Сьюарда и секретаря казначейства Сэлмона Чейза. Последние двое твердили: нам нужен сильный человек (каждый, естественно подразумевал себя), и оба же подняли крик, что Линкольн идет к диктатуре, когда тот после падения форта Самтер объявил призыв в армию, самолично отдал распоряжение передать из казны два миллиона долларов на покупку снаряжения для войск приостановил действие habeas corpus — закона о неприкосновенности личности провел другие «неконституционные» иначе говоря — революционные мероприятия.

Оба со временем осознают, что имеют дело с искушенным и искуснейшим политиком, правоведом и психологом, ко-

[1] Сецессионисты — в Соединенных Штатах Америки сторонники отделения южных рабовладельческих штатов от Союза в период, предшествовавший Гражданской войне 1861—1865 гг., и во время войны.

торый, в совершенстве постигнув машинерию государственного устройства США и тончайшие движения человеческой души, привык взвешивать каждое слово и каждый поступок, прежде чем принять решение и действовать. Многие поначалу принимали медлительность президента за признак слабости, пока не убеждались, что его кажущаяся неуверенность, даже уступчивость — лишь прием опытного политического фехтовальщика, умеющего уходить в глухую оборону, делать обманные выпады и в подходящий момент наносить прямой удар противнику.

Линкольн — человек своего времени и своей среды, то есть подлинно исторический, а не книжный характер. Искусство политики, как и всякое искусство,— качество благо(дурно)приобретенное. Те компромиссы, увертки и маневры, на которые он шел, диктовались условиями и типом отношений, укоренившихся среди американских политиков.

Положение в стране требовало от Линкольна огромного напряжения физических и душевных сил, мужества и осторожности, убежденности и готовности к компромиссам и, если угодно, даже сиюминутной изворотливости. Ему приходится вести борьбу на нескольких, так сказать, фронтах. Южане-сецессионисты считали причиной смертоубийственной междоусобицы избрание Линкольна президентом, а леворадикальное крыло аболиционистов видело в нем едва ли не главное препятствие для успешной борьбы против рабовладения. Видал вовсю разыгрывает эту историческую иронию и, преобразуя ее в категорию эстетическую, делает одним из главных принципов поэтики романа и — не в последнюю очередь — способа изображения действующих лиц.

Немало неприятностей доставляет Линкольну жена. Мэри Тодд глубоко привязана к мужу, но особа она капризная, своенравная, страдающая мигренью и склонная к истерикам. Как и подобает «республиканской королеве», она мечтает превратить Белый дом в своего рода Версаль, кидает деньги направо и налево, залезает в долги. Возникает подозрение, что первая леди передала мужнины бумаги в чужие руки, у кого-то обнаруживаются компрометирующие ее письма. Назревает грандиозный политический скандал.

В сюжетном и идейно-художественном плане «игры» Мэри Тодд тесно перекрещиваются, значительно уступая им по весу, с интригами, которые из месяца в месяц, из года в год плетет секретарь-казначей Сэлмон Чейз, ни на минуту не оставляющий надежды сесть в президентское кресло. Если инцидент с первой леди — все-таки драма, то роль, исполняемая третьим лицом в правительстве, носит откровенно сатирический, если не фарсовый характер. Ирония, о которой говорилось выше, выливается в злую насмешку над человеком с римским профилем, который, претендуя на роль великого аболициониста, истово коллекционирует автографы знаменитостей и из тщеславия велит отпечатать свой портрет на самых ходовых, долларовых банкнотах.

В качестве министра финансов Чейз довольно-таки умело вел государственные дела, наладив, в частности, правительственное сотрудничество с филадельфийским банкиром Джеем Куком, и попутно неплохо обделывал собственные делишки, например: серия ловких ходов,— и техасский хлопок кружным морским путем доставляется в Новую Англию, а из Нью-Йорка на Юг везут оружие...

Как ни осторожен Чейз, его затеи получают огласку, и вот уже в конгрессе министру финансов предъявлено обвинение в коррупции. Переполох происходит как раз перед тем, как Линкольн через третьих лиц выкупает злополучные письма женымотовки. Один скандал заглушает другой, и оба как бы гасят друг друга. Увлекательнейшее романное сцепление!

Линкольн расценивает интриги честолюбивого члена своего кабинета так: «Президентские амбиции мистера Чейза — как слепень на шее у пахотной лошади, который заставляет ее идти ходче». «Идти ходче» Линкольна заставляли конечно же не «укусы» Чейза, не нападки откуда бы то ни было, а развитие в стране ситуации, которая чем дальше, тем больше становилась революционной и требовала соответствующих решительных действий.

Видал ограничился только упоминанием такой радикальной аграрной реформы, какой был закон о земельных наделах (Гомстед-акт), безвозмездно передаваемых колонистам на Западе. Отрезая путь южной олигархии к захвату «свободных» земель, он подводил к уничтожению рабства.

Прокламация об освобождении рабов, обнародованная 22 сентября 1862 года, гласила: «С 1 января 1863 года нашей эры все лица, содержащиеся в рабстве в любом штате или определенной части штата, охваченных восстанием против Соединенных Штатов, будут отныне и навсегда свободными...» То обстоятельство, что Прокламация сохраняла рабство в пограничных штатах и тех частях Виргинии и Луизианы, которые находились под контролем северян, не меняла ее глубоко прогрессивной сути.

В романе множеством эпизодов отлично показано, как долго и трудно шел президент к Прокламации — и дальше. В этом смысле показательна встреча Линкольна с негритянскими лидерами незадолго до опубликования Прокламации. Те признали значение этой меры, хотя и с оговорками: «Полбуханки и то хлеб для голодающего», но президент увидел окаменевшие лица, как только выдвинул реакционно-утопический план переселения черных в Центральную Америку.

Линкольн носился с идеей экспатриации негров до конца жизни, однако это не помешало ему быть инициатором XIII поправки к Конституции США о полной отмене рабства и в июле 64-го публично заявить: «Я никогда не был аболиционистом. Но... теперь хотим мы того или нет — наша партия должна быть а б о л и ц и о н и с т с к о й *(разрядка моя.— Г. З.)*».

Раб. по выражению Аристотеля,— это живое орудие, одушевленная собственность, а на языке римского права — это res, то есть вещь, имущество. США — пер-

вая в истории выстоявшая буржуазная республика, самая передовая по тому времени, однако строилась она по образу самых древних, рабовладельческих демократий «Всемирно-историческое, прогрессивное и революционное значение гражданской войны 1863—1865 годов в Америке» в том и состояло, что она разрешила это грандиозное противоречие, хотя и ценой «бездны разорения, разрушений»[1]

На другом, противоположном, краю земного шара, в России, в 1850—1860-х годах тоже сложилась революционная ситуация, и одна из причин ее — тоже невольничий труд сельскохозяйственного населения и безземелие. Народ требовал земли и воли. Самая отсталая в ту пору полуфеодальная мировая держава путем реформ предотвратила революцию. Манифест об отмене крепостного права и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» были подписаны Александром II 19 февраля 1861 года, за три недели до вступления Линкольна в должность президента.

Только социалистический Октябрь решил аграрный вопрос в России. Решение же негритянского вопроса в Америке растянулось еще на сто лет. Таковы неожиданные перекрещения и расхождения «сюжетов» новой мировой истории.

«Я верю в судьбу, в судьбу и необходимость. Я верю в Союз. Сохранение Союза — вот моя судьба. И моя необходимость»,— говорит Линкольн Сьюарду в самом начале марта 1861 года.

«Нашими поступками управляет судьба и необходимость»,— задумчиво произносит он через четыре года и шестьсот страниц романа, опускаясь в кресло бывшего президента Конфедерации в его ричмондской резиденции после взятия города федеральными войсками.

В том же плане «толкуется» повторяющийся сон Линкольна: он на плоту, один, без весел и руля, посреди бурного потока, и — «меня несет, несет...».

Эту аллегорию, точно передающую обманчивую переменчивость облика и поведения Линкольна, его, так сказать, непредсказуемость, не надо понимать буквально, так как если бы он плыл по воле событий, а не проницал логику их бега. «Судьба» в его устах — это не Провидение, не Бог, не какая-либо другая высшая сила: он был слишком близок к земле, чтобы питаться религиозным чувством Судьба для отдельного человека — это он сам, его прирожденные и приобретенные качества, его привычки и удел, его характер, а характер, как гласит древняя мудрость, это судьба. Необходимость же — это натиск обстоятельств, направление и скорость «потока», неизбежность перемен, закономерности общественного развития.

«Нам не уйти от истории» — такими словами заканчивалось президентское послание в конгресс в конце 1862 года. В них заключается не только сердцевина художественного характера видаловского Линкольна, не только идея данного романа и жанра, которому он принадлежит, но и видаловская философия истории в самом общем и сжатом виде. В условиях, когда современный американский роман вязнет в трясине антиисторизма, а массовая беллетристика усиленно приукрашивает прошлое, реалистичная концепция Видала, утверждающая историческую истину, причинную связь времен и, стало быть, преемственность культуры и цивилизации, приобретает принципиальное значение.

В изображении крупной исторической личности романисту трудно уберечься от соблазна возвеличить ее либо принизить — смотря по его мировоззренческой позиции и художественной наклонности. Видал счастливо избежал этих крайностей.

В итоге его Линкольн — не национальная икона, которую творили с самого начала многие его соотечественники и сподвижники: отец Авраам, честный Эйб, Лесоруб, рожденный если не в яслях, как Христос, то в бревенчатой хижине,— но и не честолюбивый и неразборчивый в средствах политик-прагматик с диктаторскими замашками, как пытаются представить его некоторые американские рецензенты, в частности Джойс К. Оутс. Да, в своей тетралогии Видал «настойчиво и блестяще анатомирует корни личных амбиций, которые вырастают в саму историю», как пишет Оутс, но это ни в коей мере не относится к герою романа.

Мне неизвестно, читал ли Видал Маркса, но близость подходов порою просто поразительна, и та общая характеристика, которую дал Маркс Линкольну, как нельзя лучше подходит герою романа американского писателя:

«Линкольн — фигура «sui generis»[1] в анналах истории. Никакой инициативы, никакого воодушевления, никакого позирования, никаких исторических драпировок. Самым значительным из своих действий он всегда придает наиболее заурядную форму. Если другие, действуя ради квадратных футов земли, провозглашают «борьбу за идею», то Линкольн даже тогда, когда действует во имя идеи, говорит только о «квадратных футах земли». Нерешительно, против воли, нехотя исполняет он бравурную арию своей роли, как бы прося извинения за то, что обстоятельства принуждают его быть героем. Самые грозные декреты, которые он швыряет навстречу врагу и которые никогда не утратят своей исторической значимости, напоминают — в соответствии с намерением их автора — обычные вызовы в суд, посылаемые друг другу адвокатами спорящих сторон, юридическое крючкотворство опутанное мелочными оговорками actiones iuris[2]»[3]

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 58.

[1] «Своеобразная, единственная в своем роде» (*лат.*).

[2] Юридические акты (*лат.*).

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 15, с. 570.

◆

Н. АНАСТАСЬЕВ

ФЕНОМЕН ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Если хотите понять поэта, советовал мудрый Гёте, отправляйтесь к нему на родину.

Но где дом Владимира Набокова, в какой стороне искать этого писателя, ныне осененного мировой славой, переведенного на десятки языков, многогранно и многократно истолкованного в критике, удостоенного — честь особенная — периодического мемориального издания «Набоковиана»?

Задавали ему этот вопрос часто, и он сам себе его задавал. Отвечал по-разному в разное время, вот одна из первых версий. Принадлежит она, правда, не самому Набокову, а литературному герою, но это можно счесть условностью, ибо под именем писателя Федора Константиновича Годунова-Чердынцева выступает в романе «Дар» писатель Владимир Владимирович Набоков. «Мне-то, конечно,— рассуждает он, оказавшись на чужбине в Германии,— легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь,— во-первых потому что увез с собою от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно когда, через сто, через двести лет,— буду жить там в своих книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя».

Сейчас это возвращение происходит. Впрочем, не возвращение — представление, ведь для нынешнего, да и прежних читательских поколений в нашей стране Набоков оставался фигурой полумифической, в лучшем случае критически отраженной, да и то — несколько строк в энциклопедии, несколько страниц в исследовательской работе. И впрямь необязательный персонаж «подстрочных примечаний». Теперь иначе. «Защита Лужина», один из лучших романов раннего Набокова, опубликован в журнале «Москва». Несколько стихотворений — в «Книжном обозрении». Большая поэтическая подборка — в «Октябре». Переводы из Мюссе и Рембо печатаются в этом номере «Иностранной литературы». Впереди, можно надеяться,— новые публикации, благо есть из чего выбирать: наследие Набокова — прозаика, поэта, драматурга, литературоведа, переводчика — необъятно, одна лишь библиография его сочинений составила том в 800 страниц.

Знакомство необходимое. Наверное, сочинения Набокова по-разному будут приняты. Наверное, возникнут споры, но во всяком случае не останется места для домыслов, колеблющихся в предельно широком диапазоне: когда одни говорят — «гений», другие — «автор полупорнографической «Лолиты».

Только не надо, освобождаясь от одних мифов, творить другие. Знакомство — так

АНАСТАСЬЕВ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1940 г.)

Советский критик и литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Фолкнер. Очерк творчества» (1976), «Разочарования и надежды» (1979), «Творчество Эрнеста Хемингуэя» (1981), «Обновление традиций» (1984) и многих статей по зарубежной литературе.

знакомство, правда — так полная правда. Гений — не гений, но действительно талантливый, крупный писатель, за которым стоит целая школа сочинительства в XX веке, Владимир Набоков ее заслужил.

Он пришел к нам, и это хорошо. Но следует отдать себе ясный отчет в том, что пришел он в страну, которой, мягко говоря, не симпатизировал. А говоря прямо — отвергал, решительно и целеустремленно, наш образ жизни, наши идеалы.

Отвергал в молодые годы. В берлинской газете «Руль» 18 ноября 1927 года появилась статья Набокова «Юбилей», приуроченная к десятилетию Октября. Вот что в ней можно прочесть:

«Нужно уметь презирать. Мы изучили науку презрения до совершенства. Мы так насыщены им, что порою нам лень измываться над его предметом. Легкое движение ноздрей, на мгновение прищурившиеся глаза — и молчание. Но сегодня давайте говорить». Лучше бы не говорил, ибо дальше идут слова, достойные не писателя, который превыше всего ценил духовную независимость, а озлобившегося журналиста.

Так писал Набоков, когда ему было двадцать восемь.

Так же писал, когда было сорок пять, с революционной Россией его не примирила даже трагедия войны. В 1944 году он опубликовал (уже по-английски) небольшое стихотворение, в котором ясно сказано: никакие утраты и боли не примирят с «мишурным блеском Руси Советской».

И в пятьдесят пять. В лирической, тончайшей по словесной живописи книге мемуаров «Другие берега» вдруг возникает жестская публицистическая нота: «Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины». Набоков вышел из видной семьи: дед — министр юстиции в правительстве Александра III, отец — крупный юрист, один из лидеров кадетской партии, мать — наследница высокородных аристократов Рукавишниковых. Терять было что — и положение и десятины. Но Набоков имел моральное право презирать «россиянина-зубра»: сам он разошелся с нами не на имущественной почве.

Ничто не изменилось и на склоне лет. В одном из последних интервью Набоков вспомнил о давней, начала 20-х годов, берлинской встрече с Андреем Белым и Алексеем Толстым. Последнего он совсем не ценил, первого, напротив, считал одним из крупнейших романистов века, но это не имело значения. Важно было другое: «Оба писателя занимали в то время откровенно просоветские позиции (и оба были накануне возвращения в Россию), так что русский из лагеря белых, каким я... в специфическом смысле слова, остаюсь поныне, разумеется, не пожелал разговаривать с «большевизанами» (попутчиками)»[1].

К чему говорится все это? На данный вопрос я, в сущности, уже ответил: знакомство с Набоковым сопровождается сочинением мифов. Или, скажу аккуратнее, умолчаниями и недомолвками.

Оставим в стороне небольшую заметку в «Книжном обозрении» (1986, № 43) — она носит явно рекламный характер.

Оставим в стороне и эссе Андрея Вознесенского в «Октябре» (1986, № 11), предпосланное публикации стихов Набокова. Виртуозно, как и всегда, написанное — поэзия в прозе,— оно больше говорит об авторе, чем о том, кому посвящено.

Но предисловие Олега Михайлова к «Защите Лужина» заслуживает внимания— ведь это по существу первая у нас и пока единственная попытка целостного, пусть лаконичного, по условиям жанра, суждения о творчестве Набокова. Некоторые мысли автора кажутся мне точными, другие — продуктивно-спорными. Но я сейчас не о том. Полагая, что «злоба дня» (которая под пером писавших чаще всего становилась просто злобой), столь густо насыщавшая эмигрантскую беллетристику, мало затронула творчество Набокова в целом», О. Михайлов оговаривается: «Другое дело — критика, история литературы. Здесь Набоков позволял себе такие эскапады, которые художнику его уровня и класса позволять бы вроде не пристало» [2].

Насчет «творчества в целом» — верно.

Верно и то, что Набоков не Мережковский, да и вообще в кругу русской литературной эмиграции он оставался «белой вороной», во всяком случае ни в каких коллективных акциях не участвовал, что до некоторой степени объясняется и его гипертрофированным высокомерием, а более всего — отсутствием малейшего интереса к политике.

Но неверно, будто выражал свое отношение к бывшей родине Набоков в форме эскапад. Это были не эскапады, это была

[1] The Contemporary Writers. Interviews with Sixteen Novelists and Poets. Ed. by L. S. Dembo and C. N. Pondrom. The University of Wisconsin Press, 1972, p. 55.

[2] О. Михайлов. Разрушение дара. «Москва», 1986, № 12, с. 72.

позиция, сохранившаяся, как мы видели, на протяжении всей долгой жизни.

Я понимаю, вернее думаю, что понимаю, отчего О. Михайлов высказался столь уклончиво. Вовсе пройти мимо не позволяет добросовестность исследователя, являющегося к тому же прекрасным знатоком творчества Набокова, а договорить все до конца мешает опасение: а что как издательские шлюзы, приоткрывшись, тут же снова и захлопнутся? Надо быть законченным лицемером, чтобы признать такую осторожность безосновательной: слишком свежа еще память о типологически сходных, так сказать, случаях. Только ведь помимо ближней, часто недоброй памяти есть и память дальняя, вдохновляющая: ничуть не заблуждаясь относительно классовых симпатий и антипатий Аркадия Аверченко, В. И. Ленин, как известно, вполне определенно высказывался в пользу публикации его рассказов и фельетонов Аналогия, конечно, очень условна, я нарочно выбрал для прояснения сути вопроса крайний пример: в своем неприятии реального социализма Аверченко был намного агрессивнее Набокова.

Он вернулся теперь в Россию — не узнанную и не признанную им Впрочем, каково будет возвращение, Набоков тоже угадал — в давнем. 1921 года, стихотворении «Петербург». Вместе с горько-саркастической в нем звучит нота тяжелой ностальгии:

Таких, как я, немало. Мы
блуждаем по миру бессонно
и знаем: город погребенный
воскреснет вновь; все будет в нем
прекрасно, радостно и ново —
а только прежнего, родного
мы никогда уж не найдем.

Родного... Но был ли родным Набокову Петербург до 1917 года? Здесь ли его дом — Морская (ныне улица Герцена), 47, загородное имение Рождествено, где прошли детские годы, привилегированное Тенишевское училище, где прошли годы ученические, края, где рано проявились его многообразные дарования — будущего энтомолога (несколько специальных работ, замеченных научным миром), будущего шахматного композитора, главное — будущего писателя (два первых стихотворных сборника появились еще до эмиграции)?

Тут я, как видно, возвращаюсь к уже поставленному вопросу — к тому вопросу, ради уяснения которого, собственно, и написана статья [1].

[1] При этом сразу же должен оговориться: из наследия Набокова выбираю лишь «крупноформатную» прозу. У него есть прекрасные стихи, есть незаурядные новеллы, но вошел он в мировую литературу прежде всего как романист.

Многие считают, что Владимир Набоков был прежде всего русским писателем, и понять такую позицию можно.

Россия, русские — постоянный фон, а то и непосредственная тема всего его творчества — от первых заметных стихотворных сборников 1923 года «Горний путь» и «Гроздь» до последнего романа «Взгляните на арлекинов» (1974). Русский эмигрант Лев Ганин из романа «Машенька» (1926), которым Набоков впервые обратил на себя внимание как прозаик, вскоре, сменив имя, появится в «Защите Лужина» (1930), затем превратится в автобиографического героя «Подвига» (1932) — студента Кембриджского университета, которого неудержимо тянет на родину, далее — в уже знакомого нам писателя из «Дара» (1935—1936), чтобы завершить свое мировое кружение в романе «Ада» (1969), центральный персонаж которого, литератор и ученый-психолог Ван, ведет родословную от русской княжеской семьи XVIII века. И все они, сохраняя особенности профессии, биографии, темперамента, сливаются в едином образе беглеца, которого не отпускает память о далеком отечестве. А в «Других берегах» (1954), где описываются полвека жизни, самые проникновенные строки посвящены России.

Как историк литературы, как педагог — сначала в провинциальном американском колледже Уэллесли, затем в престижном Корнелльском университете,— Набоков опять-таки обнаруживал особое пристрастие к России, к русской классике. Он написал книгу о Гоголе, уже после смерти был опубликован массивный том, в который вошли лекции о Тургеневе, Толстом, Гоголе, Чехове, Достоевском, Горьком. В 1960 году Набоков перевел на английский «Слово о полку Игореве», а вскоре началась гитаническая работа над переводом «Евгения Онегина» В 1964 году этот перевод, сопровожденный подробнейшим, в тысячу страниц, филологическим и реальным комментарием, увидел свет. сразу же породив горячую полемику и среди славистов, и среди переводчиков стремясь к предельной точности в передаче смысла, Набоков переложил «Онегина» прозой.

Наконец, главное. До начала 40-х годов не было писателя по имени Набоков, был поэт и прозаик В. Сирин — псевдоним, означающий райскую птицу русского лубка. И заговорил Сирин так ярко и необычно, что Бунин, сам несравненный стилист, прочитав «Защиту Лужина», воскликнул: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним вы-

стрелом уложил всех стариков, в том числе меня».

Какие же еще свидетельства нужны?

Но ведь помимо языка, помимо сюжетов и персонажей существует еще некий трудноуловимый остаток, какая-то субстанция, почва или, на языке теории,— национальный стиль мышления, традиция, предание, художественная идея, которая, не обособляя одну литературу в кругу других, придает ей необщее выраженье лица.

Была ли Сирину близка художественная идея русской классики с ее обостренным общественным темпераментом, склонностью к учительству, моральной проповеди? Это сомнительно.

Да, Пушкин и Гоголь оставались в его глазах величайшими гениями литературы. Да, он говорил: «Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего дома» («Другие берега»). Но представление об авторе «Мертвых душ» как о реалисте казалось Набокову абсурдным. А в предисловии к переводу «Евгения Онегина» он писал, явно целя в Белинского: «Это не «картина русской жизни», это в лучшем случае картина небольшой группы русских, живших во втором десятилетии прошлого века; картина, густо населенная персонажами, вполне очевидно заимствованными из европейской романтической прозы и изображающая стилизованную Россию; картина, которая немедленно развалится на куски, если вынуть ее из французской рамы и убрать французских актеров, играющих английские и немецкие роли и суфлирующих по-русски говорящим героям и героиням. Парадокс, с точки зрения переводчика, заключается в том, что единственно важным русским элементом «Онегина» является пушкинский язык, переливающийся и мерцающий в стихотворных ритмах, России дотоле неведомых».

В свое время немало шума наделала четвертая глава романа «Дар», представляющая беллетризованную биографию Чернышевского, написанную героем романа. Это по жанру, а по сути — пасквиль на великого критика. Так во всяком случае казалось другому персонажу романа, издателю Васильеву, отклонившему рукопись Годунова-Чердынцева со следующими словами: «Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет, я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта». Такой же или примерно такой же была аргументация редакторов журнала «Современные записки», опустивших при публикации четвертую главу романа (в полном виде «Дар» был издан лишь в 1951 году). Подобное отношение небезосновательно. Чернышевский в «Даре» предстает не властителем дум, но третьестепенным литератором, доморощенным философом-материалистом; а жизнь его и впрямь описана в тоне откровенно глумливом, трагедия мысли и борьбы превращена в непристойный фарс, хищно смакуются клубничные подробности семейного быта и т. д.

Но вымышленный издатель рукописи вымышленного писателя, как и реальные издатели романа реального писателя, не поняли, видимо, главного. Не зуд фельетониста водил рукою автора — водила идея.

Косвенным образом Набоков выразил ее суть, сказав как-то, что Достоевский унизил свой талант «журнализмом», а Блок совершенно напрасно вообразил себя мыслителем, что, мол, нанесло непоправимый ущерб его стихам. И ее, ту же идею, он сформулировал прямо в предисловии к тому «Владимир Набоков. Лекции по русской литературе» (1981). Озаглавлено оно «Русские писатели, цензоры, читатели» и говорится там вот что. В России всегда были две силы, препятствующие свободному волеизъявлению творческого духа культуры. Одна — правительство, правительственная цензура. Другая — «против правительства настроенные, социально-сознательные критики-утилитаристы, политические, гражданские мыслители-радикалы того времени». Это были, продолжает Набоков, честные люди, искренне желавшие соотечественникам добра. Но и они деспотически подавляли литературу, только с другой стороны. «При всех своих достоинствах эти радикальные критики (Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Зайцев, некоторые другие.— *Н. А.*) стали таким же препятствием на дороге искусства, как и правительство. Правительство и революция, царь и радикалы занимали в искусстве одинаково филистерские позиции, ибо равно требовали от художника исполнения «социального заказа, не допуская никаких причуд» [1].

Характер социального заказа — дело десятое. А главное — как раз «причуды». «Для меня рассказ или роман,— написано в авторском послесловии к «Лолите»,— существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим

[1] Vladimir Nabokov. Lectures on Russian Literature. New York, 1981, p. 4, 5.

наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то— связанным с другими формами бытия, где искусство... есть норма. Все остальное это журналистская дребедень либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кусков, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век». Такова позиция — позиция мастера, Дедала-строителя. От русской классики она бесконечно далека.

Где же тогда дом писателя Владимира Набокова?

Уж конечно не в Германии, хотя здесь он прожил долго, пятнадцать лет, здесь завоевал писательское имя, здесь происходит действие многих его книг, таких, например, как «Защита Лужина», «Дар», «Король, дама, валет» (1928). Но чувствовал себя в Германии Набоков с начала и до конца чужаком. Отчасти, может быть, потому, что пережил здесь трагедию утраты отца, застреленного фанатиком-монархистом, а более всего — из-за какой-то глубокой внутренней несовместимости с немецкой культурной традицией и уж тем более — с бюргерским самодовольством, которое в богатом воображении писателя разрасталось до размеров необычайных. Одаренный редкой способностью к языкам, он даже не дал себе труда выучить всерьез немецкий.

Последние восемнадцать лет жизни, с 1960 года по 1977-й, Набоков прожил в Швейцарии. И эта страна нашла отклик в его творчестве: вместе с героями «Ады», особенно «Прозрачных вещей» (1972), читатель перемещается в белое пространство альпийских курортов, спускается вниз, в города, меняя отели, бродя по издательским кабинетам, и т. д. Но если, не став русским писателем, Набоков хотя бы хотел им стать (годы, проведенные в Кембридже, пишет он в книге «Память, говори» — английском варианте «Других берегов»,— это «история моих попыток стать русским писателем»), то общественно-духовная проблематика швейцарской литературы была ему просто неинтересна. О чем пишут М. Фриш, Р. Вальзер, А. Мушг и другие? В общем, о том, что Швейцария, прикидываясь заповедником социальной гармонии и свободы духа, на самом деле открыта ветрам времени и трагедиям мира. У Набокова на это нет и намека. Швейцария для него — просто место действия, беллетристическая декорация.

Иное дело — Америка. В 1936 году Набоков, не выдержав фашистского удушья («...как ни хочется спрятаться в свою башенку из слоновой кости,— писал он сестре,— есть вещи, которые язвят слишком глубоко, напр., немецкие мерзости, сжигание детей в печах»), уезжает во Францию, а за несколько недель до оккупации Парижа пересекает Атлантику, чтобы провести в США ближайшие двадцать лет.

Здесь представление о Набокове медленно, но определенно меняется: тот, кого раньше считали (если вообще слышали о нем) заметной фигурой русской литературной эмиграции, теперь воспринимается как американский писатель. Растет и репутация, Набоков постепенно превращается в одну из ключевых фигур литературы. Рецензируя «Аду», журнал «Тайм» называет ее автора «величайшим из живущих ныне американских романистов». В «Постскриптуме к «Традиции и мечте», написанном английским критиком У. Алленом по просьбе «Иностранной литературы» (см. «ИЛ», 1977, № 12), говорится, что «в американской литературе сегодняшнего дня господствует имя Владимира Набокова». И в наше критическое сознание он тоже начинает проникать как писатель американский. А. Мулярчик, автор книги «Спор идет о человеке», ставит «Аду» в круг романов «черного юмора», рядом с книгами Дж. Барта и Т. Пинчона, а появившуюся ранее «Лолиту» рассматривает в контексте «глухой поры послевоенной американской истории»[1].

Понять можно.

Прежде всего язык. Если читающая публика знала пишущего по-русски беллетриста и поэта В. Сирина, то из-за океана с ней заговорил Владимир Набоков — англоязычный писатель. И как опять-таки заговорил! «Величайший из ... романистов», «господствует имя» — это, конечно, чрезмерно. Но то, что он в совершенстве владел английской литературной речью,— факт несомненный. Поверим Джону Апдайку, уж он-то знает, о чем говорит, называя Набокова «виртуозом языка, который исходно не был для него родным», утверждая, что автор «Лолиты» стал для него «одним из тех немногих писателей, которые показали, что можно сделать в литературе посредством языка, его изобразительных средств»[2].

[1] А. Мулярчик. Спор идет о человеке. М., 1985, с. 68.

[2] «Magazine littéraire», 1986, Sept, p. 39. (Почти половина журнального номера посвящена творчеству Набокова, что свидетельствует о его неубывающей популярности.— *Прим. авт.*)

Набокова часто сравнивают с Конрадом, но это сравнение в лучшем случае верно лишь наполовину. Нет писателя Теодора Юзефа Конрада Коженевского (настоящее имя автора «Лорда Джима» и «Ностромо»), есть только писатель Джозеф Конрад. Поляк по рождению, он по-польски никогда не писал. Так что «случай Набокова» — случай действительно уникальный, аналогов нет.

Предпосылки двуязычия возникли уже в детстве, даже в младенчестве — первые слова были произнесены, прочитаны на английском. В «Других берегах» Набоков вспоминает, как его отец, сам страстный англофил, вдруг со смущением заметил, что пятилетний мальчик, окруженный гувернерами-англичанами, с трудом изъясняется и вовсе не читает по-русски. В систему воспитания были внесены необходимые коррективы, но английский уже необратимо вошел в кровь будущего писателя.

Итак, язык. Но не только язык.

Если можно сказать, что русская тема пронизывает творчество писателя, то не меньше оснований утверждать, что и американская тема занимает в нем значительное место.

Сюжетное основание «Лолиты», главного «американского» романа автора,— извращенное влечение зрелого мужчины к своей падчерице, двенадцатилетней «нимфетке» — термин, вошедший со времени публикации книги в широкий обиход. Но конечно, лишь в неразвитом сознании роман отпечатается скабрезностями, лишь по недоразумению можно увидеть в нем описание клинического случая. Любовная история, если так ее можно назвать, разворачивается на густом фоне послевоенной американской действительности, которая и составляет существенный интерес повествования. Переезжая с Лолитой из городка в городок, останавливаясь в придорожных гостиницах, сталкиваясь мимолетно со встречными, герой открывает для себя Америку — страну просторную, изобильную, но и рьяно набрасывающуюся на человеческую индивидуальность. Стандарт, удручающий стандарт — дорог, домов, слов, поступков, чувств — вот что неотвратимо окружает тридцатилетнего интеллектуала-иммигранта Гумберта (роман написан в форме тюремной исповеди: герой ожидает приговора по обвинению в убийстве человека, похитившего его несовершеннолетнюю любовницу). Мир идей здесь подменен миром вещей, образование — сводом практических наставлений («знать точное положение планеты несомненно важно, но знать, где наиболее целесообразное место на кухне для холодильника, может быть, еще важнее для будущей молодой хозяйки»), память — эрзацами («вполне современная изба, смело подделывающаяся под былую избу, где родился Линкольн»), люди — манекенами: «...скромный солдатик... школьник, желающий проехать два квартала, убийца, желающий проехать две тысячи миль, таинственный, нервный пожилой господин с новеньким чемоданом и подстриженными усиками» — все фигуры одного покроя, и имя у них одно: hitch-hikers — так в Америке называют тех, кто голосует на дорогах.

Через два года после «Лолиты» Набоков написал небольшой роман под названием «Пнин» (1957), и перед читателем открылась, в общем, та же картина духовного одичания: чудак-профессор, чьим именем названа книга, все никак не может попасть в ритм американской жизни, где художники хотят обессмертить на холсте детали автомобилей, в книжных лавках не знают, кто такой Джек Лондон, а в университете работают филологи, «не любящие литературу и не знающие языка». Тимофею же Павловичу места на французской кафедре не находится как раз потому, что язык он знает, а это, дают понять, не только не обязательно, но даже нежелательно.

Больше чем что бы то ни было Набоков презирал обыденность, вульгарность, пошлость (не найдя достойного эквивалента этому слову, он пытался, правда безуспешно, просто перенести его, соответственно транслитерировав, в английский). Все это в резко концентрированной форме слилось в облике американской массовой культуры, и обрушился на нее писатель со всею силой присущего ему сарказма.

Вспомним некоторые примеры из коренной, так сказать, литературы США — книги Апдайка и Чивера, Хеллера и Беллоу,— мы без труда убедимся, что по своей художественной проблематике они близки «Лолите» и «Пнину». Это бесспорно. Как бесспорно и то, что Набокову многое нравилось на новой его родине (американское гражданство он получил в 1945 году); например, писатель решил было, что именно здесь созданы наилучшие условия для свободного творчества. Сначала нравилось, потом разонравилось, настолько разонравилось, что он, как мы уже знаем, покинул Америку.

Но и симпатии, и сменившие их антипатии принадлежали человеку со стороны. Могли совпадать сюжеты, герои, конфликты, но американским писателем в существенном смысле понятия Набоков так и не

стал, что бы ни говорили на этот счет многие критики, а нередко и он сам.

Нет у него, изначально нет той предельно материальной структуры образа, которая есть у Купера и Твена, Фолкнера и Томаса Вулфа и которая вообще составляет одно из национально окрашенных свойств американской литературы.

Нет у него на обширной карте Америки места, которое он мог бы назвать своим — как своими были Миссисипи для автора «Гекльберри Финна», Нью-Йорк для Уитмена и Дос Пассоса, Чикаго для Сэндберга, городки штата Охайо для Шервуда Андерсона, Йокнапатофа для Фолкнера, Гиббсвилл для О'Хары, Сент-Ботолфс для Чивера. Даже Хемингуэй, при всей его любви к Франции и Испании, мог с полным правом сказать: у нас в Мичигане. У Набокова такого права не было, да и не искал он его.

Наконец, совершенно неинтересна была ему тема неосуществленной, сначала радужной, а затем поблекшей мечты. Той самой американской мечты, которая издавна питает общественное, в том числе и художественное сознание Америки.

Так где же дом писателя Владимира Набокова?

Нигде. Он сам об этом догадывался и говорил со все возрастающей мерой откровенности. Сначала речь шла о п о п ы т к а х стать русским писателем. Потом (мы еще прочитаем эти слова) — о п о п ы т к а х стать писателем американским. Затем Набоков называет себя «американским писателем — уроженцем России, получившим образование в Англии, где изучал французскую литературу, перед тем как уехать на пятнадцать лет в Германию» [1]. И наконец, заявляет твердо: «Национальная принадлежность любого стóящего писателя имеет второстепенное значение»[2].

Владимир Набоков выступает в литературе XX века как крупнейший представитель крайне немногочисленного сообщества писателей-космополитов (хотелось бы верить, что сейчас это определение утратило тот уничижительный оттенок, который некогда у нас имело; здесь оно во всяком случае употреблено вне всякого оценочного значения). Читая Набокова, думая о нем, я всегда вспоминаю слова из фолкнеровского «Света в августе» — сказанные о человеке, о литературном герое совершенно иного склада, они с неожиданной точностью характеризуют автора «Защиты Лужина» и «Ады»: «... бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли. И сознание этого он нес, как знамя, с выражением независимым, жестоким, чуть ли не гордым».

Это чувство бездомности, до поры скрываемое, знакомо было Набокову с самого детства «Пятилетним изгнанником» называет он себя в «Других берегах», самой исповедальной из своих книг. И потом добавляет: «...тема бездомности — глухое предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям». А в одном из стихотворений говорится о «беспаспортной душе».

Эти признания дышат неизбывной горечью, но есть и гордыня: никуда не приписанная душа обладает верховной свободой, хочет возвыситься над миром и погрузиться в собственные глубины.

Приют для такой души найден давно, и Набоков готов присоединиться к предшественникам. Это «столь презираемая всеми башня из слоновой кости, оборудованная, впрочем, телефоном и лифтом на тот случай, если захочется спуститься вниз за вечерней газетой или пригласить знакомого на партию в шахматы» [1].

Понятно, что вид из башни открывается особый, слишком высоко расположены ее окна и слишком узки они.

Ровесник века, Владимир Набоков был свидетелем его неслыханных трагедий и его величественных взлетов. Но ничто — ни войны, ни революции, ни атомные взрывы — даже отдаленно не отозвалось в его книгах.

Когда, где происходит действие «Защиты Лужина»? Поначалу в предреволюционной России, затем в Германии, по-видимому во второй половине 20-х годов. Но время как материальная, как общественная категория, время как вместилище событий, меняющих судьбы миллионов, тут просто редуцировано. Глухо сказано о «гражданской сумятице». Сказано и тут же забыто, ибо все это только «грубая мешанина», не имеющая никакого отношения к внутреннему миру гениального шахматиста.

Где, когда происходят события «Дара»? Тоже в Германии и тогда же, может быть чуть позже,— в 30-е годы. Приходится, впрочем, догадываться, потому что все, что мы знаем об этой стране того времени по сочинениям историков, публицистов, писа-

[1] Цит. по: A. F i e l d. Nabokov: His Life and Art. Boston, 1967, p. 28.

[2] The Contemporary Writers, p. 35.

[1] V. N a b o k o v. Lectures on Literature. New York, 1980, p. 37.

телей (Томас и Генрих Манны, Фейхтвангер, Томас Вулф, многие другие), из набоковского романа удалено. Нет даже, за вычетом случайных штрихов, атмосферы русской эмиграции, в круге которой пребывает, но только физически, Годунов-Чердынцев. Реальность жизни подменяется реальностью фантазии, предмет — тенью предмета, выписанной с величайшим тщанием. Положим, герой, отправляясь на прогулку, встречается с единственным близким себе по духу человеком, другим русским литератором-эмигрантом Кончеевым. Завязывается разговор об искусстве, о доле художника, о духовности. Но под конец обнаруживается, что это просто монолог, Кончеева здесь нет, он вызван усилием воображения, а фактически Годунов-Чердынцев обращается к какому-то случайному бюргеру, подающему до отвращения банальные реплики («Прекрасная погода, но в газете написано, что завтра пойдет дождь» [1]). И эту свою способность приводить в движение застывшее, оживлять миражи Годунов-Чердынцев, а с ним, конечно, Владимир Набоков, хранит и развивает как самый драгоценный дар. Все остальное несущественно — «так называемая политика (все это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений...)», все остальное — ложь и помеха. «Теперь, почти через пятнадцать лет,— рассуждает отец Лужина, беллетрист, сочиняющий книгу о сыне-вундеркинде,— эти годы войны оказались раздражительной помехой, это было какое-то посягательство на свободу творчества, ибо во всякой книге, где описывалось постепенное развитие определенной человеческой личности, следовало как-нибудь упомянуть о войне, и даже смерть героя в юных летах не могла быть выходом из положения... С революцией было и того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского, через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его, избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя».

Все же тут речь о героях вымышленных, к тому же Лужин-старший так и не написал своей книги. А Владимир Набоков жизнеописание оставил — «Другие берега». Изображается дорога длиною в пятьдесят лет — Россия перед революцией и Россия революционной поры, Германия, Франция. Что же сохранилось в памяти и о чем кажется важным рассказать? Еще ребенком автор встретил в отцовском кабинете генерала Куропаткина, которого как раз назначили главкомом Дальневосточной армии (шла русско-японская война). Запомнилось, однако, не назначение, а узор из спичек, который выкладывал генерал. Психологически точная деталь — детское восприятие. Но вот проходит около пятнадцати лет. Набоков с семьей в Крыму, накануне эмиграции. Встречается какой-то старик, просит прикурить, ломает спички, и по этим нервным движениям автор узнает в нем Куропаткина. Вот практически и все, что осталось в книге от тех суровых, переломных лет: «Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек». В 1940 году Набоков жил в Париже, но повествует не о фашистском нашествии, не о Сопротивлении — об изящной шахматной задаче, которую как раз тогда удалось придумать. Такова эта исповедь — исповедь постороннего.

Чем же в таком случае интересен Набоков, почему читают его, а еще более — изучают?

Когда-то Вирджиния Вулф в полемике с «материалистами» — Уэллсом, Голсуорси, Беннетом — писала так: «Всмотритесь хоть на минуту в обычное сознание в обычный день. Мозг получает мириады впечатлений — обыденных, фантастических, мимолетных или врезающихся с твердостью стали. Со всех сторон наступают они, этот неудержимый ливень неисчислимых частиц, и по мере того как они падают, как они складываются в жизнь понедельника или вторника, акценты меняются, важный момент уже не здесь, а там, так что если бы писатель был свободным человеком, а не рабом, если бы он мог писать то, что хочет, а не то, что должен, если бы он мог руководствоваться собственным чувством, а не условностями, то не было бы ни сюжета, ни комедии, ни трагедии, ни любовной интриги, ни развязки в традиционном стиле и, возможно, ни единой пуговицы, пришитой по правилам портных с Бонд-стрит. Жизнь — это не ряд симметрично расположенных светильников, жизнь — это сияющий ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с момента зарождения нашего сознания до его исчезновения. Не в том ли задача романиста, чтобы описать этот изменчивый, непознанный и необъятный дух, какие бы заблуждения и трудности при этом ни обнаруживались,

[1] В романе этот текст дан по-немецки: "Herrliches Wetter, in der Zeitung steht es aber, dass es morgen bestimmt regnen wird".

с наименьшей примесью чужеродного и внешнего?»[1]

Мы знаем теперь автора «Миссис Дэллоуэй» и других книг и можем с уверенностью судить, что до конца на заявленной позиции она не удержалась, есть в ее книгах не только «полупрозрачная оболочка», но и сюжет и Бонд-стрит. Набоковская «башня из слоновой кости» тоже не на Марсе выстроена, и все же упорно, куда более последовательно, нежели Вирджиния Вулф, осуществлял ее обитатель программные идеи «чистого» искусства. Сомкнув в сознании два эпизода со спичками, мемуарист заканчивает: «Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста». В немалой степени — и романиста, мог бы добавить Набоков. А мы, положа руку на сердце, скажем: добился он в этом занятии результатов поразительных, овладел стилем в такой мере, в какой мечтал это сделать Флобер.

Открывая любую его книгу, на русском языке написанную, на английском ли, прочитав самые первые строки, убеждаешься, что набоковскому стилю совершенно чужда малейшая банальность, малейшая приблизительность. Высокую достоверность обретают под его пером и неуловимые человеческие переживания, и самый заурядный быт, который, впрочем, утрачивает заурядность, исполняясь таинственного смысла. Может показаться парадоксом: ненавистник всяческой материальности, Набоков-стилист к ней как раз и стремится. Но никакого парадокса нет, есть, наоборот, закономерность: если внешний мир незначителен, случаен, главное же — неизлечимо пошл (а это глубокое убеждение Набокова), то надо, следовательно, заполнить пустоту вещественностью слова, создать иную, подлинную действительность — действительность литературы. Он был вполне готов к осуществлению этой задачи, ибо с детства, как вспоминает, обладал цветовым чувством языка: каждый звук, каждая буква ассоциировались у него с определенной зоной радужного спектра.

Многие пытались реконструировать самый процесс творчества — мало кому удавалось делать это так, как удалось Набокову в «Даре» Мы видим и осязаем, как в сознании героя первые смутные наброски стихотворения обретают твердую завершенность поэтической формы.

В «Других берегах» невесомость сухого снега замечательно превращается в невесомость времени: «Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег — настоящий на ощупь, и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев».

Набоков не описывает, не изображает настроение — создает его. То ли сцеплением слов и звучаний — лодка, лебедь, легкая волна на поверхности пруда под Лозанной уже сами по себе передают внутреннее состояние героя в «Других берегах»; то ли — внезапной меткостью детали: пешка на шахматной доске «была выбита, как зуб», и уже одно это сравнение становится знаком непокоя, душевной растерянности («Защита Лужина»).

«Я с удовлетворением отмечаю,— читаем в «Других берегах»,— высшее достижение Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого». Как прекрасно сказано, как свободно, не давая ощутить усилия, раздвигает свои границы слово, собирая моменты жизни — в ее протяженность. И какая, с другой стороны, точность автохарактеристики. В области языка для Набокова не было ничего невозможного, фраза его легка и по-земному весома в одно и то же время, фантазия неистощима, аллитерации поражают блеском. При этом Набоков, созидая новый мир слова, непринужденно входит в уже созданную вселенную, располагаясь в ней не как званый — как призванный. В его книгах много переосмысленных, скрытых цитат, он «переговаривается» с Шекспиром и Толстым, Эдгаром По и Флобером, Гоголем и Чеховым, Стерном и Джойсом.

Словом, книги Набокова — это, используя известное выражение Жана Рикарду, увлекательнейшие приключения письма.

Но если бы Набоков был всего лишь писателем для писателей и узкого круга читателей-гурманов, вряд ли добился бы он столь значительной прижизненной и посмертной популярности.

Да, он вдохновенно чертил узоры, однако скреплялись они не только словесными нитями, но и единством темы, духовной проблематики. Той проблематики, которая была, особенно в 20-е годы, а затем, после второй мировой войны, болезненно близка и умонастроениям западной интеллигенции, и литературе Европы и Америки.

[1] В. Вулф. Современная литература. В кн. «Писатели Англии о литературе». М., 1981, с. 278—279.

Неумело подлаживаясь к стилистике Набокова, основную контраверзу его творчества можно было бы выразить так: дар — ряд. Это противопоставление творчески одаренной, в пределе гениальной личности толпе, бездушно, а то и свирепо покушающейся на ее свободу, проходит через все книги Набокова.

Уже в «Защите Лужина», совершенно прав О. Михайлов, «легко открывается ее близость едва ли не всем набоковским романам» [1]. С самых нежных лет героя отделяет от внешнего мира глухая стена непонимания, которая с годами будет только укрепляться. В школе он становится объектом «ненависти», «глумливого любопытства» со стороны соучеников. Потом «толпа» соберется в единый облик — некоего Валентинова, удачливого менеджера, пожирателя талантов: вычерпав до конца публичный интерес к вундеркинду, Валентинов покинет Лужина, с тем чтобы впоследствии вновь уловить его, соблазняя участием в каком-то голливудском фильме. В Берлине герой — по-прежнему жертва обывателей, у которых его неуклюжие манеры, косноязычие, а главное, полная внутренняя сосредоточенность на своем искусстве вызывают лишь насмешку и презрение. Даже жена, единственно близкий человек, смутно угадывающая за нелепой внешностью нечто глубокое и необычное, оказывается чужой — все стремится отвратить Лужина от шахмат, вернуть в лоно нормальной жизни: обустроенное жилье, променад, швейцарские курорты... В конце концов весь мир представляется герою огромной шахматной доской, а его обитатели — комбинацией фигур, затеявших матовую атаку, которую надо отбить любой ценой.

Столь же одинок Годунов-Чердынцев, ни с кем не найти ему общего языка — ни с эмигрантским окружением, ни тем более с Берлином, подавляющим серой тяжестью зданий, унылым дождем, мелочностью обывательских интересов.

Англоязычная проза принесла развитие той же темы. В 1962 году Набоков выпускает странную книгу, книгу-кентавр — «Бледный огонь» (для названия взяты слова из «Тимона Афинского»). 999 стихотворных строк — поэма, созданная героем произведения Джоном Шейдом,— сопровождаются гигантским по объему комментарием, принадлежащим повествователю, некоему Чарлзу Кинботу (анаграмма имени русского писателя, эстетика, критика В. Боткина и одновременно шекспировского слова bodkin — кинжал). Занимательна, разумеется, сама форма — нечто вроде автопародии на набоковский перевод «Евгения Онегина», где, как говорилось, соотношение собственно пушкинского текста и комментариев к нему примерно такое же. Но меня сейчас интересует другое: смысл игры. Он раскрывается при сопоставлении двух частей «Бледного огня». Соединены они чаще всего не формально (примечания утрачивают связь с поэтическим текстом), а по принципу контрапункта: избранник, чья судьба в мире выявлена уже самим именем (Шейд по-англ. — тень), поэт, наделенный тайной внутренней жизнью, не находит места в окружающем мир с его интригами, пошлостью, гонением на красоту. Порой несовместимость прорывается в откровенно сказанном слове:

Обычный мещанин, я полагаю,
Счастливее: он видит Млечный Путь,
Лишь выйдя помочиться.

(Перевод В. Набоковой)

В «Лолите» нет столь резко выраженной полярности, ибо Гумберт Гумберт, отделяя себя от окружающих его плоских, одномерных, как сейчас бы сказали, людей, и сам искривлен нравственно. В то же время в этой книге в особо концентрированной форме сгущена атмосфера духовного тлена. Набоков сам обратил на это внимание в послесловии к русскому изданию «Лолиты», подчеркнув, между прочим, совершенную условность американского пейзажа: «Мне необходима была вдохновительная обстановка. Нет ничего на свете вдохновительнее мещанской вульгарности. Но в смысле мещанской вульгарности нет никакой коренной разницы между бытом старого света и бытом нового. Любой пролетарий из Чикаго может быть так же буржуазен (во флоберовском смысле), как любой английский лорд. Я выбрал американские «мотели» вместо швейцарских гостиниц или французских харчевен только потому, что стараюсь быть американским писателем» (вот они, те слова, на которые я ранее обещал сослаться, говоря о том, что как русским, так и американским писателем Набоков только с т а р а л с я быть).

Все же убойная сила мещанства, «пошлости» до конца воплощена даже не в «Лолите», тем более — не в «Защите Лужина» или «Даре». Важнейшее значение для верного понимания Набокова имеет еще один его роман — «Приглашение на казнь» (1938). В этой книге-гротеске, напоминающей Кафку и «Прекрасный новый мир» Хаксли и предваряющей Дж. Оруэлла и К. Воннегута, вещи названы своими имена-

[1] О. М и х а й л о в. Разрушение дара. «Москва», 1986, № 12, с. 71.

ми: человек как индивидуальное существо, наделенное даром сознания и чувства, полностью растворился в кругу торжествующего безличия. Бунт же карается незамедлительно и жестоко.

Впрочем, даже не бунт, ведь Цинциннат Ц., главный герой романа, вовсе не покушается на установленный порядок жизни, никаких активных действий этот маленький человек, до головы закутавшийся в гоголевскую шинель, не предпринимает. За что же приговаривают его к смерти? За то, что он непрозрачен, то есть хранит некую личную тайну. В этом и состоит преступление, ибо необходимым условием жизни обитателей фантастического города является как раз полная проницаемость, то есть взаимозаменяемость.

Это царство двойников-дублеров. Адвокат ничем не отличается от прокурора: «закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались». Согласно обычаю, жертва и палач должны стать друзьями, и вот мсье Пьер, которому предстоит привести приговор в исполнение, прикидывается сокамерником Цинцинната. Директор тюрьмы — он же врач; адвокат — он же помощник палача; роли все время меняются.

Мир «Приглашения на казнь» — искусственный, мнимый мир. Паук, повисший в камере, сделан из латуни. На тюремных часах — циферблат без стрелок. Судьбу Эммочки, дочери директора, предсказывает фотогороскоп. Слезы, что проливает похотливая жена героя, не солоны и не сладки — «просто капли комнатной воды».

Это также мир откровенно-гротескный. Здесь все как в комнате смеха — предметы и фигуры то сжимаются, то устрашающе увеличиваются в размерах, лица — набеленные лица клоунов — скалятся в жуткой ухмылке. Видевшие давний фильм Микельанджело Антониони «Крупным планом» («Blow up») помнят, должно быть, кадры, где изображается игра в теннис б е з м я ч а — символ бессмыслицы. Вот так же лишена цели и разумного порядка ситуация набоковского романа.

Но трагизм состоит в том, что деформированная картина сохраняет материальную плотность, с обычным мастерством писатель находит слова и краски, удерживающие изображение на грани небыли и были Конечно, дико звучит текст афиши, приглашающей на казнь,— «Талоны циркового абонемента действительны». Но дико только по содержанию, а так абсурд как бы снимается совершенной обычностью рекламной тумбы. Паук — искусственный, но снует он по камере точь-в-точь как живой. И так далее.

Несчастный Цинциннат совершенно лишен той силы сопротивляемости, воли самоосуществления, которая в избытке дана Годунову-Чердынцеву, да даже и Лужину. Ему, впрочем, и осуществлять, как говорилось, нечего — заурядный, непримечательный человечек. И если даже такому персонажу нет места в мире, утратившем всякое представление об индивидуальных ценностях, то каково же приходится художнику?!

Набоков далеко не первым среди писателей века задался таким вопросом. Сразу вспоминаются книги Роллана, Драйзера, Томаса Вулфа, Гессе, особенно «Доктор Фаустус» Т. Манна Стремясь к совершенству формы, уступая дьявольским соблазнам «эмансипации искусства», Адриан Леверкюн, как мы помним, утрачивает божественный талант, гибнет духовно, а затем и физически. Музыка, лишившаяся человеческого (слишком человеческого, по словам Ницше, повторенным затем Ортегой-и-Гассетом) начала, убивает самое себя и своих служителей.

Такова художественная логика «Доктора Фаустуса».

Набоков решил иначе: дар можно уберечь, истинные слова сказать только наедине с самим собою. Не донесутся они до людей? Но какое до этого дело художнику? В этом духе и отвечает на увещевания издателя Васильева герой «Дара». Ему говорят: «...я как друг прошу вас, не пытайтесь издавать эту вещь (книгу о Чернышевском.— *Н. А.*) ... помяните мое слово, от вас все отвернутся» Годунова-Чердынцева эта перспектива совершенно не смущает: «Предпочитаю затылки»,— сказал Федор Константинович».

И в «Бледном огне» единственно священной реальностью остается внутренний мир художника:

Часто, раздраженный наружным блеском
Обыденщины и раздора, я обращался внутрь себя ..

Я думал по пути домой: не надо ль принять намек
И прекратить обследование моей бездны?
Как вдруг был осенен мыслью, что это-то и есть
Весь настоящий смысл, вся тема контрапункта.

Но что же все-таки жизнь человеческая, что делать с несовершенством цивилизации? Как-то Хемингуэй в пору тяжелой душевной смуты сказал: пусть другие спасают мир. Это была лишь мимолетная дань настроению, уж он-то как раз всю жизнь только тем и занимался, что спасал как

мог мир — словом, а порой и винтовкой. А для Набокова это («пусть другие...») было принципом, только он бы мог сформулировать его еще сильнее. Мир, заставляющий людей, подобных Лужину, кончать самоубийством; мир, погрязший в мелкой суете; мир, порождающий людей-роботов вроде наемного убийцы по имени Градус из «Бледного огня»,— этот мир спасения не заслуживает. Чума на него! Истинно только искусство, и тот обречен на угасание, кто допускает в храм реальную действительность, а также столь ненавистные Набокову идеи.

Какое же место, пора теперь задаться вопросом, занял Набоков в мировой литературе XX века? Пусть не причислен он ни к какой национальной традиции, но существуют же направления международные, есть общий ход творческой мысли, в литературе завязывается борьба эстетических систем — чью сторону в этой борьбе занимает автор «Дара» и «Лолиты»?

Сам он эти вопросы обсуждать категорически отказывался, полагая свое творчество явлением совершенно неповторимым и знать не желая ни предшественников, ни наследников.

Критики настойчиво выявляют перекличку между «Приглашением на казнь» и кафкианскими миражами. Набоков замечает по этому поводу: к моменту сочинения романа Кафку не читал (может быть, действительно не читал, хотя странно, ведь как раз в это время — 30-е годы — Европа открыла «Замок», «Процесс», а также многие, дотоле неизвестные новеллы Кафки). Его спрашивают о Джойсе — он говорит: «Мое первое настоящее соприкосновение с «Улиссом», если не считать беглого знакомства в начале 20-х годов, произошло в тридцатые, когда я окончательно сформировался как писатель и выработал иммунитет к любым литературным влияниям» [1].

А о сверстниках, особенно из числа тех, что привлекали широкое внимание, были, что называется, властителями дум, Набоков вообще отзывался с презрением: Фолкнер и Сартр были в его глазах «ничтожными баловнями западной буржуазии», Хемингуэй — всего лишь «современным заместителем Майн Рида».

Некоторые из этих отзывов, надо полагать, искренни (так, Сартр, Томас Манн, о котором Набоков также говорил весьма уничижительно, были ему действительно чужды — как интеллектуалы, идеологи в искусстве). Но в целом упорные попытки обособления — это всегдашняя набоковская гордыня. Он и сам признался в одном из интервью, что терпеть не может, когда над его головою поднимают знамя с другими именами.

Но сколь бы самобытен художник ни был, полным «иммунитетом» к наличному миру литературы обладать он не может. Сколь бы ни дорожил своей независимостью, всегда остаются явления и школы, близкие ему по духу.

Набоков не исключение. При всей своей необыкновенно яркой индивидуальности он разделял — в принципиальном смысле — фундаментальные концепции определенного направления в художественной культуре XX века. Это направление принято называть модернизмом. Можно возразить, положим, что Набоков зачитывался классиками, можно припомнить — к месту,— что в «Даре» он брезгливо отозвался о «морде модернизма». Только ведь и Джойс ценил Ибсена, Кафка — Диккенса, а для Вирджинии Вулф вообще не было явления более значительного, нежели русский реализм.

Имя Владимира Набокова-прозаика должно поставить в этот ряд — Джойс, Кафка, Вирджиния Вулф, хотя, сразу же замечу, его творчество — это последнее серьезное, творчески результативное усилие модернизма как тупикового в принципе явления в культуре.

Поучительно сравнение с тем же Джойсом. Тому, что Набоков его читал, и читал пристально, свидетельств много: проницательный анализ творчества ирландского писателя (лекция, прочитанная в Корнелльском университете), а прежде всего, конечно, сами книги писателя. «Ненависть», «глумливое любопытство» соучеников, вообще школьные испытания Лужина, скажем, законно сопоставимы с ключевыми эпизодами «Портрета художника в молодости», где Стивен Дедалус — воспитанник иезуитского колледжа в Дублине — становится жертвой такой же духовной агрессии. А прекрасная фраза из «Приглашения на казнь»: «...воспоминание скулило в уголку», хоть и бессознательно, скорее всего, но тем не менее очень явственно перекликается с фразой из «Улисса»: «Мое детство, надо мною склоненное».

Это, впрочем, частности.

А вот взгляд на личность, прежде всего на личность художника, это уже не частность.

Что такое «Портрет художника в молодости», как не страдание аристократической натуры, безнадежно разошедшейся с вуль-

[1] The Contemporary Writers, p. 42.

гарной действительностью, которая, видя в нем чужака, всячески издевается над ним, поносит, отталкивает? Что такое судьба Стивена, как не воплощение идеи, кровно близкой и Джеймсу Джойсу, и Владимиру Набокову,— идеи бездомности, изгнанничества, духовной эмиграции?

Разумеется, ни Джойс, ни Набоков самое коллизию не выдумали — она была порождена действительностью, буржуазной действительностью, которой, как впоследствии с горечью скажет Фолкнер, художники не нужны. Но если, допустим, Роллан или Томас Манн истолковали трагедию художника исторически, то Джойс и Набоков придали ей метафизически универсальные черты. А это и есть один из характернейших признаков модернистского восприятия явлений. И выход — то есть как бы выход — обнаружили один и тот же: вслед за Стивеном Дедалусом герои Набокова, от Лужина до Джона Шейда, избирают своим уделом «молчание, изгнание, мастерство».

Но дальше начинаются крупные расхождения.

Джойс все-таки не удовлетворялся «молчанием и мастерством». Он свято верил, что созидаемое им искусство способно сказать полную правду о мире, но для этого надо выйти за пределы замкнутого художественного пространства, надо создать такую вселенную, которая охватит тысячелетия и в которой найдется место всем расам, поколениям, континентам. Так пришел Джойс от «Портрета...» к «Улиссу» с его подлинно эпическим размахом, с его задачей увидеть «все во всем», изобразить «цикл человеческого развития», создать «род энциклопедии» [1].

Результаты этой грандиозной попытки нам известны: не только современность, но вся человеческая история предстает зловонной выгребной ямой, вместилищем порока, не только Дублин XX века, но и античный Рим «одержимы клоакой». В «Улиссе» действительно все отражается во всем, и это все достойно презрения.

Принять космический пессимизм Джойса, разумеется, невозможно. Но сейчас речь не об итоге — о замысле. Самый масштаб его свидетельствует о том, что, выходя на историческую арену, модернизм вдохновлялся целями поистине гомеровскими, шекспировскими.

Увы, время этих замыслов, этих целей быстро прошло.

Набоков написал нечто вроде своего «Улисса» — роман «Ада». Здесь тоже все отражается во всем, действие охватывает целый земной шар, воплощенный в географических понятиях Терры и Антитерры, герой книги Ван сочиняет исследование «Суть времени», в русском трактире читают «Гамлета», глинистая почва американского штата Юта хранит отпечаток ноги Льва Толстого и т. д.

Но если Джойс попытался создать — до неузнаваемости деформировав его — образ мира, то Набокову такая задача кажется бессмысленной. И он откровенно подменяет ее, вдохновенно творя пародийный образ — не жизни, а самой литературы, включая, между прочим, и «Улисса». При этом нередко пользуется приемами ирландского писателя.

Десятки страниц в «Улиссе» отданы злой карикатуре едва ли не на всю историю английской словесности — от древних саг и Мэлори до Карлейля и Диккенса.

Набоков идет той же дорогой. Первая же фраза романа — перевернутое начало «Анны Карениной»: «Все несчастливые семьи похожи друг на друга, каждая счастливая семья счастлива по-своему». Затем приходит очередь Чехова: удлиняется фамилия Тузенбаха (Тузенбах-Кроне-Альтшауэр), к Ольге, Маше и Ирине добавляется некая монашенка Варвара и, соответственно, «Три сестры» превращаются в «Четыре сестры». Между делом переиначивается название романа современного писателя Скотта Фицджеральда: вместо «Прекрасных и проклятых» — «Молодые и проклятые».

Предметом пародийного переосмысления становятся и целые жанровые образования. Сам план «Ады» с ее намеренно смещенными пропорциями, с ее постоянными, ничем не мотивированными сбоями в сюжете, хаотическим кружением действия — это уже комическое снижение, саморазрушение эпоса, ведь, напоминаю, автор охватывает взглядом века и континенты — эпический, по внешним признакам, размах (роману предпослано изображение генеалогического древа героев, корни которого уходят глубоко, достигая рубежа XVII—XVIII веков). Далее — пародия на любовный роман: трагедия, рок любви постоянно оборачиваются комической изнанкой, а в финале, измученные пронесенной сквозь всю долгую жизнь инцестуальной страстью (Ван и Ада — кровные родственники), герои мирно соединяются — точь-в-точь Дафнис и Хлоя, Филимон и Бавкида. Не оставляет без внимания Набоков и распространившиеся как раз в то время (роман писался в

[1] См.: James Joyce. Letters. Vol. I, London, 1957, p. 146.

60-е годы) приемы документального повествования — в какой-то момент книга предстает дневником Вана с комментариями Ады. Посмеявшись над литературой, автор переходит к философским концепциям: в уста героя вложены иронические замечания по адресу Бергсона, хотя теория времени самого Вана выдержана вполне в духе бергсонианского субъективизма. И постоянно сопровождается вся эта травестия игрою самого слова — роман до предела насыщен разного рода перевертышами, шифрами, «крестословицами», как любил говорить автор. При этом в искусстве «джойсирования» Набоков демонстрирует виртуозность на уровне оригинала.

Какой смысл, вправе мы спросить, во всем этом неистощимом остроумии изощренном словесном представлении? Отчасти, можно предположить, тщательно организованный беспорядок отражает утрату иерархии ценностей и значений в реальном мире. Но главным образом — игра ради самой игры, о чем сам же автор и сказал в шуточной авторецензии, включенной в текст повествования: «Ничто в мировой литературе, за вычетом, может быть, воспоминаний графа Толстого (и тут не удержался от иронии.— *Н. А.*), не сравнится по чистоте наслаждения и райской невинности с той частью этой книги, которая озаглавлена «Ардис»

Вот в этом и видится закат модернизма — он стремительно утрачивает масштаб и достойные цели творчества. Когда-то ставились и по-своему решались значительные, бытийного характера вопросы. Теперь их заменили «приключения письма», самокритика литературы. Набоков встал на эту дорогу задолго до «Ады». Еще в 1941 году появился роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта», построенный как исповедь некоего вполне ничтожного персонажа о неудавшейся попытке создать жизнеописание своего выдающегося родственника-романиста. Об этой книге критик — заметим, критик доброжелательный, даже апологетически верный — отозвался следующим образом: «Себастьян Найт написан так, как если бы художник сказал: «Я не собираюсь показывать вам пейзаж, я хочу показать различные способы изображения пейзажа»[1].

Дальнейший путь Набокова, прежде всего «Ада», где немало рассуждений о «способах изображения пейзажа» (или, скажем, о способах создания литературы), а также роман «Взгляните на арлекинов» — род иронической художественной автобиографии — убедил, что давняя книга не была просто разминкой, пробою мускулов на новых берегах («Истинная жизнь Себастьяна Найта» — первое произведение, написанное в Америке).

Но талант, если это талант настоящий, выше эстетических установок школы, он может быть даже выше книг, принесших писателю мировое признание (а именно публикация «Ады» закрепила за Набоковым статус прижизненного классика). Как сочинитель этого и некоторых других произведений, Набоков может считаться лидером международной школы письма — «нового романа» во Франции, американского постмодернизма, этих течений, в которых некогда сильное, хотя в самом себе несущее гибельный микроб, явление окончательно иссякло. Недаром с такой охотой ссылается на Набокова Роб-Грийе, недаром столь восторженно отзываются о нем Джон Барт и Томас Пинчон. А Джон Хоукс, один из виднейших представителей школы «черного юмора», говорит прямо: «Писатель, который всех нас по-настоящему и надежно подпирает,— это Владимир Набоков» [1].

Набокову — автору «Ады» и «Арлекинов» — суждена, рискну предположить, недолгая жизнь, даже в узколитературном кругу. Ибо и «новый роман», и роман «черного юмора», думается,— это только эпизоды в литературе XX века. Эпизоды, которые, вероятнее всего, со временем забудутся.

Но Набоков — автор «Защиты Лужина» и «Дара», «Других берегов» и «Лолиты» — имеет, как любил говорить К. И. Чуковский, шанс остаться. Остаться как писатель, обращавшийся к проблемам, все же не синтезированным в башне из слоновой кости, а возникшим в самой действительности и скорее всего не исчерпываемым завершающимся столетием Можно и нужно спорить с тем, как решал Набоков эти проблемы, но нельзя отрицать, что переживал он их, при всей своей внешней надмирной холодности, глубоко и болезненно И умел придавать им такую художественную форму, какая ставит его в круг наиболее изощренных — это уж и вовсе вне сомнений — мастеров слова.

---

[1] A. Field. Nabokov: His Life and Art, p. 29.

[1] The Contemporary Writers, p. 6.

Антирубрика

КИТАЙСКИЕ МИНИАТЮРЫ

■

Вступление и перевод с китайского Н. СПЕШНЕВА

Возникновение нового литературного жанра — процесс сложный и, как правило, трудно поддающийся точной фиксации и анализу. Чаще всего он являет собой результат постепенных, достаточно продолжительных трансформаций предшествующих жанров. Однако за внешней, формальной, стороной вопроса стоят вполне конкретные социально-политические причины и условия, которые способствуют этому процессу, являясь в какой-то мере катализатором образования новой литературной формы. (Иными словами — порождение новой литературной формы всегда сопряжено с актуальностью, социальной необходимостью ее появления.)

Эти хорошо известные истины приходят на ум, когда знакомишься с новым для современного Китая литературным жанром микрорассказа или, как его называют сами китайцы, рассказа-минутки. Краткие произведения в прозе существовали в Китае давно, однако сейчас суть вопроса заключена не столько в количественной стороне, сколько в его новом качественном содержании.

Новые тенденции в политической и экономической жизни современного Китая, диктуемые проводимым в стране курсом модернизации, сложность и противоречивость китайской действительности ставят перед китайцем много острых вопросов социального и морального плана, требующих конкретных, незамедлительных ответов. Не последнее место среди этих проблем, как указывает китайская печать, занимает и влияние западной идеологии, проникающей в быт людей (особенно молодежи), в стиль их жизни вместе с западной технологией, закупаемой за рубежом для осуществления экономических преобразований в стране.

В подобных условиях литература крупных форм (роман, повесть) не поспевает за калейдоскопом быстро сменяющихся фактов и событий. Да и рядовому читателю, целиком поглощенному будничными проблемами, не просто выкроить время для постоянного и повседневного общения с книгой. Чаще всего в руках он держит газету, где, кстати говоря, в конце 1983-го — начале 1984 года впервые и появились рассказы-миниатюры, популярность которых за короткий срок оказалась столь значительной, что с октября 1984 года в Китае начал выходить новый журнал под названием «Избранные китайские микрорассказы»[1]. В нем стали публиковаться лучшие произведения в этом жанре, появившиеся на страницах периодической печати последнего времени. Рождение нового жанра получило одобрение и поддержку таких известных современных китайских писателей, как Фэн Му, Е Цзюньцзян, Гуань Хуа.

Китайские микрорассказы в целом отличаются злободневностью проблематики, лаконизмом художественных средств, яркими образами двух-трех персонажей, своеобразной подачей сюжета, в котором главная идея произведения проступает, как правило, лишь в заключительной фразе всего повествования.

Предлагаемые советскому читателю рассказы весьма разнообразны по тематике. Здесь и проблема ответственности взрослых за воспитание подрастающего поколения («Заслоняющие свет»), и проблема преступности среди некоторой части молодежи («Пассажир неопределенных занятий»). Критике псевдоинтеллигентности, дутой «эрудиции» посвящен рассказ «Любовь в изящном переплете». В миниатюре «Нуль» изображен некомпетентный в своем деле руководитель. Лиризмом и мягким юмором отмечены рассказы «Глаза феникса» и «Вечером ожидается метель». Со времени

[1] «Чжунго вэйсин сяошо сюанькань». Нанчан, 1984.

пресловутой «культурной революции», или, как сейчас говорят в Китае, «десяти лет великих потрясений», уже прошло без малого десять лет, однако и сейчас в отдельных репликах персонажей, в их суровых и беспощадных оценках трагедии народа мы ощущаем отголоски этих потрясений («Клоун»).

Китайские микрорассказы позволяют увидеть часть больших и малых проблем, которые волнуют китайцев, строящих новую жизнь.

ФЭН СИНЬЦЗЫ

Клоун

Раздались бурные аплодисменты На него упал луч ослепительного света. Он низко поклонился, сделал сальто, радостно улыбаясь, убежал за кулисы

Стихла музыка, публика разошлась, и сцена погрузилась во мрак Виднелись лишь пустые ряды кресел в зале Он появился из-за кулис, присел на деревянные ступеньки и безразлично посмотрел по сторонам — будто только что и не звучали здесь овации и радостный, веселый смех

— Сяо Му, а ты сегодня был в ударе.— из-за кулис вынырнул Да Сюн.— Кто бы мог предположить, что спустя десять лет снова наступит твой день!

— Десять лет, а ведь ничего не изменилось.— В темноте вспыхнул огонек, и Сяо Му, пуская клубы дыма, погрузился в воспоминания...

. . .

— Да Сюн, после сегодняшнего выхода я немедленно покидаю труппу — Сяо Му накладывал грим, его слова и впрямь могли вызвать изумление, ведь в те годы имя Сяо Му — самого известного популярного комика — было у всех на устах

— Все-таки решился? — Да Сюн, большой друг Сяо Му был рабочим сцены Он разделял точку зрения приятеля и знал его мысли до мельчайших подробностей.

Вот так Сяо Му отложил яркий парик и пестрый костюм и, полный чистых устремлений и светлых идеалов покинул труппу Он не намеревался браться за новое дело, не гнался за славой, он лишь надеялся избавиться от пудры и грима, сбросить с себя эту вечно улыбающуюся маску. Он надеялся, что, оставив труппу, сможет вновь обрести себя, начать новую жизнь.

. . .

Потратив десяток лет, отдав без остатка свою молодость, он теперь снова надел на себя шутовской костюм и снова оказался на сцене

— Десять лет назад дым и туман застилали мне глаза,— сказал он сам себе — Я предполагал, что достаточно самому иметь твердое желание, и все может стать реальным и интересным. Эх! Оказалось, что всюду в мире одно и то же.— Он с грустью поглядел на Да Сюна.— За эти десять лет я растратил свои молодые годы, энергию, надежды. В этом огромном мире дни шли за днями, надежды мои таяли и гасли, душа постепенно состарилась, да и сам я стал еще более подавленным. Видишь, я все-таки решил вернуться на эту маленькую сцену, чтобы веселить других.

Сигарета догорела Сяо Му встал и возвратился в ярко освещенную уборную. Стоя перед зеркалом и стирая с лица остатки грима, он тихонько бормотал себе под нос:

— Ты думал, что клоун — только паяц, ты думал, что клоун умеет только смеяться! Теперь, когда ты явился свидетелем драмы, сыгранной на сцене человеческой жизни, ты обнаружил, что на всех людях тоже надеты маски. Тогда возвращайся на свою маленькую сцену. Примитивные декорации смогут хоть немного тебя успокоить. Возвращайся и продолжай играть эту роль маленького человечка без забот и печалей...

ЧЖОУ ГУЙСЯН

Любовь в изящном переплете

Я не был в парикмахерской около двух месяцев, и волосы на затылке стали уже закрывать ворот рубашки «Отпустил» я их вовсе не ради того чтобы угнаться за модой. Просто с тех пор как я решил самостоятельно взяться за изучение французского языка, у меня и в самом деле не появлялось свободного времени да и желания заняться своей внешностью.

Однако у каждого человека существует вполне естественное стремление быть красивым. К тому же я парень, что называется, во цвете лет и недурен собой. Твердо решив выкроить сегодня полдня на то, чтобы полюбоваться в парке выставкой хризантем, я заодно собрался на обратном пути забежать в парикмахерскую.

После выставки я всем своим существом продолжал ощущать пьянящий аромат цветов, душа была полна радости Захотелось отыскать укромное местечко, чтобы еще раз насладиться благоуханием цветов И я, не торопясь, пошел по извилистой дорожке, покрытой мелким щебнем.

Под сенью тенистых деревьев оказалась свободная скамейка. Не успел я сесть, как тут же зацепился за небольшой гвоздь и порвал брюки. Мои первые и единственные брюки дудочкой. Это меня не очень огорчило. Увлекшись обследованием дырки, я случайно обнаружил на дорожке книгу.

Это была французская книга в изящном переплете — о проблемах просвещения. Видимо, ее кто-то обронил. Взор привлекли тисненные золотом буквы. Человек, даже гуляя по парку, не в силах был расстаться с сим ученым трактатом.

Такое не часто встретишь! Испытывая преклонение перед одним только творческим настроем владельца книги, я даже стал испытывать чувство неловкости за себя. Ровным счетом ничего не соображая в проблемах просвещения, я все же не утерпел и решил полистать книгу, желая проверить свои пока еще весьма скромные познания во французском языке.

Послышались шаги. В мою сторону направлялась молодая парочка, что-то разыскивая на дороге.

— Скажите, вы не видели здесь книги? — вежливо спросил молодой человек, бросив взгляд на томик, лежавший у меня на коленях.

Я улыбнулся и окинул его взглядом: красивые, тонкие черты лица, нежная кожа, простая студенческая прическа, на носу — очки в черепаховой оправе, которые любому могли бы придать вид интеллигента, чуть вылинявший от стирки костюм китайского покроя, застегнутый на все пуговицы.

— На иностранном языке? — спросил я доброжелательно.

— Да-да! На немецком языке, в твердом изящном переплете,— поспешила с ответом девушка с детским, наивным личиком. Ее взгляд останавливался то на мне, то на ее спутнике, и было очевидно, что сравнение давало ей повод гордиться своим эрудированным другом.

— На немецком?! — изумился я, думая, что ослышался.

— Да, на немецком.— Молодой человек был совершенно невозмутим — О литературе. Не знаю, правда, как вы насчет иностранных языков...— добавил он. В его взгляде сквозь стекла очков проглядывало известное высокомерие

— Эта? — Я резко захлопнул книгу, лежавшую у меня на коленях, и поднес ее к его лицу.

— Да-да, именно эта! — радостно защебетала девушка с наивным личиком

— Спасибо...— Молодой человек протянул было руку, но я отдернул свою

— Вы ошиблись, эта книга на французском языке о проблемах просвещения. Впрочем, возьмите!

Вконец растерявшись, он выхватил у меня книгу в изящном переплете и, обратившись к обескураженной и удивленной подруге, сказал:

— Пошли... О чем можно говорить с этим человеком?..

— Он... он говорит, что на французском ..— Девушка попыталась добраться до сути, однако в конце концов все же последовала за своим спутником.

— Ха! Что он понимает в иностранных языках. Ты заметила, какой у него вид? Длинные волосы, брюки дудочкой, смотреть противно! — Молодой человек взял девушку под руку.

Она, не переставая, кивала головой.

Я глядел на их удаляющиеся фигуры, и меня вдруг охватило чувство необыкновенной жалости и тревоги.

Заслоняющие свет

Назавтра должна была состояться семестровая контрольная работа. Готовы ли ребята? Как классный руководитель я испытывала вполне понятное волнение. Что ж, на вечер особых дел не намечалось, и я решила пройтись по домам и навестить своих подопечных. Ну и ну! Небесная канцелярия поступила несправедливо, ниспослав именно сегодня вечером, будто желая испытать меня, сильный, порывистый ветер. Своим обходом я осталась довольна. Все сидели по домам и самым серьезным образом готовились к контрольной. Дойдя до конца переулка Чжуанъюаньсян, я вдруг подумала, что следовало бы зайти и к Дин Сяоцзюню, который живет в доме 74. Сяоцзюнь был немногословным, умным и прилежным мальчиком. Что же он подумает, когда узнает, что я была у его одноклассников?

Я прошла немного вперед. Из комнаты доносились громкие возгласы и крики:

— ...Белая кость! Беру красную середину! ...Мать твою! Покрываю три западных ветра... Отлично! Сбрасываю! Полная масть!..— Снова веселый смех и ругань вперемешку с грохотом костяшек. Я осветила электрическим фонариком номер дома. Ошибки не было! Дом 74. Я невольно нахмурила брови.

Постучала в дверь, она отворилась. Моему взору открылась ужасная картина.

Посреди небольшой комнаты висела яркая лампочка. Под ней на квадратном столике валялись игральные кости. Вокруг стола сидели семь-восемь человек. У одних на лице были наклеены бумажные полосочки, у других — на макушке красовались грязные носки и даже замызганные рваные туфли. И едва ли не у каждого во рту торчала сигарета. В воздухе плавал сизый дым, в нос ударило дешевым табаком...

Как только я вошла в комнату, глаза присутствующих устремились в мою сторону. Сидевший посреди комнаты мужчина средних лет встал, сдирая с лица бумажные полоски.

— Вам кого?

— Я хотела бы видеть родителей Дин Сяоцзюня.

— Я его отец. А вы, наверное, учительница из школы? Так поздно, по делу? — спросил он, протягивая сигарету с фильтром.

— Завтра контрольная работа, хотела повидать мальчика,— сказала я, отстраняя его руку.

Он тут же стал громко звать Сяоцзюня, но ответа не последовало.

— Ну и упрямый мальчишка! — Он с горькой усмешкой покачал головой.— Опять его куда-то черти занесли. Пошли! Я помогу вам его найти.

Когда мы выходили из комнаты, он не забыл обернуться и крикнуть своим приятелям: «Продолжайте, я сейчас приду. Эй, дружище, сыграй пока за меня».

Мы вышли за ворота, говорить было не о чем. Я думала о своем ученике, он — о своих друзьях. Мы уже почти дошли до конца переулка, когда я вдруг увидела мальчика, стоявшего под уличным фонарем. Одной рукой он держал перед глаза-

ми книгу, а другую то и дело подносил ко рту, согревал ее дыханием, а затем потирал ею уши. Ноги его не переставая пританцовывали. Так это же Сяоцзюнь. Слезы готовы были брызнуть у меня в любой момент. Что это, слезы умиления? Или жалости? Или вспыхнувшего гнева?

— Сяоцзюнь! — громко крикнула я.

Худощавая фигурка на мгновение застыла, а затем молнией бросилась ко мне в объятия.

Я крепко обняла ребенка и долго не могла вымолвить ни слова, чувствуя лишь, как мелкой дрожью сотрясает его маленькое тельце. Может быть, от холода, а может быть, от еле сдерживаемых рыданий.

Я медленно повернулась и взглянула на него, на отца. Казалось, глаза мои вот-вот испепелят его. Он стоял как чурбан, тупо уставившись на меня.

В конце концов я не выдержала.

— Дайте света! Света! От имени народных учителей я взываю к вам, заслоняющим свет. Дайте ребенку немного света...

ЧЖУ ЮЙЦИ

Ожерелье

Двоюродная тетка Гао Яна приехала из Америки навестить своих родственников, а заодно и попутешествовать. Вот уж радостям не было конца у Гао Яна. Тетка перед отъездом домой подарила ему шариковую ручку с электронными часиками.

— Я на этот раз ничего особенного с собой не привезла, возьми на память вот эту ручку.

— Спасибо, тетя! Но...

— В чем дело?

Гао Ян, принимая подарок, не проявил к нему особого интереса, что не ускользнуло от внимания тетушки.

— Тебе не нравится?

— Нет, нравится, только...

— Только что?

За двадцать с лишним лет Гао Ян впервые видел свою тетушку и ему нелегко было раскрыть рот.

— Говори, что бы ты хотел получить еще? Если только у меня есть...— Тетушка так ласково и искренне улыбалась.

Эта улыбка приободрила Гао Яна, и он, покраснев, сказал невнятно:

— Тетушка, ожерелье, которое на вас... Э... Если... Если...

Тетушка чистосердечно рассмеялась и, не задумываясь, сняла с себя ожерелье.

— А я-то думала, что же тебе нужно... Возьми. Хочешь подарить своей девушке? Будет очень кстати.

Гао Ян, получив ожерелье, был неописуемо рад, лицо его горело. Он чувствовал себя ужасно неловко.

— Тетушка, я так... так вам благодарен.

— Пожалуйста, у меня есть еще. Будь оно одно, мне бы по-настоящему было жаль расстаться с ним.

. . .

Тетушка возвратилась в Америку. Гао Ян подарил ожерелье своей подруге.

— Бери, бесплатно же! Это ведь самое модное ожерелье на Западе... Вот уж не думал, что тетушка так щедра! Давай, я тебе надену!

Девушка надела ожерелье, и глаза ее засветились от радости.

— Ой, а из чего оно сделано? Каких же это денег стоит?

— Не знаю. Я думаю, по крайней мере... по крайней мере юаней пятьсот.

Гао Ян и его девушка и в самом деле не знали, из чего сделано ожерелье,— плоские бусинки красновато-бурого цвета излучали блеск. Тетушка служила в какой-то американской фирме, считалась работником высокой категории, была вполне обеспечена, следила за собой, и потому ожерелье, которое она носила, не могло не быть самого высокого качества.

Оба были крайне довольны.

.

Спустя месяц Гао Ян поехал в командировку в Шилин, известный своими достопримечательностями и прекрасными пейзажами. Закончив свои дела, Гао Ян отправился в горы немного отдохнуть.

Вдруг он заметил, что возле горной гропинки несколько девочек чем-то торгуют.

— Что?! Ожерелье?!

О небо! Прямо на земле перед девочками была разостлана подстилка, какие делают в сельской местности. На ней рядком лежали... именно такие же ожерелья!

Ярко блестели их плоские округлые бусинки красновато-бурого цвета.

— Это делают у вас?

— Ну да. Купите штучку!

— А из чего они сделаны?

— Из арбузных семечек. Да, а сверху покрыты прозрачным лаком.

— Из арбузных семечек?

— Да, купите на память! Даже иностранцам нравятся: говорят, они что ни на есть самые модные.

— И сколько же они стоят?

— Недорого — 25 фыней[1].

ЛИ ЧЖАНЬ

Пассажир неопределенных занятий

Скоро три года как я работаю кондуктором автобуса. Знаю в лицо бесчисленное множество пассажиров — рабочих, служащих, учителей, техников, артистов, хулиганов, карманных воров... Почти всех их можно различить, но сегодня я столкнулась с пассажиром весьма неопределенных занятий.

Он сел у площади. В автобусе духота, а у него на лоб надвинута кепка. Рот прикрывает марлевая повязка, на глазах — темные очки. Он протиснулся ко мне и негромко произнес: «До конечной остановки, пожалуйста». Я оторвала билет, дала сдачу. Какой-то пионер стал уступать ему место— он не сел, а, как бы прячась, встал за пассажирами, озираясь по сторонам. Я подумала:

[1] Фынь — денежная единица Китая, равная сотой части юаня.

«Хм, до конца еще восемь остановок. Почему же он не сел? Вот странно!» На повороте пассажир не только не взялся за поручень, а стал все дальше протискиваться в толпу и незаметно остановился возле длинноволосого молодого парня. Я встревожилась. А вдруг это?... Не успела я и оглянуться, как вдруг длинноволосый вскрикнул, и его худощавая рука, сжимавшая кошелек, взлетела вверх, крепко схваченная рукой странного пассажира.

В тот же момент послышался шум голосов. Полная женщина испуганно закричала: «Ой, мой кошелек! Держите вора!»

Водитель резко остановил машину. Я протиснулась вперед, смотрю, длинноволосый парень стоит, понурив голову. Народ смотрит на него. Я тотчас же узнала в нем карманника, которого поймали месяц назад, но тогда ему удалось сбежать. Только я собралась его схватить, как странный пассажир уже достал из кармана нейлоновый шнур и крепко связал руки вору, пытавшемуся вырваться.

Все благодарно смотрели на странного пассажира, который не мог скрыть своего волнения, из-под темных очков у него текли слезы. Полная женщина, крепко пожав ему руку, сказала: «Товарищ, спасибо вам. Если б не вы, пропала бы вся моя получка!»

Странный пассажир махнул рукой, снял повязку и тяжело вздохнул: «Все это произошло потому, что я его плохо воспитал. А сегодня мне все-таки удалось уберечь людей от зла!»

Длинноволосый парень, услыхав эти слова, изумленно вскинул голову и срывающимся от стыда голосом воскликнул: «Отец!»

Автобус качнулся и плавно двинулся вперед...

ДЭН ЦЗУНЛЯН

Вечером ожидается метель

Сначала зимы, пожалуй, сегодня выдался самый холодный день. Холоднее некуда.

Я спрятал голову в поднятый воротник ватного пальто Я ждал ее Вчера вечером состоялась свадьба Сегодня она должна будет войти в наш дом. «Встретимся у седьмого столба к востоку от гостиницы «Синь-синь»,— сказал я два года назад, когда мы впервые увиделись. Вчера при расставании я повторил именно эти столь памятные и близкие только нам слова.

По обеим сторонам улицы стояли одноцветные четырехэтажные дома, все на один лад. Прохожих на улице почти не было, будто всех их сдул леденящий северный ветер Ко мне подошла молоденькая девушка. Лицо ее раскраснелось от мороза. Она поджала губы, будто хотела что-то сказать, но только слегка улыбнулась и, немного стесняясь, указала на ручку, которая торчала у меня из кармана.

Может, она подумала, что я подобрал ее ручку? Увидев, что я не могу взять в толк, чего она хочет, и стою в нерешительности, девушка быстро провела указательным пальцем правой руки по левой ладони.

Она просила у меня ручку.

Получив ее, она долго искала что-то в кармане пальто, наконец, вынула маленький троллейбусный билетик. Потом закинула голову и, щурясь, стала смотреть на металлическую пластинку, на которой обычно указывается номер столба. Затем на обратной стороне билета она записала: 66/281.29. Внезапный порыв ветра унес троллейбусный билетик Девушка тут же сняла меховую перчатку и на ладошке записала номер столба.

Когда она возвращала мне ручку, лицо ее еще больше разрумянилось. Она поглядела на небо и, довольная, поморгала глазами. В конце концов мотнула головой и легко перебежала улицу.

Пришла жена. Когда мы, молодая супружеская чета, заворачивали за угол, девушка, громко и отчетливо произнося каждое слово, разговаривала по телефону-автомату.

Северный ветер доносил издали обрывки ее слов Мы услыхали:

— ..Встретимся сегодня вечером... У столба... Верхний ряд 6, 6, нижний — 2, 8, 1...

— Гляди, какое пасмурное небо Что-то погода портится Наверняка вечером будет метель,— поеживаясь, сказала жена и, обернувшись, с неприязнью посмотрела на девушку, а затем взглянула на меня, будто говоря: «Какая противная девчонка!»

СЮЙ ЦЗЯНЬЦЗЮАНЬ

Глаза феникса [1]

Жена снова возвратилась к своей матери.

Каждый раз ссоры, каждый раз скандалы, дело доходило до того, что она ложилась спать не раздеваясь. Каждый раз все кончалось всхлипываниями и бессонной ночью.

Так мало-помалу эти ссоры из ежемесячных превратились в ежедневные.

В один прекрасный день у него появилась ученица — девушка с красивым прозвищем — Глаза феникса. Люди с удивлением обнаружили, что выражение его лица стало «переходить от пасмурного к ясному», да и на душе день ото дня становилось все светлее и теплее.

Какие у нее были ясные и лучистые глаза! У жены когда-то были такие же, но теперь в них уже нельзя было отыскать прежней одухотворенности, утонченности и удивительного очарования.

Не повезло. Вот не повезло.

Однако он был твердо уверен, что глаза ученицы никогда не потеряют своего блеска Не потеряют. Никогда.

— Учитель, не беспокойтесь. Обед я уже

[1] «Глаза феникса» — аллегорическое обозначение красоты женских глаз.

вам приготовила,— говорили Глаза феникса.— Учитель, возьмите зонт. Я пойду вместе с подругами, не вымокну.— Снова Глаза феникса.

Когда он обучал свою ученицу актерскому мастерству, эти глаза просто завораживали. Когда он уставал, эти глаза наполнялись безграничным теплом Когда он не мог сдержать вздохов одиночества и тоски, они будто обволакивали его пеленой легкого тумана и прозрачной кисеей облаков.

Глаза феникса глубоко запали ему в душу. вошли в его мозг, наполняли его сновидения. Почему во сне они всегда хлопали ресницами, легко тревожили его сердце?

Испытывают меня? Глаза феникса!

Ночью во сне они по-прежнему непрерывно хлопали ресницами.

Кинофильм «Храм Шаолиньсы», два билета

— Мож... Можно пригласить вас? — нерешительно спросил учитель.

В Глазах феникса появился вопрос, и реснички веером разлетелись в разные стороны Прошло полсекунды.

— Слушаюсь! — звонко ответила ученица

Как нарочно, автобус, в котором он ехал, на полпути сломался. В кинотеатре пустовало лишь его место.

— Ух, если бы автобус по пути не бросил якоря, я приехал бы на полчаса раньше. по крайней мере на полчаса!..— сказал он, собираясь сесть.

— Пока ничего интересного не произошло, ты не опоздал. Вот только ради того, чтобы посмотреть фильм. не стоило гонять в такую даль свою ученицу! — произнесла жена. сидевшая рядом.

У него перехватило дыхание, он вздрогнул и упал в кресло.

— Что, знобит?

— Нет-нет

— Но ты поступил от чистого сердца. Ученица так тебя расхваливала, что могла бы растрогать даже самого господа бога! А ты молодец!..

У него отнялись руки, а сердце, казалось, было зажато в тиски.

На следующий день учитель увидел глаза своей ученицы.

Они были такими красивыми, такими удивительными, такими лучистыми, такими обворожительными...

Ах, какие это были глаза!

ЮЙ СУНЪЯНЬ

Нуль

Желая откликнуться на проводимую ныне реформу. Лао Чжан сочинил массовую песню под названием «Таланты, вперед!» и, как водится, послал ее для ознакомления в высшие сферы — самому заместителю заведующего Фэну, который в отделе культуры и просвещения уезда ведал вопросами творчества и подготовки к печати учебных пособий.

Затем Лао Чжан стал ждать, когда начальство вернет ему в первозданном виде совершенно нетронутый опус.

И действительно, заместитель Фэн явился к нему в кабинет, торжественно положил ноты на стол, подвигал полным подбородком, сощурил глаза и с улыбкой на лице произнес:

— Вообще-то неплохо! Что касается недостатков, то они, разумеется, есть Искусство — вещь тонкая. Полного совершенства. как известно, обычно достичь не удается

Лао Чжан кивал головой. выражая полное согласие с оценкой своего произведения, затем протянул руку, чтобы взять ноты назад. Как ни странно, заместитель Фэн против обыкновения придержал их рукой, достал очки, водрузил их себе на нос и, тыча пальцем в ноты, заметил:

— Лао Чжан, глянь на эти черные точечки. Вроде бы их внизу побольше, а вверху поменьше По-моему, тут есть над чем поразмыслить

Лао Чжан сначала замялся, а потом, улыбнувшись, ответил:

— Я, конечно, подумаю. Только эти черные точки обозначают высоту звука.

— Верно! — Лицо заместителя Фэна стало серьезным, и он строго произнес: — Ныне нам не пристало петь мелодии низкого пошиба. Это может сбить энтузиазм народных масс. Петь на высоких нотах, как это было до недавних пор, тоже не следует. Это смахивает на пустозвонство и чванство! Одним словом, нам не нужны ни низкие, ни высокие тональности. Знаешь что? Возьми-ка да и убери ты все эти черные точечки!

Чтобы спасти свое творение и не обидеть заместителя Фэна, Лао Чжан стал юлить:

— Ваши слова, начальник, конечно, справедливы, если иметь в виду, например, политику или производство, а это музыка...

Однако продолжить свою мысль он не успел — глаза заместителя вдруг засветились, весь он как-то преобразился, воодушевился и сказал:

— Товарищ Лао Чжан. Я никогда прежде не делал никому конкретных замечаний, чтобы ненароком не обидеть. Сегодня я высказал кое-какие мысли по поводу твоей песни, и даже ты, старый композитор, отметил, что мои замечания справедливы! А тут на днях начальник управления Гу сказал, что я абсолютно некомпетентен в своих делах Сейчас, когда повсюду происходит реорганизация системы управления и перестановка кадров, подобное замечание может... Послушай! — Тут он остановился и, приглушив голос, продолжил: — Товарищ Лао Чжан! Ведь ты с начальником Гу живешь на одной улице Может, зайдешь к нему и скажешь как бы невзначай о моих «справедливых» замечаниях. Пусть знает, что я человек вполне компетентный. Конечно, говорить с ним следует предельно мягко, без нажима...— Не успел он договорить, как у Лао Чжана отвисла челюсть и рот принял форму огромного нуля.

◆

Наша почта

Из писем в отдел публицистики

Добрый день!

Груда писем, лежащая на вашем столе, подсказывает мне, что мое письмо должно быть кратким, и дает надежду, что вы не обратите внимания на ошибки в нем.

Я совсем недавно пришел из армии и вижу, что очень многое вокруг изменилось. А может, армия отделила меня от молодежи и теперь я уже к ней не отношусь? Как большинство молодых, меня интересуют ее проблемы конкретно, не со стороны. Сейчас на жизненные позиции, образ мыслей и поведение молодежи достаточно сильно влияют музыкальные течения.

Перечитывая лучшие журналы последних лет — «Юность» и «Иностранную литературу»,— я наткнулся на статью Ксении Мяло. «Молодежь Запада в 80-е годы, контрасты стиля и бытия» (июнь 1985 г.). Зависимость молодежной моды от разнообразных музыкальных групп там показана очевидно. Вот только в той статье я не нашел ни слова о «металлистах» (может, они подразумевались как часть панков). Все, о чем написано в статье,— в общем-то пройденный этап. Запад этим уже переболел, и у нас это если как-то отразилось, то тоже уже почти заглохло. Повтор криков моды «оттуда» у нашей молодежи получается намного позже и приглушеннее — как эхо. А вот с «металлистами» все не совсем так. Сейчас много говорят о них — гласность, ничего не замалчивают, есть, значит, есть. Я вижу ребят с железками на улицах, но конкретных объяснений, что же это, я нигде не нашел.

Откуда все это пошло? Что, кроме внешних атрибутов отличает их от остальных? Хотелось бы узнать, что за смысл был вложен во все это у тех, кто первыми провозгласил «металлический рок», его историю, как это появилось у нас. Вот недавно в Москве, в Парке имени Горького, выступали любимцы ребят с напульсниками, клепками и цепями, группы «Круиз» и «Ария», чувствовалось, что они передразнивают кого-то, даже как-то карикатурно, но ведь за настоящими исполнителями и приверженцами «металлического рока» пошло много неглупых ребят, значит, что-то искреннее, трогающее за душу у них есть (не просто проявления агрессивности)...

В № 8 за 1986 год в журнале, в разделе «Критика», была статья Ю. Каграманова «Кто и почему воскрешает де Сада?». Появление статей К. Г. Мяло и Каграманова мне показало, что в отношении к зарубежной информации у нас тоже происходит ломка, какие-то перемены. И естественно, что ваш журнал к этому имеет прямое отношение. А влияние «той» культуры на нашу молодежь, нашу культуру тоже надо иметь в виду. По поводу того, стоит или нет посвящать людей в тайны («другого мира»), которые можно и просто замалчивать, я слышал такое высказывание — надеюсь, что вы так не думаете, ведь в общем-то в противовес этой мысли и печатаются все материалы в вашем журнале,— не слишком ли часто смакуется механизм преступлений, уделяется излишнее внимание некоторым подробностям быта, историям развала семей, похождениям великовозрастных лоботрясов и легкомысленных девиц? Иногда получается так, что под видом борьбы за нравственность на самом деле расширяется та замочная скважина безнравственности, в которую так любят заглядывать обыватели.

Итак, будем же шарахаться от всего плохого или сомнительного и любоваться прекрасным и прямолинейно-правильным. Но куда вы посмотрите внимательнее в первую очередь, если будете находиться в комнате с множеством светящихся окон и маленькой полуосвещенной щелочкой, которую старательно пытаются прикрыть перед самым вашим носом?

Трудно надеяться на то, что вы ответите на мои вопросы в журнале, тогда укажите хотя бы, где об этом напечатано раньше, более или менее толково и без предубеждения. И пожалуйста, не надо присылать казенную карточку, на которой напечатан десяток слов и порядковый номер в уголке.

СЕРГЕЙ

Отвечая читателям

Грань между «панками» и «металлистами», которую проводит в своем интересном письме Сергей, очень характерна, и это позволяет мне сразу же затронуть один из самых сложных и запутанных вопросов — вопрос о сходстве и различиях в функционировании быстро сменяющих друг друга молодежных стилей у нас и в странах Запада, откуда они главным образом и приходят к нам. Конечно, были и есть неформальные молодежные объединения, вполне «оригинальные», что, как правило, находит выражение в их названиях. Однако до недавнего времени они почти не привлекали внимания прессы.

Что же до хиппи, панков, теперь вот «металлистов», то они, вне всяких сомнений, приходили к нам «как эхо», как удачно выразился наш корреспондент, и это тоже нашло отражение в прямой кальке соответствующих названий на русский язык. Сказанное, разумеется, не означает, что проблема исчерпывается только заимствованиями, но сам факт этих заимствований, думаю, вряд ли кто-либо станет отрицать. И, как это нередко бывает, подражатели сплошь и рядом оказывались «католиками большими, нежели сам папа». Поясню свою мысль.

В странах Запада, начиная по крайней мере с 60-х годов, когда и произошло утверждение некоего самостоятельного «молодежного стиля» в моде, музыке, манере вести себя, стиль этот весьма отчетливо соотносился всякий раз с определенными социальными процессами и движениями. Так было с хиппи и музыкой ныне уже «классического рока» («Роллинг Стоунз», «Битлз», чуть позже — «Пинк Флойд», чья музыка не случайно сопровождает фильм Антониони «Забриски-пойнт»), поднявшихся на волне молодежно-студенческого протеста 60-х годов, так оказалось и с панками. И если стиль «детей цветов» был главным образом стилем учащейся молодежи из состоятельных средних слоев, то панк-стиль пришел как знамение новых времен, как язык и форма самовыражения (даже агрессивного самоутверждения) «новых отверженных» — безработной молодежи, обитателей гетто, которых общество, еще недавно называвшее себя «обществом благоденствия», с изумлением, а затем со все возрастающей тревогой вдруг обнаружило в самом сердце своих городов-гигантов.

Выражением этой новой социальной реальности и стал стиль панк, равно как и его частная версия — «металлический панк», и в западной прессе «металлистов» (то есть молодых людей, увешанных железом и прочими атрибутами устрашения, которых чаще всего именуют «разрушителями») не рассматривают как отдельную от панков социальную категорию. Разница здесь лишь в том, что если для классического панка характерной была скорее клоунада, пусть нередко циническая и отмеченная «черным юмором», то панк «металлический» уже в самом облике своем подчеркивает черты жестокости, «черного» анархического бунтарства и даже сатанизма. Могу в этой связи порекомендовать Сергею материалы, опубликованные в газете «Аргументы и факты» (14—20 февраля 1987 г.). В частности, я обратила внимание на одно из приводимых в газете писем «металлистов», где, например, декларируется такое кредо: «...мне нравятся «тяжелые группы» и что на их концертах все бесятся... Нас — легион!» И далее в таком же роде. Не знаю, известны ли автору цитируемого письма евангельский текст и слова «нечистого духа»: «...легион имя мне, потому что нас много». Думаю, вряд ли, но саму фундаментальную интонацию «металлизма» он подхватил очень точно, что лишний раз убеждает меня в том, о каком небезобидном и небезопасном явлении идет в данном случае речь.

Как в свое время музыка «Битлз» и стиль «детей цветов», так теперь стиль панк и тяжелый металлический рок (краткая история его возникновения сообщается в одном из февральских номеров «Книжного обозрения») быстро стали объектом коммерческой эксплуатации и искусных манипуляций с массовым сознанием, цели которых немало тревожат прогрессивную общественность Запада. Наверное, многие поклонники «металла» были оскорблены оценкой, данной крайностям этого стиля столь крупным авторитетом в вопросах рок-музыки, как Пол Маккартни: «...то, о чем вы говорите — насилие, убийства, сатанизм,— от бесталанности и плохого воспитания. И слушают их тоже, как правило, невежественные люди. Это замкнутый круг: одни создают, другие потребляют, но создатели и потребители в этом случае принадлежат к клану нравственных уродов. Вы поймите, я за свободу творчества, но здесь эта свобода сводится к лозунгу «Да здравствует идиотизм!»" («Ровесник», № 1/87, с. 25).

Встревоженность Маккартни тем более понятна, что еще в те времена, когда рок не осквернил себя воспеванием насилия и сатанизмом, над ним нередко нависало по-

дозрение в каких-то скрытых, но тем не менее присутствующих профашистских интонациях. Связаны были эти подозрения с той исключительной ролью, которую сразу же стали играть коллективные экстазы огромных толп людей в концертных залах и на стадионах, экстазы, вызывавшие порою совершенно определенные ассоциации. Мне, в частности, пришлось столкнуться с очень бурной и даже агрессивной реакцией ряда читателей (письма в редакцию прислали москвичи Л. П. Свиридов и А. Н. Спиренков) на ту часть моей статьи «Глазами последних свидетелей»[1], где речь шла об оценке, данной американским исследователем Э. Розенфельдом некоторым песням группы «Пинк Флойд». Краткая фраза об одной из песен «Пинк Флойда», «посвященной Гитлеру», была воспринята ими очень болезненно и как однозначное утверждение о профашистской ориентации группы. Считаю, однако, нужным напомнить моим оппонентам, что моя статья соотносилась с текстом Э. Розенфельда, а он в своей оценке достаточно категоричен; слово «посвятить», вызвавшее у них особый протест, в русском языке имеет значение не только «преподнести в дар», «признать данью своего уважения» и т. д., но также — и даже в первую очередь — «наполнить содержанием, относящимся к кому-нибудь, сосредоточить содержание чего-н. на ком-чем-н.» («Толковый словарь русского языка» М., 1939, т. III, с. 621. У. Даля: «Отдать, обречь, предназначить для особой цели, закабалить, закрепостить к чему-либо» Т. III, с. 331). В этом своем фундаментальном значении и было употреблено мною слово «посвятил», так что, думаю, дальнейшие комментарии излишни.

Теперь о самой оценке. Буквально у Э. Розенфельда («Dissent», 1985, Spring) читаем: «Достаточно вслушаться в некоторые песни «Пинк Флойда», чтобы «...поймать тему фюрера». Автор не конкретизировал, что именно он имел в виду, но, полагаю, что речь может идти вернее всего об известном альбоме и поставленном затем по нему фильму «Стена». Как отношусь к этому я?

Группу «Пинк Флойд» я ценю очень высоко, считаю ее самой, вероятно, серьезной и философски значительной в истории рок-музыки, ибо она, по сути дела, уже коснулась тех мировоззренческих и социальных проблем, которые всегда составляли содержание настоящей высокой культуры. Однако тем больше и спрос, и вот что я лично думаю о подаче темы фашизма в «Стене». Будучи, несомненно, по замыслу своему резко антифашистской, вещь эта (некоторые музыкальные критики склонны считать ее последней серьезной работой группы) до известной степени демонстрировала «демонический магнетизм фашизма», и мне понятен внутренний протест, который подобные акценты могут вызывать. Как известно, по этой же причине часть критики настороженно отнеслась к фильмам «Гибель богов» Висконти и особенно «Ночной портье» Л. Кавани. И даже более того: над именем великого Вагнера, умершего задолго до того, как появилось само понятие «фашизм», навеки нависло подозрение о потаенном внутреннем родстве его музыки с мифотворчеством создателей третьего рейха. Проблемы ответственности художника очень непросты, ибо известно, что нередко произведение начинает жить своей отдельной и независимой от замыслов создателя жизнью.

Что до «Стены», то часть критики упрекала авторов и в почти порочной двусмысленности их собственной позиции. Так, газета «Гардиан», отмечая высокие музыкальные достоинства произведения, писала тем не менее: «Это большое и неровное творение... где-то на переходе от третьей части к четвертой теряет направление и начинает совершать головоломные виражи между каким-то безумным всеприятием и нигилистическим упоением» («Guardian», 5.XII.1979, с. 11). Именно в этой, вызвавшей дискуссии в прессе части и возникает тема фашизма, причем она не только повторяет в каких-то инфернальных интонациях тему первой части, которую критика трактует как «музыкальный автопортрет» группы (и даже, конкретнее, ее руководителя Роджера Уотерса). Саму эту группу, писала «Гардиан», «на сцене сменяют нацисты», а темы «собственного творчества, «стены» и фашизма смешиваются воедино с каким-то сумеречным наслаждением» (там же).

Специфика же «рок-фильма», если можно так выразиться, усугубила эту двусмысленность, ибо она не оставляет места для углубленного и основательного анализа обрушивающихся на сознание образов. Сознание неподготовленное, малоинформированное (излишне напоминать, что оно достаточно типично для западной молодежи) схватывает лишь лежащий на поверхности и очень выразительный образ «фюрера-рок-звезды» (выражение Дэвида Боуи, знаменитого актера и рок-певца, о флирте которого с фашизмом немало писала пресса),

1) «ИЛ», 1986, № 9.

а больше, к сожалению, ничего. Программный антирационализм, экстатичность рок-музыки здесь оборачиваются против нее же, и говорят ведь, что на одном из концертных исполнений «Стены» сам Роджер Уотерс прореагировал ошеломляюще бурно на кружения и прыжки слушателей из первых рядов, которым, очевидно, было вообще все равно, за что или против чего выступают музыканты «Пинк Флойда».

Сатанические и садические повороты металлического рока, наконец, появление откровенно «коричневых» рок-групп типа английского «Скрюдрайвера» («Отвертки») показали, что опасения щепетильных критиков отнюдь не были беспочвенными и что скрещенные секиры, эмблема нового фашизма в «Стене», теперь обрели самостоятельную жизнь и запели собственными, «металлическими» голосами.

Однако и сейчас исходная связь «металлического панка» с породившей его социальной реальностью прослеживается достаточно четко и порою придает ему черты подлинного трагизма, особенно если учесть, что металлорок очень интенсивно, пожалуй интенсивнее других направлений в современном искусстве, осваивает тему нависшей над человечеством апокалипсической угрозы, создавая иногда образы весьма впечатляющие. Последнее может быть отнесено и к некоторым советским рок-группам, работающим в стиле «тяжелого металла».

Совсем иначе обстоит дело, на мой взгляд, с армией многочисленных «фанатов» металлического рока у нас в стране, которых, собственно, и именуют «металлистами». Ведь механизм «эхообразного» отражения всякого нового возникающего на Западе молодежного движения действует так, что, как правило, разрывает исходную связь между стилем и породившими его социальными процессами. Разрывы эти порой таковы, что первоначальные смыслы вообще утрачиваются или искажаются до неузнаваемости. Так, если «хиппизм» пришел к нам, утратив свою острую антибуржуазную, антиимпериалистическую и — не лишне заметить — «антизападную» направленность, то ныне «металлизм» прикочевал, растеряв по пути большую часть своего мрачного демонизма и подлинного отчаяния. Люциферический бунт трансформировался в позу некоего асоциального, не столь уж безобидного вызова «вообще», который — не будем обманывать себя — иной раз не брезгует профашистской символикой. И эта поза сочетается сплошь и рядом с таким избытком жизнерадостности, что, прав Сергей, невольно приходит мысль о пародии и «гарольдовом плаще».

Разумеется, речь не идет только лишь о заимствованиях, и мне хотелось бы привести строчки из письма в журнал 23-летнего С. Борисова из Шадринска, по мнению которого подобные явления «...в нашей стране вызваны не влиянием (по крайней мере только) Запада. Это вызвано атмосферой духовного застоя (после 15 лет), когда главное было — п л а н, проценты охвата и т. д., то есть лежащее в н е человека».

Однако вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что при всей серьезности проблем, с которыми сталкивается наша молодежь, ситуация ее может быть сравнима с ситуацией молодых обитателей гетто, творцов «металлического стиля», а потому издержки подражательства здесь оказались, на мой взгляд, особенно велики. И в той мере, в какой скудеет исходное социально-психологическое содержание, возрастает значение внешних атрибутов того или иного стиля, превращающихся в подлинные фетиши, что так характерно именно для нашей молодежной моды. Вместе с тем сама эта страсть к фетишам указывает на размывание каких-то фундаментальных ценностей, которым лихорадочно подыскивается замена. Вот это размывание и страсть к заимствованию нуждаются в тщательном исследовании, к которому наша социология сейчас только приступает.

Психология заимствования — она имеет у нас глубокие исторические корни и в послепетровский период развития заявляла о себе в многообразных, нередко очень плодотворных формах — легла в основу той особой открытости к внешним влияниям, которая по справедливости считается одной из самых выразительных и своеобразных черт нашего культурного самосознания. Однако не приходится закрывать глаза и на другое; в массовом сознании за последние десятилетия довольно широко распространилась упрощенная и вульгарная формула, согласно которой все приходящее «оттуда» непременно представляет собою нечто «современное», «передовое», одним словом — «западное». При этом значение внешней атрибутики возрастает до крайней степени, а способность к критическому анализу и отбору в такой же степени падает. Отсюда и возникает тот нелепый парадокс, что о «современном» важно говорят люди, и слыхом не слыхавшие, например, о Веберне или Карле Орфе, не знающие даже

и рок-музыки. Под «современностью» они подразумевают в лучшем случае «Модерн токинг», а под западностью — включенный на полную мощность магнитофон, которым можно пугать соседей дома и в общественном транспорте (чего бы им, кстати, ни под каким видом не позволили делать на Западе).

Подростку, с упоением читающему перепечатки из «Смэш хитс» и «Метэл хаммер», и в голову не приходит, что чрезвычайно «западная» лондонская «Таймс», например, к обожаемому им «металлу» относится по меньшей мере сдержанно. Короче говоря, сейчас у нас сформировалась устойчивая тенденция к отождествлению коммерческих поделок массовой культуры (или явлений субкультуры) с едва ли не квинтэссенцией западной культуры как таковой, «Запада» вообще. Причины такого рода аберраций более чем очевидны (годы закрытости, неинформированность, скудное знание лучших образцов западного кино и музыки, в том числе и рок-музыки, известное понижение общего культурного уровня), и я нахожу мало извинений позиции тех представителей старшего поколения, которые, как это имело место на одном из общественных обсуждений фильма латышского режиссера Подниекса «Легко ли быть молодым?», начинают с ностальгическими вздохами предаваться воспоминаниям о своей былой борьбе «за святое право слушать джаз и танцевать фокстрот», отечески благословляя новую «борьбу» такого же пошиба.

Право естественное, хотя ничего «святого» я в нем, по правде говоря, не вижу, но сейчас — и уже давно — его никто не отнимает, а гораздо острее стоят другие вопросы. Вопросы о том, как, не прибегая к бессмысленным, да и давно доказавшим свою неэффективность запретам, помочь молодым людям (и самим себе) сориентироваться в непростой и неоднозначной духовной ситуации современного мира: и у нас в стране, и на Западе. Молодые читатели, приславшие в редакцию свои письма, в какой-то мере и сами подсказывают этот путь. Так, С. Борисов пишет, делясь своими впечатлениями от статьи «Глазами последних свидетелей»: «Ориентация на самостоятельное мышление каждого, на свободный обмен мнениями, на дискуссионность — то, что делает партия с апреля 1985 года... Даже при полном изобилии не будет коммунизма, если не будет действительно свободных людей, умеющих переживать трагедию, а не только приятное».

Очень мне понравился и образ, которым заканчивает свое письмо Сергей,— образ маленькой полуосвещенной щелочки, которую пытаются прикрыть перед самым вашим носом: подобные попытки, естественно, формируют «комплекс запретного плода», который так бурно заявил о себе в нашей стране и последствия чего мы сейчас и пожинаем. Но напомню и о другом: о том маленьком ключике, который герцог Синяя Борода дал своей жене, предупредив ее, чтобы она не входила в запретную комнату. Все хорошо знают продолжение этой истории. Так вот, я полагаю, что, вручая ключ от запретной комнаты, следует честно предупредить того, кому мы его вручаем, о том, что он там может увидеть.

К. МЯЛО

◆

К нашим иллюстрациям

Живопись Вернера Тюбке

Художник из Лейпцига Вернер Тюбке (род. в 1929 г.) принадлежит к числу самых известных и авторитетных и у себя в стране, и за рубежом мастеров искусства ГДР. Весомость этого авторитета, его яркую самобытность подтвердила и недавняя персональная, первая у нас выставка живописи и графики Тюбке, состоявшаяся в залах Академии художеств СССР в Москве.

Искусство художника, впечатляющее богатством стилистических фантазий, вбирает в себя сложные, прихотливо переслаивающиеся пласты исторических реминисценций — прежде всего немецкого и итальянского Ренессанса и маньеризма. Один из главных духовных наставников Тюбке, Альбрехт Дюрер, намечая свои представления об идеальном «богоравном» живописце, писал, что такой искусник должен быть «полон внутри всяких фигур», дабы, черпая из сокровищницы своей художественной памяти, творить воистошимо, как сама вечная Природа. Произведения Тюбке позволяют предположить, будто он постоянно видит перед собой именно этот идеал, непрестанно обрамляя свои впечатления от натуры, от сегодняшней действительности ссылками на классическую традицию.

Но это не ведет к отвлеченной, отрешенно-музейной стилизации, образы прошлого предстают тут (по меткым словам искусствоведа из ГДР К. М. Кобера) «бывшей современностью», властно и активно, как в поэтике Бертольта Брехта, оплодотворяющей и сегодняшнее сознание.

Для становления таланта Тюбке капитальное — причем отнюдь не чисто «музейно-туристическое» — значение имели его поездки на Кавказ и в Среднюю Азию в 1961—1962 годах, ставшие в его биографии подлинным временем «ученических странствий». Величественные ландшафты, хранящие следы древних цивилизаций, помогли глубже осмыслить космологическую всеобщность искусства Возрождения, уроки старых мастеров. Так, почти что в брейгелевский «вселенский пейзаж» претворены окрестности Сухуми в «Портрете бригадира животноводов Бодленко» (1962).

Примером для лейпцигского мастера стали итальянские впечатления, контрастно сочетающие в его образах многовековые традиции средиземноморской культуры с нынешними социальными тревогами и стрессами. Итальянские композиции Тюбке принимают вид полуфантастического гротеска, трагического карнавала («Портрет сицилианского землевладельца с марионетками», 1972).

С другой стороны, чеканная ритмика иконографии Высокого Возрождения, красноречивый язык жестов, строгая четкость пространственных решений — эти черты, унаследованные от итальянской живописной классики, придают монументальную значительность таким полотнам, как «Бригада» (1972). Героический пафос в особенности характерен для получившего широкую известность «Чилийского реквиема» (1974). Мотив пиеты, традиционного оплакивания, помещенный на фоне заснеженных Анд — сам по себе предельно экспрессивный в своем беспощадном веризме, — дополняется текстовой цитатой, конкретизирующей живую память о трагедии чилийского народа, ввергнутого в ночь фашистского безвременья. На стволе иссохшего дерева — листок со строками Пабло Неруды о поэзии, творящей свой приговор силам социального зла («Забвенья нет, дамы и господа...»).

С 1974 года и по сей день профессор Тюбке трудится над воплощением самого масштабного и честолюбивого своего замысла, грандиозной панорамы «Раннебуржуазная революция в Германии», размещаемой в мемориальном здании на горе Шлахтберг под Франкенхаузеном. Здесь в 1525 году крестьянские войска под водительством Томаса Мюнцера потерпели поражение, предопределившее роковой исход Великой крестьянской войны, крупнейшего революционного движения ренессансной эпохи.

На гигантское полотно, специально изготовленное в Советском Союзе, переносится не просто батальная композиция, но символическая эпопея целой эпохи, открывшей рубежи новоевропейской истории. В многосотенных толпах, пронизанных вихревым движением, исторические персонажи соседствуют с ангелами и демонами, реальное поле битвы — с раем, нисходящим на землю, и адом, выплеснувшимся из глубин Судьбы народа, идущего в бой за священное право самостоятельно творить собственную историю, выглядят тут не только хроникой былого — скорее эпическим философским размышлением о связи времен, о грядущих сражениях и победах гуманистического разума.

Главная картина Вернера Тюбке, уже представленная зрителю массой виртуозных проектов и эскизов, которые сами по себе могли бы составить целое музейное собрание, не дописана. Но, собственно, и незаконченная, она реально существует во вдохновенном историзме всей предшествующей творческой работы художника.

М. СОКОЛОВ

Среди книг

Издано в СССР

ГОРЯЧИХ БУДНЕЙ ТОРЖЕСТВО...

«Из современной поэзии ГДР. Вып. 2». Составление и предисловие Б. Хлебникова, Москва, «Радуга», 1986.

Сборник «Из современной поэзии ГДР» объединил очень разных мастеров, в произведениях которых тем не менее выражена общая тенденция «личностной аутентичности». Это понятие ввела в литературу в середине 60-х годов Криста Вольф. В поэзии термин подхватил Иоганнес Бобровский. Процесс субъективизации литературы, встреченный критикой поначалу неодобрительно, оказался явлением определяющим для ГДР (и других социалистических стран). Время лозунгов, стихотворений-призывов, образов-примеров кончилось. Пришла пора самооценки, определения своего места в происходящем общественном развитии. На первый план выдвигается скрупулезное исследование личности. Граница между литературным героем и автором нередко исчезает.

Открывает антологию Вильгельм Ткачик, литературная судьба которого драматична. Его первую книгу уничтожили фашисты, рукописи погибли во время войны. В 50-е годы поэту пришлось заново привыкать к творчеству: «Круг одиночества нарушен, /Тебя берут другие в круг...» Его поэзия – классическая по ритму, интонации, бережному обращению со словом.

Может быть, именно благодаря этому обстоятельству она обрела такое современное звучание: строительство новой жизни захватило Ткачика. Он больше не чувствует себя «несостоявшимся»:

Великий план, живое пламя,
Горячих будней торжество
Тебе протягивают знамя.
Как гордо ты несешь его!

(«После преодоления ударов». Перевод О. Николаевской)

Лучшие стихотворения Вильгельм Ткачик написал, будучи уже в преклонном возрасте, поэтому в них часто можно встретить тему прощания с жизнью, подведения итогов. Однако до последнего дня он не сойдет «с неистового круга в поисках покоя и досуга». Совсем незадолго до смерти будут написаны им жизнеутверждающие строки:

И место в жизни до конца
искать готовый снова
еще я посох для хромца
и око для слепого.

(«Место в жизни». Перевод А. Солянова)

Главная проблема для Вальтера Вернера — экология, по Вернеру,— не просто совокупность благоприятных физических условий существования человека, а сложная нравственная категория. Снова и снова приглашает поэт своих читателей «начать прогулки, наши походы/ по запросам самой природы». Он находит удивительно емкие и точные метафоры и образы, придающие обыденным, «апоэтичным» сюжетам художественность и глубокое философское наполнение. Вот жук — «хрустящее сердце леса», вот лист дерева — «последнее слово на сжатых губах», вот рыба — «серебристый мускул потока». Описание повседневного труда деревенского садовника превращается в «маленькую историю сотворения мира»:

...Он прорывает в земле
русла для светопада.
Он собирает дождь
в заброшенные колодцы —
и собирает солнце!

(«Деревенский садовник». Перевод В. Леванского)

О необходимости сохранить землю «веселой и чистой» говорит Вернер в стихотворении «Окружающая среда», в котором картина «беспамятного и равнодушного» наступления технической цивилизации (пусть даже в виде тракторов) приобретает характер апокалипсического предупреждения:

...Зубец цепляется за зубец,
трещит в ушах, выворачивает кишки,

мороз по коже.
Леденеют перелески.
Яблоки падают и гниют.
Земля спасается бегством — деревья
срываются с корней
и улетают.

(Перевод О. Татариновой)

Большое значение Вернер придает ритмической структуре стиха. Он свободно владеет и мелодикой тюрингского фольклора, и верлибром, с безукоризненным чутьем выбирая ту форму, что придаст высказыванию наибольшую выразительность.

Читая Эву Штриттматтер, не задумываешься над вопросами мастерства, может быть, потому, что и сама она, по-видимому, не придает им большого значения. Ее искренность, «простая тишина», безыскусственность — не только свойство мышления, но и жизненный принцип. Поэтесса не выносит снобизма и умствования в искусстве. Она не отделяет себя высокомерным эстетством от тех, чьи корни ощущает в себе:

Но в разговоре с вами
Могу ли не быть простою?
Одних дарить стихами,
А прочих слепотою?
Пусть лучше скажут люди
Из моего селенья:
Так было и так будет,
И мы того же мненья.

(«Как я пишу». Перевод Е. Пугыги)

Потребность во взаимопонимании у Штриттматтер не ограничивается общением с близкими. С ней в родстве весь мир. Она обращается к травам и птицам, лугам и пашням. И как естественно переплетается с темой природы тема женственности, материнства! «Девочка по имени Эва» — так называет себя она в стихотворении «Воспоминание о счастье». В этом совпадении прекрасного древнего символа с реальной личностью, наверное, и есть ключ к восприятию поэзии Штриттматтер. Творчество Манфреда Штройбеля и Хайнца Чеховского находится еще в становлении, и, очевидно, поэтому составитель отступает от хронологического построения сборника. Какие бы то ни было классификационные рамки для них преждевременны.

Манфред Штройбель — поэт очень неоднозначный. Он может смотреть на мир «детским зрением», весело и легко создавая изящные миниатюры. А рядом с ними — нагромождение сюрреалистических картин страха, смерти, отчаяния. Память о войне, сгусток которой мы находим в стихотворении-аллегории «За ночью ночь», рождает тему бегства, так часто встречающуюся у поэта, и все же ответственность за «новый мир» заставляет его возвращаться к жизни, к борьбе, снова «землю брать на плечи» («Атлант»). Дается это возвращение нелегко «Трудней всего на свете/ Сломить себя в себе». Однако в последнее время поэзия Штройбеля стала спокойнее, умиротвореннее. Все чаще он обращается к форме сонета, позволяющей исследовать явления в противоречивости и тут же сделать необходимый вывод. Оптимизм его силен и рождает веру в будущее:

Не искромсан в лазарете,
в перестрелке не убит —
над руинами столетий
человек живой стоит.

(«Музыка будущего». Перевод Е. Витковского)

Хайнц Чеховский — прежде всего художник. Он тоскует по инструменту, соединившему бы кисть и слово:

Поэзия — трудное дело. О чем
мне должно писать? О деревьях
на косогорах? О нежных
линиях дальних холмов?
О коротком дыханье пейзажа? О, как
я хотел бы об этом писать!

(«Прогулка по городу». Перевод И. Болычева)

Но и не обладая таким инструментом, поэт создает многокрасочную словесную живопись. Его любование деталью приводит на память натюрморт в духе голландских мастеров («Карпы») или типичную жанровую картину («Две женщины»).

Очень пластичны интонации Чеховского. Он пишет о мостах над Сеной — и вспоминается Шарль Бодлер. Он пишет о Есенине — и так явственно начинает звучать голос русской поэзии. Это не подражательность, а умение и знание. Самые незначительные бытовые наблюдения часто вызывают у него сложные литературно-исторические ассоциации. Мифологические образы (Ниобея, Прометей, сивиллы) сменяются портретами великих мастеров (Данте, Гёте, Гёльдерлин). Но такая смысловая насыщенность всегда обоснованна. Мысль подкреплена целым пластом культуры с его определенной стилистикой.

Конечно, представленные в сборнике авторы не исчерпывают многообразия поэзии ГДР. Каждый год появляются имена, достойные новой антологии. Какой она будет, пока сложно сказать. Возможно, мы услышим голоса совсем молодых, тех, кому предстоит вписать свое имя в историю литературы третьего тысячелетия.

М. ЗАСЛАВСКАЯ

«БРЕМЯ НЕСТЕРПИМЫХ МУК ЮНОСТИ»

Маргарет Этвуд. Постижение. Сборник. Составитель и автор предисловия Н. Пальцев. Москва, «Радуга», 1985.

«...Я лишь благодарю судьбу, что, кажется, навсегда сбросила с себя бремя нестерпимых мук юности»,— думает безымянная героиня рассказа «Украшения из волос» известной канадской писательницы (а также поэтессы и критика) Маргарет Этвуд. Увы, героиня ошибалась, муки юности стали органичной частью ее жизни. Более того, утратив «метафизический» налет, трансформировавшись в реальные переживания, они оказались своеобразным индикатором ее подлинной духовной зрелости.

Роман «Постижение», как и большая часть рассказов, включенных в книгу, вторично знакомящей советского читателя с творчеством М. Этвуд [1],— произведение о юности, «нестерпимых муках» самопозна-

[1] «Лакомый кусочек» (1969). М. «Художественная литература», 1980.

ния и самоопределения, свержения признанных авторитетов и поисков неведомых идеалов, первых болезненных столкновений юношеской романтики с жестокой трезвостью реальности. На первый взгляд «Постижение» (1972) может показаться типичным романом о молодежном бунте 60—70-х годов, наложившем заметный отпечаток на культурное развитие западного мира. Роман Этвуд можно рассматривать и под углом зрения «феномена отчуждения» — одной из центральных проблем западной литературы XX века, любители утонченной символики при желании «выловят» в романе фрейдистские, мифологические, философские мотивы, а приверженцы женской эмансипации найдут здесь феминистскую направленность. Роман настолько многослоен, что выдержит любое толкование, но значимость его для сегодняшнего читателя определяется иными критериями. «Постижение» повествует не только (и не столько) о юности как таковой, но в первую очередь о юности страны, а также, опосредованно, отражает муки роста и развития молодой англоканадской литературы.

Поиски «корней», страдания одиночества, противостояние человека и природы — весь тематический комплекс, вполне, впрочем, традиционный для современной западной литературы, обретает особую актуальность в той сложной ситуации, в которой ныне находится Канада.

Молодая героиня романа вместе с возлюбленным Джо и супружеской парой Дэвидом и Анной приезжает в места своего детства, в заброшенный родительский дом на берегу еще не загубленного «цивилизацией» озера. Поиски исчезнувшего отца становятся для героини поисками смысла существования. Погружение в природную стихию оборачивается для нее постижением истоков личного, нравственного и национального бытия.

Пристальный интерес к «дикой природе», а также к «естественной» жизни первопроходцев (фронтирсменов), наблюдаемый в канадской литературе последних трех десятилетий, вовсе не свидетельствует об «эскейпистских» настроениях, как полагают некоторые американские критики. Наоборот, обращение к пионерам — «предтечам» современной канадской нации — свидетельство интереса к отечественной истории и национальной культуре, так бурно вспыхнувшего в Канаде в начале 60-х годов, ознаменовавшего тягу к консолидации разноплеменного населения страны. Симптоматично, что почти одновременно с «Постижением» выходит в свет роман одной из наиболее читаемых и почитаемых англоканадских писательниц Маргарет Лоренс «Предтечи» (1974), завершающий тетралогию о вымышленном городке Манаваке, в котором героиня Мораг Ганн, подобно безымянной рассказчице М. Этвуд, обретает духовную гармонию и постигает свое национальное естество на заброшенной канадской ферме. Таким образом, темы природы и национальных корней становятся для канадских художников последнего 30-летия некой двуединой проблемой, своеобразными символическими понятиями, с помощью которых они оценивают сегодняшнее состояние страны. Столь разные и по масштабу дарования, и по творческому темпераменту канадские писатели и поэты, как Р. Вибе, Р. Дейвис, Э. Баклер, Дж. Райга, Э. Берни и другие, едины в своем стремлении отобразить самобытность канадской действительности.

Этой же проблеме посвящена и весьма популярная в Канаде теоретическая работа Маргарет Этвуд «Выживание» [1], опубликованная, как и «Постижение», в том же 1972 году, то есть в самый разгар канадского «культурного взрыва» (или, по выражению скептически настроенных западных критиков, «националистического бума»), и сфокусировавшая основные проблемы и художественные поиски. Исходя из идеи, что в основе любой самобытной динамической культуры обязательно лежит некий «прасимвол», определяющий и направляющий ее дальнейшее развитие, Этвуд таким «первичным символом» для Канады считает «выживание», изначально понимаемое как выживание физическое в тяжелых климатических и природных условиях, а затем включившее в себя и противостояние экономическому и культурному давлению более развитых держав (вначале Англии, а в последнее время — тотальной экспансии США).

Трагическое единоборство канадца с грозными силами природы, а затем с не менее устрашающей технической цивилизацией (которая у М. Этвуд и многих других канадских писателей ассоциируется с американским образом жизни) породило, по мнению писательницы, истинно канадского литературного героя-жертву. Как нам представляется, роман «Постижение», ставший своего рода художественной иллюстрацией идей Этвуд, был задуман прежде всего как вызов извечной жертвенности канадского мировосприятия, бесконечной цепи компромиссов, слагающих канадскую историю.

«Прежде всего — не стать жертвой» — вот кредо молодой героини романа. Она бунтует против покорной бессмысленности окружающих ее людей, их эгоизма и равнодушия, привычки ко злу и беспомощности перед грубой силой обстоятельств. Она не желает мириться с тем, что красота и природное богатство ее края безжалостно расхищаются «деловыми людьми», среди них есть и «американизированные соотечественники», утерявшие живую связь с природной стихией, что в глазах героини (и самой М. Этвуд) равнозначно разрыву с национальной традицией, ибо родительский дом на берегу первозданного лесного озера олицетворяет для нее саму историю Канады.

В этом разрушительном равнодушии писательница видит не только угрозу природному миру страны, но и причину отчужденности, разъединенности людей, распадения прочных семейных и дружеских союзов, истинная ценность которых открывается героине, когда она впервые пытается вспомнить и понять уединенную жизнь родителей.

---

[1] M. Atwood. Survival: a Thematic Guide to Canadian Literature. Toronto, Anansi, 1972.

Тема отчуждения, человеческого одиночества, грустным лейтмотивом проходящая через весь роман, хотя подчас и не лишена у Этвуд экзистенциальной окраски, вместе с тем не теряет связи с социальными аспектами этой проблемы, поскольку отчуждение — «хроническая болезнь» Канады, порожденная драматическими событиями ее истории. «Два одиночества» (1945) — так назвал свою книгу о непримиримом конфликте французского и английского населения страны известный англоканадский писатель Хью Макленнан. И мастерски запечатленное в романе М. Этвуд обособленное, враждебное существование двух национальных групп в одной маленькой деревушке, одиночество, порожденное искусственно культивируемым языковым барьером и бременем предрассудков (и все это переданное через восприятие юности, столь чуткой к несправедливости и нелепости), еще глубже выявляет трагическую сложность старинного конфликта.

С такими нелегкими проблемами сталкивается молодая героиня «Постижения» на пути к самопознанию. В каком-то смысле ситуация, в которой она оказывается, характерна для литературной жизни английской Канады в целом. Едва вставшая на ноги канадская словесность, то ищущая опоры в достижениях мировой литературы, то лихорадочно открывающая собственные «истоки» и требующая канадских Бальзаков и Толстых, вынуждена решать сугубо «взрослые» проблемы, художественные и общественные. Романтический бунт героини «Постижения» (а она — истинный романтик, как и протагонистка из рассказа «Украшения из волос») отражает также явно романтическую «окраску» современной англоканадской литературы, что неоднократно порождало и порождает споры литературоведов о методологической направленности художественной словесности. Например, Джордж Вудкок (один из виднейших англоканадских критиков) всерьез выдвигает тезис о «слабости реалистической традиции в англоканадской литературе» [1], о преобладании в ней романтических и неоромантических тенденций. Нам думается, однако, что романтизированное мироощущение в канадской литературе проистекает не столько из ее незрелости, сколько из специфики задач, стоящих перед нею, ибо поиски корней, «национальных мифов», приобщение к шедеврам мировой литературы сродни деятельности европейских романтиков XIX века, утверждавших самобытность отечественной литературы. Однако создается впечатление, что англоканадская словесность, пережившая в 60—70-е годы «романтический» бунт, в 70—80-е все больше отходит от юношеского избыточного нонконформизма в сторону более зрелого, реалистического осмысления развития страны.

Так же и героиня романа М. Этвуд после погружения в стихию душевного хаоса вновь всплывает на поверхность реальности (кстати, буквальный перевод названия романа «Surfacing» — «всплытие на поверхность»), но уже преображенная, повзрослевшая. Писательница не завершает роман «хэппи-эндом» — решением всех мучивших героиню конфликтов; конфликты остаются, но они переходят на более высокий уровень. Отказавшись от роли жертвы обстоятельств и чужого эгоизма, героиня преодолевает и эгоизм собственный, убеждаясь в необходимости любви и самопожертвования во имя близких людей. Она пересматривает отношение ко многим, кого слишком поспешно записала в «жертвы» В частности, только после внутреннего кризиса она в полной мере оценила мужество, духовную независимость и неизменное достоинство родителей. Героиня вновь готова выйти в мир, «навстречу требованиям и вопросам», обогащенная новой открывшейся ей правдой жизни. Словом — нестерпимые, но бессознательные муки юности героини отныне приобретают форму реальных проблем, решать которые под силу только зрелой, сложившейся личности.

Роман «Постижение» знаменует собой переход от юности к зрелости и в творчестве самой Маргарет Этвуд; важнейшие темы и вопросы, поднятые в этой книге, получают углубленное развитие в романах «Женщина-оракул» (1976), «Жизнь человека» (1979), «Телесные повреждения» (1981), «История служанки» (1985).

И. ПРОХОРОВА

[1] George Woodcock. The World of Canadian Writing. Vancouver, Univ. of Washington Press, 1980, p. 21.

ВЕЛИЧИЕ И ТРАГИЗМ ХУДОЖНИКА

Шарль-Фердинан Рамю. Если солнце не взойдет. Дерборанс. Савойский парень. Составление и вступительная статья В. Большакова. Москва, «Художественная литература», 1985.

Если спросить, что такое романдская литература, то есть швейцарская литература на французском языке, то в ответ мы услышим, что в прошлом веке на русский язык переводились книги женевца Родольфа Тёпфера, а в начале нынешнего — психологические романы давно забытого Эдуарда Рода. Люди пожилые могут припомнить, что в 20-е годы они читали переводы небольших романов Ш.-Ф. Рамю «Алина» и «Преследуемый Жан-Люк», а меломаны добавят, что тот же Рамю написал текст «Истории о солдате», ставшей знаменитой благодаря музыке Игоря Стравинского. Не много для целой литературы на таком огромном историческом отрезке. Особенно заметно зияние в XX веке, и виновата в этом не столько наша нелюбознательность, сколько сама романдская литература — замкнутая в своих местных проблемах. Исключение составляет лишь Шарль-Фердинан Рамю (1878—1947) — одинокая вершина на довольно унылом фоне морализаторства и психологизирования. И. И. Анисимов, высоко ценивший швейцарского писателя, назвал его «яркой, крайне своеобразной и глубоко значительной фигурой западноевропейской литературы XX века»,

художником, значение которого выяснено еще далеко не в полной мере.

Это говорилось в 60-е годы, с тех пор критическое осмысление наследия Рамю заметно продвинулось вперед, но и сегодня можно услышать о нем самые разноречивые суждения. Одни видят в нем крупного художника-реалиста, в глазах других он певец романдской самобытности, регионалист, третьи — особенно в последнее время — тщатся доказать, что его место в одном ряду с такими писателями-модернистами, как Андре Жид, Поль Валери или Сэмюел Беккет. Знакомство с тремя зрелыми романами Рамю, впервые переведенными на русский язык, позволит советскому читателю самому решить, кто прав в этом затянувшемся споре.

Рамю был поэтом, новеллистом, эссеистом, но прежде всего выдающимся мастером романа. Именно в этом жанре в полной мере раскрылся его талант наблюдателя и стилиста, «строителя языка», умевшего соединять прошлое и настоящее, описание и лирическую интенсивность переживания, «незамысловатость» изложения и высшую сложность адекватного воплощения действительности в слове. Он стал творцом романа особого типа — «романдского романа», опирающегося на стремление создать синтетическую модель мира не из многообразных проявлений повседневной жизни, а, так сказать, из элементарных частиц бытия. Его интересовали простейшие реакции «естественного», не испорченного цивилизацией человека, потому что в элементарном, первоначальном, по его мнению, четче просматриваются контуры всеобщего.

Центр художественной вселенной Рамю — не Швейцария и даже не французская Швейцария, а только кантон Во. Писатель считал себя водуазцем, уроженцем и патриотом «маленького уголка земли, очень древней и очень своеобразной», и только потом романдцем и швейцарцем. К согражданам из немецкоязычных кантонов он относился с подозрением, в алеманнском большинстве видел угрозу водуазской самобытности, любая форма сближения германского и романского элементов — особенно в 30—40-е годы — казалась ему уступкой пангерманизму.

Но и Франция не была для него родиной. «Мы разделены не только политически, но и геологически»,— писал он парижскому издателю Грассе, не без гордости отмечая, что водуазцы никогда не были подданными французских королей, что они шли своим путем не только в сфере политики, но и в сфере искусства. И настаивал на своем праве писать как считал нужным, «по-водуазски», нередко противореча нормам и правилам академического французского языка.

В том, что Рамю на время попал в разряд областников, есть доля его собственной вины, но от психологии и методологии областничества он был бесконечно далек. Строем и тональностью своих произведений Рамю способствовал не только осознанию и приумножению своеобычности романдской литературы, но и преодолению ее затянувшейся на века провинциальной замкнутости.

Складываясь как художник (сначала в Париже, где он «познал самого себя», а потом и в Швейцарии), Рамю отталкивается от всего, что уже было, что не является творческим актом. Его главная забота — преодоление натуралистической описательности, углубление и обогащение возможностей реалистического искусства. Его принцип: чем поэтичнее, тем точнее. Он создает не копию, а поэтически преображенный образ реального мира. Точность, которой он добивается, особого рода: это не точность деталей, а точность стиля, обнажающая суть вещей.

В книгах Рамю преобладает трагическое мироощущение, которое вырастает из противоречия между потребностью человека в величии и трагизмом разобщенности. Противоречие это — источник драматического напряжения его романов, двигатель сюжета. Возвеличить для Рамю не означало привести героя к славе, богатству или власти. Возвеличить — значит утолить от века живущую в человеке жажду единения с природой и с людьми. А это очень непросто. Не случайно в его романах часто происходят катастрофы, торжествует смерть. Иначе и быть не может: человеку трудно выжить, сражаясь в одиночку с суровой природой или с инертным окружением. Он или погибает, или приспосабливается, что тоже означает гибель личности.

В романах Рамю воссозданы обусловленность человека внешними и внутренними силами, его борьба с гнетущей безысходностью одиночества, его порыв, чаще всего обреченный на крах, к полноте и осмысленности деятельного бытия, которое, собственно, и означает величие. Таков «савойский парень» Жозеф Жаке, свихнувшийся на разладе между идеалом и реальностью. Вечно недовольный собой и окружением, Жаке ищет абсолютную истину и красоту. «Где то, что пребудет вечно, а не временно?» — задает вопрос савойский парень и страдает оттого, что не может получить внятного ответа. Он понимает, что погоня за поразившей его воображение «неземной» танцовщицей из бродячего цирка — тщета и безрассудство, но потребность простора, величия и красоты, живущая в душе Жаке, толкает его на необдуманные поступки и в конце концов приводит к гибели.

Мечтатель Жозеф, страдающий от узости жизненного пространства и несовершенства мира,— типичнейший герой Рамю. Он из породы цельных, не ведающих компромиссов натур, которые писатель ставил на одну ступень с королями Расина. Герои Рамю способны на высокие порывы, никогда не поступаются своими убеждениями и, пока живы, противостоят напору жестокой реальности, даже в поражении и смерти сохраняя человеческое достоинство. Стойкость и неуступчивость придают им черты подлинного трагизма. Примечательно, что среди них нет ни одного собственника, карьериста, буржуа, никого, кто жил бы в согласии с существующим миропорядком.

Однако, повествуя о событиях глубоко трагичных, Рамю никогда не оставал в позу вселенского отрицателя. Жизнеутверждающим аккордом заканчивается даже такой мрачный роман, как «Дерборанс»,—

эпический сказ о единоборстве человека с могучими стихиями и его трудной победе в этом единоборстве.

Еще одна особенность: романы Рамю сродни эпическим поэмам. Писатель до бесконечности варьирует возможности несобственно прямой речи, создает особый механизм для передачи напряженного течения коллективной мысли, прибегая к наплывам затемнениям, сменам ракурсов и другим приемам, хорошо известным в кино Иногда в действие вторгаются силы, на первый взгляд недоступные рациональному пониманию («Царство злого духа»). Но необъяснимое, сверхъестественное у Рамю — не тяга к оккультизму, а способ создания поэтической атмосферы, восстановления утраченных связей человека с природой, с Вселенной. Пытаясь избавить своих героев от трагизма одиночества, он приобщал их к единству мира с помощью мифа.

Отголоски языческого мифа о поклонении солнцу слышны в романе «Если солнце не взойдет» (1937). Роман — настоящий гимн жизни, свету, надежде, несгибаемости человеческого духа, свободного от искусов стяжательства. В нем рассказано о том, как несколько жителей горной деревушки отправляются навстречу припоздневшемуся солнцу, чтобы избавить от страха односельчан, запуганных незадачливым колдуном, который «спутал себя с солнцем» и предсказал, что после его смерти светило больше не взойдет. Но солнце встает, и поднявшиеся высоко в горы смельчаки ружейным салютом и звуками рожка приветствуют рождение нового дня.

Жизнелюбие трагического поэта было не эпизодом, а сквозной приметой творчества Рамю. Недаром, размышляя о судьбе порабощенной нацистами Франции, он в грозном для всей Европы 1940 году написал пророчески светлые слова: «Я присутствую при схватке жизни со смертью и снова вижу, что жизнь сильнее смерти... Смерть давит сверху вниз, жизнь растет снизу вверх. Она прорастает сквозь смерть и в конце концов заглушает ее». В этих словах — и мироощущение художника-гуманиста, и его отношение к нацизму, который уподобляется смерти, и основы его эстетики, реалистической и жизнеутверждающей по своей сути.

Из нейтральной Швейцарии, затаившейся в ожидании гитлеровской экспансии, Рамю внимательно следил за эпохальным противостоянием сил добра и зла, жизни и смерти, и его симпатии были ясны всем. Несколько ранее, в публицистической книге «Потребность величия» (1937), он писал: «Коммунизм противопоставляет сейчас христианской мифологии миф о Геркулесе... Христианство основано на отчаянии; коммунизм, который не что иное, как форма интегрального гуманизма,— на противоположности отчаяния, на вере. Гуманизм, зародившийся в Италии XV века, только теперь начинает всесторонне воплощаться в жизнь».

Разумеется, в книге встречаются и другие суждения, свидетельствующие об ограниченности мировоззрения писателя, но не они определяют пафос его творчества. Куда важнее то, что реальное воплощение взыскуемого величия он связывал с социальной действительностью нашей страны.

Книга Рамю кончается печальным аккордом: он признается, что не знает, как достичь величия в маленькой стране, где великим мыслям тесно, где все «антиреволюционно». Это признание исполнено глубокого трагизма, ибо принадлежит писателю жизнелюбивому и бескомпромиссному, наделенному неутолимой жаждой возвеличения человека. Но, как писал И. И. Анисимов, «творчество Рамю привлекает нас не только тем, что в нем достигнуты великие результаты, но и тем, что в нем не достигнуто, что в нем осталось неосуществленным, как бы завещанием».

В. СЕДЕЛЬНИК

Издано за рубежом

ЧЕЛОВЕК В СОЮЗЕ С ЗЕЛЕНОЙ ТРАВОЙ

Jean Cayrol. L'homme dans le retroviseur. Paris, Editions du Seuil, 1981. Un mot d'auteur. Paris, Editions du Seuil, 1983. Poèmes Clefs. Paris, Editions du Seuil, 1985.

Жан Кейроль. Человек в автозеркале, 1981. Авторское слово, 1983. Стихи-ключи, 1985.

Судьба Жана Кейроля сложилась так, что ему довелось стать свидетелем и участником важнейших событий эпохи. «Счастливое буржуазное детство» на берегу моря в Бордо затем было омрачено первой мировой войной; годы учения в университете на факультетах филологии и права; вторая мировая война, служба во флоте в период «странной войны», участие в Сопротивлении, арест и Маутхаузен, наконец, Освобождение. Писательская и редакторская деятельность в крупном парижском издательстве «Сёй», работа в кино и на радио...

Мориак первым отметил одаренного юношу. Романтически приподнятая лирика Кейроля 30-х годов уступила место напряженным и драматическим стихотворениям военных лет, «написанным на стене» одиночной камеры тюрьмы Френ и в бараке смертников Маутхаузена.

Один из немногих «воскресших из мертвых», Кейроль остался верен трагическому опыту войны, во многом определяющему его творчество Высоко оценивая нравственные уроки героизма и мужества, преподанные участниками Сопротивления и

узниками концлагерей, Кейроль убежден: «человек более велик, чем то, что его убивает», «обыкновенный человек» — это и есть самое необыкновенное». Обратившись после войны к жанру романа, Кейроль попытался воплотить свое понимание судьбы человека в современном мире.

Один из его героев, 24-летний Арман, оказавшийся узником концлагеря, после возвращения не может обрести своего места в послевоенной действительности. Жизнь его и таких, как он, оплаченная самой дорогой ценой, оказывается, «весит не больше перышка» в глазах общества. Жизненный путь Армана — разочарование и нереализованные возможности.

С обостренной чуткостью Кейроль реагирует на все, что угнетает людей, мешает им «развиться», «расцвести», «сделать свой выбор». Удел современного человека, каким он предстает в романах Кейроля 50—60-х годов,— отчуждение, одиночество, невозможность быть хозяином своей судьбы, обрекающей его «претерпевать жизнь, не принимая ее причин и следствий» Фашистских лагерей смерти больше нет, но «дух Концентрационата» жив под масками эксплуатации, классового гнета, расизма, шовинизма, терроризма. «Концентрационную повседневность» капиталистического мира, явленную в программном эссе «Лазарь среди нас» (1950), писатель ощущает в фальшивом благополучии «карамельного мира». Искусственному миру механической цивилизации Кейроль — «еретик Святого потребления» — противопоставляет естественную жизнь на лоне природы, где «каждая травинка — росток правды». Так появляются одна за другой «История луга» (1969), «История пустыни» (1972), «История моря» (1973), «История леса» (1975), «История неба» (1979). Фантастика становится в «Историях..» ведущим элементом поэтики. «Человек — первое разумное растение земного сада, у которого есть все», его жизнь оказывается полна повседневных чудес. Природа играет роль гармонического начала, она восстанавливает то, что разрушает человек. Однако реальные проблемы и беды вторгаются в поэтическую утопию, разрушая ее Вот Жерому («История леса») встречается в лесу любимый герой сказки Перро Рике-Хохолок. Что же он говорит Жерому? «Ничего больше не осталось; дурацкая бомба разбила печи, все мои помощники убиты Здесь кладбище, а впереди следы пожара, обугленные ветки. Лес подожгли солдаты, а потом какие-то штатские. — Рике плакал, рука у него была забинтована. — Если бы ты знал, что такое человек, умирающий с голоду, я-то видел таких... Я отдал ему последний кусок хлеба»

В остросатирическом романе «Человек в автозеркале» (1981) Кейроль использует характерный прием коллажа, который можно было бы назвать «оптикой» автотуриста Если раньше писатель, говоря словами Стендаля, проносил по дороге жизни зеркало, то теперь он сидит за рулем машины, его взгляд выхватывает лишь отдельные предметы из проносящегося мимо пейзажа. Повествование распадается на фрагменты, которые в восприятии читателя должны сложиться в целостную картину.

Герой романа, 30-летний Гаспар, незаметный и скромный помощник лавочника, живет уныло и однообразно. Автор относится с большой симпатией к «честному малому» и для того, чтобы скрасить его серые будни, предлагает Гаспару принять участие во многих забавных, а часто и опасных приключениях, которые затем будут описаны в книге: «И вот однажды, не знаю, что с нами случилось; и ему и мне не нравилась эта посредственная жизнь, нам хотелось уважения, непредвиденных событий, игры случая и даже риска». Гаспар попеременно становится Миллионером, Пророком, Ковбоем, оказывается в раю, на войне, занимается политикой, но конец каждой из эпопей один и тот же — Гаспар спешит на работу, чтобы вовремя открыть двери хозяйской лавки Фантастика, условность нужны писателю для того, чтобы коснуться возможностей, заложенных в его современнике Вывод писателя оптимистичен: самый заурядный и незначительный с точки зрения общества человек, оказывается, наделен доброй и щедрой душой, способностью мечтать. Кейролю дорога в его герое способность сочувствовать ближнему, ощущать красоту природы. Как бы ни было ему трудно, он всегда заметит молодую крапиву у дороги, цепь снежных гор вдали. В «зеркале» романа Кейроля отразился сегодняшний Человек, достойный, по мнению автора, лучшей участи. Отразился и мир, в котором он живет, нарисованный яркими сатирическими красками.

Кейроль остается верен творческому кредо, сформулированному 40 лет назад: «Я за литературу милосердную, спасающую человека» («Лазарь среди нас»). В чем же спасение? В самом человеке, в гаспарах, ведь он, — «я, вы, ваше отражение... мой товарищ, мой больше чем брат, мой двойник...», в сохранении им человеческого достоинства и живой души, в противостоянии буржуазному миропорядку.

В повести-пародии «Авторское слово» (1983) явственно проступает второй, символический, план, ибо Жан Кейроль — художник, образы которого всегда обладают многозначностью, и книги его могут быть прочитаны как притчи. И тогда повесть Кейроля рассказывает уже не о злоключениях некоего Голо, а о вечной и всегда новой проблеме взаимоотношения Искусства и Жизни. Художник, признающий только власть воображения, равнодушный к окружающему миру, по мнению Кейроля, подобен ветру сирокко, рожденному пустыней и опаляющему своим горячим дыханием зелень жизни. Можно сколько угодно создавать «прекрасную, сверкающую пустыню, более грандиозную, чем Калахари или Гоби», с оазисами и цветущими финиковыми пальмами, с миражами и животными, но даже 10 лет усилий не сделают ее подходящей для человека, всегда она останется враждебной, негостеприимной и, изнемогая от ее палящего зноя, человек будет мечтать о «дождичке в Турени» и глотке живой воды. «Пора покончить с пустыней,— думает Голо. — Пусть растет трава. И дети пляшут под дождем, истомившиеся от жажды лягушата». Нет ничего в искусстве драгоценнее жизни, ее

движения, полноты, многообразия, красоты и бесконечности. Как же ощутить жизнь во всей ее полноте, стать ее художником? Для этого, считает Кейроль, не обязательно «воспроизводить реальность с натуры», «утомляя» читателя банальными подробностями. Гораздо важнее уметь ясно и бегло передать впечатление от дуновения ветра, полета ласточек, синевы неба. Голо открывает окно и погружает лицо в мягкую ночь, под мелкий дождик. А из-под пера сами собой ложатся на бумагу поэтические строки: «Как прекрасно согласие природы и человека, умерившего в себе всякую жестокость!.. Луна как круглое желтое зерно, и вокруг нее прорастают неисчислимые звезды... Она стоит в дозоре... хрупкий символ, идеал здесь еще гармония...»

Сборник «Стихи-ключи» (1985) открывается «Прологом», где Кейроль формулирует основные принципы своей поэзии. Поэт — дозорный, он все время «начеку». Он первым предупредит мир о грозящей опасности. Опасность же реально существует: это угроза ядерной, более того — космической, войны, которая, «обретя невесомость, поднимается в небо». Поэзия — «высшая защита человека» — путь к взаимопониманию между людьми и народами, «ведь иначе примирение наступит только в общей могиле». Кейроль настаивает на общественном призвании поэта — поэзия должна быть «нитью Ариадны». На страницах сборника оживают образы далекого детства, воспоминания о родном Бордо, об улице, на которой прошли его детство и юность. «Ключ» поэзии открывает двери воспоминаний о второй мировой войне и трех годах, проведенных поэтом в тюрьме и концентрационном лагере: «В своей памяти я всегда возвращаюсь к войне / она скалит зубы, ухмыляется...» Поэт вспоминает о «своей битве, она была негромкой, нам приходилось молчать, мучительно умирая», «нас убивали продуманно», «у нас было слабое сердце, но невозможно было исчерпать его сил». Кейроль убежден, что «нужно помнить о былых временах, чтобы понять настоящее». Человек страдавший, видевший много жестокости и зла, Кейроль не утратил сочувствия к человеку и удесятеренной ненавистью ненавидит насилие.

Призрак войны и сегодня главная опасность, о которой поэт-дозорный не устает напоминать миру, где «гранаты стали игрушками детей», «солнце потемнело, / и в воздухе стоит отвратительный запах фосфора и хлора». Стихи-«ключи» должны быть «смелы до безрассудства», а каждая строка — копьем, поражающим тех, кто «раздувает паруса ладьи Харона».

Миру насилия и угнетения Кейроль противопоставляет гармонию и красоту природы. «Необходимо вернуть мир тому, что составляет его прелесть,— говорит поэт.— Наше спасение в приходе лета, мы мечтаем о солнце, которое не кончалось бы». Кейроль убежден, что у современного человека есть все для счастья, ему в обладание дан прекрасный мир, и человек в союзе с зеленой травой должен его спасти.

М. АРИАС

В ЧАС ИСПЫТАНИЙ — С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

Janke K. H. In einer Front. Junge Deutsche an der Seite der Sowjetunion im Grossen Vaterländischen Krieg. Berlin, Militärverlag, 1986.

Янке К. Х. В едином строю. Немецкая молодежь на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне. 1986.

Т. Манн, выступая по лондонскому радио в 1943 году, произнес в честь казненных членов организации «Белая роза» следующие слова: «Вы не должны умереть напрасно, не должны быть забыты. Нацисты поставили памятники мерзким хулиганам, подлым убийцам — немецкая революция, настоящая, сметет их и увековечит ваши имена...» Сказанное с полным правом может быть отнесено ко всем юным представителям Германии, боровшимся против гитлеровского режима в 1941—1945 годах. Рассказать о героической деятельности хотя бы некоторых из них — такова задача автора монографии. «В то время как основная масса немецкого народа, введенная в заблуждение Гитлером,— отмечает он во вступлении,— вела войну против Советской страны, находились патриоты, самоотверженно боровшиеся против фашизма».

В книге приводится ряд случаев перехода солдат вермахта на сторону Красной Армии уже в начальный период войны. Бо́льшая часть из них просто не хотела умирать ради сомнительных идеалов нацизма, но были и такие, кто видел долг в бескомпромиссной борьбе с агрессором.

Показательна биография добровольно сдавшегося в июле 1941 года Г. Кеслера. Оказавшись в лагере под Карагандой, он становится активным участником Национального комитета «Свободная Германия» и проводит огромную работу, готовя радиопередачи и листовки для немецких солдат. «Не умереть за Гитлера, но жить за Германию!» — этот призыв стал своеобразным девизом агитации, приобретавшей все больший размах.

Типичен жизненный путь и другого перебежчика — ефрейтора Э. Кучеры. Накануне 22 июня под обстрелом он переплывает Неман. «Не стреляйте! Я коммунист!» — были первые слова, которые услышали пограничники. Он хотел предупредить наши части о готовящемся вторжении. В течение всех военных лет Э. Кучера действовал как разведчик в тылу противника.

В монографии рассказывается о совместных выступлениях советских военнопленных с немецкими антифашистами против нацистских властей, например, о замученной в Равенсбрюке Вере Снисаренко и бесстрашном подпольщике Бухенвальда Евгении Кирше.

Деятельное участие в борьбе с фашистами приняли также жившие в СССР эмигранты, члены ГКП. К ним примыкало и новое поколение: их выросшие здесь дети, равно как и бежавшие из Германии активисты

Коммунистического союза молодежи Германии. «Каждое сообщение об оставленном городе, — писал тогда жене коммунист А. Хеслер, — области, сданной нашими войсками, для меня как нож в сердце... Я и мои товарищи горим желанием скорее попасть на фронт... скорее смыть это позорное пятно...»

Большинство этих немецких юношей и девушек сразу заявило о готовности сражаться за свою вторую родину. Засылается по заданию партии в Берлин для связи с группой Шульце-Бойзен А. Хеслер. В 1942 году он, как и остальные ее участники, геройски погиб.

Часть записавшихся добровольцев попала в специальный разведотряд, возглавляемый Артуром Карловичем Строгиусом. Выполняя боевое задание, пал смертью храбрых участник отряда К. Реммплинг, воспитанник интернационального детского дома в Иванове.

Лучшая часть немецкой молодежи продолжала вести борьбу и в Германии. Еще в период подготовки войны против СССР в Берлине действовала под руководством партии подпольная ячейка, разоблачавшая в листовках экспансионистский характер гитлеровской внешней политики. Со страстными призывами к сопротивлению выступила после битвы под Сталинградом студенческая организация в Мюнхене «Белая роза» [1].

Славную страницу в историю антифашистской борьбы вписала отважная группа Шульце-Бойзен. За короткий срок своего существования она успела передать советскому командованию исключительно ценную информацию [2]. В ее рядах находились и совсем юные участники — радист Г. Коппи и его жена

Против третьего рейха боролись и одиночки, на свой страх и риск пытавшиеся противостоять нацизму. Это отец и сын Риттеры, казненные в 1942 году.

Особое место среди немецких борцов с фашизмом занимают бывшие немецкие военнопленные. Кропотливая работа, проводимая советскими офицерами и коммунистами во главе с В. Пиком и В. Ульбрихтом, не могла не принести плодов. Недавние захватчики постепенно начинали осознавать всю меру ответственности за совершенные преступления, и часть их выражала желание искупить вину с оружием в руках.

В этом смысле характерны приводимые биографии Г. Г. Шрётера и Ф. Шефлера. Воспитанные в национал-социалистском духе, они были обычными представителями младшего командного состава. Первым толчком к прозрению послужил для них сам факт, что их, вопреки геббельсовской пропаганде, не расстреляли при взятии в плен. Беседы и занятия в лагере сделали обоих убежденными противниками гитлеризма. В дальнейшем Г. Г. Шрётер храбро воевал в рядах партизан на Украине, а Ф. Шефлер распространял листовки в тылу оккупационных войск в Белоруссии.

В совместных действиях против вражеских сил выковывались основы будущего единства и дружбы.

Труд К. Х. Янке возрождает для нас судьбы многих мало или даже совсем не известных героев. Исследуя историю молодежного антифашистского движения в Германии [1], автор обнаружил новые материалы. Помимо немецкоязычной литературы он использовал документы Центрального партийного архива при ЦК СЕПГ в Берлине, Архива ЦК ВЛКСМ в Москве, Архива истории немецкого Сопротивления во Франфурте-на-Мэйне. Нельзя не упомянуть при этом о редких фотографиях, собранных автором

В стремлении объять как можно больше материала он, естественно, был вынужден быть кратким. Поэтому повествование получается подчас неполным: не оправданно, например, отсутствие раздела о Герое Советского Союза Фрице Шменкеле Кроме того, значительная часть материала, которым располагает К. Х. Янке, осталась еще неиспользованной, и автору можно пожелать дальнейшей разработки темы.

А. СОРОКИН

ДОЧЬ ОБ ОТЦЕ

Susan Cheever. Home Before Dark A Biographical Memoir of John Cheever by His Daughter. New York, 1985.

Сьюзен Чивер. Домой, пока не стемнело. 1985.

Когда из жизни уходит большой художник, люди, знавшие его, пишут воспоминания. Иногда это собратья по перу, профессиональные писатели, иногда родственники, чаще всего — дети. Воспоминания писателей интересны в чтении, поскольку авторы их обладают профессиональной наблюдательностью и литературным мастерством. Мемуары родственников, как правило, скучновато написаны, но тоже по-своему интересны, ибо содержат информацию о чисто человеческих, «домашних» аспектах жизни покойного о тех чертах характера, которые он старательно прятал от сторонних глаз.

В этом смысле Джону Чиверу, можно сказать, повезло. Первую книгу воспоминаний о нем написала его дочь Сьюзен, автор трех романов и значительного количества журнальных публикаций. Она знала и понимала своего отца лучше, чем другие, может быть потому, что их связывали не только родственные узы, но и литературные интересы.

Жанр книги Сьюзен Чивер трудно поддается определению. Автор выступает то

---

[1] См. подробнее: Л. С. Бланк. Неонацизм — реваншизм. Мифы «психологической войны». М., «Мысль», 1985, с. 182 и сл.

[2] В нашей литературе ей посвящена содержательная книга Ю. Р. Королькова «Где-то в Германии. Документальная повесть». М., Политиздат 1971.

[1] Karl Heinz Jahnke. Jungkommunisten im Widerstandskamp gegen den Hitlerfaschismus. Berlin, Verlag Neues Leben, 1971 («Юные коммунисты в борьбе участников движения Сопротивления»).

как биограф, критик, журналист, психолог, то просто как дочь, вспоминающая об отце. Материал книги не ограничен собственно воспоминаниями. Читатель найдет здесь генеалогию и семейную историю «клана» Чиверов, материалы чисто биографического порядка, сведения о происхождении некоторых сюжетов чиверовских рассказов, информацию о литературном быте Америки, описание отношений Чивера с издателями, редакторами и критиками, воспроизведение семейной атмосферы дома Чиверов и т. д. Но главное место в книге занимает психологический портрет Джона Чивера — писателя и человека. Созданию этого портрета подчинены все аспекты повествования, включая саму структуру книги, главы которой на первый взгляд не всегда достаточно логично «стыкуются» друг с другом.

Сьюзен Чивер широко использует весь доступный ей материал: переписку членов семьи и друзей Чивера, журнальные статьи и газетные рецензии, беседы с сотрудниками журналов, где печатался Чивер, монографию Л. Уолделенд, вышедшую еще при жизни писателя, всякого рода интервью (в том числе и магнитофонные записи интервью, которое она сама брала у отца, будучи сотрудницей журнала «Ньюсуик»). Особое место среди всех этих материалов занимают дневники Чивера — сотни машинописных страниц, заполненных размышлениями, воспоминаниями, заметками, набросками сюжетов и характеров, самоанализом и анализом разномасштабных событий, от семейных до национальных и глобальных. Эти дневники обильно цитируются в книге, что служит к ее украшению. Не желая нисколько умалить литературное дарование Сьюзен Чивер, заметим все же, что талант ее отца был значительнее. Так, например многие страницы книги, отданные под описание рода Чиверов и «чиверовского характера», не в состоянии перекрыть краткой и емкой характеристики, заимствованной из дневников:

«Все Чиверы были мастера удаляться в негодовании. Когда я вспоминаю наше семейство, я всегда вижу спины Чиверов. Они постоянно удалялись в негодовании... Тяжело топая, они покидали концерты, спортивные состязания, театры: «Неужто Кусевицкий думает, что я стану слушать это!», «Судья — жулик, он подсуживает», «Пьеса просто неприлична», «Мне не нравится, как этот официант посмотрел на меня». Чиверы почти ничего не досмотрели до конца. Вспоминая Чиверов, я вижу, как они направляются к выходу».

Задача создать психологический портрет Чивера содержит неисчислимые трудности. Они проистекают прежде всего из сложности самого объекта изображения. Тех, кто знал Чивера, всегда поражало в нем соединение черт, казалось бы, несоединимых. Он был мягок, деликатен, уступчив, даже застенчив и в то же время несокрушимо тверд в своих убеждениях. Он никому их не навязывал, не пропагандировал, не вербовал сторонников. Он даже не отстаивал их в спорах. Но сдвинуть его с избранной позиции было невозможно.

Жизнь Чивера была непрерывной борьбой. Ничто не давалось ему легко. И может быть, самой трудной была борьба с самим собой. Он побеждал себя, но ценой каких жертв — знал только он сам и, вероятно, самые близкие ему люди, которые, впрочем, не всегда понимали смысла этой борьбы, что нередко вело к внутрисемейным конфликтам.

Еще одна сложность была связана с тем, что в американской критике и журналистике сложился довольно устойчивый «паблик имидж» Чивера — этакого аристократа-землевладельца. Журналисты писали о его охотничьих собаках, фешенебельном поместье, его слугах и верховых лошадях. Сам Чивер охотно поддерживал легенду, демонстрируя манеры и обхождение, свидетельствующие о воспитании и богатстве. На самом деле не было у него ни аристократического воспитания, ни богатства, ни слуг, ни охотничьих собак, ни фешенебельного поместья. Большая часть жизни Чивера прошла в абсолютной или относительной бедности, и собственный дом (нисколько не фешенебельный) появился у него лишь в 1960 году.

Сьюзен Чивер удалось, как нам кажется, осуществить поставленную задачу. Она сумела сломать привычный стереотип и показать читателю подлинного Чивера, с его метаниями, сомнениями, внутренней борьбой, его успехами и поражениями, его силой и слабостью. Портрет писателя, созданный ею, написан с любовью и болью, с теплым юмором и отчасти с той снисходительной иронией, которая обычно характеризует отношение детей к родителям и не препятствует любви и уважению.

Есть, однако, в книге Сьюзен Чивер и нечто такое, что мешает считать ее стопроцентной удачей. В ее повествовании легко обнаруживается влияние классического психоанализа, неофрейдизма, биографического и психобиографического методов в интерпретации жизни и творчества Чивера. Внутренний мир его представлен в книге как мир, ограниченный в основном рамками семейных и деловых отношений. Чрезмерное внимание уделено его взаимоотношениям с родителями и ближайшими родственниками, зато полностью игнорируется его позиция относительно жгучих проблем национальной жизни, которые, как видно по произведениям Чивера, глубоко его волновали. Отсюда неизбежно следует несколько узкая трактовка его творческих замыслов и недооценка философских обобщений в его рассказах и романах.

Сошлемся на один только пример. В конце восьмой главы Сьюзен Чивер рассказывает о том, как, будучи четырнадцатилетней девочкой, она возвращалась с отцом из гостей, и при переезде через мост Чивер, который вел машину, вдруг побледнел и едва не потерял контроль над собой. Известно, что этот эпизод послужил сюжетной основой для рассказа «Ангел на мосту», написанного много лет спустя. В рассказе Чивер недвусмысленно дает понять читателю, что дело не в данном, конкретном случае и вообще не в мостах. «Я чувствовал,— пишет он,— что мой ужас перед мостами был неловко скрываемым ужасом перед тем, во что превращается мир». Очевидно, что «страх перед мостами» — метафорическое воплощение ужаса перед будущим мира, неизбежно вырастающим из совре-

менной ему жизни. Однако принятый метод побуждает Сьюзен Чивер снизить масштабы метафорического обобщения до негодования, вызываемого заменой деревенских проселков шоссейными дорогами и т. п.

Всякий, читавший Чивера, знает, что в его произведениях за конкретной ситуацией всегда стоит нечто большее чем факт. Эмпирический опыт у него, как правило, возвышается до воплощения современного американского сознания. К сожалению, Сьюзен Чивер упустила эту сторону дела и тем значительно обеднила свой труд.

Неприятное чувство вызывают главы, посвященные алкоголизму Чивера и его предполагаемым гомосексуальным склонностям. Как справедливо заметил один американский критик, всякий выдающийся человек, даже если он уже умер, имеет право на сугубо личную «жизненную сферу», которой не должны касаться чужие взоры ни при его жизни, ни после его смерти.

Сьюзен Чивер удачно назвала свою книгу — «Домой, пока не стемнело». Название выросло из эпизода, о котором сам Чивер любил рассказывать, видя в нем глубокий смысл. Однажды вечером, после длинного летнего дня, заполненного утомительной работой, писатель вышел из дома и остановился под вязом, росшим возле крыльца. Его маленький сын Фред возвращался после игр с приятелями. Он тоже устал. Увидев отца, он бросился к нему и воскликнул: «Я хочу домой, папа! Я хочу домой!» Конечно же он был дома, в нескольких шагах от двери. Но это было неважно. «Мы все хотим домой,— говорил Чивер, рассказывая эту историю.— Все».

Чивером постоянно владело чувство бездомности. Оно хорошо передано в книге его дочери, но не получило вполне удовлетворительного объяснения. Тут ведь дело не только в биографических обстоятельствах или в личности писателя. «Комплекс бездомности» образует основную психологическую доминанту в художественном мире Чивера и, бесспорно, имеет социальную природу. Сьюзен Чивер не захотела или не сумела ее увидеть, о чем можно, конечно, только пожалеть, ибо здесь скрыта глубинная связь сознания Чивера с сознанием его соотечественников, современных американцев.

Ю. КОВАЛЕВ

◆

Из месяца в месяц

Ангола

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ НОМА

Впервые за семилетнюю историю существования премии ее завоевал поэт, известный ангольский литератор Антониу Жасинту, участник национально-освободительного движения. Восемь лет провел он в одном из самых мрачных застенков салазаровского режима — тюрьме Таррафал. Стихи, написанные им в годы заточения и по следам пережитого, составили основу сборника, названного поэтом «Выжить в тюрьме Таррафал города Сантьяго» (см. «ИЛ», 1986, № 8). По мнению членов международного жюри, стихи А. Жасинту «отличает тонкий лиризм и совершенство формы».

Победа ангольского поэта в конкурсе особенно значительна, отмечает журнал «Африкэн бук паблишинг рекорд», поскольку одержана она в условиях большой конкуренции. В 1986 году в адрес комиссии по присуждению премии Нома пришло рекордное число заявок: 37 издательств из двадцати двух африканских стран представили на конкурс 108 книг. Это яркое свидетельство роста авторитета международной премии, фонд которой был учрежден в 1979 году основателем, а затем почетным президентом издательской фирмы «Коданся» (Япония), ныне покойным Сёити Номой. Премия присуждается художественным произведениям африканских авторов и монографическим исследованиям африканских ученых, опубликованным в Африке местными издательствами. Цель премии, вручаемой ежегодно,— способствовать развитию литературного и научного творчества, а также издательского дела в странах Африки.

Великобритания

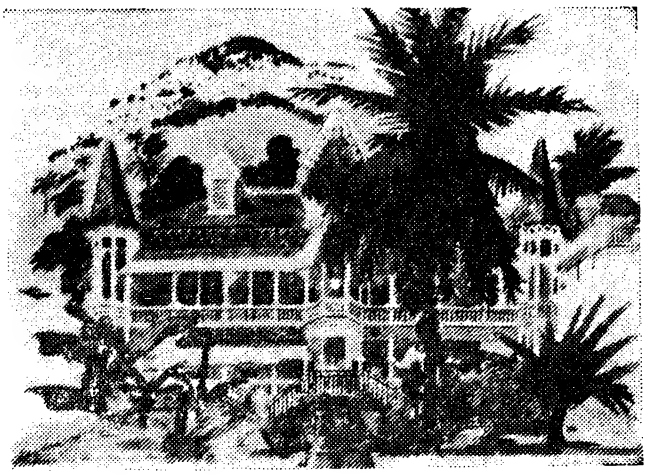
ПУТЕШЕСТВИЕ В «ГРИНЛАНДИЮ»

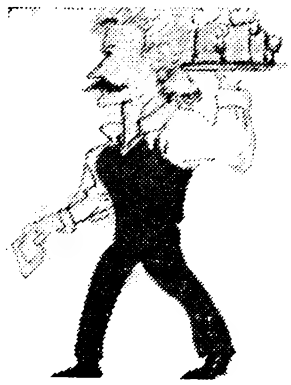
В галерее Фрэнсиса Кайла (Лондон) прошла выставка рисунков и акварелей известного английского живописца и графика, члена Королевской академии искусств Пола Хогарта (род. в 1917 г.), сообщает журнал «Ньюсуик». На ней были представлены 200 работ, созданных во время путешествия художника по «Гринландии» — «стране Грэма Грина, стране неприкаянных душ и бесплодных земель».

Замысел этот возник у П. Хогарта не случайно, отмечает обозреватель журнала Донна Фут, художник хорошо знает мир Грина, знает его героев — «явных неудачников», потому что иллюстрировал все двадцать четыре книги писателя, выходившие в издательстве «Пенгвин букс». Готовясь к поездке, Хогарт заново перечитал романы Грина и составил подробный маршрут, которому неукоснительно следовал. Пришлось проехать 50 тысяч миль, побывать в отдаленных уголках Африки, Центральной Америки, в странах Европы и Азии. Художник руководствовался признанием романиста о полной достоверности изо-

Рисунок П. Хогарта к роману «Комедианты».

(Журнал «Ньюсуик»)





На снимках: рисунки Пола Хогарта к романам Г. Грина «Третий человек», «Победитель получает все», «Тихий американец»

(Журнал «Ньюсуик»)

браженных им пейзажей, городских кварталов, даже отдельных домов. «Я никогда ничего не выдумываю, а только описываю»,— сказал как-то Грин. Так, продолжает Д. Фут, на старой карте Фритауна, столицы бывшей британской колонии Сьерра-Леоне, Хогарт отыскал улицы, где происходит действие романа «Суть дела» (1948), на Гаити сделал зарисовки Гранд-отеля «Олофсон» из «Комедиантов» (1966), в Аргентине — баррио, где отсиживался Фортнэм, главный герой «Почетного консула» (1973)...

Издательство «Пэвилион букс», финансировавшее это необычное путешествие, выпустило к выставке (Грэм Грин прибыл на ее открытие из французского города Антиба, где он постоянно живет) 20-тысячным тиражом альбом иллюстраций П. Хогарта. В предисловии к нему знаменитый английский прозаик написал: «Листая страницы этого альбома, я восхищаюсь и дерзким замыслом Пола Хогарта, и замечательным его воплощением».

ГДР

«КУКОЛЬНЫЙ КОРОЛЬ И Я»

Новый роман Армина Мюллера — известного прозаика, поэта и драматурга (см. «ИЛ», 1975, № 7; 1979, № 12 и 1980, № 5) — «Кукольный король и я» вышел в издательстве «Грайфенферлаг».

Главный герой романа — шестнадцатилетний юноша, один из тех, чью судьбу искалечил фашизм. Книга рассказывает о трудном пути этого рано повзрослевшего мальчика, попадающего из идиллической атмосферы, созданной в доме дедом-сказочником и кукольником, в страшный водоворот войны. Недолгое пребывание в Фольксштурме, лазарет, встречи с разными людьми, дружба со сверстником — поляком Сташеком, скитающимся по военным дорогам 1945 года, формируют мировоззрение героя, его характер.

Как отмечают рецензенты, роман явно автобиографичен. Все, о чем пишет Армин Мюллер, им пережито и перечувствовано, а потому и трогает по-настоящему. «Среди многих автобиографических книг этот роман выделяется своей глубиной»,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». Он повествует об изменениях в человеческой психологии, о новых отношениях между людьми.

«Роман «Кукольный король и я» написан очень эмоционально, ярким, красочным языком,— отмечает газета «Берлинер цайтунг».— Суровый реализм сочетается в книге А. Мюллера с лиризмом и тонкой поэтичностью».

Знаменитая греческая актриса Ирена Папас, пишет журнал «Фильмшпигель», сыграет роль Кассандры в фильме, который снимается в Греции по одноименной книге Кристы Вольф (см. «ИЛ», 1986, № 1). Образ дочери троянского царя, наделенной даром трагического предвидения, близок предыдущим киноработам И. Папас, воплотившей на экране героинь древнегреческих трагедий — Электру, Клитемнестру, Антигону. На снимке: Ирена Папас — Кассандра.

(Журнал «Фильмшпигель»)

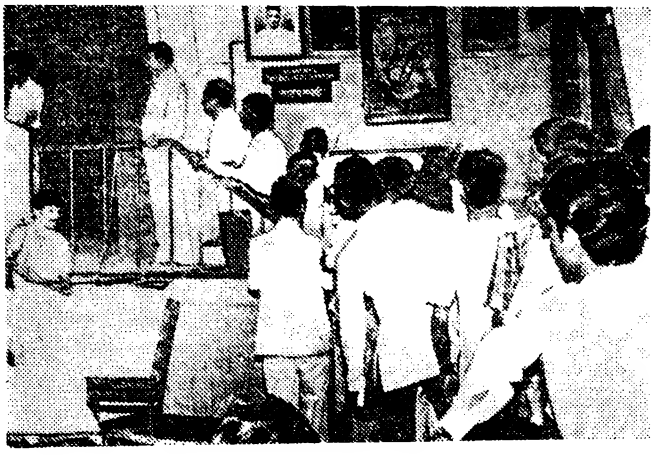
Индия

ФОРУМ ЛИТЕРАТУРЫ МАРАТХИ

Недавно в Бомбее, столице штата Махараштра, состоялась 60-я Всеиндийская конференция писателей маратхи. Литература маратхи, имеющая тысячелетнюю историю развития, является одной из самых ярких в многоцветье индийских литератур.

Конференция проводилась Союзом литераторов маратхи, президентом которого является известный прозаик — профессор Гангадхар Гадгил. Председателем конференции был избран 80-летний писатель Вишрам Беденкар. Как отмечает обозреватель газеты «Падва Пуравни» Сатиш Камат, присутствие патриарха маратхской литературы и кинематографа, автора первого в Индии антифашистского романа «Театр военных действий» (1939), лауреата премии Литературной академии Индии, привлекло к юбилейной конференции внимание всех читателей штата.

Характерной чертой литературных конференций маратхи, считает обозреватель, является участие в них не только писателей, но и читателей, что делает ат-



Очередь поэтов перед выступлением.

(Газета «Падва Пуранн»)

мосферу форума более живой, не формальной. Процедуры избрания делегатов не существует, для участия в конференции достаточно подать заявление и уплатить небольшой денежный взнос.

В рамках конференции работали семинары: «Проблемы деревенской литературы маратхи», «Телевидение и кинематограф — враги или друзья литературы?», «Сегодняшний театр и драматургия», «Вклад Бомбея в литературу маратхи», «Феминистская литература», «Основные направления в литературоведении маратхи», «Недостатки литературной периодики маратхи». Работали также семинары новеллистов и поэтов. Молодые поэты потребовали, чтобы право прочесть свои произведения было предоставлено каждому. В результате на поэтических семинарах выступило более 200 поэтов.

Ирландия

АНГЛО-ИРЛАНДСКИЕ РАССКАЗЫ УИЛЬЯМА ТРЕВОРА

Маститого писателя, члена Ирландской литературной академии Уильяма Тревора с равным основанием можно назвать как ирландским так и английским писателем Тревор родился в Ирландии, а в середине 50-х годов покинул родину и поселился в Лондоне. В его судьбе и в творчестве равны влияния двух враждующих культур, которые входят в общую историю двух народов. Об этом рассказывают многие страницы его книг. Жизнь англо-ирландских семей, смешанные браки, англича-не в Ирландии — темы глубоко трагические.

Им посвящен и новый сборник рассказов «Вести из Ирландии». Время действия — голодный 1847 год. «Тогда,— пишет рецензент «Таймс литерари саппльмент»,— вести из Ирландии были столь же неутешительными, как и нынче,— нищета и голод в деревнях, бессмысленные «акции» вроде столовых на колесах, никому не нужные работы для тех, кто еще держится на ногах».

Тревор пишет об одной из таких «акций» — о строительстве дороги вокруг города, на этом фоне и разворачиваются события рассказа. Чета Пульвертафтов получает наследство — особняк в ирландском городке — и поселяется в нем, пытаясь привыкнуть «к бедному, чудно́му, таинственному краю». Дворецкий Фогарти и молоденькая гувернантка Анна Мария становятся невольными свидетелями происходящего — Пульвертафты на первый взгляд лояльны, но Фогарти видит истинный смысл поступков новых хозяев. «Теперь не прошлое, а будущее должно пугать нас»,— пророчествует он. «Это,— подчеркивает рецензент,— типичное для Тревора столкновение правдолюбца-говоруна (Фогарти) с человеком, вынужденным его выслушивать».

Рецензент отмечает не только новеллу «Вести из Ирландии», но и рассказы «Девушки», «Свадьба в саду», «Еще два рыцаря», в которых, казалось бы, банальные сюжеты приобретают совершенно неожиданные повороты благодаря сатирическому дару автора. В «Девушках» Тревор повествует о дружбе двух романтических девиц, которую разрушает «прелестный юноша, обреченный на раннюю смерть»,— он старается обольстить подруг; в «Свадьбе в саду» рассказывает о любовной интрижке, которую заводит сын хозяина гостиницы с горничной,— интрижка вдруг приводит к драматической развязке...

В рассказе «Еще два рыцаря» писатель как бы продолжает во времени ситуацию, описанную Джойсом в рассказе «Два рыцаря» из его цикла «Дублинцы». У Тревора действие происходит в конце 50-х годов. Студент-филолог разыгрывает своего профессора, специалиста по творчеству Джойса, убеждая его, что героиня «Двух рыцарей» жива и отлично помнит, как «рассказывала мистеру Джойсу свою историю, которая потом попала в книгу». Для вящей убедительности студент уговаривает старую служанку «сыграть роль» девушки, за которой ухаживал герой Джойса Корли. «Прием литературы в литературе»,— пишет рецензент,— неожиданно получает здесь яркую юмористическую окраску».

«МЕФИСТОФЕЛЬ» ДЖОНА БЭНВИЛЛА

Героя нового романа известного ирландского прозаика Джона Бэнвилла (см. «ИЛ», 1986, № 9), как и героя романа «Берчвуд» (1973), принесшего писателю лавры лауреата Национальной ирландской премии, зовут Габриэлем. В романе «Мефистофель» Габриэль Свэн тоже ищет своего близнеца-брата, «растворившегося в воздухе при появлении на свет». Мотивы странствия, поиска, тема двойников, полифоничность романа, в котором реальное переплетается с символическим,— все эти особенности «Мефистофеля» не просто возвращают читателя к книге, посвященной трагическим страницам ирландской истории,— к «Берчвуду», но и дают английской критике основания говорить о «своем, особом художественном методе» Бэнвилла. Патриция Крэг в рецензии, опубликованной в «Таймс литерари саппльмент», так определила главную идею романа: «жажда гармонии, духовной цельности».

«Мефистофель» состоит из двух частей. В первой — «Марионетки» — описывается детство и юность Габриэля в маленьком ирландском городишке, весьма напоминающем Вексфорд, где прошло детство Бэнвилла. Перед читателем разворачивается картина жизни вырождающегося дворянского рода Эшбернов. Когда последний из них умирает, в поместье Эшбернов нежданно-негаданно появляются странные жильцы: похожий на чернокнижника мистер Касперль со своим толстенным фолиантом, глухонемая Софи с марионетками, рыжеволосый Феликс — Властелин хаоса. Увидев Габриэля,

Феликс восклицает: «Боже милостивый, Лебедь, да и только!» Фамилия героя — Свен, означающая «лебедь»,— служит отправной точкой множества ассоциаций, вызывающих в памяти читателя образы Зевса и Леды, Дедала и Икара и символизирующих полет-поиск. Чем же кончается «полет» Габриэля? Он попадает в автомобильную катастрофу, получает тяжелые ожоги (вспомним Икара, спалившего свои крылья на солнце) и оказывается в больнице. Вырваться из ада, в который повергнута мятежная душа Габриэля, помогает юноше Феликс, становящийся его проводником в странствиях по «преисподней» — огромному городу, который напоминает Дублин: Габриэль попадает в мир отверженных — нищих, наркоманов, пьяниц, бродяг, воров... Об этом повествует вторая часть романа — «Ангелы», в которой реальные события отступают на второй план перед философско-экзистенциальными поисками, Габриэль тщетно взыскует истины и гармонии. «Множество я принимал за единство,— восклицает он,— там, где я искал гармонию,— лишь дробность и распад!»

Патриция Крэг отмечает, что в «Мефистофеле» автор отходит от традиционного романного повествования, от линейного развития сюжета: роман населен «случайными» персонажами, в нем много лабиринтов — отступлений, «нарочитой путаницы», автор насыщает текст богатым ассоциативным звучанием. Вторая часть — не столько продолжение первой, сколько усложненный ее вариант, ее логарифм. «Но это не раздражает читателей, — подводит итог П. Крэг, — целенаправленность и искренность Бэнвилла захватывают нас. Свободные метафоры, мятежные взлеты творческой фантазии — непременные составляющие его звучной, яркой прозы».

Испания

ПОДПОЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Минувший год прошел под знаком пятидесятилетия со дня гибели Федерико Гарсиа Лорки. Испанская пресса много писала о том, как отмечала страна эту памятную дату. Одним из важнейших культурных событий года стала выставка рисунков поэта, показанная сначала жителям Гранады, а затем Мадрида. Но как выяснилось, произведения мастера привлекают внимание не только бескорыстных любителей искусства, пишет газета «Паис».

Сомнения в подлинности некоторых рисунков, приписываемых поэту, у специалистов возникали давно. Но то, что открылось в ходе подготовки экспозиции, подтвердило самые мрачные прогнозы. Обнаружилось, что по всему миру разошлось множество явных подделок — не только отдельных работ, но и целых серий рисунков, приобретенных коллекционерами за большие деньги.

«Как могло случиться, что столько людей, в том числе и специалистов, попались на удочку к мошенникам?» — спрашивает газета. К сожалению, отмечает автор статьи, нет четких критериев, по которым можно было бы отличить подлинное произведение искусства от фальшивки. Правда, большинство подделок, представляющих собой комбинации графических элементов из широко известных рисунков поэта (лицо, луна, арлекин, ваза с фруктами), подписаны абсолютно одинаково, в то время как Лорка любил расписываться по-разному и часто украшал свою подпись затейливыми виньетками. Но есть и случаи, когда доверчивость коллекционеров, по мнению газеты, просто необъяснима: например, некоторые рисунки, датированные 20-ми годами, выполнены... шариковой ручкой.

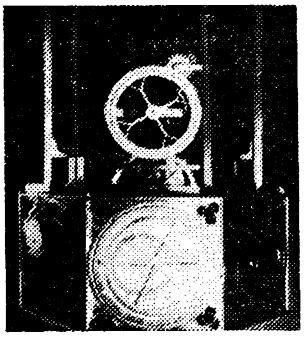
Судебное дело против фальсификаторов до сих пор не возбуждено, потому что ни один из владельцев фальшивок не обратился в суд, «боясь, видимо, стать мишенью для насмешек», — пишет газета. 9 из каждых 10 подделок обнаружены в Гранаде, и есть основания предположить, что именно там находится подпольный центр по их изготовлению. Цены на рисунки великого поэта резко возросли, подчеркивает «Паис», а это наверняка вызовет большой приток фальшивок — ведь фальсификаторы остаются безнаказанными.

Италия

«АСТРАРИЙ» ДЖОВАННИ ДОНДИ

Семья Донди была хорошо известна современникам своими учеными трудами и изобретениями. Отец, врач и механик Якопо (Джакомо) Донди (1298—1359), прославился созданием часов, показывавших не только время, но и фазы Луны (впоследствии эти часы были установлены на дворцовой башне в Падуе). Он даже получил прозвище Далл'Ороложо (Часовщик), которое передал и своим потомкам.

Сын Якопо, Джованни (1318—1389), был не только умелым и знающим врачом, но и замечательным астрономом. Последовательно развивая идеи отца, он изобрел и сконструировал для библиотеки в Павии «Астрарий», или «Планетарий» — часы с семью циферблатами. Это было «сложное устройство, представлявшее собой семигранную башню»,— пишет критик Симона Ару во французском журнале «Магазин литтерер»: шесть циферблатов показывали фазы движения шести планет, соответственно Луны, Венеры, Меркурия, Сатурна, Юпитера и Марса. На седьмом же, подвижном циферблате намертво закрепленная стрелка указывала, который час.



«Астрарий» Джованни Донди.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

К сожалению, «Астрарий» не сохранился, продолжает С. Ару. Остались только его «словесные портреты» — редчайший трехтомный свод чертежей и пояснений «Планетарий» (1364), принадлежащий перу самого Джованни Донди, а также латиноязычное описание в трех различных вариантах. Приняв за основу вариант, обнаруженный в одном из манускриптов библиотеки св. Марка (Венеция), французское издательство «Бель леттр» и Международный центр по изучению времени и пространства в Падуе приступили к работе над первым факсимильным изданием этого текста.

Видный французский ученый-медиевист Жак Ле Гофф недавно прочел в Институте итальянской культуры (Париж) доклад, посвященный истории создания «Астрария». А к концу 1987 года сотрудники парижской обсерватории создадут действующую модель знаменитого изобретения Джованни Донди, «Леонардо да Винчи эпохи средневековья», заключает Симона Ару.

ПИСЬМА ПАЗОЛИНИ

Новым вкладом в разгадку «феномена Пьера Паоло Пазолини» (см. «ИЛ», 1986, № 5) явится публикация двух томов его эпистолярного наследия (издательство «Эйнауди»). Книгу подгото-

вил к печати Нико Нальдини — двоюродный брат Пазолини, лично знавший многих его корреспондентов. Первый том составили 420 писем 1940—1954 годов.

В письмах начала 40-х годов отразились интеллектуальные и художественные пристрастия Пазолини в пору учебы в Болонском университете, его увлечение живописью, мечты о создании журнала совместно с Р. Роверси и Ф. Леонетти, осуществленные лишь в 1955 году, когда была основана «Оффичина», давшая начало новому направлению в итальянской поэзии — неоэкспериментализму. Позже, в годы жизни на родине матери, в местечке Казарса на северо-востоке страны, заметное влияние на мировоззрение и творчество Пазолини оказывают традиции местного крестьянства. Первый же поэтический сборник Пьера Паоло «Казарские стихотворения» (1942), написанный на фриулийском диалекте, в своем обзоре отмечает видный критик Джанфранко Контини (судя по письмам Пазолини — непререкаемый для него авторитет). К этому же времени относится начало переписки с Леонардо Шашей, поэтами Витторио Серени, Карло Бетокки.

В письмах конца 40-х годов ощущается глубокое страдание. Причины его — гибель младшего брата Гуидо, личные неприятности, крайнее обострение отношений между родителями, вынудившее поэта уехать с матерью в Рим. Первые римские годы Пазолини — «период героической бедности», но это и знакомство с крупными поэтами Сандро Пенной и Аттилио Бертолуччи, писателями К. Э. Гаддой и Джорджо Бассани, знакомство с миром люмпен-пролетариев римских пригородов. Этот мир, который Пазолини прежде идеализировал, вдохновил его на создание романов «Парни городского дна» и «Яростная жизнь», поэтических сборников «Прах Грамши» и «Вера моего времени», фильмов «Аккаттоне» и «Овечий сыр».

Письма Пазолини, по мнению обозревателя еженедельника «Панорама» Марко Валлоры, обладают несомненными литературными достоинствами: «Их отличают лаконизм и точность выражений, удивительная — если учесть, что самые ранние из включенных в сборник писем вышли из-под пера 18-летнего юноши, — зрелость стиля. Черновым наброскам стихотворений, представленным Пазолини на суд друзей, почти не уступают сопровождающие их комментарии — своего рода стихотворения в прозе».

Письмам предпослана составленная Н. Нальдини подробнейшая хронология жизни и творчества автора; многие данные введены в научный обиход впервые, публикуется в этом томе и текст пяти «красных тетрадей» — юношеских дневников Пазолини.

Куба

НОВОЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЕ КИНО

В Гаване прошел VIII Международный фестиваль латиноамериканского «нового кино». Это событие широко освещалось прессой континента. На конкурс было представлено 440 работ, в кубинской столице собралось свыше тысячи режиссеров, актеров, писателей, критиков из тридцати стран мира.

В программу фестиваля вошли творческие встречи, дискуссии, семинары, пресс-конференции, обсуждались актуальные проблемы развития кинематографа в странах Латинской Америки.

Подводя итоги фестивальных конкурсов, жюри отметило рост художественного уровня латиноамериканских кинолент. Член жюри, известный бразильский писатель Жоржи Амаду, заявил журналистам: «Кинематограф наших стран вступил в пору зрелости». Различных премий фестиваля удостоены работы, представляющие кино, телевидение и видео Бразилии, Аргентины, Мексики, Кубы, Колумбии, Никарагуа, Чили, ГДР и США.

По единодушному мнению прессы, фестиваль стал заметным явлением в культурной жизни континента еще и потому, что к дням его работы были приурочены учреждение Центра нового латиноамериканского кино (его штаб-квартира будет находиться в Гаване) и открытие на Кубе Международной школы кино и телевидения.

В задачи центра, президентом которого избран колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии Г. Гарсиа Маркес, входит совместное производство фильмов, организация конкурсов для молодых кинематографистов, научно-исследовательская работа в области современного кино, телевидения, видео. В скором будущем начнутся съемки серии фильмов о Никарагуа (совместное производство Кубы, Мексики, Чили, Боливии, Бразилии), пятисерийный телефильм по мотивам произведений Г. Гарсиа Маркеса (на студиях Кубы, Мексики, Аргентины). Как неоднократно отмечалось в прессе, одна из главных проблем латиноамериканского кино, громко заявившего о себе в последние годы, — проблема показа фильмов на кино- и телеэкране, захваченных международными компаниями. Уже предприняты первые шаги: начаты переговоры о создании в каждой латиноамериканской стране и в некоторых европейских государствах специальных кинотеатров для постоянного показа фильмов Латинской Америки. Предполагается также выпустить «Общую историю латиноамериканского кино», «Словарь кино и телевидения».

ИНТЕРВЬЮ ЛИСАНДРО ОТЕРО

Лисандро Отеро — известный кубинский писатель, лауреат премии «Каса де лас Америкас» (1963), а также других национальных и зарубежных литературных наград, его книги переведены на многие европейские языки. Романы «Так было...» и «Такой же город», публицистическая книга «Разум и сила Чили: три года Народного единства» изданы в СССР.

«Замысел романа «Болеро», — рассказывает Лисандро Отеро в интервью корреспонденту агентства «Пренса Латина», — возник у меня еще в 1969 году. Тогда же начал я собирать и изучать архивные материалы, однако вынужден был прервать работу. В сентябре 1973 года я в качестве советника по культурным вопросам посольства Республики Куба находился в Чили, и во время фашистского переворота была утрачена наиболее ценная часть собранных мной материалов. Вскоре я начал писать другой роман — «Сезон ангелов», — и лишь по прошествии семи лет, когда он был завершен, я смог возобновить работу над «Болеро».

«Меня давно привлекала возможность показать в художественном произведении присущую нам как нации исконно кубинскую своеобычность, проявляющуюся и в наших традициях, и в образе жизни, но особенно ярко — в народной музыке, — продолжает Л. Отеро. — Эта тема нашла свое воплощение в судьбе певца Бето Галана — продолжателя афрокубинских музыкальных традиций».

«Название романа не случайно, — подчеркнул писатель. — В моем понимании болеро подобно аргентинскому танго, это своего рода символ народной музыки».

Ливан

«НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ ЮЖНОГО ЛИВАНА»

Вышел второй том сборника «Народные пословицы Южного Ливана» (первый том был опубликован в 1981 году), сообщает журнал «ИБЛА». Составитель собрания пословиц Ф. Дж. Абела посвятил этому труду долгие годы, но ему не довелось увидеть свою работу напе-

чатанной (он умер до выхода в свет первого тома).

Всего оба тома содержат 3140 пословиц. Они приводятся в оригинальном арабском написании, с транскрипцией, переводом на французский язык и комментариями. К изданию прилагаются обширная библиография и тематический индекс. Первый том открывает предисловие, написанное известным арабским литературоведом Г. Анавати.

По словам обозревателя журнала, «пословицы знакомят читателей с нравами и обычаями района Сайды, с ливанским обществом, увиденным „изнутри"».

Польша

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИТКЕВИЧА

Философ, художник, драматург, романист, поэт Станислав Игнацы Виткевич (1885—1939) — одна из центральных фигур в польском искусстве XX века. 1985 год, когда исполнилось сто лет со дня его рождения, по решению ЮНЕСКО был объявлен Годом Виткевича. «Этот факт, — отмечал в дни юбилейных торжеств журнал «Штука» («Искусство»), — достойно венчает многолетний непрерывный рост интереса к творчеству Виткевича на его родине и за рубежом».

Художественные идеи Виткевича во многом опередили время. «Я словно снаряд огромной взрывчатой силы, который спокойно лежит на лужайке. Но пушки все нет, и некому мною выстрелить» — эти слова одного из героев писателя сказаны будто о нем самом. «Глубокое и новаторское осмысление проблем эпохи ставит Виткевича в один ряд с крупнейшими драматургами-реформаторами современного театра — Брехтом, Арто, Пиранделло»,— пишет журнал «Паментник театральны», публикуя летопись жизни и творчества писателя наряду с недавно обнаруженными архивными материалами.

В Польше 20—30-х годов Виткевич — мыслитель и художник — закономерно попадал в разряд неблагонадежных, продолжает рецензент журнала «Паментник театральны». В основе его концепций лежало убеждение в неминуемом крахе буржуазной общественной системы. В своих философских и публицистических работах, в романах-антиутопиях, «неевклидовых драмах» и «сферических трагедиях» писатель подверг уничтожающей критике современные ему стереотипы мещанского сознания. В гротескных сценических притчах — «Тумор Мозгович», «Новое Освобождение», «Водяная курочка», «Дюбал Вахазар», «Каракатица», «Сапожники» и других — Виткевич сатирически обобщил закономерности перехода от буржуазной демократии к фашизму в капиталистическом обществе.

Вторая жизнь писателя началась в годы антигитлеровского Сопротивления, когда трагический ход истории подтвердил справедливость его пророчеств: пьесы Виткевича шли в подпольных театрах, его идеи мобилизовывали новое поколение художников на защиту гуманистических ценностей. В искусстве народной Польши наследие Виткевича стало одной из отправных точек новаторского поиска, пишет журнал «Панорама». В течение 1986 года в Польше вышло несколько монографий о творчестве Виткевича, были изданы альбомы репродукций его живописи, выпущено в свет пятитомное собрание его сочинений в «золотой серии» классиков польской литературы, снят о нем полнометражный художественный фильм «Тумор Виткация» (режиссер Гжегож Дубовски).

Произведения Виткевича широко издаются во многих странах мира (осенью прошлого года в Польше состоялся представительный международный форум по проблемам их перевода) им посвящена обширная литература на разных языках. Наследие Станислава Игнацы Виткевича, подчеркивает «Паментник театральны», стало заметным вкладом в мировую художественную культуру.

Бронислав Войцех Линке. Двойной портрет С. И. Виткевича

(Журнал «Штука»)

Румыния

ЭПОС И ЛИРИКА

Исполнилось 120 лет со дня рождения Георге Кошбука (1866—1918) — выдающегося ученого-филолога, классика румынской литературы. Творческое наследие, оставленное Г. Кошбуком, огромно: исследования в области этнографии и фольклора, переводы (среди них «Одиссея» Гомера «Энеида» и «Георгики» Вергилия, «Божественная комедия» Данте, «Антология санскритской поэзии»), четыре тома стихотворений, многочисленные повести и рассказы, публицистические статьи и памфлеты.

Еженедельник «Ромыния литерарэ» опубликовал боль-

шую статью, посвященную юбилею писателя. Автор статьи, известный критик Николае Манолеску, анализирует основные этапы деятельности выдающегося литератора, по-новому оценивает значение его произведений для современности.

Особое внимание уделено поэзии Г. Кошбука. С одной стороны, «специфическая усложненность», с другой — предельная простота, «наивность» поэтических образов: до сих пор в оценке критиков нет единодушия — его стихи относят то к лирическому, то к эпическому жанру. Традиционно было принято считать Г. Кошбука «певцом сельской жизни», мастером изящных буколик в духе Феокрита и Вергилия, и то обстоятельство, что Георге Кошбук является также создателем множества философско-эпических баллад, собирателем народных сказок и песен, долгое время ставило в тупик румынских литературоведов, называвших его двуликим Янусом. Николае Манолеску в своей рецензии убедительно показал, что мнимая «противоречивость» художественного мышления Кошбука объясняется его «стремлением возродить национальный эпос» с помощью новых выразительных средств лирики.

Саудовская Аравия

«ЧАСТЬ МЕЧТЫ»

Журнал «Аль-Араби» опубликовал рецензию на роман саудовского писателя Абд-аллаха Абд ар-Рахмана аль-Джафри «Часть мечты», написанную известным йеменским поэтом и литературоведом Абд аль-Азиром аль-Мукалихом.

В своей рецензии, которая озаглавлена «„Часть мечты" и черты литературного обновления на полуострове», аль-Мукалих пишет о больших социальных сдвигах, происшедших в жизни стран Аравийского полуострова начиная с шестидесятых годов и отразившихся на форме и содержании литературных произведений.

«Правда, романтическое творчество на Аравийском полуострове — будь то на севере, на юге или в странах Персидского залива — еще не получило такого широкого развития по сравнению с остальными литературными жанрами и прежде всего — поэзией», — считает аль-Мукалих. Поэтому появление каждого нового романа приобретает особое значение, отмечает рецензент. К числу ярких произведений этого жанра принадлежит и роман «Часть мечты».

Это повествование об аравийской женщине, живущей в разладе с действительностью и мечтающей о личном счастье и любви. Героиня романа, ведущая обычную для женщин ее круга затворническую жизнь, восстает против традиций, против своего приниженного, полурабского положения. Не желая больше оставаться «лишь частью интерьера в доме богатого торговца», Лейла возвращается к своим родителям и начинает строить жизнь по своему усмотрению. Однако полную независимость Лейла получает только спустя двадцать лет, когда муж наконец соглашается на развод, получив от нее полмиллиона риалов.

Роман аль-Джафри, по мнению аль-Мукалиха, имеет глубокий подтекст. Мечтающая героиня — это символ мечтающей о лучшем будущем Аравии, отягощенной обветшалыми традициями и обычаями.

США

НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

Развенчав пять классических теологических доказательств, немецкий философ И. Кант сформулировал, однако, свое собственное, шестое: бог существует как моральный императив, которым должен руководствоваться человек в выборе между добром и злом. Впрочем, утверждал Кант, наука не в состоянии представить надежные доказательства того, что бог есть...

Один из персонажей нового, двенадцатого по счету, романа Джона Апдайка «Версия Роджера» (издательство «Кнопф»), двадцативосьмилетний математик Дейл Колер, готов с помощью компьютера доказать... существование творца вселенной. Тот факт, что все процессы в природе подчинены строгим законам физики, химии, математики, свидетельствует, по его мнению, о присутствии высшего разума во вселенной. Для осуществления необычайного проекта Дейлу нужны деньги, и он обращается к Роджеру Лэмберту, преподавателю теологии, надеясь увлечь его своей идеей и получить необходимую сумму.

Читателей, которых может удивить погружение Апдайка в дебри теологических проблем и теории информации, рецензент журнала «Тайм» отсылает к первому роману писателя — «Ярмарка в богадельне» (1959) — «книге-аллегории, трактующей о связи понятия бога и этики». Апдайк, пишет рецензент, известен как бытописатель, как исследователь современного состояния нравов «средней Америки». Точный, достоверный рассказ о повседневной жизни обеспеченных буржуазных семей — вот основа многих новелл Апдайка и его романов: трилогии о Кролике Энгстроме, «Супружеские пары» (1968), «Давай поженимся» (см. «ИЛ», 1979, № 7—8). Однако, продолжает рецензент, «протестантское ощущение греховности человеческой жизни постоянно присутствует во всех его романах». Главный герой нового романа Апдайка, Роджер Лэмберт, тоже мучительно размышляет о своем грехе и взыскует утраченной им моральной основы в жизни. Четырнадцать лет назад он изменил своей жене, потом последовал скандальный развод. Лэмберт был вынужден оставить свой приход и возглавил кафедру богословского факультета в одном из университетов Новой Англии.

В новом романе, считает обозреватель еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», читатель увидит «старого, знакомого Апдайка». Правда, весьма неожиданным будет то, что Апдайк предстанет перед ним знатоком современной химии и биологии, математики и физики. Насколько успешным оказался первый опыт писателя в жанре «научно-социально-бытового романа», решать читателям, заключает рецензент.

ЮБИЛЕЙ КОМПОЗИТОРА

Старейшему композитору Соединенных Штатов Вирджилу Томсону (род. в 1896 г.) исполнилось девяносто лет. К юбилею нью-йоркский «Оперный ансамбль» подготовил премьеру самого популярного из его сочинений — «Четверо святых в трех актах» (1928), написанного на либретто Гертруды Стайн, сообщает журнал «Ньюсуик».

«Трудно найти что-либо подобное в современной музыке: ведь эта опера — виртуозное музыкальное повествование о Париже 20-х годов, колыбели авангарда в искусстве XX столетия, — пишет корреспондент журнала «Ньюсуик» Алан Рич.— Здесь есть решительно все: нарочито резкий, вызывающий колорит дадаизма, утонченная безыскусность «белой музыки» Эрика Сати, мощный звуковой поток американского джаза и кубистические абстракции».

Томсон впервые приехал в Париж в 1921 году — учиться в классе композиции знаменитого педагога Нади Буланже. Он сочинял «интересные вещи — смелые, дерзкие, открывающие новые пути в музыке», и посылал в газеты и журналы США статьи о современных зарубежных музыкантах, в том числе и своих соотечественниках Аароне Копленде, Рое Харрисе, Джордже Энсле, живших тогда за пределами родины, но отдававших свои силы созданию сугубо американского, национального стиля, продолжает А. Рич.

Вернувшись в Америку в 1940 году, Томсон стал музыкальным обозревателем газеты «Нью-Йорк геральд

Сцена из оперы «Четверо святых в трех актах».

(Журнал «Ньюсуик»)

трибюн». Его публикации явились крупным вкладом в американскую музыкальную критику благодаря высокому профессионализму автора и тонкому пониманию новых веяний в искусстве. «Он фактически изобрел способ доходчиво писать о современной музыке», — шутливо замечает А. Рич.

В последние годы Вирджил Томсон работает над инструментальным циклом «Портреты», включающим уже немало пьес. Друзья и близкие специально «позируют в манхэттенской квартире Томсона для этих «очаровательных миниатюр». «Уже давно я не писал больших, к примеру, получасовых сочинений, — признается композитор в интервью журналу «Ньюсуик», — но уверен, возраст тут ни при чем: вдохновение может посетить меня в любую минуту».

Вирджил Томсон.

(Журнал «Ньюсуик»)

Франция

ЗАВЕЩАНИЕ ЖАНА ЖЕНЕ

«Легенда о Жене» казалась незыблемой: четверть века «поэт-эпик и драматург» ничего не писал, не публиковал, почти не давал интервью (см. о нем «ИЛ», 1986, № 7 и 1987, № 1). Но, говорил Жан Кокто, «Жене силен тем, что никогда не станет жертвой легенды о себе самом». И в ноябре 1984-го Жан Жене наконец начал работу над книгой воспоминаний «Влюбленный пленник», рассказывающей о борьбе народа Палестины за независимость... Крупнейшее французское издательство «Галлимар» выпустило этот пятисотстраничный том уже после смерти писателя, в 1986 году.

Поэтика Жене, который называл себя «мечтателем в лоне сокровенной мечты», определила сложный строй «Влюбленного пленника», отмечает известный литературовед Анни Коэн-Солаль в журнале «Нувель обсерватёр»; перед нами в колеблющемся мареве «причудливого стиля» Жене проходят фигуры общественных деятелей (Ясер Арафат) и людей из народа (красавица Набила), ученых (доктор Махджуб) и солдат (Исмаил и его товарищи). Место действия постоянно меняется — следуя за автором, читатель оказывается то на улицах Гарлема, то в кварталах Токио, то в лагере палестинских беженцев, то в переулках Бейрута. Голос рассказчика объединяет разноплановые сцены в общую панораму событий, связанных темой палестинского Сопротивления. «Я снова узнавал гул борьбы и протеста, как обладающие музыкальным слухом узнают верно взятую ноту», — пишет Жан Жене на страницах «Пленника».

Не удовлетворившись сухим определением Жене («книга-репортаж»), рецензентка пытается найти более точный термин, перебирая подчас неожиданные варианты: «К какому жанру можно отнести «Влюбленного пленника»? Это романизированная публицистика или повествование-медитация? Лирический дневник или поэма в прозе?» Трудно найти однозначный ответ... Зато, утверждает А. Коэн-Солаль, можно с уверенностью сказать, что эта книга — образец большой французской прозы — несомненно «очарует и приручит даже самого искушенного читателя».

На развороте в «Нувель обсерватёр» с рецензией А. Коэн-Солаль соседствует статья видного марокканского прозаика Тахара Бен Джеллуна, посвященная памяти Жене и построенная в форме диалога с молодым марокканцем, сыном кладбищенского сторожа. У могилы писателя в Эль-Араише (Марокко) Бен Джеллун рассказывает юноше: «Его звали Жаном Жене. Он вырос без родителей. Стал писателем... может быть, лучшим из современных французских писателей. Он был с народом Палестины, на его стороне».

Книга о нелегкой судьбе борющегося народа — завещание автора, «влюбленного пленника». «И кого удивишь тем, что Жан Жене готовил нам взрыв бомбы вместо завещания?» — задает риторический вопрос «Нувель обсерватёр».

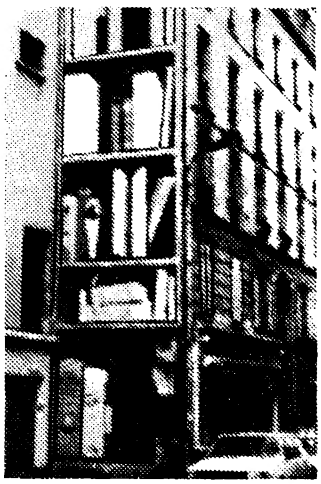
«СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ НЕ ДЛЯ НАС»

Так называется новая книга Робера Мерля, вышедшая в свет в издательстве «Плон». Автор знаменитого романа «За стеклом» повествует о буднях экипажа французской атомной подводной лодки, уходящей на девять месяцев в плавание. Ведя рассказ от имени судового врача, пишет журнал «Пуэн», Мерль показывает, что чувствуют люди, которые живут взаперти, не видят неба над головой и даже порой забывают, зачем они отправились в это долгое плавание.

Собирая материал для своей книги, Мерль неоднократно посещал французский военный порт Брест, побывал на борту подводной лодки, беседовал с десятками подводников — от адмирала до простого матроса. В результате этой тщательной подготовительной работы появился, по мнению рецензента «Пуэн», «великолепный репортаж, который читается на одном дыхании». Книга Мерля мгновенно стала бестселлером.

В интервью журналу «Лир» писатель подчеркивает связь основных тем в

своих произведениях. Так, в фантастическом романе «Мальвиль» он рассказал о горстке людей, оставшихся в живых после атомного взрыва. Теперь же, по признанию Мерля, ему стало ясно: картина, изображенная им тогда, выглядела «слишком оптимистичной» «В случае ядерного конфликта в северном полушарии в живых никого не останется», — заявляет прозаик. Его страшит, «что в окружении Рейгана есть люди, считающие, будто ядерную войну можно выиграть», страшит, что «на ядерные вооружения расходуются огромные суммы». «Я хотел, чтобы мои читатели осознали всю серьезность положения человечества», — сказал Р. Мерль, заключая интервью.



О необычной «библиотеке», появившейся в XIV округе Парижа, сообщает журнал «Магазин литтерер». Прямо на торцовой стене дома № 121 по улице Рэймона Лосерана расположен стеллаж высотой в шесть этажей На полках — 50 огромных книг, названия которых вместе с именами авторов хорошо видны на корешках: «Жизнь герцога Ангулемского» Гюстава Флобера, «Сонник льва» Анри Мишо, «Путешествие в Сиам» Маргерит Дюра... На самом деле этих книг нет и никогда не было. Их создатели или не окончили задуманные ранее пьесы, романы, поэмы, или, значительно изменив сюжет произведения, озаглавили его уже по-другому Собрав сведения о такого рода библиографических редкостях фирма «Бертен и Жуэ» открыла своеобразную «библиотеку» Сейчас парижское издательство «Жажа» выпустило для любителей курьезов и каталог вошедших в все несуществующих книг. На снимке: гигантский «книжный» стеллаж на улице Лосерана

(Журнал «Магазин литтерер»)

Выступает хор «Коллегиум музикум».

(Газета «Тиедонантая»)

Финляндия

«ДНИ МОРЯ»

В городе Котка прошел ежегодный праздник «Дни моря». Программа его включала выставки, семинары, выступления духовых оркестров.

Больше всего зрителей собрал фестиваль морских песен, который проводится уже в седьмой раз. Он призван не только возродить старые песенные традиции, но и создать новые, поэтому каждый год исполнители представляют на конкурс и известные старинные песни о жизни моряков, и собственные сочинения.

Как сообщает корреспондент газеты «Тиедонантая», главный приз завоевал Рауно Тууна из города Раума. Среди солистов первым был Зенон Ковальски из Польши. «Его сдержанная манера исполнения и великолепный голос очаровали слушателей»,— свидетельствует «Тиедонантая». Ковальски поет в хоре «Коллегиум музикум», победившем в конкурсе хоров. Среди участников фестиваля были представители Дании и Советского Союза (Эстонская ССР).

Многие исполнители выступали в традиционной одежде моряков — полосатых тельняшках и белых брюках. Но на самом деле среди участников фестиваля мало было тех, чья профессия связана с морем. В группе моряков в этом году выступили всего трое: Пертти Салонен (он 25 лет плавал на торговом судне), югослав Стоян Скраччи, исполнивший песни хорватских моряков, и Марко Лемпияйнен — прошлогодний победитель конкурса. Он стал победителем и на этот раз.

«Мне кажется, что нет смысла проводить фестиваль именно морских песен: ведь ни прежних моряков, ни их песен уже нет, — сказал Марко корреспонденту газеты «Хельсингин саномат». — Почему бы не устроить обычный конкурс, чтобы в нем могло участвовать больше исполнителей?» По словам Марко, сам он стал моряком только ради того, чтобы выступать на фестивале.

Моряков в наши дни больше не увлекают музыка и песни, считает и один из организаторов «Дней моря». О своей работе моряки теперь не поют, может быть, именно поэтому участников фестиваля было немного.

И все же фестиваль морских песен, проведенный в рамках праздника, привлек зрителей и слушателей — тех, кому захотелось хоть на миг прикоснуться к романтике морских путешествий, заключает «Хельсингин саномат».

◆

В следующем номере:

Роман
английской писательницы
Айрис Мердок
«Сон Бруно»

Рассказы
Жозе Сарнея (Бразилия)
и Олив Синиор (Ямайка)

Очерк
польского публициста
Рышарда Капусцинского
«Император»

Писатели мира
отвечают на вопросы
«Иностранной литературы»

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Т. П. ГРИГОРЬЕВА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **В. С. ПЕРЕХВАТОВ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 25 02 87 Подписано в печать 08.04 87. А. 08454. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 26 90.

Тираж 465 000 экз (1-й завод: 1 — 415 000 экз.). Зак. 730.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

«Чилийский реквием».

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394